

ВАСИЛИЙ АРДАМАТСКИЙ

ОН СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ

„Я 11-17"

ОТВЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ДЕТГИЗ · 1961

Он сделал все, что мог. «Я 11-17». Ответная операция.

Василий Иванович Ардаматский

Аннотация
Василий Ардаматский. ОН СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ. •. «Я 11-17». •. ОТВЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
ОН СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
«Я 11-17»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ОТВЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Часть первая
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

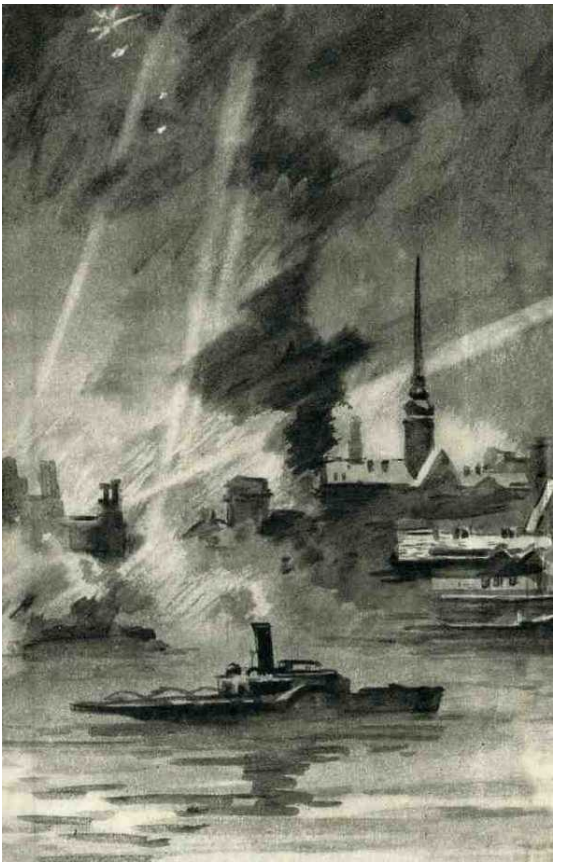
28
29
30
31
82
33
34
35
36
Часть вторая
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

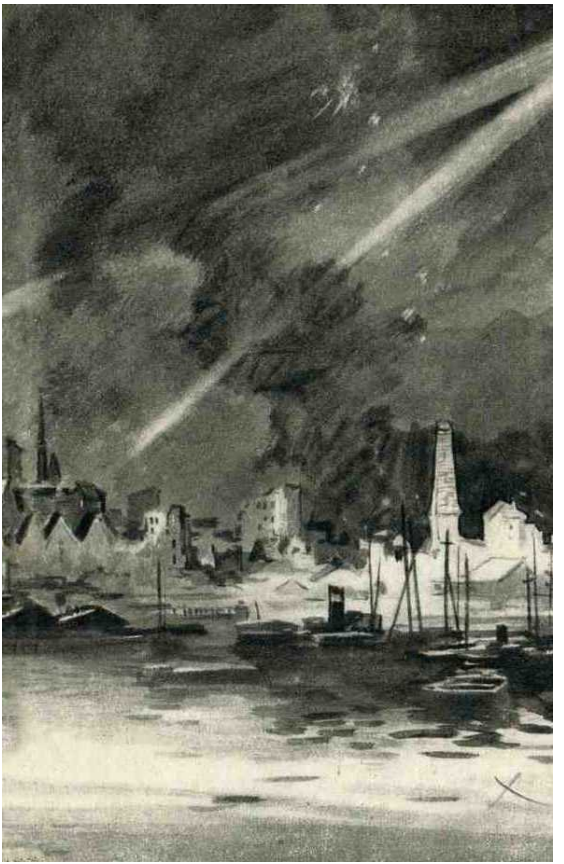
Аннотация

К повести «Он сделал все, что мог» рисунки *В. Макеева*.

К повестям «Я 11-17» и «Ответная операция» рисунки *А. Лурье*.







БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



МОСКВА ~ 1961

Василий Ардаматский

ОН СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ

*

„Я 11-17“

*

ОТВЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Повести

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Василий Ардаматский
ОН СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ
•
«Я 11-17»
•
ОТВЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Писатель Василий Иванович Ардаматский родился в 1911 году в семье учителя. Детство и юность его прошли на Смоленщине. Еще учась в школе, он стал активным юнкором областной комсомольской газеты «Юный товарищ» и в течение трех лет был редактором школьной стенной газеты. Это и определило в нем привязанность к журналистике на всю жизнь. Уже в 1929 году он начинает работать в радиовещании, осваивая совершенно новую тогда профессию радиожурналиста, работающего не только с пером и блокнотом, но и с микрофоном. Почти 25 лет своей жизни он отдал этой работе, и она вооружила его большим запасом жизненных наблюдений.

В 1942 году в библиотечке «Огонька» вышла первая книжка рассказов В. Ардаматского — о

героизме защитников осажденного Ленинграда, где писатель в течение первого года войны был военным корреспондентом.

Уже после войны были изданы две его повести о военных летчиках: «Они живут на земле» и «В полете!». Затем выходили его книги: рассказы разных лет «Встречи», повесть «Опасный маршрут», быль для детей о пионерском галстуке «Твой флаг», книги очерков о Берлинском и Московском всемирных фестивалях молодежи и студентов и другие.

В эту книгу вошли три приключенческие повести В. Ардаматского. В повестях «Он сделал все, что мог» и «Я 11-17» рассказывается о рискованных приключениях и славных подвигах советских людей в тылу врага во время Отечественной войны. Повесть «Ответная операция» — о наших разведчиках. Действие ее происходит в Берлине вскоре после войны.



Он сделал все, что мог



ОН СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ



1

Прежде всего о том, как родилась эта повесть, как попали ко мне лежащие в основе повести дневники и другие материалы.

В 1958 году, совершая на автомашине поездку по стране, я заночевал в старом русском городе Остро́ве. Устроился в гостинице и отправился бродить по городу. Выйдя к реке, остановился в удивлении. Представьте себе довольно безлюдный к вечеру маленький городок, деревянные дома в садах, и вдруг перед вами мост, словно перенесенный сюда, скажем, из Ленинграда: могучие стальные упоры, цепи, гранитные тумбы.

Итак, я рассматривал мост. Рассматривал и дивился: зачем нужно было на этой тихой речонке воздвигать такой непропорционально величественный мост? Он был явно дореволюционной постройки. Не ввело ли в заблуждение петербургский департамент то обстоятельство, что эта речонка носит название «Великая»?

Возле меня остановилась пожилая женщина с авоськой, набитой книгами.

— Что вас так интересует? — спросила она и дружелюбно и в то же время немного насторо-

женно.

— Красивый у вас мост, — ответил я.

— Вы приезжий?

Вопрос прозвучал уже более настороженно, и я решил сразу же все прояснить. Сказал, что я не столько приезжий, сколько проезжий, что я писатель, совершаю поездку по стране, что остановился здесь в гостинице. Я назвал свою фамилию. Мы познакомились…

Ольга Михайловна Никишина — так звали женщину — почти сорок лет проработала в библиотеке. Теперь она на пенсии, приехала в Остров на лето, живет у давней своей подруги, у которой тут домик. Мы разговорились о том о сем и, конечно, о литературе. Вдруг Ольга Михайловна спрашивает:

— Не хотели бы вы прочесть один дневник, очень любопытный человеческий документ, относящийся ко времени войны?

Я согласился.

Ольга Михайловна задумалась:

— Вот не знаю только, как практически это сделать. Документы хранятся в Пушкинских горах, у моей двоюродной сестры… — Ольга Михайловна улыбнулась: — Война, знаете, разбросала не только людей, но и их имущество.

Я сказал, что, если материалы, о которых она говорит, действительно интересные, я съезжу в Пушкинские горы, тем более, что это не так далеко, и, наконец, я попросту не прочь еще раз побывать в тех заветных местах.

— По-моему, записи очень интересные, хотя я и не все прочитала.

На рассвете я мчался на юг от Острова. В кармане у меня лежало письмо Ольги Михайловны к ее двоюродной сестре. Спустя полтора часа мой «Москвич» уже трясся по булыжной мостовой Пушкинских гор. В столь раннее время являться к незнакомым людям неудобно, и я поехал в Михайловское.

На поляне перед пушкинским домом просыпался лагерь экскурсантов. Это были школьники из Ленинграда, приехавшие к Пушкину в двух автобусах. С воинственными криками, размахивая полотенцами, как флагами, они бежали умываться к реке Сороть, где им открывались описанные великим поэтом волшебно красивые безбрежные русские просторы и два еще чуть подернутых туманом озера, носящих странные названия: «Кучане» и «Малинец»…

Потом я с ленинградскими ребятами ходил по дому-музею. Здесь ребята не шумели и держались

вместе. Им было очень интересно, и они забыли обо всем на свете.

Увлеченный свиданием с этим святым местом русской земли, я не следил за временем. Первый раз посмотрел на часы, выйдя из пушкинского дома. Было уже половина двенадцатого. Можно ехать в Пушкинские горы…

Нахожу домик, указанный на конверте. Он стоит на боковой улочке, в окнах пламенеет герань. Тенистый дворик так зарос травой, что собачья будка выглядит, как дом, крыша которого еле видна из-за деревьев.

Та женщина, которой писала Ольга Михайловна, оказалась еще довольно моложавой, но весьма необщительной особой.

Прочитав письмо, она сказала:

— Наконец-то! — прошла за перегородку и вскоре вынесла оттуда перевязанный бечевкой небольшой сверток.

— Ольга вечно собирает и хранит всякое старье, — сказала она. — Хорошо, что она вспомнила. Не сегодня-завтра я бы выбросила все это.

Выехав из Пушкинских гор, я остановил машину. Мне не терпелось посмотреть, что там, в свертке… Я развернул его.

В нем были мелко-мелко исписанные листки

бумаги самого разного формата: из записной книжки «День за днем», из ученической тетради в клеточку и даже из какого-то немецкого офицерского дневника. И, хотя почерк был четким, читать записки было очень трудно — бумага пожухла от времени, чернила выцвели, а на многих, очевидно подмоченных листках строчки расплылись и еле проглядывались. Записи были сложены непоследовательно. Я прочитал несколько листков и понял, что в мои руки попал действительно интересный материал…

Я решил снова ехать в Остров, чтобы узнать у Ольги Михайловны все, что ей известно о происхождении этого свертка.

Рассказ Ольги Михайловны Никишиной

К началу войны я жила в Пскове. Произошло какое-то горькое недоразумение с эвакуацией нашей библиотеки, и я со своими книгами осталась в тылу у гитлеровцев, рвавшихся тогда к Ленинграду. Но спасти библиотеку все равно не удалось, она сгорела. А я в результате событий, о которых долго и незачем рассказывать, оказалась в маленьком литовском курортном городке, где меня приютила русская семья, состоявшая из двух сестер, женщин примерно моего возраста,

и глухонемого паренька, приходившегося им племянником. Обе сестры еще до революции получили в Петрограде высшее педагогическое образование, но преподавательской работой не занимались. У них был домик, и они зарабатывали тем, что держали на пансионе курортников.

Только в сороковом году, когда Литва стала советской, они получили возможность учительствовать в местной школе и были очень счастливы. С приходом гитлеровцев они это счастье потеряли. Теперь они промышляли портняжничеством, и я им помогала. Глухонемой паренек, по имени Сережа, был сыном их сестры, умершей перед самой войной.

В этой семье я и прожила вплоть до прихода наших войск.

И вот, как раз примерно за неделю до освобождения, случилась история, связанная с этим свертком…

Как-то утром мы с Сережей пошли в лес собирать шишки для самовара. Быстро набрав их целое ведро, мы возвращались обратно. Сережа с ведром ушел вперед, а я присела на пенек отдохнуть. Задумалась… Вздрагиваю от ощущения, что на меня кто-то смотрит.

Озираюсь по сторонам и вижу, что в трех шагах

от меня из чащи молодого ельника на меня смотрит человек. У него была светлая шкиперская бородка, обрамляющая еще довольно молодое и красивое лицо. Смотрим мы друг на друга и не шевелимся. Потом он издали здоровается со мной на хорошем немецком языке, называя меня бабушкой — гроссмуттер. Сама не знаю почему, но я решила, что он русский, и спрашиваю по-русски:

— Кто вы такой? Что вам нужно?

Услышав русскую речь, он буквально отпрянул, но затем вышел из ельника и приблизился ко мне:

— Вы русская?

— Да.

— Как вы сюда попали?

— Длинная история. В общем, эвакуировалась из Пскова. А вы?

— Я тоже русский и тоже советский русский. — Он помолчал, а потом решительным движением протянул мне сверток: — Прошу вас спрятать это…

Я механически взяла сверток.

— Как ваша фамилия, как вас зовут?

Я ответила.

— Ольга Михайловна, огромная к вам просьба: сохраните это. Не бойтесь, в свертке одни бумаж-

ки, которые, кроме меня, никого интересовать не могут, а мне они дороги.

Я испугалась. Он это заметил и, волнуясь все больше, начал умолять меня выполнить его просьбу.

Я согласилась. Он спросил, где я живу.

Когда мы прощались, он сказал:

— Если я не приду за свертком, поступайте с ним как хотите… — и исчез в густом ельнике.

За свертком он так и не пришел. Когда я уезжала обратно в Псков, — это было уже в начале сорок пятого года, — приютившим меня сестрам сказала, чтобы они, если кто-нибудь будет меня искать, сообщили мой псковский адрес.

В Пскове я прожила недолго, перебралась в Ленинград, потом несколько лет работала на Дальнем Севере, снова вернулась в среднюю полосу, работала в Витебске, в Велиже. Но, куда бы меня ни забрасывала судьба, я обязательно сообщала свой новый адрес туда, в Литву.

За свертком так никто и не пришел. В конце концов, собираясь снова уехать на Дальний Север, я попросила мою двоюродную сестру, к которой вы ездили в Пушкинские горы, поберечь у себя сверток и ее адрес снова сообщила в Литву. Но и сюда за ним, как видите, не пришли. Хорошо, что

он уцелел и сможет вам как-то пригодиться…

«Как-то пригодиться»! Дорогая Ольга Михайловна, вот повесть, которая написана только потому, что случай познакомил меня с вами, и вы дали мне в руки этот небольшой сверток.

2

Записи, сделанные с двух сторон на листках из записной книжки «День за днем»:

«21 июля 1940 года. Сегодня во второй половине дня прилетели в Ригу, а завтра уже на автомашинах мы поедем в столицу Литвы Каунас. Сегодня же Народный сейм Латвии принял решение об установлении в республике советской власти и обратился в Верховный Совет СССР с просьбой принять Латвию в семью республик Советского Союза. В связи с этим в Риге происходила бурная и радостная демонстрация населения. Мы наблюдали ее с балкона советского посольства. Все было похоже на наш Первомай — оркестры, веселый шум, красные флаги. Только лозунги написаны на непонятном языке. Демонстрация продолжалась до позднего вечера.

Ночевали в гостинице. Моим соседом оказался

страдающий астмой пожилой дядька, по имени Пал Палыч. Еще в Москве мне сказали, что он специалист по валютным делам и едет в Литву, чтобы помочь ликвидировать там валютную неразбериху. Он долго не мог уснуть — охал и очень шумно дышал. Я спросил, не нужно ли ему помочь. Он ответил:

— Это у меня от волнения разыгралось. Такое дело! Такое дело! Ты понял, чудак, что присутствуешь перед лицом самой истории?

— Похоже на наш Первомай, — сказал я.

И вдруг Пал Палыч разозлился:

— Чудак ты, тысячу раз чудак! Ты же не понимаешь, через какой порог переступает тут целый народ, из какой жизни в какую он шаг делает. Ты даже представить, чудак, не можешь, как тебе повезло!

Я стал об этом думать…

…В Литве происходит то же, что и в Латвии. Пал Палыч прав. Чем больше я знакомлюсь со здешней жизнью, тем глубже понимаю всю важность происходящего. Но вот вопрос: повезло ли мне, что меня послали сюда? Пожалуй, лучше сказать так: в одном повезло, а в другом — нет. В чем же повезло?

Командировка дала мне возможность вырвать-

ся из-под родительской сверхбдительной опеки. Дорогие мои папа и мама, вы, конечно, старики неплохие и всегда желали мне добра. Но, если бы я во всем следовал вашим указаниям, из меня выросло бы довольно чахлое деревце. Но я вступил в комсомол, я занимался спортом вопреки вам, я дружил с ребятами, которые нравились мне, а не вам. Словом, вопреки вам я делал многое, и сейчас, как никогда, понимаю, какой опасностью для человека в пору его созревания является слепая родительская любовь к своему единственному чаду. Человеку предназначено жить среди людей, а не становиться гордой достопримечательностью так называемой хорошей семьи. В общем, чем больше я пробуду здесь без вашей опеки, тем лучше будет для меня, любимые мои папа и мама.

Из всех молодых инженеров-экономистов послали в командировку именно меня. Это значит, что меня уважают и что мне доверяют, если, конечно, не прав Лешка, сказавший, что выбор пал на меня только потому, что я хорошо знаю немецкий и английский языки.

И, наконец, главное: тему диссертации я выбрал, сознаемся, никудышную. Нелепо решать экономические проблемы по данным одного,

пусть на сегодня самого совершенного, станка. Этот самый совершенный станок завтра может оказаться безнадежно устаревшим вместе с моей диссертацией. Но опять же родители мои любимые сделали все, чтобы приковать меня к этому станку. И только потому, что тогда моим научным руководителем станет «давний друг дома» Сергей Емельянович Ратецкий, известный в институте по прозвищу «чародей малых наук». А теперь я послушаюсь совета старикана-великана, профессора Боголепыча, и темой диссертации сделаю то, чему я буду свидетелем здесь, в Литве: переход капиталистической экономики производства в социалистическую. То, что я уже узнал, необыкновенно интересно. Другой, совершенно другой мир. И экономика, точно в зеркале — все наоборот…»

…Далее листки записной книжки испещрены беглыми, краткими пометками по ходу, очевидно, очень быстро летевших дней. Например, такими:

«Совещание в 18, иметь данные по всем смежникам».

«Жемайтис прав, все дело в сырье. Телеграфировать в Москву».

«Срочно командировать Айдутиса в Таллин за моторами».

«Ответить на письмо мамы. Обязательно!»

«В ЦК в 14, иметь наметки плана».

«Баня. Во что бы то ни стало».

«Калпаса уволить. Хватит!»

«Аварии не случаются, их делают люди». Выражение инженера П.».

«Хоть землетрясение, ответить маме. Если бы она знала, как нерегулярно принимает пищу ее несравненный Владик!»

«С перестановкой оборудования чушь, если не вредительство, замаскированное революционной декламацией. До опыта ленинградцев надо еще дорасти, дорогие мои товарищи».

«Ответственность за учет возложить на Яниса, он потянет».

«Они словно тоскуют по прежнему хозяину-фабриканту. Очевидно, дело в том, что на фабрике нет крепкой хозяйской руки, Л-с хороший дядька, но шляпа. Оно и понятно: в подполье директоров фабрик не готовили. Но где же выход?»

«Ответить маме. Свинья я, и больше

ничего».

И только одна запись подробная. Она на последней странице книжки:

«Сегодня похоронили Владаса Ничкуса — человека с горячим сердцем, бойца за свободную Испанию, пятидесятилетнего энтузиаста новой жизни. Уже известно — его убил враг, самый настоящий враг. Кто он, мне еще не сказали, но намекнули, что я его хорошо знаю. Ну вот, первый раз в жизни я вижу наяву тезис политграмоты о классовой борьбе и когда этот тезис — кровь человека, убитого только за то, что он хотел добра своему народу. В тот последний свой вечер Владас, прощаясь, сказал мне: «Наши дела, юноша, идут хорошо, а это значит, что врагам нашим плохо, и отсюда вывод для нас — смотри в оба». Точно он чувствовал что-то. Потрясающе сказал на кладбище директор фабрики: «Наших могил много, но мы живем, и теперь уже никакая сила не убьет нашу свободную жизнь».

Просили выступить меня, как человека из Москвы. Я отказался. Что я мог сказать? Они называют меня человеком из Москвы. У них это звучит почти как святой человек. А я человек из Москвы только согласно штампу прописки в пас-

порте, а во всем громадном смысле, который они придают этим словам, я называться так попросту не имею права.

Я как будто знаю, из чего складывается экономика производства, но что я знаю еще? До ужаса мало, до ужаса! А похороненный сегодня Владас в моем возрасте уже сидел в тюрьме за подпольную революционную деятельность. Боже, как стыдно за себя!

Скорее бы уже проходила зима! На душе зябко, тревожно и такое ощущение, будто я чем-то виноват в гибели Владаса…»

Чуть ниже запись такая:

«Сегодня в горкоме партии мне всыпали за отставание… (два или три слова расплылись, их невозможно разобрать). Хоть и обидно, а всыпали правильно. Я обязан был учесть, что местные плановики привыкли смотреть назад, а не вперед…»

3

В свертке не оказалось никаких записей, относящихся к весне и началу лета сорок первого года.

Я начинаю разбираться в листах из тетради.

Бумага — в клеточку. Почерк тот же самый — мелкий, убористый, четкий. А то вдруг размашистый и торопливый. Иногда можно подумать, что записи делали совершенно разные люди.

«Вот отчет о том, почему и как я остался в Каунасе. Здесь только правда и никакой попытки оправдаться. Записываю про это только потому, что хочу в случае… Нет, никаких случаев! Если он, такой случай, произойдет, с меня, как говорится, взятки будут гладки. Просто я и сам хочу разобраться, как все это произошло.

Первое и главное: учтите, что гитлеровцы прорвались к Каунасу в первые же дни. И все эти дни город зверски бомбили и вдобавок активно действовали местные бандиты из числа литовских националистов. А когда падают бомбы и почти из-за каждого угла тебе стреляют в спину, трудно требовать от себя четкой организованности. Я только этим могу объяснить, почему намеченная эвакуация завода, в которой я должен был участвовать, не была произведена. В нужный час не оказалось ни транспорта, ни рабочих для производства демонтажа оборудования. Потом поступил приказ взорвать завод.

В тот страшный вечер мы (я и четверо бойцов из рабочего отряда самообороны) тщетно ожида-

ли взрывчатки, которую должны были доставить на завод. Ее не доставили. Но, если бы это и произошло, вряд ли мы сумели бы взорвать завод — ведь ни один из нас не знал, как это делается. А прикрепленный к нам сапер еще днем был убит выстрелом с крыши дома напротив завода.

В полночь я решил при помощи короткого замыкания вывести из строя хотя бы моторы. Мы сожгли уже около десятка моторов, когда не стало электрического тока. Я не знал, был ли он выключен по всему городу или в нашем районе, а может, только на заводе. Решили искать трансформаторную будку. Но, как только вышли из цеха, напоролись или на бандитов, или на немецких парашютистов. Их было человек тридцать, не меньше, у них были автоматы. Завязалась перестрелка. Рабочий, бывший в нашей группе за старшего, приказал отходить к складским помещениям и через запасные ворота уходить в город. Отходили под непрерывным огнем, изредка отстреливались.

В городе темень. На первой же улице мы потеряли друг друга. Я не очень хорошо знал город и шел наугад, стараясь держаться восточного направления. То в одной, то в другой стороне слышалась стрельба, и я всякий раз направлялся

туда, откуда она доносилась, надеясь найти там своих. Но разобраться в темноте, кто стреляет, было невозможно, и я оставил эту затею.

Вскоре я вышел на какую-то маленькую площадь, в центре которой виднелся силуэт памятника. На площади стояли две немецкие танкетки и легковая автомашина.

Там громко разговаривали по-немецки. Я услышал следующие фразы:

— Город взят. Наши танки пошли на Вильнюс. Что будем делать?

— Пить кофе.

Провожаемый гоготом немцев, я прошмыгнул в тесный, как щель, переулок. Вскоре этот переулок вывел меня на довольно широкую улицу. Только я перебежал через нее, как слева послышался быстро нарастающий грохот — по улице на полном ходу промчалась немецкая механизированная артиллерийская часть. Впереди шла открытая легковая автомашина, над ней развевался белый штандарт со свастикой.

Опять крадусь по узким улочкам. Сердце немеет от страха. Что я буду делать, когда рассветет? Со всех сторон, как горы, темные притаившиеся дома. Кто там живет, за этими слепыми окнами? Что, если взять да зайти в подъезд, подняться

на самый верхний этаж (там всегда живут люди попроще и победнее) и постучаться в дверь? Неужели не помогут?

Оставляю это на самый крайний случай и иду дальше.

Вышел к Неману. Перед мостом — гудящая, горланящая каша из машин и людей. Голос, усиленный динамиком, по-немецки отдает приказы. Разбираю только отдельные слова. Ясно одно: пробраться через мост нельзя. Снова углубляюсь в город и иду параллельно Неману. Еще какая-то площадь. Тоже небольшая, и здесь тоже немцы. Они стояли кучками вокруг грузовиков, курили, громко разговаривали. Не выходя на площадь, я повернул назад.

Я заметил, что уже светает. Проклятый ранний июньский рассвет! Что делать? Остановился. Сердце билось в ребра. Владас Ничкус небось знал бы, что делать. Однажды он рассказывал мне, как приходилось ему скрываться от полиции в буржуазное время. Вдруг вспомнились его слова: «Всякий народ — народ. И в Литве, как везде, больше людей хороших, людей-тружеников, которые за нас».

И тогда я окончательно решил воспользоваться тем, что оставлял на самый крайний случай. На-

правился к подъезду ближайшего дома. Но, увы, парадный вход заперт. Я — к другому дому. Тоже заперт. В третий, четвертый, пятый… Наконец счастье — парадное открыто.

Поднимаюсь на пятый этаж, направо дверь с медной табличкой. Что на ней написано политовски — не понимаю, но вижу, что поверх фамилии выгравированы целых две строчки текста, наверное, какие-нибудь титулы владельца квартиры. Слева дверь, к которой кнопками приколота визитная карточка. Отколол ее и положил в карман. Зачем — не знаю. И позвонил.



Беспомощность моего положения усугублялась еще и тем, что в пистолете не было ни одного патрона. Если за дверью враги, они возьмут меня голыми руками.

Дверь приоткрылась тотчас, словно меня ожидали. Я начал что-то торопливо говорить по-русски, дверь захлопнулась. Тишина. Я уже хотел позвонить еще, но дверь снова приоткрылась.

— Кто вы есть? — тихо спросил по-русски мужской голос.

— Я русский инженер, не успел уехать. В городе немцы.

Дверь опять закрылась. Теперь я слышал, что за дверью шепчутся. Жду. Шептаться перестали. Гремит дверная цепочка. Дверь открывается.

— Войдите.

Так я попал в квартиру учителя математики Ионаса Шекайтиса. Что будет дальше, не знаю. Учитель напуган моим появлением до смерти. Пока разрешил мне пробыть в его квартире только этот день. Живет он вдвоем с женой, которая преподает на дому музыку. По внешнему виду она еврейка. Постелили мне на полу в малюсенькой комнатке возле кухни. Здесь я и делаю эту запись. Тетрадь дал мне хозяин. Чем кончится для меня этот день, не знаю».

Больше в тетради о первых днях войны ничего не записано.

4

Найти литовского учителя Ионаса Шекайтиса оказалось делом совсем не трудным. Пришлось только заехать в Вильнюс, навести необходимые справки и оттуда позвонить в Каунас. И я уже знал, что Ионас Шекайтис проводит летний отдых в городе Кретинга, неподалеку от знаменитого литовского курорта Паланга.

На исходе дня я уже въезжал в небольшой городок, раскинувшийся на крутых берегах реки Данге. Устроился в уютной гостинице, спрятавшейся в переулке возле городской площади, и, пока не стемнело, иду по сообщенному мне адресу.

Домик, где жил учитель, стоял на улице, круто спускавшейся мимо старого костела.

Ионасу Шекайтису лет шестьдесят. Высокий, худощавый. Вьющиеся седые волосы венчают крупную голову. Глаза голубые, но они словно выцвели. На нем рубашка из простой ткани, вышитая национальным орнаментом. На ногах порядком стоптанные тяжелые башмаки. Мы

знакомимся и садимся на скамеечку в палисаднике. Над нами хлопотливо шумят позолоченные закатом молодые березки. Я говорю ему о цели своего приезда и показываю листы из тетради с записью, которую вы только что прочли.

— О-о! Конечно, я знаю эту тетрадь! — восклицает учитель, взволнованно рассматривая страницы. — Да, да, это из тетради, которую я ему подарил в то утро.

— Расскажите мне все, что помните об этом человеке.

— С удовольствием… Сейчас… Мне нужно немного сосредоточиться… Все-таки давно это было.

Рассказ учителя Ионаса Шекайтиса

Он пришел к нам в ночь падения Каунаса. Пустили мы его не сразу. Откровенно признаюсь, я не хотел этого делать — мало ли что может случиться? Моя покойная жена была еврейка, и она острее понимала положение человека, вынужденного скрываться от гитлеровцев. И жена настояла на том, чтобы дать ему приют. Мы договорились, что он пробудет у нас только один день, а с темнотой уйдет.

Однако все вышло иначе. Он прожил у нас

около недели, и мы с женой приняли некоторое участие в устройстве его судьбы…

Это был совсем молодой человек, лет двадцати трех, не больше. Тонкое, интеллигентное и красивое лицо, нос прямой, чуть вздернутый, светлые волосы зачесаны назад. Рост средний, мне он был примерно по плечо. Он очень хорошо говорил по-немецки и по-английски. Сказал нам, что его зовут Владимир. Мы с женой звали его Вольдемар. Фамилии своей он не назвал.

Пока он спал, мы с женой все время говорили, скажу прямо — спорили о том, как с ним поступить. Жена уже тогда высказала мысль, что его надо скрыть на несколько дней, пока в городе не устоится новое положение. Радио беспрерывно сообщало о дальнейшем быстром продвижении немцев на восток. «Видишь, — говорила жена, — через два-три дня Каунас будет далеко от войны, все здесь утрясется, и тогда Вольдемар уйдет. А сейчас его могут схватить у нашего подъезда».

Удивительная женщина была моя жена! Ведь ей самой угрожала смертельная опасность. Хотя она, выходя за меня замуж, приняла католичество и по всем документам значилась литовкой, мог найтись мерзавец, который знал, что по крови она еврейка, и шепнуть об этом бандитам

Гитлера. Но такой уж был у нее характер — всю жизнь чужая беда была ей ближе своей.

К моменту, когда Вольдемар проснулся, мы с женой пришли к компромиссному соглашению — пусть беглец пробудет у нас три дня. Мы сказали ему об этом. Он покачал головой и ответил: «Большое вам спасибо, но я уйду, как только стемнеет. Я обязан пробиваться к своим»... Он попросил у меня бумагу. Я дал ему вот эту тетрадь, и он около часа что-то писал.

Вечером Вольдемар ушел. Жена дала ему две плитки шоколада. Я сунул ему свою шляпу — у него не было головного убора. Он очень сердечно попрощался с нами, поблагодарил и сказал:

— Никогда не забуду вас.

Его шаги давно затихли на лестнице, уже закрылась за ним парадная дверь, а мы с женой еще долго стояли у двери и прислушивались.

Легли спать, но уснуть не могли. От каждого звука на улице жена вздрагивала, вскакивала с постели и бежала к окну.

В половине третьего ночи раздался резкий звонок. Оба бежим к двери. Жена спрашивает:

— Кто там?

— Вольдемар. Откройте, пожалуйста.

Оказалось, что почти всю ночь он бродил вокруг

нашего дома. На перекрестках стояли патрули, и проскользнуть мимо них было невозможно. Он видел, как в квартале от нашего дома патруль застрелил женщину, не остановившуюся на его оклик. Потом Вольдемар наткнулся на группу немецких офицеров, и его спас оказавшийся рядом проходной двор.

Словом, он вернулся.

Моя жена сразу успокоилась, уложила Вольдемара спать и скоро заснула сама.

Целый день мы втроем обсуждали, как быть, и ничего придумать не могли. Одно было ясно: надо выждать. Решили, что для своих учеников жена объявится больной. Впрочем, кому в те дни было до музыки? Никто из учеников и не появлялся.

На третий день жители Каунаса узнали о новом порядке жизни. С вечера до утра выходить на улицу нельзя — комендантский час. В этот же день в нашей квартире заработал телефон, и жена немедленно этим воспользовалась. Мы узнали, что без особого документа от оккупантов покинуть город очень трудно. В этот день я впервые вышел из дому и отправился в свою школу. Там ни души. Решил пройтись по городу. Неподалеку от школы встретил одного нашего педагога. Еле узнал его. Всегда одевавшийся щеголевато, сей-

час он больше походил на бедного крестьянина.

Когда я его окликнул, он вздрогнул, и мне показалось, что он даже хотел убежать. Мы разговорились, но говорить-то, собственно, было не о чем. «Как здоровье?» — «Как здоровье супруги?» И вдруг я вспомнил, что этого учителя у нас все считали коммунистом. А он точно прочитал мои мысли и говорит:

— Надеюсь, коллега, что вы окажетесь порядочным человеком. Понимаете, что я имею в виду?

Я говорю, что понимаю и что он может на меня положиться, так как мой предмет математика, а не политика. Он пожал мне руку, помолчал и сказал:

— Черные времена у нас наступили.

Вдруг меня осенила мысль: «Вот кто может помочь Вольдемару!» И я, плюнув на всякую осторожность, рассказал своему коллеге обо всем, что произошло в нашем доме. Он посмотрел на меня как-то удивленно и сказал:

— Вы поступили правильно, а главное — хорошо.

Он обещал подумать, как помочь Вольдемару.

А на другой день он пришел к нам вместе с каким-то молодым человеком. Они поговорили с Вольдемаром, и вскоре все ушли. Вот, собственно,

и все…

5

Возвращаемся к листам из тетради, видимо, той, которую подарил Владимиру литовский учитель.

«Решено — буду вести дневник. Дядька Борис — так мы все неофициально зовем командира нашей группы — ворчит. Говорит, что мы не имеем права обрастать документами. А я все-таки буду вести дневник. Зачем? Хотя бы затем, чтобы когда-нибудь, потом, самому не сомневаться в том, что мне довелось пережить. Буду записывать, когда захочется, вот как сейчас….

Если бы кто-нибудь сказал мне месяц назад, что я стану подпольщиком, я расценил бы это как шутку. А я действительно подпольщик. Вхожу в боевую группу дядьки Бориса. Меня привели сюда два местных учителя. Нас семь человек: четверо русских, застрявших здесь так же, как и я, и три литовца, которые остались в городе по приказу партии. Все коммунисты. Один я комсомолец. Любой из шести моих боевых товарищей по возрасту мог быть мне отцом.

Вчера я выполнил первое боевое задание. Я еще полон впечатлений, мне хочется вспоминать. Вспоминать и рассказывать.

С приходом гитлеровцев здесь повылезло из щелей множество всякой сволочи. Смертельные враги советского строя, всякие таутинники и ляудинники, решили, что настало их время. Прежде всего они решили расправиться со всеми сторонниками советской власти. В их лице гестапо получило хорошо осведомленных доносчиков. Ведь многие из них в первый советский год прикинулись лояльными и жили среди нас. Теперь они усердно помогали гестапо уничтожать лучших сынов и дочерей литовского народа.

Особенно усердствовал один из них, которому гестаповцы дали прозвище «Непримиримый». Ходили слухи, что оккупанты собираются сделать его полицейским гаулейтером Литвы. Он был особо опасен потому, что в советское время под другой фамилией работал в одном из городских учреждений и был хорошо осведомлен об активистах нового строя. Наша боевая группа получила приказ подпольного центра уничтожить Непримиримого.

Почти месяц шло изучение обстановки. Непримиримый жил в особняке недалеко от центра

города. Пешком он не ходил, оккупанты предоставили ему машину. В поездках по городу его всегда сопровождали охранники гестапо. Особняк его выглядел, как учреждение — в окнах допоздна проглядывался свет, то и дело к подъезду подкатывали машины.

Выяснить даже только это стоило немалого труда, потому что гитлеровцы очень тщательно охраняли Непримиримого. Однако дядька Борис не унывал и говорил, что задание будет выполнено.

С помощью подпольного центра было установлено, что Непримиримый в подарок от оккупантов должен получить имение в Жемайтии. Дело это у него на мази, но должен приехать из Пруссии какой-то немец, который, как наследник давнего владельца тех земель, тоже претендует на это имение. Гитлеровцы обещали Непримиримому уладить это дело полюбовно, отведя наследнику более богатые владения. Но немец что-то не ехал. Непримиримый нервничал. Вот эту ситуацию и решено было использовать…

В течение недели разрабатывался детальнейший план, который предусматривал несколько вариантов хода операции, в зависимости от обстановки. Каждый вариант мы подолгу ре-

петировали, как в театре. Роль исполнителя выпала мне, как хорошо говорящему по-немецки и внешне похожему на немца. Я должен стать управляющим хозяйством наследного претендента на имение, обещанное Непримиримому. От подпольного центра были получены соответствующие документы.

Я изучил все, что было связано с той местностью, где находилось имение, снившееся Непримиримому. Запомнил генеалогию семьи немца, которая некогда владела тем имением. Имена дедушек, бабушек, теток и дядек я выучил на память, как стихи.

Схема моих действий такова: я появляюсь в городе вечером и будто бы прямо с дороги направляюсь в особняк Непримиримого. Я тороплюсь, потому что имею задание хозяина в кратчайший срок выяснить ситуацию с получением им родового имения. Предполагалось, что Непримиримый предложит мне новое, другое имение. Решение этого вопроса откладывается на завтра, так как я всего-навсего управляющий и мне нужно снестись с хозяином. Я возвращаюсь в отель, но предварительно незаметно оставляю в особняке портфель с миной замедленного действия. Где и как я суну свой портфель, заранее не

знаю. Мина должна сработать вскоре после моего ухода. Поэтому я должен бдительно следить за временем, ибо срок взрыва я сам изменить уже не смогу.

При обсуждении плана моих действий выдвигались самые различные и самые неожиданные положения и соответственно придумывались контрмеры. И это тоже репетировалось в лицах. Наконец, для меня были добыты вполне достоверный костюм и летнее пальто.

Накануне операции дядька Борис вызвал меня для разговора с глазу на глаз.

— Есть ли у тебя какие-нибудь сомнения? — спросил он, смотря мне в глаза.

Я ответил, что никаких сомнений нет. Тогда он сказал:

— Наш план вроде неплох, но надо помнить, что эти гады тоже не дураки. Может случиться осечка. Если осечка, стреляй в палача из пистолета, но, если увидишь, что дело твое плохо… — Он замолчал на секунду, а потом, не сводя с меня глаз, тихо сказал: — Тогда знаешь, что делать?

— Знаю, — твердо ответил я.

И я действительно понимал, о чем он спрашивает. Но дядька Борис, видимо, решил поставить все точки над «и».

— Тогда, Володя, живым в руки даваться нельзя, — глухо сказал он.

— Ясно.

И вот настал день операции. Настроение у меня было приподнятое. Почему-то я был уверен, что все сойдет хорошо. И клянусь — не испытывал никакого страха. Беспокоился только об одном: а вдруг Непримиримого не окажется дома и я не смогу оставить у него портфель? Ведь тогда придется все начинать сначала…

Сейчас, уже после операции, я сам хочу разобраться в себе и понять, почему не было страха. То есть легкое дрожание души, конечно, было, но чтобы страх, да еще такой, от которого млеет все тело, — этого не было.

Помню, как в недавние студенческие времена я на пари взялся съехать на лыжах с трамплина на Воробьевых горах. Когда я поднялся на вышку и стал на лыжи, у меня от страха подгибались ноги. Как я тогда не сломал себе шею, не знаю. Во всяком случае, я метров сто катился по земле, как мешок, и потом мне не раз снилась та чертова вышка и я просыпался в холодном поту.

А тут страха не было. В чем же секрет моей храбрости? Мне кажется, я знаю, в чем. Во-первых, мне надо было пережить ту первую ночь,

когда я, как затравленный гончими заяц, петлял по ночному городу, шарахаясь от каждой тени. Трудно передать словами, какой унизительный страх переживал я тогда, как был беспомощен. Этого человек себе не прощает, не имеет права прощать. И тем глубже почувствовал я свое предназначение человека, а не зайца, когда попал к людям, которые стали моими боевыми товарищами. Они помогли мне научиться думать о жизни.

Ты, мой сверстник, думал когда-нибудь о такой, например, очень простой вещи? Для того чтобы советская власть могла дать тебе все то, что ты имеешь, должна была случиться Октябрьская революция. А до того Ленина и его боевых соратников травила полиция, их зашвыривали в ссылки, их пытали, многих казнили. А потом тысячи и тысячи людей, которые, как все, любили жизнь, погибли в гражданскую войну. И все это для того, чтобы ты жил без забот, на пари прыгал с трамплина, получал стипендию и тратил ее на мороженое девчонкам. Да я же сам, услышав это год назад, сказал бы: «Опять эта скучная агитация!»

Как мне стыдно вспомнить сейчас один эпизод из студенческой жизни! К нам в институт приехал поделиться воспоминаниями старый

большевик. Было это после лекций, и никто не хотел оставаться. Наш комсомольский вожак Петя Рыбчак в гардеробе хватал нас за рукава, а мы отбивались. Как стыдно вспоминать об этом!..

Пишу все это я довольно бессвязно. Мне легче было бы сказать это живому человеку, смотря ему в глаза. И я знаю, если этот человек не гнилой пень, он все понял бы и сказал: «Я верю тебе. С тобой произошла, в общем, простая вещь — ты немного поумнел»...

А теперь про операцию.

Соответственно одетый, с портфелем в руках я вечером покинул главную квартиру нашей боевой группы. Товарищи попрощались со мной просто, даже небрежно. Стась, который во время операции будет находиться поблизости от особняка Непримиримого, ушел на свой пост еще раньше. Прощаясь, он весело сказал мне: «Ночью увидимся», — будто на прогулку пошел. А сейчас он уже притаился в развалинах дома напротив. В случае, если в особняке вспыхнет заваруха, он должен открыть отвлекающий огонь. Конечно, лучше будет, если он останется без дела.

Иду по вечерней улице подчеркнуто открыто. Никого и ничего не боится управляющий, хозяин которого близко знаком с самим Герингом и ез-

дит с ним на охоту в Беловежскую пущу.

Подхожу к перекрестку. На углу стоят два солдата. Подсвечиваю фонариком табличку с названием улицы, громко по-немецки поминаю черта и иду прямо к солдатам.

— Добрый вечер, солдаты Германии!

— Добрый вечер, — отвечают они.

— Вы не скажете мне, где в этом темном царстве Школьная улица?

Солдаты смеются.

— Мы сами в этом царстве только со вчерашнего дня, — говорит один.

— Надо спросить у местных, — добавляет другой.

— У местных? — Теперь смеюсь я. — Вы же загнали их в норы. В отеле мне объяснили, как идти, а я что-то запутался. Но, увы, ничего не поделаешь, надо идти. Служба Германии — первое дело, и бог знает, куда идет каждый человек. (Эту пословицу я вычитал в немецком календаре.)

— Так то бог, а не вы, — смеется солдат.

Чуть поднимаю руку и небрежно бросаю:

— Хайль Гитлер!

Стукнули четыре каблука:

— Хайль, хайль, хайль!

Иду дальше. Слышу, как переговариваются

позади меня солдаты. Может быть, у них возник спор о том, нужно или не нужно было проверить мои документы. Иду медленно. Нет, солдаты меня не окликают.

В начале Школьной улицы меня останавливает патруль. Только мигнул лучик моего фонаря, раздался строгий возглас:

— Погасить огонь! Стой!

Подходят трое: два солдата и очень молоденький лейтенант. Фонариком, спрятанным в рукаве плаща, он освещает мое лицо:

— Что вы здесь делаете?

— Ищу вас.

— Нас? Зачем? — Лейтенант озадачен.

— Наконец поможет кто-нибудь найти нужный мне дом. — Я вынимаю из кармана бумажку с адресом: — Посветите, пожалуйста…

Лейтенантик быстро освещает бумажку, но смотрит на меня…

— Школьная улица, семнадцать, — читаю я. — Где это? У скольких патрулей спрашивал, никто не знает. Такое впечатление, что наша армия взяла город, но никто в армии ничего не знает о том, что мы взяли.

— Прошу ваши документы, — хоть и строго, но весьма почтительно произносит лейтенант.

— Пожалуйста, — говорю я чуть раздраженно.

Лейтенант освещает фонариком мою бумагу, увенчанную гербовым орлом и прочими канцелярскими знаками, долженствующими вызывать уважение у всякого добропорядочного немца.

— Вы только что приехали? — спрашивает лейтенант.

Я уже сержусь:

— Из Кенигсберга летел сюда один час, а здесь три часа не могу добраться до цели!

Лейтенант аккуратно складывает и возвращает мне бумагу.

— Идите вот так. Машина «Оппель-адмирал» стоит как раз у дома, который вам нужен.

— Какая машина? — раздраженно спрашиваю я.

— Дежурная.

— Значит, есть же машины! — Я уже разозлен не на шутку. — Но машины стоят, а те, кому нужно на них ездить, вынуждены блуждать по темному городу.

— Это вне моей компетенции. — Лейтенант приложил руку к козырьку: — Тут не больше двухсот шагов.

Подхожу к особняку Непримиримого. Из «Оппель-адмирала» меня рассматривают какие-то

люди. Даже стекло опустили, чтобы лучше видеть. Прохожу с достоинством, не позволяющим повернуть голову. Поднимаюсь на крыльцо особняка и решительно нажимаю кнопку звонка. Не отпускаю ее секунд пять. Гремят и звякают запоры. Дверь открывается. Передо мной человек огромного роста. Спрашивает на плохом немецком языке:

— Кто вам нужен?

Называю свои нареченные имя и должность и говорю, кого я хочу видеть.

— Одну минуту…

Дверь закрывается, но через минуту распахивается настежь:

— Пожалуйста, входите.

С толком, с расстановкой снимаю в передней пальто, тщательно причесываюсь перед зеркалом. Человек огромного роста нетерпеливо ждет, переминаясь с ноги на ногу. Затем он распахивает передо мной дверь, что справа, и я прохожу через большую пустую комнату. Человек забегает вперед и распахивает передо мной следующую дверь. Я вхожу в ярко освещенную комнату, очевидно — столовую. За овальным столом друг против друга сидят тучный мужчина и еще более тучная женщина. При моем появлении они оба

встают.

— Здравствуйте, долгожданный гость, — приторно улыбаясь, произносит по-немецки мужчина и, протягивая мне руку, называет свое имя.

Это Непримиримый. Рука у него пухлая, сырая. Он представляет мне супругу. Я целую ей руку. Она смотрит на меня настороженно…

Сажусь за стол рядом с Непримиримым. Не спеша достаю из портфеля великолепный бумажник, на котором сияет золотая монограмма. Портфель опускаю на пол, возле своего стула. Из бумажника вынимаю бумагу и протягиваю ее Непримиримому.

— Прошу ознакомиться с доверенностью, данной мне доктором Гернгроссом на ведение здешних его дел.

Увы, бланка прусского помещика подпольный центр не имел, доверенность была напечатана на гербовой бумаге, и, хотя выглядела она вполне достоверно, я не без тревоги наблюдал, как Непримиримый читал ее. Делал он это очень внимательно, вертя бумагу и так и эдак. Он прочитал даже круговые тексты двух печатей. Затем он вернул доверенность мне. Лицо его стало непроницаемым.

— Слушаю вас, — сухо произнес он.

— Прежде всего вопрос: на каком юридическом основании вы претендуете на имение «Три озера»?

Его сизые щеки порозовели.

— Юридические основания бывают разные, — помолчав, ответил он. — Весь вопрос в том, какие из них следует считать наиболее объективными и жизненными.

Молчу. Обдумываю, как бы покороче повернуть разговор. Во-первых, регламент разговора ограничен сроком, на который поставлен часовой механизм мины, и мне абсолютно ни к чему дожидаться, пока наш юридический спор оборвет взрыв. Во-вторых, в разговоре опасно появление деталей, о которых я могу ничего не знать и вызвать этим подозрение.

Непримиримый расценил мое молчание как ожидание, что он шире разовьет свою мысль.

— Наследственные права переживают в наши дни существенные изменения, — заговорил он, постепенно ожесточаясь. — На «Трех озерах» давно забыт не только герб Гернгросса, но и он сам. Мой дядя и отец с незапамятных времен — арендаторы этой земли. Их пóтом эта земля смочена, их руками выхолена. И это не юридический казус, скрепленный какой-то бумажкой

столетней давности. Это жизненная реальность. А великий фюрер Германии — образец реалистического мышления. И мне неизвестно, каково его официальное решение о балтийских землях. — Он замолчал, барабаня по столу мясистыми пальцами, и смотрел на меня так, точно спрашивал: «Съел пилюлю? Ты думал, я орешек, а я камешек».

В конце концов, зачем мне было его дразнить? Я сделал вид, что обдумываю решение, и потом спокойно сказал:

— Мне непонятно, почему в наш деловой разговор сразу примешалось раздражение. Мой хозяин послал меня сюда прежде всего за получением полной и объективной информации по интересующему его вопросу. Я уверен, что у него, как и у меня, вызовет уважение тот факт, что ваша семья столько лет трудилась на его земле. И нам нет никакого смысла углубляться в абстрактный спор о праве собственности. Я бы хотел узнать от вас, что представляют собой те земли, которые предполагают выделить доктору Гернгроссу взамен «Трех озер».

Непримиримый мгновенно оживился:

— Это несколько южнее «Трех озер», и там земля гораздо лучше освоена. Если бы не традиции

семьи, я без разговора взял бы то хозяйство.

— Завтра я туда съезжу.

Я посмотрел на часы — взрыв через двадцать минут. В моем распоряжении оставалось не более пятнадцати минут. Супруга Непримиримого, в течение всего разговора сидевшая неподвижно, как изваяние, теперь зашевелилась:

— Кофе не хотите?

— Спасибо, никогда не пью кофе на ночь.

— Может, хотите закусить?

Я встал:

— Благодарю вас. Мне кажется, всем давно пора спать. Я и так вел себя невежливо, ринувшись к вам прямо с дороги, не считаясь со временем. Но я раб своей службы, а доктор Гернгросс не любит, когда его служащие медлят с делом.

— У дома стоит дежурная машина, она отвезет вас в отель, — вдруг заявляет хозяин.

Вот так номер! Молниеносно соображаю, что отказываться нельзя. Ясно одно — мне надо торопиться, чтобы успеть выйти из машины до взрыва.

— Спасибо, а то, пока я к вам добирался, мне пришлось перезнакомиться со всей армией рейха.

Непримиримый рассмеялся:

— Порядок, слава богу, наведен.

— Это действительно так? — обеспокоенно спрашиваю я. — Ведь у нас ходят всякие слухи о диверсиях коммунистов.

— Не без этого, конечно. — Непримиримый смотрит на меня, как матерый профессор на зеленого студента. — Война есть война. Но мы здесь тоже не дремлем и знаем, как отблагодарить фюрера за освобождение. Можете быть уверены, порядок здесь будет образцовый.

— Да, главное — порядок, — говорю я, протягивая ему руку. — Могу ли я повидать вас после поездки?

Он засмеялся:

— Как ни верти, а придется дело закончить. До свидания.

Прощаюсь с его супругой, и мы выходим в переднюю. Непримиримый идет куда-то отдавать распоряжение о машине. Верзила, который меня встречал, сопит за моей спиной.

Непримиримый возвращается:

— Можете ехать.

Еще одно рукопожатие. Перекладываю портфель в правую руку и прикрываю его наброшенным на руку пальто. Верзила идет к двери рядом со мной. Душа холодеет от мысли, что я не смогу

незаметно оставить портфель. А я-то думал, что это самое простое.

Верзила открывает дверь и ждет, пока я пройду мимо него. Еще одна беда: когда я входил, свет в тамбуре не горел, а теперь его освещает яркая лампочка. Неужели катастрофа?

В правой нише тамбура стоит стремянка, на которую наброшен коврик. Все это я вижу в десятую долю секунды. Меня спасает вымуштрованность верзилы. Распахнув вторую дверь, он бежит вперед, чтобы открыть мне дверцу автомобиля. Я сую портфель за стремянку. Секунда, и я уже иду к машине. Верзила захлопывает дверцу автомобиля и скрывается в особняке. Стукнула дверь, свет в тамбуре погас. Все в порядке.

Машина трогается, круто разворачивается и мчится по темной улице. Я сижу сзади. Впереди рядом с шофером какой-то тип в пилотке. Когда подъехали к отелю, он выскочил и раскрыл передо мной дверцу. Я вышел. Машина тут же сорвалась с места и исчезла в темноте.

Стою и думаю: заходить в отель или нет? А вдруг за мной сейчас наблюдают? Все же решаю в отель не заходить. Смотрю на часы — через семь минут взрыв. До потайной квартиры, куда мне надлежало явиться, идти не больше десяти

минут.

Медленной походкой человека, прогуливающегося на сон грядущий, я пошел по тротуару вдоль отеля. Из-за угла вынырнул часовой.

— Стой! Документы!

— Пожалуйста.

Подсвечивая фонариком, часовой медленно читает мою бумагу с орлом и печатями. В это время слышится взрыв. Он похож на рокот грома. Я вздрагиваю. Часовой смеется:

— Не привыкли? Война есть война. Идите.

Мне почему-то смешно. Именно эти слова «Война есть война» я так недавно слышал от Непримиримого, которого сейчас, надо думать, уже нет в живых.

Вот и все. Около трех часов ночи на потайную квартиру явился Стась. Он рассказал, что взрывом разнесло весь фасад и правую часть особняка. Крыша и потолок обвалились, и тотчас начался пожар. Он до сих пор не потушен. Нельзя и думать, что в доме кто-нибудь уцелел.

Через день мы уже знали точно, что Непримиримый погиб, а его супруга скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Теперь мне хочется…»

На этом запись обрывается.

6

По всем данным, следующим по времени материалом нужно считать две тетрадные странички, мелко и небрежно исписанные с обеих сторон. По всей вероятности, это черновик заявления или объяснительной записки. Кому заявление адресовалось, неизвестно, так как начала черновика нет. Но оно явно было; была, очевидно, еще одна страничка, так как текст, который сохранился, начинается с перенесенного слова. Можно предположить, что Владимир писал это или командиру, или секретарю партийной организации партизанского отряда, в котором он оказался к первой военной зиме.

Текст привожу полностью и только для удобства чтения расшифровываю многие слова, записанные Владимиром сокращенно.

«…мированы, но у меня есть все основания думать, что вы информированы неточно. В связи с этим считаю своим долгом честно, ничего не утаивая, сообщить вам, как было дело.

После удачно выполненного задания по ликвидации предателя литовского народа (взрыв

особняка) мне была объявлена благодарность, и, как я понимал, эта благодарность была от подпольного центра. Потом я долгое время трудных заданий не получал. Я не раз говорил об этом руководителю нашей группы, но он или отшучивался: «Каждому овощу свое время», или туманно обещал: «Жди, твой час придет».

Я, естественно, нервничал. Вкусив сладость настоящей борьбы, я рвался к новым боевым делам, и нет ничего странного, что об этом я часто говорил в группе. Именно на этом, очевидно, и основано обвинение меня в «хвастливой болтовне, создавшей в группе опасное настроение шапкозакидательства».

Теперь — о главном. О будто бы совершенной мной расшифровке нашей группы. Я повторяю то, что я говорил на собрании группы и здесь. Никакой расшифровки не произошло.

Что же было на самом деле? Наша группа должна была испортить рождественский вечер гитлеровским офицерам в их штабном клубе. Операцию начали готовить в первых числах декабря.

Мне было поручено изучить обстановку в районе клуба. Обстановка там не радовала. Клуб был расположен в центре города, и возле него до позд-

ней ночи толпилось офицерье. У подъезда и по углам здания круглосуточно стояли патрули солдат и дежурных офицеров. Парадный зал клуба находился на третьем этаже. Забросить туда гранату было почти невозможно. Проникновение в клуб исключалось. Обещание центра установить связь с какими-то людьми из обслуживающего персонала клуба пока оставалось обещанием. Все нервничали. И вот именно в этой нервной атмосфере и произошел со мной случай, который послужил основанием для тяжкого обвинения меня в расшифровке нашей группы.

Прежде всего, это действительно случай. Судите сами…

Утром я вел наблюдение за офицерским клубом. Шел по противоположной стороне улицы и нос к носу столкнулся с девушкой, которую я знал до войны, когда она работала стенографисткой в горисполкоме. Она мне нравилась, мы с ней встречались, ходили в кино, на концерты. Звали ее Марите. Она из семьи рабочего-железнодорожника. Я дважды бывал у них в доме — это честная, трудовая семья.

И вот, представьте себе, я сталкиваюсь с ней теперь, первый раз вижу ее после начала войны. До этого я вспоминал о ней и думал о том, что

могу с ней встретиться. Но, когда это случилось, я растерялся. Мне надо было сделать вид, что я ее не знаю, пройти мимо. Но встреча так поразила, так обрадовала меня, что я поступил иначе.

Мы поздоровались и прошли в садик, где сели на скамейку. Я стал ее расспрашивать, как она живет, что делает. Она стала рассказывать о себе. Сообщила, что нигде не работает, что ее отца выгнали из депо, в семье работает только один ее брат, который служит на почте. В деревне живет сестра матери, она помогает им продуктами. Я ждал, когда она спросит, что делаю я, и лихорадочно придумывал, как ей ответить. Вдруг она прервала свой рассказ, со страхом посмотрела на меня, оглянулась по сторонам и спросила:

— А как это вы… здесь?



Я так и не успел придумать, что сказать, и начал плести, что пришло в голову. Она прервала меня:

— Мне кажется, я все понимаю. — Она встала со скамейки и прибавила: — Если будет нужно, заходите к нам домой, у нас спокойно. — И она ушла.

Я подождал, пока она скрылась за углом дома, и затем сложным маршрутом, на каждом перекрестке проверяя, нет ли у меня за спиной шпика, вернулся в группу и тотчас сам рассказал все, что произошло. Я прекрасно понимал, что это «чепе», но никак не мог подумать, что оно такой сверхчрезвычайности и что мне будут предъявлены столь тяжелые обвинения. На крайний случай нужно было удалить меня из города, и все. Собственно, так и было сделано. Но, оказывается, на этом дело мое не прекратилось.

Я, конечно, не знаю всех законов подполья, но и они, эти законы, должны подчиняться логике. Группа не расшифрована, я за свою неосторожность сурово наказан уже тем, что удален из группы, где я так хорошо начал действовать. Ан нет. На меня возводится и, как тень, за мной следует обвинение в том, чего на самом деле не произошло, а это выводит меня из строя как бойца. Я же прекрасно вижу, что командование

отряда в опасные операции меня не назначает. Сам я так чувствую себя, что мне неловко смотреть в глаза товарищам. В таком состоянии идти на серьезное дело, конечно, недопустимо. Но теперь отклонено мое заявление о приеме меня в кандидаты ВКП(б). Я, видите ли, должен показать себя в бою и кровью завоевать доверие. Но, во-первых, меня к настоящему бою не допускают, во-вторых, если мне официально отказано в доверии, меня нельзя вообще держать в отряде. В заявлении я написал все. Прием в кандидаты ВКП(б) означал бы для меня доверие на всю мою жизнь, доверие, которое я готов оплатить своей кровью и даже жизнью. Я прошу поэтому вернуться к моему заявлению и пересмотреть решение. Иначе я не вижу для себя ни возможности, ни права жить и оставаться среди вас…»

Было ли что-нибудь сделано по этому заявлению Владимира, неизвестно. Между тем история эта необычайно интересна. Понял ли в конце концов Владимир тот урок, который давали ему старшие товарищи, или обида окончательно ослепила его? Наконец, какая связь между этой историей и тем, что произошло с Владимиром позже? Нельзя ли найти кого-нибудь из партизанского отряда, где Владимир переживал эту

свою трагедию?

Я начал поиски. Долгое время не было никаких результатов. На письма, которые я рассылал в разные концы страны, отозвались около десяти бывших партизан, но ни один из них ничего о Владимире не знал.

И вдруг на помощь мне пришел совершенно неожиданный человек — мой давний автомобильный механик и друг Эдуард Борисович.

Как-то вечером он позвонил мне по телефону:

— До сих пор вам нужна была моя помощь, а теперь я обращаюсь к вам за помощью.

Речь шла о том, чтобы я помог ему отредактировать письмо группы бывших партизан в Моссовет по поводу улучшения жилищного положения одного из их товарищей, инвалида, живущего в тяжелых условиях.

На другой день Эдуард Борисович приехал ко мне. Я отметил про себя скромность автомеханика. Ведь если бы не эта история с письмом в Моссовет, я, наверное, так бы никогда и не узнал, что он во время войны был бойцом диверсионной группы, действовавшей во вражеском тылу на границе Белоруссии и Литвы.

Теперь, когда я об этом узнал, я начал расспрашивать его, как он воевал. Рассказывая об одной

диверсионной операции в районе Ново-Вилейки, он, между прочим, уточнил, что эта операция проводилась совместно с действовавшим там партизанским отрядом, и ему запомнился один партизан — молодой москвич, инженер по мирной профессии. Он был бойцом легендарной храбрости и в этом бою погиб.

Я сразу насторожился, но нарочно небрежно спросил, не помнит ли Эдуард Борисович, как звали этого молодого москвича.

— Володя.

Фамилии его Эдуард Борисович не знал.

— Какой он был из себя?

— Блондин, очень симпатичный, — уверенно ответил автомеханик. — Но горяч до крайности. Это его и погубило.

— А что с ним произошло?

— Я сам не видел, но ребята говорили, что он зарвался в рукопашной.

В эту минуту я уже был почему-то уверен, что речь идет о моем герое. Точнее сказать, мне так хотелось быть уверенным, что я уже не мог подвергать это сомнению.

Эдуард Борисович вспомнил, что группой партизан, в которой был Володя, командовал человек со смешной, очевидно украинской, фамилией

— Сутолока.

7

Сутолоку я разыскивал в течение месяца. Всесоюзная справочная служба дала мне сведения о четырех Сутолоках. Всем им я послал письма. И первый же полученный мною ответ был именно от того Сутолоки, который мне нужен. Да, он партизанил в тех местах. Да, он помнит моего Эдуарда Борисовича — тогда бойца диверсионной группы.

Но самым драгоценным доказательством того, что именно этот Сутолока может сильно помочь мне, было его имя и отчество — Михаил Карпович. Дело в том, что это имя и отчество встречается в дальнейших записях Владимира. И по всему видно, что этот человек глубоко запал в его сердце. А это означало неоценимое — они хорошо знали друг друга.

Авиапочтой гоню письмо Михаилу Карповичу Сутолоке — как и где мы можем встретиться?

«В самое ближайшее время, — ответил он, — я собираюсь в Москву в командировку».

Спустя недели две я получил от него телеграмму, в которой он сообщил о дне своего приезда.

Ранним утром я встречал его на Казанском вокзале.

Из указанного в телеграмме седьмого вагона выходили уже последние пассажиры. Всем мужчинам заглядываю в глаза, давая понять, что я жду любого из них. Но они отвечали мне недоуменными взглядами. И вдруг кто-то тронул меня за плечо. Оборачиваюсь — передо мной стоит седой, сутулый мужчина лет шестидесяти. Я видел, как он одним из первых вышел из вагона, но мне и в голову не пришло, что это и есть Михаил Карпович Сутолока.

Часом позже мы уже сидели в комнате одной из гостиниц ВСХВ во Владыкине. Комната была на четверых, но остальные три кровати пустовали.

Именно это обстоятельство вывело Михаила Карповича из себя:

— Черт, что делается! — возмущался он. — Так трудно, так трудно попасть на выставку, а тут смотри свободные койки. До чего же любят у нас иногда искусственно создавать затруднения! Я хотел взять с собой племянника — так нельзя, нет свободных мест! А койки вон пустые стоят! Ну, разве не чертяки безрукие? А? — Он замолчал.

Я воспользовался этим и заговорил о том, что меня интересовало.

Он выслушал меня и сказал:

— Это факт. В приданной мне на ту операцию группе был инженер из Москвы, по имени Володя. Фамилии его я не знал. В партизанском быту как-то так складывалось, что одного звали только по фамилии, а другого по имени. Это факт. Верно и то, что он был совсем молодой человек. Но, помнится, судьба у него была сложная.

Рассказ Михаила Карповича Сутолоки

Было это аккурат под самый Новый год. Стало быть, под сорок второй. Получаю я приказ подобрать по своему усмотрению парочку людей и ночью пойти на железнодорожный разъезд. Там с дрезины будет высажен человек, которого мы должны привести в отряд. Я решил, что едет к нам связной. За осень я уже два раза так доставлял их в отряд.

Ну что же, в полночь мы уже были на месте и укрылись в кустарнике у полотна. Около часа ночи, как и было условлено, подходит дрезина, и с нее спрыгивает человек. Дрезина уходит дальше в сторону Ново-Вилейки, а человек стоит, озирается по сторонам. Мы ни гугу! Ждем условного сигнала: человек должен фонариком сделать движение снизу вверх. И, когда он этот сигнал

подал, мы к нему подошли.

Смотрю — совсем молодой парень и одет больно легко, совсем не для лесной зимы. А идти нам километров десять. Я думаю: идти придется поживее, а то он застынет. И мы сразу взяли активный шаг. Вижу, гость не выдерживает, аж пар от него идет. Видно, что человек городской и к ходьбе где попало неприученный. Пришлось активность посбавить. Тогда нашего гостя в холод кинуло, даже брови у него инеем покрылись. Дал я ему свою шапку, а у него взял шляпу, напялил ее на свою голову и сверху шарфом обкрутил. И вот, пока мы менялись головными уборами, я узнал, что его зовут Володя. Откуда и зачем к нам пожаловал, он не говорил. Обижаться на это не приходилось, в нашем деле секрет шел вровень с оружием.

Привели мы его в отряд, прямо в землянку командира. Я зашел туда вместе с ним. Командиром у нас в то время был Никифоров, майор из окруженцев, мы его в сорок третьем году в бою потеряли. Хороший был человек — обстоятельный, спокойный, а в бою так прямо полный генерал…

Ну вот, здоровается, значит, Никифоров с гостем и усаживает его к печке. Оттаял Володя немного и говорит:

— Мне приказано доложить так: послан к вам в отряд по приказу подпольного центра. А подробности получите не от меня.

Сказал он это не просто, а вроде как с подковыркой.

Никифоров зорко так посмотрел на него и спрашивает:

— Проштрафился?

Володя опустил голову:

— Возможно, что и так, — отвечает, — не знаю.

Тогда Никифоров перевел разговор на разные другие темы. Как, мол, там жизнь — в городе, сильно ли лютуют гитлеровцы над населением, и всякое такое прочее.

Володя отвечал кратко, было видно, что он разговаривать не хочет.

Тогда Никифоров обращается ко мне и спрашивает:

— У тебя, кажется, есть место в землянке? Возьми к себе этого товарища…

Так вот Володя и поселился в моей землянке. Неделю, если не больше, жил он у нас, как командированный: спит, ест — и вся работа. Так, о чем-нибудь потустороннем скажем, о том, какой город лучше: Москва или Ленинград, — он с нами еще разговаривает, а как возьмешь что-нибудь

поближе к делу — отмалчивается. Я сразу сообразил, что у парня на душе камень, и подумал, что командир наш, наверное, в воду глядел — ясно, парень проштрафился. Так оно впоследствии и подтвердилось.

Позже собирает командир отряд по боевым вопросам, а в конце объявляет, что к нам поступил новый боец, что зовут его Володя и вот он. Но добавляет, что боец он, с одной стороны, с подпольным опытом, а с другой стороны, совершил проступок, за который его, несмотря на опыт, из подполья отчислили. «Конечно, — говорит дальше командир, — никто этот факт не должен понимать так, что служба в нашем отряде ему вроде как бы наказание. Сделано это из соображений тактики: воевал человек в подполье, а теперь нужно ему повоевать у нас».

…Отряд у нас был небольшой, мы главным образом диверсиями занимались. Каждый боец был на виду, и про каждого мы знали всю его подноготную. И поэтому нашим товарищам пришлось не по душе, что командир о новом бойце вроде чего-то не договаривал. И вот, на этом сборе встает мой ближайший помощник, подрывник Леша; он с тем Володей был, наверное, однолеток. Встает и спрашивает:

— Почему нам не говорят, что за проступок был у нашего нового бойца? Мне, может быть, придется вдвоем с ним на задание идти, и я должен точно знать, на что он способен и чего от него можно ожидать.

Володя хотел ответить сам, он даже встал. Но командир сделал ему знак, дескать, сиди, я отвечу. И говорит так:

— Подпольная организация в большом городе — это сложное и тонкое дело. Проступок, который совершил наш новый боец, происходит не от трусости или от чего-нибудь в этом же роде. Просто им была допущена тактическая ошибка, а в подполье самая малая ошибка может обойтись большой кровью.

— Понимай так: его ошибка стоила крови товарищей? — спрашивает отрядный фельдшер Голубев. Он, между прочим, всегда страшно переживал каждую потерю.

— Нет, — отвечает Никифоров, — этого, к счастью, не случилось.

— Конечно, нет, и вообще ничего не случилось! — крикнул Володя, а сам весь красный стал.

— Хватит об этом! — строго приказал Никифоров. — Разойтись!

Вернулись мы в свою землянку. Володя сильно

нервничал. Сел на нары и качается, будто у него зубы болят. Я молчу, растапливаю печурку. Вдруг он спрашивает:

— Бывают ли, Михаил Карпович, люди, которые никогда не совершают ошибок?

Мне что-то от такого вопроса стало смешно.

— Нет, вы не смейтесь, — говорит Володя, — я серьезно спрашиваю.

Тогда я ему тоже серьезно отвечаю, что, мол, все дело в том, как в человеке та ошибка сказывается, не перевешивает ли, не тянет ли чашу до самой земли. Но такого человека, который ни разу не ошибался, нет и не может быть. Даже швейцарские часы и те другой раз дают оплошку, а они ведь стальной механизм, без всякой души.

Володя выслушал меня, а потом спрашивает:

— Но разве обязательно человека за ошибку так гнуть к земле, что он неба не видит? Ведь так недолго и сломаться.

Я ему на это заметил, что ошибка может быть и такая, что за нее человека и к стенке поставят.

— Это я понимаю, — говорит он. — Ну, а если ошибка совсем не такая? Если от нее только та беда и приключилась, что меня сюда отослали?

На это я ему говорю так: вопрос, дескать, сложный и счет последствий тоже сложный, надо

знать, что бы ты мог хорошего сделать, кабы остался там. И тогда за то не сделанное и надо тебя судить. А как это узнаешь?

Вот так начался у нас с Володей тот памятный для меня разговор. Почему памятный? Сейчас расскажу…

Сам я происхожу из шахтерской семьи, из Донбасса. Успел поклевать уголек отбойным молотком. Потом пошел на действительную в армию как раз во время бурной коллективизации. Попал в саперы. Там народ вокруг подобрался больше крестьянский, но были и такие, как я, рабочие ребята. Так вот, с рабочими ребятами мне было складно во всем, я их видел как на ладони, с полуслова понимал, а вот с деревенскими было потруднее — чтобы понять всю их душевную сторону, еле хватило моей армейской службы. Но все же разобрался. Понял главное: их душу собственность скашивает. У Ленина про то сказано. Мужик — собственник по душе и по природе, и это надо из него выбивать путем коллективной жизни. А рабочему этого не надо, он с малолетства в коллективе выращивается. Это факт. Значит, так: рабочую жизнь я знал, крестьянскую понял немного в армии. И думал, что теперь я специалист по всему нашему народу. Когда я пришел с

военной службы, попал на профсоюзную работу в шахтком. Тут доводилось мне иметь дело и с инженерно-техническим персоналом. Ну и мук я перенес от этой интеллигенции! Главное — я не понимал, в чем секрет ихней души.

И вот, представьте себе, что это свое непонимание я вспомнил в ту партизанскую ночь, когда с Володей беседовал. Больше того — в ту ночь я кое-что понял насчет интеллигенции. Это факт…

Володя в ту ночь раскрыл передо мной всю свою жизнь. Папаша у него — профессор. Мамаша на разных языках легко разговаривала и его, Володю, тем языкам выучила. И, уж конечно, было у него полное обеспечение, как при коммунизме: получай все, что душе угодно, никаких отказов. От такой жизни добра не жди, это факт. А вырос парень ничего, самостоятельный, опять же инженер. В Литву его не зря послали.

Но все же вырос он как тополиный лист, с одной стороны — вроде серебряный, а с другой — зеленый.

Легли мы спать. Он вроде сразу уснул. А я лежу, в потолок смотрю и думаю про него — сложный ты все-таки. Ты мне и нравишься и не нравишься. Ты ко мне вроде и близко стоишь, а где-то от меня отдаляешься…

Ну вот… А война-то продолжается. И мы воюем как можем. Ходим на диверсии, взрываем, что прикажут, оккупантов постреливаем. Словом, жизнь идет своим чередом. А Володя мой все мрачнеет и мрачнеет. Уйду, бывало, на операцию дня на три, вернусь, гляжу — он лежит небритый, лохматый. Прямо приказом заставляю его привести себя в порядок. Слушается. У него, конечно, переживания были оттого, что его в настоящее дело не посылали. Я понимал это и не раз думал: прав ли наш командир в своей осторожности? Даже пробовал себя ставить на место командира. И вот тогда я и пришел к выводу, что командир прав. Во-первых, нет у Володи нашего опыта, а в зимнее время требуется особая сноровка. Затем насчет его проступка. Какой бы он ни был — тактический или какой другой, — человек должен его прочувствовать. И на все огорчения Володи я говорил ему одно:

— Погоди до весны, и я сам возьму тебя в самое что ни на есть лихое дело.

Созывается отрядное партийное собрание. В день смерти товарища Ленина. Доклад о Ленине делал сам командир. Он здорово умел говорить. Это факт. Главный упор он взял на те неисчислимые трудности, которые выпали Ильичу по всей

его жизни — от казни родного брата Александра и до ранения его самого отравленной пулей. Были докладчику вопросы, но по большей части они касались наших боевых дел. Это и понятно: в тех наших условиях про что речь ни заведи, а все кончается боевыми буднями. Ведь только этим мы жили. А раз про Ленина вспомнили, о чем же еще говорить, как не о разгроме врага! Командир ответил на вопросы, после чего мы единогласно утвердили резолюцию по его докладу. Опять же и в резолюции все было вместе — и Ленин и наши боевые успехи.

Потом командир говорит:

— Теперь — разное. У меня только одно сообщение. Наш новый боец подал заявление о приеме в партию, в кандидаты, стало быть. Принято решение: воздержаться, поскольку он у нас без году неделя и никак себя еще не показал.

Володя крикнул:

— Вы же сами не даете мне этого сделать!

А командир будто и не слышал его, объявил, что собрание закрыто, и первый запел «Интернационал».

Пришли мы после собрания в землянку. Володя мой туча тучей. Зажег коптилку, сел к ящику, который был у нас вместо стола, и долго что-то

писал, что — не знаю. И вдруг мне подумалось — не пишет ли он предсмертное письмо? Не надумал ли лишить себя жизни? Оружия, я знал, у него нет. Тогда я свой автомат и пистолет незаметно прибрал на нары, а когда он кончил писать и задул коптилку, я его на разговор потянул. Особенно тянуть и не пришлось. Наоборот, у него в душе словно плотина прорвалась, я потом не знал, как его и остановить.

Говорит, говорит. И начинаю я улавливать одну его душевную линию. Вот он произносит разные слова, целую, кучу слов, а я только и слышу: «я», «меня», «мое», «мне», «я не могу», «я не хочу», «я потребую». Одним словом, заякался парень так, что мне тошно стало. «Вот где, — думаю, — у него главный прорыв в его душевной линии, вот где делает ему подножку беззаботная жизнь у папаши с мамашей. Все-таки, несмотря на все хорошее, привык он впереди всех себя видеть. Вот где неправильное воспитание вбок его тянет и вот где, значит, он от меня и отдаляется».

Выждал я, когда он умолк, и говорю:

— А ты, Владимир, оказывается, дрянной человек. Это факт.

Он как взовьется:

— Какое, — кричит, — вы имеете основание?

— И тому подобное.

Я ему говорю:

— Погоди прыгать. Послушай, что скажет человек тебя постарше.

А сам думаю, как же ему сказать, с чего начать, потому как стройной мысли у меня в ту минуту еще не было. А потом меня будто осенило.

— Послушай, — говорю, — для начала одну историю про моего родного брата.

И рассказал ему эту историю.

Был у меня, значит, старший брат, Егор. Он на три года раньше меня в шахту спустился. Богатырь, красавец, не то что я. И в забое работал до красивости здорово. Больше всех угля выламывал. Был он в то время в комсомоле, но уже готовился в партию. И как раз в ту пору ухаживал он за одной девушкой. Любой ее звали. Сирота из одной старой шахтерской семьи. Впрочем, что значит ухаживал, — женихался уже. Люба у нас в доме бывала, как своя, матери нашей помогала, отец ее дочкой звал. А батя у нас был, надо заметить, старик суровый, недоступный. А вот и он полюбил будущую невестку и был, пожалуй, к ней потеплее, чем к родным дочерям. Любин отец нашему отцу был давним приятелем и на глазах у него погиб от обвала в шахте. Так вот,

когда Егор вдруг от Любы отшатнулся к другой, отец выгнал его из дому.

И Егор ушел. А на другой день батя привел в дом Любу и объявил, что она будет жить с нами, что детям его — она сестра, а ему с матерью — дочка, а кто обидит ее, того убьет, потому как все мы, говорит, перед ней по гроб виноватые.

Шахтерский поселок — это тебе не Москва и не Киев. Враз все от мала до велика узнали, что у нас стряслось. И вот что интересно: ни один человек отца не осудил. Наоборот, то один зайдет к нам, то другой, посидят, подымят самокруткой, потолкуют о том о сем, а потом, будто невзначай, скажут: «Все к лучшему», и уйдут, оставив в подарок для Любы платок или какой-нибудь там кусок ситца.

В поселке все люди, еще вчера хорошо Егору знакомые, перестали с ним здороваться, даже шахтеры из его бригады за смену ни одним словом с ним не перекидывались. И тогда наш Егор исчез. Сперва думали — с бабенкой уехал. Выяснилось — нет, один подался на Восток.

Когда батя узнал это, сказал:

— Ну, вот и хорошо. Глядишь, человек и обломается, поймет, что есть законы жизни, которые не он выдумал и не ему их отменять.

А через полтора года Егор вернулся в дом,

просил прощения у бати, у Любы, у всех и, прощенный, остался с нами. Троих детей вырастил, и живут они с Любой ладно, радостно. А ведь могло быть черт знает что, если бы он дальше пошел за своим самолюбием. Глядишь, и голову бы сломал…

Ну вот, рассказал я, стало быть, эту историю Владимиру, спрашиваю, понял ли он, к чему мой рассказ. Он не отвечает. Я уже думал, что он заснул. Спрашиваю:

— Ты спишь?

— Нет, — отвечает, — не сплю, думаю.

Тогда я ему еще про то самое самолюбие, когда человек видит себя впереди всех и всего. Тут уж и мне самому как-то яснее стало, что я хочу ему сказать, и я выдал ему целую лекцию. Говорю, что у нас человек живет по законам, которые он сам для себя составил.

— Вот ты считаешь, — говорю я ему, — что по твоим законам должно быть тебе полное прощение и полная вера. А люди думают по-другому. Они говорят: «Пусть он себя покажет».

Выслушал меня Володя, долго молчал и уже совершенно спокойно говорит:

— Мне же не дают показать себя.

Тогда я ему твердо заявляю:

— Дадут, не торопись. Ты людей никогда не торопи, люди всегда делают все, как надо.

Тогда он мне говорит:

— Поймите, у меня пустяковый проступок, за который нельзя топтать человека без меры.

А я спрашиваю у него:

— Кто тебя топчет? Пока твои однолетки под огнем войны гибнут, ты живешь тут у нас в сытости и безопасности, это раз. А насчет того, какой у тебя проступок — пустяковый или какой, судить не твое право. Человек сам себя правильно видит только в зеркало, а в жизни человек все свое чаще видит только в наилучшем виде. И потом, разве не прав наш командир, когда он говорит тебе, что на войне самая пустячная ошибка может стоить большой людской крови? Ладно, там у тебя обошлось без крови, а кто даст подписку, что ты у нас не сделаешь какой-нибудь, пусть самой малой, оплошки? А у нас, брат, на каждой мелочи по человеческой жизни держится. Так что ты, Володя, не торопись. Ошибка, она тогда человеку урок, если он о ней как следует подумает, да еще и пострадает от нее. Вот ты и думай, вот ты и страдай. А воевать твой час придет. Войны, по всему видать, на всех хватит, и здесь у нас не санаторий.

Владимир молчит. Опять я спрашиваю:

— Ты понял, что я тебе говорю?

Он отвечает:

— Понял, но думаю.

Ну вот… Не могу, конечно, все на себя принимать — ведь с Владимиром в то время не один я беседы имел, — а только после той ночи парень постепенно стал в рамки входить, перестал гнушаться самых малых дел по отряду: и дрова для печки колол, и даже марлю для фельдшера стирал. А от этого в отряде постепенно стало расти к нему уважение. А тут нагрянула весна и наступил его ратный час.

Рассказать про ту операцию? Хорошо… Перекурить бы только не мешало, да и припомнить мне все надо получше.

Операция, значит, была такая. Нужно было взорвать, путь с двух сторон от узловой станции, потом ворваться на станцию, устроить там переполох и под шумок вывести из строя водокачку и поворотный круг депо.

В ту весну вблизи от нас объявилась передвижная группа подрывников, сброшенная с парашютами. В этой группе за главного и был ваш знакомый автомеханик, о котором вы мне писали. Так вот, на операцию мы пошли вместе

— наши партизаны и эта группа диверсантов-подрывников.

Весна была в полном цветении. Для партизан эта пора — сплошной праздник. Ведь каждый кустик броней для нас становится, а лес, так тот уж целая крепость — поди возьми меня там, не ожегшись.

Для выполнения задачи было образовано три опергруппы. Одна шла на запад от станции. Этой группой руководил ваш знакомый автомеханик. Другая пошла на восток. А моя вышла прямо к станции. Все было расписано по минутам.

В мою группу включили Владимира. Это было первое его большое дело в нашем отряде. Волновался он очень сильно, и я поглядывал на него с опаской. Я понимал, что в бою он будет показывать себя наотмашь, и боялся, как бы в горячности не прыгнул парень выше собственной головы. А остужать его критикой заранее, без основания, не хотелось.

Наша исходная была на болоте с чахлым кустарником. Мы залегли между купинок, поросших дурникой. Есть на болоте такая ягода: угостишься ей без меры — одуреешь до рвоты, а цветок ее безвредный и даже дает приятный запах. Вот мы, значит, лежим и нюхаем, ждем назначенного

планом срока.

Рядом со мной лежит Владимир. Опять вижу: волнуется парень. И тогда говорю ему тихо про то, сколько уже было у меня вот таких лежаний и ожиданий, не счесть, а вот же жив и хоть бы что, чего, мол, нельзя сказать о фашистах, с которыми я имел дело.

— Что, — говорю, — тут главное? Спокойствие и осмотрительность. Лезть напролом — последнее дело. Думать, что фашисты дураки или что они воевать не умеют, — это все равно, что самому себя к смерти приговорить. Они, брат, имеют не только оружие, у них есть и башка на плечах, есть хитрость и сноровка. Значит, тебе надо быть умнее их, хитрее и сноровистей. С разумом гляди, как идет операция, но не только как она у тебя одного идет. Про товарищей не забывай: не нужно ли кому помочь. Бой в наших условиях — это все равно что игра на гармони, а она тем красивей, чем больше клапанов находится в согласном действии. А коли будешь жать на один свой клапан, никакой музыки из этого не выйдет, один визг получится. Когда в бою про товарищей забудешь, непременно зарвешься, а которые зарываются, тех легко убивать, их, как глухарей на току, бери хоть голыми руками…

Владимир слушает, а сам глаз не сводит со станции. Так смотрит, будто ждет его там самое заветное. Я понимаю — рвется у парня душа к боевому делу, и это, конечно, хорошо.

Сперва операция разыгрывалась как по нотам. Ударил взрыв справа от станции. Фашисты забегали, на двух дрезинах помчались туда. А ровно через двадцать минут последовал взрыв слева. Паника стала еще сильнее. И тогда поднялись мы.

Ворвались на станцию, кидаем в окна гранаты, из автоматов бьем только прицельно. Может, десяти минут не прошло, как станцию мы оседлали. И сразу: кто — к водокачке, а кто — к депо. Владимира я послал к водокачке.

Фашисты уже разгадали наш план и теперь с обеих сторон быстро отходили к станции, чтобы действовать здесь всеми своими силами, сосредоточенными в один кулак.

Тут же выясняется серьезный подвох со стороны нашей разведки. Она позорно проморгала, что в пяти километрах от станции строительная рота фашистов чинила шоссе. Правда, могло быть и так, что эта рота появилась только под сегодняшнее утро, а вчера ее еще не было. Так это было или иначе, теперь выяснять не время.

К станции подкатывают два грузовика с солдатами строительной роты, и мы вступаем с ними в бой. Хорошо еще, что строители у немцев, как правило, вояки не очень обстрелянные. От нашего огня они залегли за насыпью и лежат. Взять их открытой атакой у нас сил не хватает, но и для того, чтобы они спокойно лежали, тоже силы надо тратить, а это планом не предусмотрено. В добавление к этому на станции уже начали появляться фашисты, отходившие от места взрывов.

В это время качнулась и загремела водокачка. Думаю: «Молодец Владимир, быстро они там сработали». Вижу, он и его товарищи перебегают к депо. А там тоже перестрелка идет горячая.

Ну вот… Володи я больше не видел. Потом, когда мы уже отошли в болото, ваш автомеханик сообщил, что Владимир погиб в рукопашном бою… Говорите, не погиб? — Михаил Карпович помолчал, недоверчиво покачал головой и сказал: — Ну что ж, могло быть и так, что не погиб. Про войну все можно узнать только в тот час, когда она кончается, на итоговой, так сказать, перекличке. Что же он, Володя-то, в плен, что ли, попал? Да… — Михаил Карпович поцокал языком. — Только этого ему не хватало.

8

«Пишу в ночь на 29 октября 1943 года. Пишу, хотя знаю, что все равно эти записи никогда не будут считаться объективным документом, отводящим от меня всякие подозрения и обвинения…»

Это написано рукой Владимира на первом листе тетради. Написано чернилами и подчеркнуто синим карандашом. Ниже в две строки, как адрес:

«Моим родителям!
Моей Родине!»

Еще ниже поперек всей страницы жирная черта синим карандашом, а под ней семь раз повторяется один и тот же вопрос:

«С чего начать?»

Будто он думал об этом и незаметно для себя записывал: «С чего начать?», «С чего начать?»… А затем идет запись мелким, убористым, четким почерком — почерком Владимира:

«Самое главное — я попал в плен к врагу. Со мной случилось самое страшное из всего самого страшного. Но я никогда и в этом случае не был предателем.

О, если бы кто-нибудь, кроме меня, мог засвидетельствовать это! Но ничего, отчитаюсь во всем перед самим собой…

Я попал в плен при следующих обстоятельствах — описываю все абсолютно точно.

Я был включен в диверсионную группу, которая осуществляла налет на железнодорожную станцию. Это может подтвердить, если он жив, командир партизанского отряда «За победу» майор Никифоров и мой непосредственный командир Михаил Карпович, фамилии которого я, к сожалению, не знаю. Мне известно только, что он из Донбасса, из шахтерской семьи, что его брата зовут Егор, а жену этого брата — Люба.

В такого рода операции я участвовал впервые, а потому судить о ходе операции или о ее плане не имею права. Мне кажется только, что в эту операцию от нашего партизанского отряда надо было включить людей побольше. Но возможно, что майор Никифоров не имел точных данных о силах противника в районе станции. С нами вместе действовала небольшая группа подрыв-

ников из диверсионного отряда. Хотя это и были специально подготовленные и, по всему видать, опытные люди, все же со взрывом поворотного круга депо они замешкались, а именно это и усложнило вторую половину операции.

Клянусь, что я здесь не занимаюсь обвинением других, желая тем самым оправдать себя (я пишу здесь то, что думаю об операции, которая, в конечном счете, хотя прошла и не совсем по плану, все же была успешной). Думаю, что написанное мной подтвердят все оставшиеся в живых участники операции. После того как мы ворвались на станцию, я сперва действовал с партизанами, которые взрывали водокачку. Затем, согласно плану, мы присоединились к тем, кто должен был взорвать возле депо поворотный круг.

Когда мы перебежали к депо, там уже создалось довольно напряженное положение. Гитлеровцы решили во что бы то ни стало спасти поворотный круг и бросили сюда свои основные силы. Шла очень активная перестрелка. Затем часть гитлеровцев отвлекла на себя группа Михаила Карповича, но остальные фашисты пошли в атаку на нас. Завязался рукопашный бой. Командир действовавших с нами диверсантов приказал отходить, но я считал, что этот приказ адресован

только подрывникам, а ко мне и моим товарищам по партизанскому отряду он не относится, тем более что мы и перебежали сюда от водокачки специально для прикрытия подрывников.

Просто удивительно, как мне везло. До самого взрыва поворотного круга я даже царапины не получил. Но тут сработали мины. Я был шагах в пятнадцати от круга и врукопашную дрался с гитлеровцем. Раздался взрыв.

Я очнулся на угольной куче метрах в десяти от того места, где меня застал взрыв. Ощупал себя — цел, только ничего не слышу и в голове шумит, как в морской раковине. Бой, очевидно, переметнулся уже за станцию, к лесу, и я понял, что наши отходят. Я встал. Идти было трудно, меня качало, как пьяного, и каждый шаг больно отдавался в голове. Все же я добрался до водокачки и уже хотел перебежать через линию, но в это время меня начало тошнить, и не просто тошнить, а так, будто наружу выворачивались все мои внутренности. И я потерял сознание.

Очнувшись во второй раз, я подумал, что ослеп — кругом чернота и никакого света. Но тут же я обнаружил, что руки и ноги мои связаны. Я понял, что лежу на полу в каком-то закрытом помещении. Прислушался: поблизости кто-то ды-

шал. Я окликнул его, но ответа не услышал и даже подумал, что это у меня просто шумит в голове.

Что же это со мной? Неужели плен?

Начало светать. В темени, словно при проявлении фотопленки, медленно проступили зарешеченные окна. Я осмотрелся. Рядом со мной ничком лежал какой-то человек, из-под него растекалась лужа крови. Я снова окликнул его, он не отозвался.

Судя по всему, нас заперли в помещении, которое когда-то было магазином. К стенке с полками сдвинут прилавок, на котором грудой до потолка навалены ящики из-под хозяйственного мыла. Надписи на ящиках наши, русские. В углу лежала железная бочка, в которую был вставлен заржавленный ручной насос.

За обитой жестью дверью послышались голоса и топот ног. Залязгало железо. Дверь открылась, и в помещение вошли трое — два немца в форме и один штатский.



Они подошли к тому, который лежал ничком, перевернули его на спину. Один из гитлеровцев сказал:

— Готов…

И они снова перевернули его лицом вниз.

Даже в эту минуту я еще не сознавал всего ужаса своего положения. У меня было такое состояние, будто все это происходит не со мной и я с любопытством и немного со страхом наблюдаю за происходящим. Гитлеровцы подошли ко мне.

— Этот жив. — Склонившийся ко мне гитлеровец выпрямился и по-немецки спросил, говорю ли я на их языке.

Я промолчал.

Тогда он обратился к штатскому:

— Чего спишь? Приступай к делу! Поднимай его!

Штатский приблизился ко мне и чуть наклонился. Я увидел его бледное, как мел, лицо и испуганные глаза.

— Вам приказывают встать, — сказал он извиняющимся тоном и чуть картавя на букву «р».

Я сказал, что без помощи встать не могу. Штатский — это был, видимо, переводчик — сказал немцам, что надо развязать мне ноги.

— Ну и развяжи.

Переводчик долго и неумело развязывал веревки, а потом помог мне встать, но я тут же сел на пол — ноги так затекли, что стоять я не мог.

Гитлеровец засмеялся:

— У него от страха ноги подкашиваются.

Переводчик снова стал помогать мне подняться, но я его отстранил и встал сам. Один из гитлеровцев подошел ко мне.

— Выходи! — приказал он по-немецки.

Я не двинулся. Штатский перевел:

— Вам приказано выйти.

Делая первый шаг, я заметил, как оба немца вынули пистолеты, и решил, что они сейчас меня пристрелят. И странно — не было никакого страха смерти.

Но выстрела не последовало.

Меня вели по какому-то маленькому городку. Нигде ни души, только наша процессия, движущаяся посреди улицы. Впереди шагает, размахивая пистолетом, немец, что повыше ростом. За ним плетусь, спотыкаясь, я, и рядом со мной — переводчик. Второй гитлеровец замыкает процессию. Немцы громко переговариваются:

— Хорошо, Отто, что мы с тобой прибыли на станцию с опозданием.

— Надо благодарить нашего лейтенанта: он

больше часа пытался связаться со станцией по телефону.

— Лейтенант у нас мудрец! Ты Гашке знал?

— Конечно. Я с ним из Лейпцига ехал сюда в одном эшелоне.

— Из его головы партизаны сделали яйцо всмятку.

— Я говорил лейтенанту, что второй до утра не протянет, надо было допрашивать вчера.

— Лейтенант, наверное, и тут мудрил, за ночь выяснял, кого будут припекать за потерю станции. Он-то знает, как вести это дело, если за станцию отвечал майор Брант.

— Ну и что же?

— Болтают же, что этот Брант чуть ли не племянник Браухича. А тогда нашему лейтенанту выгодно доложить, что на станцию напала целая дивизия партизан с танками.

— А ведь есть слух, будто Браухич в последнее время не очень-то в почете у фюрера.

— Все может быть. Ну, а тогда лейтенант напишет, что на станцию напали три партизана с топорами.

Оба гитлеровца всласть посмеялись и потом несколько минут шли молча. Затем опять заговорили:

— А этот производит впечатление интеллигентного человека, верно?

— Эти интеллигенты из леса у меня никакой симпатии не вызывают.

— Удивительное дело: в третий раз я попадаю в такую кашу, а живого партизана вижу впервые. Обычно на месте остаются только мертвые.

— Они воюют насмерть.

— Интересно, что сделают с этим?

— «...и хладный труп его земле предали на утешение червям...»

(Интересно, откуда эти строчки, продекламированные немцем?)

Мы подошли к двухэтажному каменному дому, стоявшему на взгорке, откуда были видны маленькая речка, мост и цветущие сады на том берегу.

Гитлеровец, переводчик и я остановились в узком темном коридоре. Другой солдат зашел в комнату, на двери которой было написано по-русски и по-немецки:

«Комендант».

И теперь я еще не осознавал полностью того ужасного факта, что я в плену и что со мной может произойти все самое страшное. У меня было

какое-то состояние полусна, и я по-прежнему наблюдал за всем как бы зрением другого человека, который хоть и близок мне, но все же мной не является.

Гитлеровец подтолкнул меня в спину. Я увидел, что дверь с надписью «Комендант» распахнута и на пороге стоит тот, другой немец.

— Скорей, скорей! — кричал он, взмахивая рукой с пистолетом.

Я вошел в маленький кабинет, где, кроме письменного стола, не было никакой мебели. За столом сидел огненно-рыжий офицер, по нашивкам — лейтенант. Возможно, что это и есть тот самый лейтенант, которого мои конвойные именовали мудрецом.

Переводчик стал к стене, вытянул руки по швам. Оба конвойных остались возле двери.

Рыжий лейтенант долго смотрел на меня, потом встал из-за стола и подошел ко мне вплотную:

— Партизан?

И, хотя это было понятно без перевода, штатский быстро проговорил:

— Господин лейтенант спрашивает — вы партизан?

Я молчал. Лейтенант снизу вверх ударил меня в подбородок. У меня померкло в глазах, и я чуть

не упал. Лейтенант посмотрел на свой кулак. На сгибе третьего, именно третьего, пальца у него растекалась кровавая ссадина. Он злобно глянул на меня, вернулся к столу и, вынув из кармана носовой платок, замотал им разбитый палец. У меня ныла правая сторона подбородка. Я прижал подбородок к груди — на рубашке растеклось пятно крови.

— Мы будем говорить или молча пойдем на виселицу? — деловито спросил лейтенант.

Переводчик торопливо и неточно перевел:

— Лейтенант приказывает отвечать под страхом смертной казни.

Я кивнул переводчику, дескать, «все понятно», и продолжал молчать.

— Сколько партизан участвовало в нападении на станцию? — повысив голос, спросил лейтенант.

Пока штатский переводил вопрос, я вспомнил разговор конвойных и, не сдержав улыбки, ответил вопросом:

— Какое количество устроит лейтенанта? Большое или малое?

Переводчик смотрел на меня испуганно и моего, вопроса не переводил.

Лейтенант стукнул кулаком по столу:

— Перевод! Быстро!

Штатский, путаясь, подыскивая слова, перевел мой вопрос так:

— Он отвечает двойственно, в том смысле, что партизан могло быть много, но могло быть и мало.

Выслушав это, лейтенант усмехнулся:

— Пусть он помнит, что насчет виселицы двойственная перспектива его не ожидает.

— Вас повесят, — кратко перевел переводчик.

Я кивнул головой — мол, и это мне ясно.

Лейтенант вынул из стола карту и, расстелив ее на столе, сделал мне знак подойти.

— Вот станция. — Лейтенант отточенным карандашом показал на карте черный кружок на скрещении двух железных дорог. — Где партизаны?

— Не знаю, — ответил я, не ожидая перевода вопроса.

— Где партизаны? — бешено заорал лейтенант.

Я молчал. Тогда он схватил лежавший на окне стек и начал хлестать меня, норовя попасть по лицу. Руки мои были по-прежнему скручены за спиной, и увертываться от ударов было нелегко. Сперва я ощущал боль, а потом она стала непрерывной и точно наполнила все мое тело.

Лейтенант устал. Он брезгливо швырнул стек, вытер рукавом вспотевший лоб.

— Будет он говорить, где партизаны?

Сквозь звон в ушах я услышал перевод вопроса и ответил:

— Нет, не буду.

Переводчик растерянно посмотрел на меня, потом — на лейтенанта.

— Он не скажет.

— Предупредите его, пусть не обольщается своей выдержкой. И объясните, что пока он еще не в гестапо, а там разговорчивыми становятся даже камни.

Переводчик толкует это совершенно неожиданно:

— В гестапо вам будет хуже, — говорит он тоном доброго советчика. — Нужно сказать все, что можно, здесь.

Я кивнул ему головой:

— Я не буду говорить ни здесь, ни там.

Лейтенант выслушал перевод и задумался. Потом схватил телефонную трубку, и я услышал следующее:

— Полковника Крафта. Полковник Крафт? Говорит лейтенант Крицвальд. Пленный показаний не дает… Да, пробовал — не дает. Я хочу спросить:

передавать его в гестапо или подождать? Так… Так… Понимаю… Понимаю… Нет, они этого не знают. В рапорте офицера строительной роты о пленных не говорится. Да, да, этих двух взяли мои ребята… Один умер. Да… Мы прибыли с опозданием и обнаружили их во время обхода станции, спустя час после боя. Так… Так… Но это не просто, полковник, по инструкции я должен его передать. Понимаю… Понимаю. До свидания, полковник.

Речь шла явно обо мне, и я понимал, что возникла какая-то сложность с передачей меня в гестапо. В ту минуту мне еще как-то не пришло в голову связать вместе болтовню конвойных и этот разговор лейтенанта по телефону…

Меня увели обратно в помещение магазина. Мертвого уже убрали, на лужу крови была набросана солома. Мне развязали руки. Переводчик принес кусок хлеба и жестяную кружку мутной похлебки. Конвойный, пока я ел, сидел на крыльце.

Снова связывая мне руки, переводчик тихо сказал:

— Вы попали в сложную ситуацию. Дело в том, что коменданта станции майора Бранта обвиняют в измене, а вы становитесь свидетелем

обвинения. Понимаете?

Я кивнул головой.

Снова прогремели запоры, и все стихло. Я лег на бок и сразу забылся в странном сне. Я слышал каждый звук, и в то же время у меня было такое ощущение, будто меня здесь нет и ничто происходящее меня не касается. Реальной была только боль. Я все время видел перед собой стек, сделанный из тонкой ветви бамбука, я даже помнил, что у этой ветви пять звеньев, а ручка стека обмотана изоляционной лентой синего цвета…

И вдруг я вспомнил Михаила Карповича, хозяина партизанской землянки, в которой я жил. Это воспоминание точно встряхнуло меня. Нет, не то — будто вдруг сотни колоколов забили в тревожный набат и пробудили во мне ясное сознание происходящего. В какие-то мгновения мне показалось, что я вижу Михаила Карповича и слышу его хрипловатый голос: «Видно, зря я тебе втолковывал, что такое человек на войне. Опять ты думаешь только о своей особе. Ты же попал в плен к заклятым врагам. И, вместо того чтобы думать о том, как достойнее принять смерть, ты помнишь только о том, что тебя били стеком и что тебе больно. А война-то продолжается, и ты еще на войне»…

Но разве я еще могу воевать? Я стал напряженно думать об этом, и боль точно отдалилась…

И часа не прошло, как меня снова подняли и отвели в тот дом на взгорке…

Конвойным и переводчику приказали выйти, и в кабинете рыжего лейтенанта, кроме него, остался я и, судя по всему, тот самый полковник Крафт, которому звонил лейтенант. Это был с летами сильно раскисший мужчина, все у него оплыло — и живот и лицо. Живот ему еще кое-как удавалось подхватить ремнем полковничьей формы, а лицо обвисало багровыми складками.

— Садитесь там, — сказал он на довольно хорошем русском языке и показал на стул.

Я сел. Он долго смотрел на меня крупными слезящимися глазами.

— Я знаю русский язык, потому что в прошлую войну так же, как вы сейчас, был в плену у вас. — Он попытался улыбнуться, но мышцы лица его не пошевелились и отечные щеки даже не дрогнули. — Ваше состояние я очень хорошо понимаю. Но я понимаю и другое — бессмысленность фрондирования. Когда я был в плену, у нас в лагере — он находился возле Самары — сама жизнь выработала своеобразный устав поведения пленных. Был в нем и такой параграф: для пленного

беспрекословное послушание есть не что иное, как виза на возвращение домой живым.

— Теперь этот город называется Куйбышев, — непонятно почему сказал я и, увидев, что полковник не уразумел моей реплики, пояснил: — Город Самара, где был ваш лагерь, теперь называется городом Куйбышевом.

— А-а! — Полковник вяло махнул рукой. — Вы там все переименовали. Но это не имеет никакого отношения к нашему вопросу.

— Нет, имеет, — упрямо сказал я, безотчетно радуясь, что, оказывается, про Куйбышев я вспомнил не случайно. — У нас и устав для пленных свой, новый: лучше погибнуть, но не стать предателем.

— Боже, как вы любите фразеологию! — Полковник попытался поморщиться, но шевельнулись только его косматые седые брови. — Никто и не ждет от вас предательства, речь идет только об одной детали уже минувшего боя: много ли партизан участвовало в нападении на станцию?

— Много, очень много!

— Это хорошо. — Полковник и лейтенант переглянулись. — Сто, двести, пятьсот?

— Очень много. Уточнения не будет.

Лейтенант тихо сказал полковнику по-немец-

ки:

— Может, поскольку он начал говорить, всыпать ему еще? — Он протянул руку за стеком.

— Нет, не надо. Я эту нацию знаю, он больше ничего не скажет. Надо зафиксировать то, что он сказал, и найти способ передать все майору Бранту. Это надо сделать быстро, уполномоченный СД уже приехал и сейчас обнюхивает станцию. Понимаете? — Полковник встал. — Ну, вот и все.

Меня отвели назад, в магазин. Когда я остался один, меня охватил ужас: не повредил ли я партизанам, сказав, что их было очень много? Вдруг враги теперь пошлют в лес мощный карательный отряд? От этой мысли меня пробрал холод и начало трясти.

Опять лязгают запоры. Конвойные торопятся. На этот раз они пришли без переводчика. Понукают меня в пути. А когда я намеренно пошел медленнее, один из них сказал другому:

— Он еще капризничает. Там его выдрессируют в два счета.

— Дурак, — отозвался другой конвойный, — не хотел говорить с нашим лейтенантом. Он пожалеет об этом.

— Эти умеют. Ты знаешь, когда я захожу в их здание, мне жутко становится.

Все ясно. Меня ведут в гестапо. И такая тоска сдавила грудь, не сказать словами. А тут еще день, как назло, солнечный такой, тихий, добрый.

Гестапо размещалось в здании школы. В вестибюле, где во всех школах за деревянным барьером нянечки принимают от ребят пальто, стоял канцелярский стол с несколькими полевыми телефонами. За столом в расстегнутом настежь черном кителе сидел альбинос огромного роста — его ноги торчали из-под стола. Один из конвойных подошел к нему, щелкнул каблуками и сказал что-то. Белобрысый отстранил его рукой, чтобы посмотреть на меня. Потом он нажал кнопку одного из телефонов.

— Рихард! Партизан доставлен… Хорошо… — Он положил трубку и крикнул: — Дежурный!

Из комнатки, в которой в школах помещается нехитрая школьная канцелярия, выбежал, на ходу застегивая китель, солдат. Альбинос показал ему на меня и сказал:

— В комнату номер два.

Солдат подошел ко мне и толчком в спину направил к лестнице. Я видел, как он расстегнул болтавшуюся у него на ремне кобуру.

У двери, на которой мелом была написана крупная двойка, он поставил меня лицом к стене, а сам

постучался. Когда дверь открылась, он гаркнул:

— Арестованный доставлен!

Там, за открытой дверью, смеялись. Солдат взял меня за локоть, подвел к двери и резким толчком в спину впихнул в комнату.

В комнате в непринужденных позах сидели три гестаповских офицера. Несколько секунд они с любопытством рассматривали меня. Потом один из них слез с подоконника и сел за стол.

— Фамилия? — спросил он тихо.

Я молчал и смотрел поверх его головы. Там, между двумя окнами, был вбит гвоздик, а пониже — деревянная рейка, вся исколотая кнопками. Наверное, здесь вывешивались школьные объявления или расписание уроков.

— Фамилия? — чуть громче повторил гестаповец.

Я молчал.

— Все-таки ты вызови переводчика, — сказал сидевший на диване офицер.

Гестаповец за столом рассмеялся:

— Тьфу, дьявол, я же забыл, что имею дело с обезьяной!

Он позвонил по телефону и потребовал к себе переводчика.

Но, очевидно, ему сказали, что переводчика нет

или что он занят.

— Где хотите, найдите мне переводчика! — закричал, он в трубку, мгновенно побагровев. — Чтоб через три минуты он был у меня!

Гестаповец швырнул трубку и посмотрел на того, который сидел на диване:

— Вот так каждый день. То нет переводчика, то нет машины, то испорчен штабной кабель. Где вы откопали для нас этого рыжего саботажника?

Сидевший на диване брезгливо махнул рукой:

— Он работал в аппарате берлинского управления, умудрился потерять какой-то документ, и его двинули на фронт.

— «Двинули на фронт»!.. — Сидевший за столом гестаповец пожал плечами. — Неужели у вас там до сих пор не понимают, что сюда, на такие посты, надо посылать лучших, а не всякое дерьмо!

— Не узнаю тебя, Фридрих, ты стал неврастеником. Надеюсь, себя ты не относишь к дерьму?

Офицеры дружно рассмеялись.

Третий — он сидел в кресле у окна — глазами показал на меня:

— Интересно, что думает сейчас этот тип?

— Я знаю, — сказал гестаповец за столом. — Он думает, когда мы его повесим. Он не догадывается, какой ему подготовлен сюрприз. Шутка

сказать — Берлин, милый старый Берлин.

— Для него Берлин не то что для тебя. Притом его и там ждет виселица или пуля в затылок. И вообще, нелепо, что я должен везти этого типа в Берлин, — сказал сидевший на диване.

— За дорогу вы подружитесь и будете играть в карты.

Офицеры рассмеялись.

Явился уже знакомый мне переводчик. Сидевший за столом гестаповец показал на него пальцем:

— Вот типичные кадры рыжего. Не то русский немец, не то немецкий русский, деятель из русских эмигрантов, а учился в Гайдельберге. На допросах чуть не падает в обморок — фи-ло-соф.

Переводчик стоял посреди комнаты, руки по швам.

— Валерьянки для себя захватил? — спросил у переводчика сидевший за столом офицер.

Переводчик не ответил.

— Ладно. Посади этого типа на тот стул. Так. Сам садись здесь. Будем работать. Задача такая: надо выяснить, сколько партизан нападало на станцию.

— Я уже знаю этого человека, — тихо сказал переводчик. — Он отвечать не будет.

— Да? — Гестаповец презрительно посмотрел на переводчика. — Переведи ему мой вопрос.

Я выслушал перевод и молчал.

Офицер, сидевший в кресле, вскочил и стал за моей спиной.

— У него, наверное, прилип язык, — сказал он гортанным голосом.

— Проверь, — улыбнулся гестаповец за столом.

Удар по затылку сбросил меня со стула, я потерял сознание. Очнулся на середине комнаты и под смех фашистов стал подниматься.

— Ну как, отклеился язык? Философ, помоги ему, посади на стул.

Когда я садился, гестаповец, стоявший за моим стулом, поигрывал толстой резиновой палкой.

— Попробуем его с другой стороны, — усмехнулся гестаповец за столом. — Философ, переведи ему вот что. Мы тщательно обследовали станцию. Судя по всему, в налете на нее участвовало не больше двадцати бандитов. А он на допросе у коменданта сказал, что партизан было очень много. Зачем он пытается обманывать нас?

— Я сказал тогда неправду.

Выслушав перевод моего ответа, гестаповец, сидевший за столом, переглянулся с тем, на диване.

— Зачем?

— Просто так. Мне надоел тот рыжий лейтенант.

Мой ответ вызвал хохот гестаповцев.

— Ну, а все-таки, сколько было партизан?

— Не помню.

— Ну, ну, если партизан было немного, значит, их было мало? Так?

— Если хотите, так.

— Что значит — если хотите? Мы же знаем точно, вас там было не больше двадцати человек. Запомни: не больше двадцати. И, если хочешь жить, всюду, где тебя будут спрашивать, называй эту цифру. Не больше двадцати! Понял?

— Да, понял.

— Ну, вот и хорошо. Это только такой идиот, как майор Брант, не мог перебить вас, как бешеных собак. Последнее не переводить, — бросил он переводчику. — Может, ты хочешь спросить что-нибудь? — обратился он к гестаповцу, сидевшему на диване.

Тот, смеясь, махнул рукой:

— Ну его к черту, наговоримся в Берлине.

Гестаповец, сидевший за столом, взял телефонную трубку и назвал седьмой номер:

— Возьмите арестованного. Поместить в оди-

ночку, глаз не сводить. Вечером его увезут в Берлин. — Он положил трубку и вышел из-за стола. — Ну вот, и все дело. Майора Бранта можно считать списанным в архив. Как он надоел всем нам! Надутый, как индюк: «Браухич спросил у меня», «Я звонил Браухичу». А сам глуп как пробка. Мои люди рассказывают, что, сидя на станции, он целыми днями решал шахматные этюды или дрессировал своего дога.

...Меня отвели в подвал и заперли в маленькой комнатушке без окна. Чуть приметный свет проникал только в щель под дверью. Ощупью я нашел в углу кучу соломы и лег на нее. В ушах звенело, голова точно налита расплавленным свинцом — тяжелая, горячая. Страшно хотелось пить.

Вдруг открылась дверь, и вошел переводчик:

— Меня послали узнать вашу фамилию.

— Это не имеет для них никакого значения.

— Я понимаю, но, мне кажется, вы можете назвать любую фамилию. Им это нужно только для заполнения сопроводительного документа.

— Скажите, какую хотите.

— Федоров, Иван Федоров.

— Как хотите.

Переводчик не уходил, топтался возле меня,

опасливо посматривая на стоявшего в дверях солдата.

— Что вам еще надо? — спросил я.

— Ничего. Я только хотел, чтобы вы знали, как я вам сочувствую.

— В сочувствии всякой сволочи не нуждаюсь.

— Ну да, ну да, — пробормотал он и ушел.

Странный тип».

9

«Ночью меня вывели во двор. Гестаповец, который заявлял, что наговорится со мной в Берлине, сел в легковую машину, которая тут же выехала со двора. Два солдата возились с замком задней дверцы арестантской машины, никак не могли ее открыть.

Стоявший рядом со мной переводчик тихо сказал:

— Вы попали в большую игру против майора Бранта. Он арестован и тоже отправлен в Берлин. Ваши показания для его судьбы решающие.

— Не хотите ли вы предложить мне спасти вашего майора? — так же тихо спросил я.

— Нет, но вы это должны знать.

— Я сам давно все понял.

— Ну да, я так и думал. Но комендант просил…

Дверь машины с железным грохотом открылась, солдат крикнул мне: «Живей!» Я влез в черную утробу машины, и там между мной и сидящими у входа двумя солдатами возникла дверь с зарешеченной дыркой. Машина рывком тронулась и покатилась по тряской булыжной улице. Минут через десять начался асфальт.

В машине было тихо. Я подумал, что солдаты заснули. Но, когда я ногой нажал на дверцу, тотчас послышался окрик:

— Ферботен![1]

Вспомнилось неожиданное… Однажды мы переезжали из Москвы на дачу. Мне было тогда лет семь. Приехал грузовой фургон, который до отказа набили вещами. Меня посадили в кресло, задвинутое в самую глубину кузова, а потом еще поставили шкаф, который закрыл от меня свет божий. Сначала это укромное местечко мне нравилось, но, когда грузовик тронулся и я остался один позади качающегося шкафа, мне стало страшно, и я закричал благим матом, но никто меня не слышал. Я кричал, кричал, пока не обессилел и не уснул. Вечером на дачу вызвали врача,

---

[1] Примечания: 1

Запрещено! *(нем.)*

и он сказал, что у меня нервное потрясение. Мама плакала, называла отца палачом своего ребенка, а он растерянно молчал.

Милые мои, где вы? Живы ли? Что бы с вами было, если бы вы знали, что происходит сейчас со мной!

...Меня привезли на военный аэродром. В темноте виднелись силуэты стоявших в ряд больших самолетов. Вокруг сновали военные. Все службы здесь были под землей, и люди возникали из земли и в нее уходили. Иногда через открытую дверь из подземелья вырывался яркий свет, и тогда раздавался тревожный крик:

— Свет!

Дверь поспешно захлопывалась.

Меня отвели к груде ящиков и приказали сесть. Стоило мне чуть пошевелиться, конвойный рычал:

— Не двигаться!

Офицер, который раньше уехал на легковой машине, был уже здесь. Он дважды прошел мимо ящиков с каким-то военным, раздраженно с ним разговаривая. Потом он появился из-под земли с рослым человеком в плаще и без фуражки. Они остановились шагах в пяти от меня.

Человек в плаще осмотрел небо и сказал:

— Нет, разрешить вылет я не могу.

— Ответственность беру на себя, — раздраженно сказал гестаповец. — Я не имею права сказать вам все, генерал, но мое дело сверхсрочное, сверхважное.

— А я не имею права разрешить вылет. Авиация противника проявляет большую активность, и зажечь огонь даже на десять минут для вашего взлета означает поставить под удар аэродром, который в стратегическом отношении тоже сверхважный.

— Я должен быть в Берлине утром.

— Будете днем.

Они помолчали.

— Прикажите соединить меня с Берлином.

— Это можно.

Они снова исчезли под землей.

Тихая, теплая ночь. В черном небе мерцают редкие звезды. Где юг, где север? Нахожу в небе ковшик Большой Медведицы и по ручке ковша определяю север, потом восток.

Там, далеко-далеко, — Москва и мои милые старики. Наш дом, справа — книжный магазин, а слева… Подождите, что же слева? Кажется, фотография. Ну да, фотография. За стеклом — портреты артистов, писателей. Помню, как я останавливал-

ся, бывало, перед витриной и бездумно смотрел на фотографии, оттягивая возвращение домой, потому что получил «плохо» по истории. Ох, проклятая история! Как я ненавидел все эти даты, войны, имена, которые нужно было запоминать! Зато какое счастье пойти в воскресенье с отцом в кафе-мороженое! Я получал целую кучу разноцветных холодных шариков и запивал их розовой шипучей водой. Потом отец ехал на бега, а я становился свободным как птица. Прежде всего я шел на улицу Горького. Там у меня было любимое местечко — скверик против Моссовета…

Где-то далеко ухнули подряд несколько тяжелых, глухих взрывов. Казалось, я лицом ощутил качнувшуюся тишину ночи. Идет война. И вдруг мне стало страшно и стыдно: идет война, а я опять думаю о какой-то чепухе: о пломбире, о шипучей воде…

И я снова вспомнил своего партизанского учителя Михаила Карповича. Вспомнил и повел с ним безмолвную беседу. Я мысленно рассказал ему все, что случилось со мной с той минуты, когда я очнулся на угольной куче возле депо, и до вот этой тихой ночи на безвестном мне вражеском аэродроме. И спросил: «Правильно ли я себя вел?»

Считайте это мистикой, но я услышал хрипловатый от непроходящей простуды, негромкий голос Михаила Карповича: «Опять ты, парень, якаешь направо и налево! «Я люблю пломбир, я люблю улицу Горького»... Здесь, здесь ищи свою беду. Неужели тебе не понятно, что война — это ты сам! Ты же солдат. А настоящий солдат, он, брат, и во сне воюет...»

Что-то похожее я от него слышал раньше в те томительные ночи, когда жил в его землянке. Только теперь то действительное смешалось с тем, что я думал и сам.

«Михаил Карпович, но сейчас война для меня только в том, чтобы не сломиться перед палачами».

«Нет, парень, это еще не вся твоя война. Не каждый, кто не ворует, — честный. Если бы все наши солдаты считали, что главное для них — как бы не стать подлецом, мы бы давно войну проиграли. Я знаю, тебе нелегко, тебя бьют, но ты подумай и о другом. Если ты даже сломишься, враг от тебя большой ценности не получит, ты же ничего важного не знаешь. Гестаповцы скоро разберутся, что ты для них не копилка с деньгами. Ну, а то, что ты попал в какую-то их игру, что это для тебя? Играют-то они, а не ты».

«Что же мне делать, Михаил Карпович?»

«А ты подумай, из чего война состоит? Главное — убивать врагов, которые топчут нашу святую отчизну и хотят отнять у нас все, что дала нам революция и что было радостью нашей жизни. Значит, надо одно: убивать проклятых, не то они перебьют нас. Когда каждый наш солдат положит хотя бы по фашисту, войне конец. Вот почему на фронте один закон, один устав: видишь врага — убей его…»

Я невольно оглянулся на сторожившего меня солдата. Он стоял, прислонившись к ящикам, положив руку на перекинутый вперед автомат. Вот он, враг, я его вижу, он рядом. Чего же я жду? Убить его! Убить, исполнить свой святой долг перед войной, а там будь что будет!

У меня в душе возникло такое ощущение (это бывало в детстве во сне), будто я отрываюсь от земли и лечу, лечу. Все стало таким ясным, таким легким.

Я придвинулся к солдату. Он отшатнулся и качнул на меня стволом автомата. Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, я дал ему понять, что мне понадобилось в уборную. Солдат растерянно оглянулся по сторонам. Но поблизости никого не было. Тогда он рывком повернул меня лицом к

груде ящиков и, уткнув мне в спину ствол автомата, стал развязывать мне руки:

— Шнеллер![2]

Мгновенно оборачиваюсь, двумя руками хватаю автомат за ствол и приклад и дергаю изо всей силы вниз.

Солдат повалился на меня и ударился лбом о мой подбородок.

В это время буквально рядом взвыла сирена. Ее истошный вой вонзился в барабанные перепонки. Я подумал, конечно, что сирена вызвана моими действиями, но остановить меня уже не могло ничто.

Я сорвал автомат с шеи солдата и, продолжая держать его двумя руками, с полного взмаха ударил солдата по голове. Мой удар совпал с таким оглушительным грохотом, что я на мгновение замер. Что это? Оказывается, за грудой ящиков стоят зенитные орудия и сейчас они открыли исступленную стрельбу в небо. Трассы снарядов натягиваются к звездам, как струны.

Солдат лежит на земле. Он еще живой, вяло цепляется за мои ноги. Я наношу ему еще один удар прикладом автомата и бегу влево. Теперь я

---

[2] Примечания: 2
Скорей! *(нем.)*

вижу зенитки. Они стоят в глубоком котловане шагах в двадцати. Я беру левей котлована и, пригнувшись, стремительно бегу к лесу. Загрохотали и другие зенитки. Одна из них снова на моем пути. Потом возникает силуэт большого самолета…

Я не знаю, сколько я так бежал. Бег оборвался внезапно. Земля вдруг исчезла из-под ног. Я пролетел в воздухе и всем телом ударился точно о стену. Не чувствуя боли, вскочил, — оказывается, я ввалился в широкую и глубокую канаву. Ноги выше колен в воде. Я подпрыгнул и перевалился по ту сторону насыпи.

До леса шагов двести, не больше, а кустарник начинается уже у канавы. Дикими оленьими прыжками я помчался дальше и наконец ворвался в лес. Остановился, перевел дыхание. Только тут заметил, что из носа ручьем льет кровь. Как, бывало, в детстве, я закинул голову, но кровь продолжала хлестать. Очевидно, здорово повредил нос.

Наши бомбардировщики атакуют аэродром, но бросают бомбы не прицельно, и первая очередь фугасок падает в лес. Это очень страшно. Грохот взрывов дробится бесчисленным отражением и повторяется стократным эхом. Одна бомба упала неподалеку от меня. Взрывом вскинуло вверх

большую сосну. Она перевернулась в воздухе и рухнула на деревья. Ломая их, она падала прямо на меня, но, к счастью, завязла в сучьях.

Вторую серию бомб летчики положили более удачно: попали в бензохранилище. К небу поднялся гигантский столб огня.

Я побежал дальше по лесу, освещенному громадным заревом пожара на аэродроме. Тени метались перед глазами, иногда я принимал их за дерево и обегал стороной.

Я почувствовал, что окончательно теряю силы. Зарево внезапно погасло, и меня окружила такая плотная темнота, что я вынужден был двигаться медленным шагом, протянув вперед руки. Ноги тяжелые, точно камни к ним привязаны. Что делать? На аэродроме уже опомнились после бомбежки и обнаружили мое исчезновение. И вряд ли они решат, что меня разнесла фугаска, тем более что часовой окажется на месте и без оружия. За мной организуют погоню, прекрасно понимая, что за ночь я далеко уйти не могу.

Где спрятаться на день? Я выбрал старую, очень густую ель, влез на нее и на высоте метров шести от земли устроил на сучьях подобие логова. Снаружи я тщательно замаскировал его сломанными ветками. Я лег лицом вниз, чтобы сквозь ветви

видеть все происходящее на земле. Автомат укрепил под правой рукой. И сразу незаметно для себя забылся в странном сне.

Я проснулся от какого-то непонятного шума, который медленно приближался и становился все явственней. Это был дождь, сильный, по-летнему не холодный и недолгий. Он спас меня, этот дождь…

Конечно, фашисты бросились в погоню за мной. Они появились в лесу еще до восхода солнца, а когда рассвело, лес огласился гулким лаем собак. Будь же благословен дождь, смывший мои следы и сбивший с толку собак! Фашисты прошли мимо ели. Одна из собак рванулась к дереву, но тут же закружилась и потянула своего проводника в сторону. Я слышал, как гитлеровец выругался и сказал:

— Надо ждать, пока просохнет, иначе собаки на след не выйдут.

Другой издали крикнул ему:

— Скорей, вперед!

И они ушли в глубь леса. Возвращались на аэродром уже перед самыми сумерками, и, хотя просохло, собаки моих следов не обнаружили.

Когда стемнело, я слез с дерева. Все тело ныло от тупой боли, я чувствовал страшную слабость

и острое ощущение голода. Чтобы размяться, я сделал гимнастику и снова пошел — прямо на восток. Понемногу втянулся в ходьбу и двигался довольно быстро.

Летние ночи торопливы, но эта показалась мне особенно краткой. Лес начал заметно редеть, а затем и вовсе кончился. Передо мной открылась болотистая низина. Раздумывать о маршруте было бесполезно — решил упрямо идти на восток. Однако шагать по зыбкой, мшистой почве было куда трудней. И все же рассвет застал меня уже довольно далеко от леса, он еле виднелся на закатном горизонте. А низине, казалось, не было конца и спрятаться тут негде. Чахлый редкий кустарник — плохое убежище. Зарыться в мокрую, чавкающую землю тоже неразумно. Но я решил идти напропалую, идти и днем, стараясь, однако, пользоваться прикрытием кустарника.

Когда солнце всплыло над землей, я подошел к довольно большой реке. Мне крепко повезло — в осоке я обнаружил ялик, а в нем, под сиденьем, — брезентовый мешочек, в котором была окаменевшая краюха ржаного хлеба. Да простит меня за все хозяин ялика, и огромное ему спасибо! Хлеб я размочил в воде и мгновенно съел, вытащил из осоки ялик, прыгнул в него и оттолк-

нулся от берега. Куда плыть — по течению или против? Если продолжать движение на восток, надо плыть против течения. Другого выбора у меня и не было: в другой стороне реки вдалеке виднелись постройки, и показываться там было безрассудно.

Речка была мелкая. Хорошо, что я захватил лежавший на берегу шестик — им я и толкал свой ялик. Позже я догадался выломать в лодке поперечное сиденье, из которого получилось какое-то подобие маленького весла. Даже против течения ялик двигался довольно резво.



В полдень я сделал привал. Причалил к заводи, затемненной густым лозняком, привязал ялик к кустам и растянулся на его дне. Так я проспал, наверное, часа два. Проснулся от голода. Сел и тупо смотрю в воду. В серо-зеленом речном царстве шевельнулись водоросли, заколыхались и их тени на песчаном дне. Из-под водорослей вылез рак. Он прополз по дну, ловко взобрался по крутой стенке берега до чернеющей в нем дырки и скрылся. Чуть правей — другая дырка, и из нее высовывается рачья клешня.

Никогда не любил раков вареных, а тут досыта наелся сырыми. Какое это было вкусное кушанье, словами не описать! Сразу ожил, повеселел и даже без всякого на то основания решил, что все у меня теперь пойдет хорошо. Чего раздумывать — в путь! Я отвязал ялик, оттолкнулся от кустов — плавание продолжается! Теперь у меня есть развлечение: я смотрю, как ползают по дну ялика раки — мой продовольственный резерв.

Я плыл весь день и часть ночи. Время от времени причаливал, выбирался на берег и осматривал местность. Картина была все та же: слева — низменный океан, а справа — земля обжитая; то ближе к реке, то дальше от нее виднелись постройки. Единственно, что заметно изменялось,

это сама речка — она становилась все уже.

На второй день я увидел черневший на горизонте лес. Ну, вот и прекрасно! Я думал, что к вечеру доберусь до него, ан нет. Я плыл еще два дня, а лес по-прежнему оставался впереди. Речка стала труднопроходимой даже для моего ялика. Она была шириной не больше метра и делала немыслимые петли. На крутых поворотах возни не оберешься, пока протолкнешь ялик вперед. Еще пошли отмели — одна за другой. Перед каждой приходилось вылезать и тащить ялик волоком. Скоро я обнаружил, что речка вдруг резко свернула в сторону и продолжать плыть по ней означало бы удаляться от леса.

В последний раз я воспользовался благами речки и набил раками мешок, сделанный из нижней рубашки. Запихнув ялик поглубже в осоку, я вылез на берег и пошел болотом к лесу. Добрался я до него только на следующий день, и то к вечеру. Теперь я знаю, что вышел тогда на закраину знаменитой Гродненской пущи…

И вот тут, на самой опушке леса, мое благополучное путешествие чуть не оборвалось.

Произошло это так. Я осторожно шел в сумрачной предвечерней сини, особенно густой вблизи леса. Шел, озираясь, как затравленный зверь, на

душе было тревожно. И вдруг я увидел вспышку огонька, словно кто в лесной чаше или спичку зажег, или чиркнул зажигалкой. Несколько минут я стоял не шевелясь — ничего не видно и не слышно. Снова пошел, стараясь ступать бесшумно, но взял сильно правее того места, где заметил вспышку.

Я углубился в лес примерно на километр. Решил, что огонек мне померещился, и чувство опасности постепенно притупилось. Вдруг до меня донесся запах паленой хвои. Я остановился. Подумалось радостно: «Может, партизаны?» Обостренный слух уловил потрескивание костра. Двигаясь очень осторожно, я пошел в сторону этого звука. Сделаю шаг и замираю, слушаю, смотрю.

Вскоре увидел отраженный на стволе сосны зыбкий отблеск костра. Подошел ближе. Картина мне открылась такая: костер горел в глубокой ямке, а возле него друг против друга сидели два гитлеровца. На коленях у них автоматы. Один из гитлеровцев привстал, вынул из костра жестяную коробку и поставил ее возле себя. Другой придвинулся к нему поближе, и они начали есть разогретые консервы.

Я почувствовал запах вареного мяса, рот у меня

наполнился слюной. Уже не один день я питался только сырыми раками. Я пишу сейчас об этом только потому, что честно хочу сказать — многое в принятом мною решении шло от голодной злости. Да и храбрость моя стоила, в общем, недорого. Не такое уж хитрое дело — с пятнадцати шагов полоснуть из автомата по освещенным костром фашистам.

Для верности я угостил их щедрой длинной очередью. Даже когда они оба повалились, я еще секунды три не снимал палец с гашетки автомата. Потом подошел к костру. Гитлеровцы были мертвы. Первое, что я сделал — доел чертовски вкусные жирные консервы. Потом занялся имуществом. В вещевых мешках я обнаружил солидный запас консервов — четырнадцать банок. В металлических флягах оказался разведенный спирт. В кармане одного из убитых я нашел тщательно сложенную карту местности с непонятными отметками. Я решил, что эти значки на карте относятся к тому району леса, где я сейчас находился. Отметок было не меньше десяти. А вдруг каждая из них означает такой же вооруженный патруль?

Я торопливо притушил костер, свой автомат забросил на дерево, а себе взял автоматы уби-

тых фашистов. Вещевой мешок, наполненный консервными банками, я укрепил на спине, документы гитлеровцев и их карту спрятал на груди под рубашкой.

Быстрым шагом я углубился в лес. Не прошел и ста метров, как неподалеку кто-то дал несколько коротких очередей из автомата по верхушкам деревьев. Шальная пуля, щелкая по ветвям, прошла надо мной. Потом автоматная очередь пророкотала в другом месте, подальше. Очевидно, моя догадка была правильной — это немецкие патрули перекликались автоматными очередями и их наверняка растревожила моя стрельба.

Я прибавил шагу и без остановки шел почти всю ночь. Лес становился гуще. То и дело приходилось продираться через буреломы. Вы и представить себе не можете, что такое бурелом в диком лесу. Иногда приходилось десятки метров ползти по липкой земле под совершенно сплошным сводом упавших деревьев и задыхаться от тяжелой вони гниющей древесины.

Когда я пролез под очередным завалом, уже светало. Решил здесь устроить привал. Место подходящее: в случае чего можно нырнуть в завал, и выковырять меня оттуда будет нелегко. Взятым у немцев кинжалом я открыл коробку

мясных консервов и мигом ее опустошил; глотнул разведенного спирта. Сразу обмяк, и меня потянуло в сон. Часа три спал как убитый. Очнулся от луча солнца, который, пробившись сквозь деревья, коснулся моего лица. Сонливость как рукой сняло.

Я вынул из-за пазухи документы фашистов и начал их внимательно рассматривать. У одного все документы — это солдатская книжка и неоконченное письмо в Германию, судя по всему, какой-то девушке. Письмо злое, похабное, но была в нем строчка, кое-что мне объяснившая. Солдат, укоряя девушку в легкомысленном поведении и, видимо, желая утвердить свое право на эти укоры, сообщал ей, что его батальон отправляется на блокирование партизанского леса, где, как он выражался, «потерять голову легче, чем плюнуть». Ну что ж, он написал правду.

Другому немцу, кроме солдатской книжки, принадлежал еще блокнот, внутри которого были вложены несколько семейных фотографий и письмо от отца из Бремена. Записи в блокноте особого интереса не представляли. Почему-то этот солдат любил записывать разные изречения. Источники он не указывал. Например, изречение такое:

«Оружие должно стрелять и убивать, иначе оно — музейный экспонат».

Мне вдруг стало смешно от мысли, что я, так сказать, подтвердил это изречение на практике.

Большое впечатление на меня произвело письмо солдату от его отца из Бремена. Он просил сына беречь себя и не лезть под пули. И сразу после этого совета письмо приобретало такой характер, будто тот, кому оно было адресовано, был не на войне, а в универсальном магазине. Один за другим следовали отцовские заказы сыну: подыскать кожаное пальто пятидесятого размера и обязательно на меху, который отстегивается. Точно такое пальто отец видел у букиниста Шваба, которому этот дорогой подарок прислал из России племянник. А бабушке нужен белый (метр на метр) шерстяной платок с бахромой по краям. И еще хорошо бы получить мужское нижнее белье, которое в России почему-то называется охотничьим, оно серо-грязного цвета и сделано из пуха. Наконец, отец просил сына присматривать во всех русских деревнях древние иконы. И тут он снова ссылался на того же образцового племянника букиниста Шваба.

Я и до этого, конечно, знал, что фашисты маро-

дерствуют в нашей стране и шлют родственникам посылки с награбленным добром, но сам впервые столкнулся с конкретным таким грабителем. Это ощущение конкретности усиливалось еще и тем, что я видел семейную фотографию бандита. Семейка снялась в садике, на фоне цветочной клумбы, увенчанной каким-то блестящим шаром, укрепленным на колонне. Я увидел и папашу, который так хорошо знал цену нашим иконам; и бабушку, ждущую теплого платка с бахромой по краям. В центре группы стоял пустой стул; под ним на фотографии было написано:

«Это твое место, оно тебя ждет».

— Не дождется, — сказал я вслух и вдруг ощутил огромную радость и гордость от сознания, что я, а не кто другой, уничтожил и этого бандита, и его приятеля, и того первого, там, на аэродроме.

Я воюю, дорогой Михаил Карпович, я воюю — вот что это означает! Я выполняю свой святой долг солдата, вместе со своим народом я защищаю свою родину. Как же ты был бесконечно прав, дорогой мой учитель Михаил Карпович! Да, это самое главное! Это самое святое!

Вместе со своим народом! Нелегко было поверить в это, когда вокруг мерно гудел дикий лес и я знал, что я здесь один.

Еще несколько месяцев назад я, конечно, счел бы себя героем. Ведь считал же я себя героем после ликвидации Непримиримого, забывая, что мой успех был подготовлен усилиями многих и многих моих товарищей! Да, считал! А теперь — нет. Разве я могу не думать о том, что, если бы не налет наших бомбардировщиков, я бы не смог бежать с аэродрома. Больше того: мне сейчас хочется мечтать, будто этот налет не был случайным. Будто существует какой-то необычайно умный и всеобъемлющий план военных действий, в котором учтено все, в том числе и я. Я поклялся себе, что после войны непременно разыщу летчиков, которые бомбили аэродром, скажу им великое спасибо и расскажу о том, как мы в ту ночь действовали вместе. Пусть мне было легче, чем им, пусть то, что я сделал, ерунда по сравнению с тем, что совершили они, но главное — мы действовали вместе, в одном, так сказать, строю.

Найти своих! Это теперь самое главное.

Я встал, забросил за плечи автоматы, на спину — вещевой мешок и пошел дальше в глубь леса. Я уже просто не мог сидеть без дела возле этого медвежьего бурелома и ждать неизвестно чего. Я не мог оставаться один.

Я шел по лесу целый день, продолжая держать направление на восток. Сумерки упали как-то внезапно, а затем быстро наступила темная, глухая ночь. Лес шумел тихо и, как мне казалось, настороженно. Я продолжал идти, как вдруг меня остановил треск сломанной сухой ветки. Я замер. Тишина. Справа чуть слышный шелест кустарника, будто кто быстро прошел мимо меня шагах в двадцати. Стою, не шевелюсь, прислушиваюсь. Приготовил автомат. Раздался отчетливый металлический щелчок. Опять долгая тишина, слитая с ровным шумом леса.

Решил идти дальше. В конце концов, какой толк от того что я буду стоять на одном месте? Вдруг впереди, прямо передо мной, хриплый голос скомандовал по-русски:

— Стой!

Тишина. Шумит лес. Сердце бьется так громко, будто рядом кто-то колотит в барабан. Мысль только одна: «Крикнули по-русски».

— Свой, — произношу я негромко и тотчас слепну от ударившего мне в глаза яркого света. Инстинктивно укрываюсь от него рукой.

— Бросай оружие!

Послушно бросаю автоматы. Абсолютно ничего не вижу, кроме этого нестерпимо яркого глаза

электрического фонарика. Голоса все ближе, слышу, что ко мне приближаются люди с двух сторон. Мгновенная мысль: если это враги, успею схватить автомат, который лежит у правой ноги.

Над самым ухом вопрос:

— Кто такой?

— Бежал из плена, ищу своих.

Автомат, который я чувствую ногой, подняли. Теперь уже все равно. Вспоминаю о кинжале, засунутом в голенище сапога, — в случае чего воспользуюсь им. Глаз фонарика погас.

— Иди сюда.

Теперь фонарик светит уже не в глаза, а чуть в сторону от меня, и я вижу там человека с автоматом в руках.

— Иди за ним.

Я иду за этим человеком и слышу, что справа, слева и позади меня люди. Кто они? Свои или враги? Единственное успокоение — я слышу чистую русскую речь.

Я не знаю, сколько мы так шли. Потом впереди послышался какой-то ритмичный звук. Вскоре он стал явным, и я понял — это работал маленький движок. Тут же я услышал и совсем невероятное — приглушенный перепев гармошки.

— Стой. Кто идет?

— Свои.

Фонарик погас. Два голоса перебросились непонятными словами.

— Одну минутку, — весело произнес кто-то и побежал…

Мы остались стоять — я и неизвестные мне люди.

Потом меня ввели в громадную землянку, ярко освещенную свисавшей с потолка электрической лампочкой и стоявшей на столе карбидной лампой. За столом сидел грузный седой как лунь мужчина в матросской тельняшке. Над ним в рамке из необделанной березы висел портрет товарища Сталина.

Меня начало трясти, как в лихорадке, и я заплакал.

— Дайте ему воды. Помогите сесть, — сказал седой и кивком головы показал на лавку у стены.

Я сел, понемногу пришел в себя.

— Кто вы такой, как вы здесь оказались?

Я рассказывал сбивчиво, многословно. Вдруг меня ожег страх, что мне не поверят, я стал говорить еще путанней.

Седой чуть поднял руку:

— Подождите, не торопитесь. Отвечайте на вопросы: кто вы, откуда? Как оказались в этих

местах?

Я замолчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил уже спокойнее. Сказал, что в сороковом году я был послан в Каунас, и про все, что затем со мной случилось.

Не знаю, сколько я говорил, но седой слушал меня очень внимательно, изредка кивал головой и посматривал на молодого человека в плаще, который стоял возле двери. Я закончил рассказ и положил на стол карту, документы убитых мною гитлеровцев, кинжал и вещевой мешок. Потом я попросил разрешения раскроить голенища сапог и вынул из-за подклейки свои записки о начале войны.

Молодой человек в плаще подошел к столу и вместе с седым долго рассматривал документы. Потом седой сказал молодому:

— Отведи его в бункер номер четыре.

— Идем! — сказал тот и пошел впереди меня.

Утром я уже знал, что нахожусь в большом партизанском отряде, оседлавшем часть Гродненской пущи».

10

«В партизанском отряде я воевал и исполнял

обязанности переводчика. Блокирование партизанской пущи, о котором сообщал в своем неоконченном письме девице солдат, обошлось фашистам очень дорого. Партизаны захватили живьем девятнадцать карателей. Их допрос шел с утра до вечера, так что работы мне было хоть отбавляй. Допросы вел тот седой в тельняшке. Он был командир отряда, и все партизаны звали его Дедом: «Дед приказал», «Дед сказал», «Ходил к Деду».

Мне врезался в память допрос одного гитлеровца. Это был человек уже в летах. На вопрос, состоит ли он в партии национал-социалистов, он, страшно волнуясь, ответил, что был социал-демократом и почти коммунистом, а с того момента, как Гитлер захватил власть, он-де ушел в себя. Именно так он и выразился, и я точно перевел: «Ушел в себя».

Дед усмехнулся в седые, пожелтевшие от никотина усы, неторопливо набил махоркой сделанную из плексигласа полосатую трубку, раскурил ее и спросил:

— Как же это понимать — ушел в себя?

Пленный угодливо и многословно стал объяснять. Он говорил примерно так:

— Пока Гинденбург еще держал власть и от-

крыто высказывал свое неуважение Гитлеру, я мог надеяться на что-то, но, когда коричневые рубашки взяли верх, я счел за лучшее удалиться от всего, что было политикой…

Дед перебил его:

— История о том, как вы из почти коммуниста стали фашистом, нас не интересует. — Дед с остервенением стал выколачивать о стол погасшую трубку. — Вы нацист?

— Да, но нацист нацисту рознь.

— Никакой разницы мы что-то не заметили. Все вы одинаково охотились на партизан. И вы лично убили очень хорошего человека, который виноват перед вами только в том, что не пожелал, чтобы его родина стала колонией Гитлера.

Дед встал и приказал дежурившему в дверях партизану увести пленного. Но это оказалось делом нелегким. Гитлеровец ухватился за стол, потом пытался упасть перед Дедом на колени. Но, когда дюжий парень схватил его поперек туловища и, как мешок, понес к дверям, он стал кричать, что великая Германия все равно победит.

Дед смеялся:

— Вот он и вышел из себя.

Потом допрашивали гитлеровца, который был года на два моложе меня. Он был в чине капрала

и командовал группой карателей. Когда его брали в плен, он одного партизана убил, другого тяжело ранил. Дед стал спрашивать его о подробностях плана карательной экспедиции. Пленный скривил лицо в презрительной улыбке:

— Зачем вам это? Каковы бы наши планы ни были, они не осуществились.

— Это верно, — согласился Дед, — но, может, вы скажете, кто командовал всей операцией?

— Нет, этого я не скажу.

— Впрочем, мы и без вас знаем. Майор Фогт, Иохим Фогт, по прозвищу Сеттер. Не так ли?

Пленный засмеялся:

— Зачем терять время на вопросы, если вы действительно все знаете без моей помощи?

Дед обратился ко мне:

— Скажи ему, что мы можем его расстрелять.

Пленный пожал плечами:

— Неизбежные издержки драки. — Он помолчал и вдруг с фанатически горящими глазами выкрикнул: — Каковы бы ни были наши издержки, гений фюрера победит!

— Придет час, мы расстреляем и вашего фюрера, — тихо произнес Дед. — Или лучше — повесим.

Пленный побагровел, стал кусать запекшиеся губы, а потом твердо произнес:

— Фюрер — это Германия! Он бессмертен…

Дед долго молчал, не сводя глаз с пленного, раскурил трубку и потом дал знак увести его.

Когда дверь за ним закрылась, Дед сказал мне:

— Видел? Вот такие типы — главная сила Гитлера и главная трагедия немецкого народа. Такие идут на все. Не задумываясь, сделает все, что нормальному человеку не может даже прийти в голову. Наверное, потому они и зовут себя сверхчеловеками.

Дед надолго замолчал. Трубка у него опять погасла, он посопел ею и сердито сунул трубку в стол.

— Знаешь, о чем я думаю? — спросил он, смотря мимо меня. — Даже после полной нашей победы такие еще останутся в Германии. Сколько будет хлопот с ними и у немцев и у нас, страшно подумать…

Я задумался о своем…

Крепка ли моя вера? Глубока ли она?.. В бою, на станции, я увлек за собой товарищей криком: «За Родину!» Но что для меня означал этот лозунг? Что за ним стояло? Было ли за ним полное понимание высокого идейною смысла борьбы? И я вынужден был сознаться себе, что за этими словами крылось нечто туманное, хотя и по-

настоящему дорогое. Это и милая моя Москва, и дорогие мои старики, и беспечное детство, и уверенная юность, и что-то еще не менее дорогое, но еще более неясное.

Я хочу быть сейчас предельно правдивым перед собой и потому говорю — крепость моей веры была тогда весьма условна. Моими поступками больше руководил романтический порыв, самолюбивое желание не оказаться хуже других. Мне трудно об этом писать, но я пишу, потому что мне кажется — это очень важно. Ведь я не один такой, я один из многих моих сверстников, которые вступали в жизнь, принимая как должное все, что в ней есть, не задумываясь, какой ценой это завоевано.

Помню, как вступал в комсомол. В заявлении нужно было написать политическую формулировку, почему я хочу быть комсомольцем. И я — отличник, гордость школы — списал эту формулировку у Савки Ручьева, весьма среднего ученика. Партизаны тогда отказались принять меня кандидатом в члены партии, мотивируя отказ тем, что я совершил проступок. А нужно было отказать по причине моей идейной незрелости. Вот это было бы безжалостной, но полной правдой.

Это — о пользе думать. У нас чуть что, принято валить на школу, на комсомол — ах, они недоглядели, ах, они неправильно работают. Но в это время мы сами разве все еще дети? Почему я, уже имея аттестат зрелости, должен считать свою собственную голову глиняным горшком, который, если в него ничего не положат, останется пустым? И доколь же положено жить безответственно?..

Вот об этих своих сомнениях и мыслях я в тот вечер рассказал Деду. Рассказал, абсолютно ничего не тая, на полную чистоту. Он выслушал меня и долго молчал, потом спросил:

— Ты никогда не задумывался, почему мы называем рабочий класс авангардом народа?

— Ну, есть такая формулировка, — ответил я.

— Формулировка, — повторил Дед с грустной улыбкой. — Нет, дорогой мой, это не формулировка, а исторический факт. Рабочий человек на своих плечах вынес всю мучительную, тяжелую историю революции. Никто другой не выдержал бы, а он выдержал. И в рабочей среде, в самой крови поколений сохраняется великое чувство ответственности за дело революции, за ее победу. Наконец, и в наше время рабочий класс, а не кто другой является производителем главных материальных ценностей — основы государственной

мощи. А это тоже, по Марксу, предопределяет особую, передовую сознательность рабочего человека. Это ты проходил? — Дед смотрел на меня с хитрой, но доброй улыбкой…

Так в этот вечер начались мои беседы с Дедом о понимании жизни.

Да, мне здорово повезло. В том отряде — Михаил Карпович. Здесь — Дед.

…Как я уже писал, Дед сделал меня своим персональным переводчиком и всюду таскал за собой. И чем больше я узнавал его, тем все большее уважение вызывал он во мне. А в конце концов я стал попросту преклоняться перед этим шестидесятилетним неутомимым человеком-самородком.

…Он из крестьян. Деревню покинул, когда ему было пятнадцать лет. В Курске прибился к бродячей цирковой труппе и спустя год уже выступал с самостоятельным номером, который на афишах назывался «Стальной человек-феномен. Стрельба из винтовки монтекристо». Он пулей попадал в ромбик карточного бубнового туза, гасил пламя свечи и в заключение пулей вбивал гвоздь в колоду.

В декабре 1899 года Дед оказался в Петрограде и был приглашен выступить на устроенной петербургской знатью новогодней торжественной

встрече двадцатого века. Он был участником апофеоза торжества — пулей перебил шнурок, на котором под куполом зала было подвешено символическое изображение уходящего века.

В это время у него появилась мечта учиться, получить техническую специальность. Он поступил в оружейные мастерские и вскоре стал там заправским мастером. Один инженер взялся подготовить его к поступлению в техническое училище, но из этого ничего не вышло, потому что Деда призвали в армию. Война с Японией застала его в должности старшего механика военных мастерских по ремонту ручного оружия. Дед обратился с рапортом к начальству, в котором предлагал подготовить для маньчжурского фронта отряд сверхметких стрелков, по теперешнему говоря — снайперов. Рапорт долго блуждал по военным канцеляриям, пока на нем не появилась идиотская резолюция одного высокого генерала:

«Берем не случайной меткостью, а густотой огня».

Сам Дед в Маньчжурии отличился, и в «Ниве» был напечатан его портрет с подписью:

«Неутомимый истребитель хунхузов».

Потом он попал в плен, бежал и оказался в Китае, где прожил около пяти лет, на всю жизнь полюбив этот добрый и трудолюбивый народ.

В 1911 году Дед вернулся в Россию и стал работать на Тульском оружейном заводе. Здесь он подружился с рабочими из подпольного революционного кружка. Через два года он стал профессионалом революционного подполья, создал у себя дома тайную типографию, где печатал прокламации. В начале 1914 года ему пришлось из Тулы бежать — их организацию предал провокатор.

Приехав в Петроград, Дед быстро установил связь со столичным подпольем и по его поручению под другой фамилией устроился в уже знакомые ему оружейные мастерские.

В первый же месяц мировой войны Дед был мобилизован и попал в ремонтно-технический поезд, который курсировал по всем фронтам. Революцию он встретил на псковском участке фронта, возглавлял солдатскую делегацию, ездившую в Смольный. Он видел Ленина, беседовал с ним. Делегация вернулась на фронт, а он остался в Петрограде, став начальником оружейного склада.

Когда началась гражданская война, Дед ушел

главным механиком на бронепоезд. Позже по приказу Фрунзе он создавал техническую базу для авиационных отрядов Южного фронта, а затем стал начальником больших авиаремонтных мастерских. По окончании гражданской войны, когда ему уже пошел пятый десяток, он решил учиться и в два года закончил Московское высшее техническое училище, которое ныне носит имя Баумана. Затем в течение нескольких лет Дед занимал руководящий пост в промышленности.

Потом он добился, чтобы ему, уже пятидесятилетнему, дали возможность ускоренно пройти курс военно-инженерной академии, после чего он до самой войны работал на строительстве оборонительных укреплений.

Когда гитлеровцы напали на нашу страну, Дед находился в служебной командировке на литовско-немецкой границе. Оказавшись в тылу вражеских войск, он добрался до лесных районов и здесь из окруженцев создал небольшой партизанский отряд, который за год увеличился больше чем в двадцать раз.

Вот коротко история Деда.

Я мог бы описать многие связанные с Дедом истории, в которых он открывался то как умный и хитрый военачальник, то как умелый про-

пагандист, которого все слушают с затаенным дыханием, а то просто как человек большой и доброй души.

Некоторые истории я буду помнить, сколько суждено мне жить. Вот одна из них…

Партизаны поддерживали связь с местным населением, и вокруг было немало хуторов и даже деревень, где они имели надежных помощников. Многие местные люди считали партизанский отряд советской властью — единственной настоящей властью в округе. Нередко надежное боевое охранение, отодвинутое от штаба на добрый десяток километров, задерживало местных жителей, шедших к Деду по разным своим делам.

Для встреч с ними была оборудована специальная землянка. Место для нее было выбрано с умом и хитростью. Она располагалась так, что в случае предательства, если бы оккупанты захотели напасть на землянку, они оказались бы в смертельной ловушке. Называлась землянка, как и положено, «приемная».

И вот однажды Деду докладывают, что в «приемную» доставлена молодая женщина с грудным ребенком, которая хочет говорить только с ним. Пошли туда Дед, радист с переносной рацией и я.

Приходим. В землянке, забившись в угол, си-

дит женщина. Глухо запеленатого ребенка она держала как-то странно: он лежал у нее поперек колен, и она прижимала его сверху двумя руками. На наше появление женщина точно не обратила внимания, только подняла усталый взгляд от ребенка на нас.

Дед поздоровался с ней и спрашивает:

— Откуда пришла?

Женщина назвала литовский хутор километрах в пятидесяти отсюда. Партизаны хорошо знали эту богатую усадьбу. Хозяин ее в советское время бежал в Германию и вернулся уже вместе с оккупантами, которые теперь у него дневали и ночевали. На том хуторе у фашистов было что-то вроде штаба.

— Кто ты такая? — спросил Дед.

— Русская я.

Дед покачал головой:

— Ясно. А что ты там делала?

— Батрачила.

— Зовут как?

— Настасья.

— Ну, а какое же, Настасья, у тебя ко мне дело?

— Вот, — она чуть приподняла на руках ребенка, — дочка у меня померла, убили ее ироды. Принесла, чтобы дали мне захоронить ее в своей

земле.

Дед подозрительно закашлялся, подсел к женщине:

— Расскажи, как это случилось.

— Нас двое русских на том хуторе батрачили — я и Степан. Оба мы из-под Смоленска, из одной деревни. Нас силой завербовали, как арестантов сюда доставили. А мы со Степаном женихались, только из-за войны не записались. Вот я и родила на хуторе. Ну, ничего. Так вот и жили. — Женщина помолчала, тяжело со всхлипом вздохнула и продолжала рассказ: — Степан мой все к вам собирался. Кабы не девочка наша, быть бы ему давно партизаном. Он у меня был горячий на этих гадов.

— Почему был? — спросил Дед.

— Убили они его на прошлой неделе, — с потрясающей простотой и спокойствием ответила женщина. — Аккурат в то воскресенье.

— За что?

— Так толком и не знаю. Я была в своей клетушке при хлеве, девочку кормила, а Степан работал во дворе, мыл автомашину, на которой к хозяину приехали два черных гада. Слышу, во дворе какой-то крик и сразу выстрелы. Выбежала, гляжу — Степан лежит на земле, а один гад платком

вытирает кровь со своей разбитой морды. Так и не знаю, что там вышло у Степана с ними, мне и похоронить его не дали, увезли куда-то. Зашлась я вся от горя и страха — что теперь будет! А позавчера к хозяину приезжает целая орава гадов и с ними хозяйский сын, одетый в ту же одежу, что и гады. Сперва они во дворе в мячик играли, видать выпивши были, орали на всю округу. А потом зовут меня. Я вышла. Они приказывают: «Вынеси, покажи нам своего ребенка». Я ушла в клетушку и сижу там, не выхожу. Чуяло сердце беду. Тогда приходят они за мной, вытаскивают во двор вместе с девочкой. Двое держат меня. Хозяйский сын отнял у меня дочку, положил ее на доски и раскрыл. И тогда все они стали над дитем измываться. Кто щелчком по головке, кто как. Девочка кричала, а потом умолкла. И я тут же сознания лишилась. Очнулась я у себя в клетушке. Девочка лежит на полу… мертвенькая… Вот я и пришла. Дайте, Христа ради, захоронить ее среди своих. Прошу вас, милые мои, дорогие… — Она заплакала.

Что делалось в это время с Дедом, страшно сказать. Серый стал, зубами скрипит, кулачищи так сжал, что пальцы белые стали. Потом тяжело поднялся и говорит:

— Спасибо, Настя, за доверие к нам. Идем. Похороним твою дочку с почестями.

…Под вечер все партизаны выстроились на лужайке недалеко от штаба. В центре лужайки вырыта могила. Поодаль на пне сидел баянист. Но он не играл. Только лес глухо пел свою вечную песню. На лужайку в сопровождении других командиров вышел Дед. Подошел к могиле:

— Товарищи бойцы! Сегодня мы хороним дорогого и любимого нам советского человека — Марию Степановну Крайнову, проще сказать, Марусю — семи месяцев от роду, павшую от злодейской руки смертельных врагов нашего народа. Ведь мы даже не знаем, какую потерю понесли. Выросла бы Маруся, стала певицей, и слушали бы мы ее по радио… Разве не могло так статься? Могло. В нашей стране человеку все под силу. А то стала бы наша Маруся ученой по медицинской части и спасла бы от смерти тысячи людей. А то стала бы она летчицей. А то и просто хорошей женщиной, матерью и вырастила бы для родины замечательных сынов и дочерей. — Дед безнадежно махнул рукой. — Но ничего этого никогда не случится с Марусей. Вот она лежит перед нами. Ее убили немецко-фашистские оккупанты. Почему же они подняли свою гряз-

ную руку на младенца? Да только потому, что и они знали — вырастет Маруся и станет большим, страшным для них человеком. Прощай же, дорогая, уважаемая всеми нами Мария Степановна Крайнова! За твою смерть враги наши умоются кровью. Верно я говорю, товарищи бойцы?

— Верно! — как взрыв, раздалось в ответ из партизанского строя.

— Смирно! Приказываю опустить гроб в могилу.

Дед приложил руку к козырьку. Два бойца, как положено, на полотенцах, стали опускать гроб. Баянист заиграл похоронный марш. Когда могила была засыпана, раздался залп салюта, а баянист заиграл «Интернационал»… Настасья сникла над могилой…

Ночью я помогал Деду писать донесение. Когда кончили работу, он сказал:

— Не было у меня ни жены, ни детей. Считаю, что сегодня хоронил я свою внучку… — И вдруг заплакал. Сидит неподвижно, опустив голову, смотрит в стол, и слезы падают на бумагу.

Я не знал, что делать. Я сам задыхался от комка, подступившего к горлу.

Дед выпрямился. Глаза у него были уже сухие, будто ничего и не произошло. Он даже улыб-

нулся.

— Настасья останется в отряде. Буду ее беречь как зеницу ока, чтобы своими глазами видела она, как отомстим за ее дочурку. Да, а вот того социал-демократа, что ушел в себя и убивал наших, я не расстрелял, на Большую землю отправил. Попробуй, объясни этот факт Настасье, да так объясни, чтобы она сама подписалась под таким приказом. А? А объяснить нужно и можно. Я слышал в свое время у китайцев поговорку, что от злобы, как от трахомы, можно ослепнуть. Очень верно сказано.

Вот дана тебе военная власть, дано оружие и перед тобой немец. Если он перед тобой в бою, тут дело ясное, разбираться не приходится. Но наш брат партизан часто оказывается в положении более сложном, чем открытый бой. Вот расскажу тебе один случай.

Было это в начале войны. Гитлеровцы уже прорвались в глубь нашей страны, а я оказался в довольно глубоком их тылу. Нас двое: я и нынешний начальник штаба Леонид Иванович. Раздобыв штатскую одежду, мыкаемся мы с ним туда-сюда. Тыл густо нашпигован войсками, все время на восток движутся их резервы. У нас с Леонидом Ивановичем все вооружение — два

пистолета «ТТ» и одна противотанковая граната, которую мы поименовали последним резервом ставки: она и для врагов и для себя.

Ну вот… В поисках еды ночью подобрались мы к литовской ферме. Стоит она возле леска, крепкая, не бедняцкая. Все постройки под черепицей, возле дома цветы, дорожки песком посыпаны. Собак, слава богу, нет. С едой нам повезло: прижали мы парочку жирнущих гусей. Смотрим — в одном окне фермы пробивается свет, образовалась щелка в затемнении — от духоты, наверное, окно было приоткрыто. Мы к окну и сквозь щель видим: сидит за столом немецкий майор, обхватив руками седую голову, пустыми глазами смотрит в окно, прямо на нас.

Переглянулись мы молча с Леонидом Ивановичем и без слов друг друга поняли. Я вынул пистолет. Но только отвел предохранитель, как там, за окном, возле стола появился другой немец и тоже майор, но совсем молодой. И начал кричать на седого.

Леонид Иванович язык немного знает, слушает, а сам положил руку на мой пистолет — дескать, погоди.

«Вы, майор, рассуждаете не как солдат, а как последняя баба! — кричал молодой майор. — Что

значит — недопустимые методы войны? Ересь! Фюрер приказал нам взять Россию — и все. А как взять, это уж только техника. Послушать вас, так мы должны русских пленных отправлять на отдых в Ниццу, а местному населению раздавать подарки и каждому встречному кланяться в ноги. Ересь! Все они, и пленные и местные, — потенциальные враги, а наша задача — подрывать военный потенциал противника, тут же все ясно, как дважды два — четыре».

«Ясно? — Седой поднял голову. — Я видел, как наши убивали старух и детей, — это что, тоже потенциал?»

«Боже мой! — Молодой всплеснул руками. — Словно вы, майор, не изучали в академии, что у войска, продвигающегося далеко в глубь территории противника, одной из решающих трудностей становится задача содержания населения и прежде всего — его питание. В этом смысле каждый русский рот, способный жевать, — наш противник. А это война тотальная, так сказал фюрер. А что такое тотальная война, в академии ведь проходили?»

Седой снова молча сжал голову руками. И тогда опять заговорил молодой:

«Если вы не измените, майор, своего взгляда, я

должен буду во имя воинского долга пренебречь нашей родственной связью и принять в отношении вас необходимые меры. Офицер с такими настроениями опасен для армии фюрера. Надеюсь, вы это понимаете?»

Леонид Иванович быстрым движением выхватил из-за пазухи пистолет и двумя выстрелами уложил молодого майора.

Мы подхватили своих гусей и быстренько ретировались в лес.

Да… На всю войну мне этот случай запомнился. Часто мы вспоминаем о нем с Леонидом Ивановичем как о примере правильного решения оперативной задачи. Понимаешь, какая тут заковыка кроется? Они эту войну назвали тотальной, а мы ее назвали Великой Отечественной. А отечество наше великое — надежда для всех порабощенных, в том числе и для тех немцев, которых поработил этот негодяй Гитлер. Забывать об этом мы не имеем права. В Германии живет не только Гитлер, но и матери, чьих сыновей он уже погубил. А матери — везде матери, понимаешь?

Вот так от Деда я впервые услышал (мне это не приходило в голову), что немцы могут быть разные… И война представилась мне еще более сложной…

Однажды ночью — это было в ночь на 10 октября 1943 года — меня поднял с койки посланный от Деда. Приказ — срочно явиться в штаб. Бегу. Что такое стряслось?

В землянке, кроме Деда и начштаба, сидел неизвестный мне мужчина лет сорока. Одет он был в синий комбинезон, на голове — кожаный шлем с завернутыми вверх ушами. На ремне — кобура с пистолетом.

Я решил, что это очередной связной летчик, прибывший с Большой земли. Летом самолеты прилетали к нам почти каждый месяц.

Но оказалось, что он совсем не летчик, он только что сброшен с парашютом для выполнения специального задания.

Дед кивнул на него:

— Познакомься, Володя, с Иваном Ивановичем, у него к тебе дело, и очень важное.

Иван Иванович заговорил не сразу. Долго вглядывался в меня, точно изучал. Потом начал меня расспрашивать, кто я и откуда. Я отвечал, ничего не утаивая о своих ошибках и заблуждениях, и говорил в открытую — мне это было совсем не трудно, я теперь действительно смотрел на себя по-другому. Я заметил, что моя откровенность ему нравится.

Потом Иван Иванович задал мне довольно неожиданный вопрос:

— Знают ли вас лично какие-нибудь люди в Вильнюсе?

Я ответил, что разве только те, с которыми я работал и встречался в Каунасе и которые теперь почему-нибудь живут в Вильнюсе.

Иван Иванович подумал и задал второй вопрос, тоже неожиданный:

— Сможете ли вы в случае, если потребует обстановка, укрыться у девушки Мирите, которая живет в Каунасе?

— Думаю, что смогу, — ответил я.

И вдруг Иван Иванович заговорил по-немецки:

— Все понимаете?

Я засмеялся.

— Абсолютно! — отвечаю ему по-немецки. — У вас, между прочим, великолепный берлинский выговор.

Иван Иванович сказал, что мой выговор смахивает на саксонский, и спросил, почему. Я ответил, что в школе моим педагогом по немецкому языку была немка, уроженка Саксонии.

— Ну что ж, отлично, — сказал он и только тогда стал объяснять суть дела.

Вдвоем с Иваном Ивановичем мы должны про-

браться в Вильнюс. Там действовала большая подпольная организация, в которую из Германии недавно был послан шпик-провокатор. Эти сведения Москва получила от наших разведчиков, находившихся непосредственно в Германии. Ввиду особой важности дела из крайней осторожности было решено не прибегать к обычным каналам связи с подпольщиками, а информировать их о провокаторе через специального посланного, в задачу которого входила также и ликвидация провокатора.

Мы с Иваном Ивановичем пойдем в Вильнюс порознь. Сначала он, спустя пять дней я. В случае провала Ивана Ивановича я его заменю.

Мы готовились к операции тщательно, квартал за кварталом изучали план города. Иван Иванович располагал довольно подробной, заблаговременно полученной от подпольщиков информацией об обстановке в городе; самыми различными данными, которыми мы могли неплохо воспользоваться.

Иван Иванович и я появимся в Вильнюсе в облике штатских немцев. Он — берлинский врач, приехавший навестить своих живущих в Вильнюсе родственников. Я — Карл Мотмиллер — коммерсант из Дельменхорста, интересу-

ющийся приобретением ценностей. В связи с этим я, как таблицу умножения, проштудировал привезенный Иваном Ивановичем немецкий каталог-ценник ювелирных изделий. В некотором роде я должен буду явиться кладом для вильнюсских спекулянтов: молодой коммерсант с деньгами, не очень разбирающийся в тонкостях дела.

Накануне нашей отправки в Вильнюс меня вызвал Дед. Около двух часов мы разговаривали с глазу на глаз.

— Когда я выделял тебя в эту операцию, — сказал он, — я помнил, как ты, сокрушаясь, говорил мне, что за словом «Родина» у тебя стоит только воспоминание о милой тебе Москве, о твоих стариках. Так это же и есть, Володя, твоя идейная позиция — вся твоя недолгая жизнь дорога тебе, никакой другой ты и не хочешь, а за эту идешь в бой. Пусть неглубоко теоретически, а чисто житейски, но ты все же понимаешь, что наша советская власть — самая благородная и человечная власть во всей истории. И ты уже доказал, что за эту власть ты готов отдать свою голову. И ты каждую минуту помни: враг, оказавшийся перед тобой, — не только твоя личная опасность, он — опасность всей той жизни, в которой ты

вырос, которую ты, верно, любишь, раз пошел за нее воевать. И одновременно делай вывод обратный: враг, который перед тобой, пусть до зубов вооруженный, хитрый, но раз он пошел воевать за строй жизни несправедливый, нечестный, значит, он сам, как человек, находится на низшей, против твоей, ступени развития, а это значит, что ты умней и сильней его. Будешь об этом помнить — и у тебя будет еще больше шансов через все смерти пройти и вернуться с победой. И дай я на прощанье тебя поцелую. Вперед, Володя! Только вперед!..

По гроб жизни я буду помнить этот разговор с Дедом. Спасибо тебе, дорогой Дед, на всю мою жизнь, а если придется — и на смерть. Спасибо...»

11

«19 октября вечером мы с Иваном Ивановичем, соответственно одетые и снабженные документами, отбыли на исходную позицию, заблаговременно указанную по радио вильнюсскими подпольщиками. Это был хутор в четырех километрах от Вильнюса. Хозяин усадьбы и два его взрослых сына были связаны с подпольщи-

ками — добывали для них оружие и провиант, а хутор был резервной явкой.

Здесь я должен сделать признание об одном совершенном мною нарушении дисциплины. Никому ничего не сказав, я листки своих записей о начале войны зашил в подкладку пальто. Я сделал это достаточно ловко и хитро. Это явное нарушение дисциплины, но совершил я его вполне сознательно. Я не мог оставить кому-то эти листки со своей исповедью. Не мог, и все. Мальчишество? Согласен. Преступное своеволие? Согласен. Но я это сделал. Сейчас, когда я пишу об этом, я уже могу сказать, что мой поступок ни к чему плохому не привел. Но раз он совершен, я обязан о нем сообщить.

Но вернусь к описанию операции.

На явочном хуторе встретили нас хорошо: оказалось, нас давно ждали.

За́ полночь Иван Иванович ушел в Вильнюс. В качестве проводника до городской окраины с ним отправился старший сын хозяина. Часа через четыре он вернулся и сообщил, что все прошло гладко — Иван Иванович уже в городе.

Начались дни напряженного и нервного ожидания. В случае успеха операции Иван Иванович с помощью подпольщиков должен дать об этом

шифрованную весть хозяину хутора. Тогда я должен отправиться обратно в партизанский отряд Деда.

Уходя, Иван Иванович сказал мне:

— Желаю тебе остаться без работы.

— Дай бы бог.

Днем я сидел в подвале, искусно устроенном под хозяйской спальней. Ночью покидал убежище, поднимался наверх. В семье, кроме хозяина и двух сыновей, была еще мать хозяина — слепая и глухая старуха, которая, казалось, вечно сидела на одном и том же месте — в кресле возле печки.

Прошло три дня, никаких сведений от Ивана Ивановича не было. Признаюсь, я страшно нервничал. Волнение мое нетрудно понять. Включение меня в такую операцию, нити которой тянутся в Москву, я расценивал как огромное к себе доверие. Если с Иваном Ивановичем случилась беда, вся ответственность за операцию ляжет на меня. Справлюсь ли? Без конца продумывал десятки ситуаций, в которых я мог оказаться, и на каждую придирчиво отыскивал единственно правильное решение.

Но вот пошел пятый день. Вестей от Ивана Ивановича нет. По плану операции, я должен идти в город.

В полночь я попрощался с хозяином, и тот же старший его сын повел меня в Вильнюс. Я шел с тайной мыслью, что Ивану Ивановичу удалось все сделать, что просто подкачала связь…

В город я вошел без всяких осложнений. Как было предусмотрено планом, сперва я направился на вокзал, где пробыл час двадцать минут — до прихода поезда из Кенигсберга. Потом с небольшим чемоданом в руках, вместе с пассажирами вышел на привокзальную площадь, нанял частную машину и назвал шоферу адрес недорогого, но и не третьеразрядного отеля.

Портье зарегистрировал меня без разговоров, но, узнав, что я собираюсь пробыть в Вильнюсе дней десять, попросил завтра же отметиться в полиции. «Хорошо, — решил я про себя, — может быть, мы и отметимся, а может… Вообще об этом надо подумать».

Пока я регистрировался у портье, очевидно, с того же поезда прибыли еще два немца. Мы тут же, у стойки, перезнакомились. Один из них был инженером, приехавшим по заданию какой-то электрофирмы, а другой — коммерсантом, как и я. Он решил пронюхать, не стоит ли здесь открыть магазин канцелярских товаров — филиал его берлинского магазина.

Узнав у портье, что для пассажиров ночного поезда в отеле работает специальный буфет, мы сперва разошлись по номерам, оставили там вещи, а затем снова сошлись, уже за столиком буфета. Это неожиданное знакомство могло мне пригодиться, и первый разговор в буфете тоже был для меня очень важным. Во-первых, я имел возможность в разговоре проверить надежность своей персоны, во-вторых, мне очень могли пригодиться всевозможные детали, которые всегда мелькают в непринужденном разговоре. Однако я заметил, что мои собеседники, узнав о моем интересе к ценностям, явно утратили ко мне свое расположение, особенно инженер. С чуть заметной брезгливой усмешкой он сказал:

— Война растрясла людские ценности, а вы их подбираете. Наверное, неплохой гешефт.

Они стали разговаривать друг с другом, и вскоре я ушел в свой номер.

Утром я в самом прекрасном расположении своего коммерческого духа, одарив улыбками всех горничных отеля, а заодно и портье, вышел на улицу и начал свой пеший вояж по ювелирным и комиссионным магазинам.

Как бы я ни увлекался коммерцией, в двенадцать тридцать я должен прийти в садик, что

под сенью башни Гедемина. Там на каменном парапете, именно на парапете, а не на скамейке, должен сидеть человек в темно-зеленой шляпе, тулью которой будет опоясывать желтый шнур с бантом на неположенной правой стороне. В руках человека должен быть молитвенник без переплета с заложенным между страницами белым птичьим пером. На плече у человека на его темно-серой куртке должно быть меловое пятно. Если все будет так, к человеку можно подходить и произносить первую фразу пароля. Со дня появления в городе Ивана Ивановича и затем подряд еще пятнадцать дней в разное, установленное специальным расписанием время этот человек будет приходить в садик.

Но сегодня я к нему не подойду, и у меня не будет примет, известных этому человеку. Сегодня я только посмотрю, на месте ли этот человек. Учитывая отсутствие сообщений от Ивана Ивановича, эту предусмотрительность я считал крайне необходимой.

А пока я пошел по магазинам. Вот, кстати, на углу небольшая комиссионная лавочка. Фамилия хозяина на вывеске литовская — прекрасно. В магазине никого. На стук двери из-за портьеры вышел мрачный мужчина с головой абсолютно

голой и отполированной, как бильярдный шар.

— Добрый день! — весело сказал я по-немецки.

— Добрый день, — настороженно ответил хозяин, и я сразу почувствовал его скверный немецкий язык.

Я окинул взглядом убогий товар магазина и покачал головой.

— Что, коллега, я вижу, дела плохи?

— Вы хотите что-нибудь купить? — с нескрываемым недружелюбием спросил хозяин.

— Коллега, я коммерсант из Германии. Делаю деньги так же, как и вы. И мне, как и вам, достаточно взглянуть на дело, — я показал взглядом на пустые полки, — чтобы знать, как оно, это дело, идет. Не так ли?

Хозяин молчал.

— Война, война, кто не торгует порохом, тот идиот.

— Что вам угодно? — раздраженно спросил хозяин.

— Ценности, коллега, побрякушки для дам, которые пока не стали вдовами, камушки и прочее. Разговор на эту тему возможен?

— Нет, — отрезал хозяин.

— В таком случае, разрешите откланяться.

Я вышел на улицу. Первый мой визит явно про-

валился, и виноват в этом только я. Конечно же, было ошибкой избрать этот легкий, фривольный тон разговора. Ведь идет, черт возьми, война, которая для большинства людей все-таки беда. Ну что ж, примем урок к сведению.

Подхожу к магазину уже пошикарней. Большая витрина уставлена и увешана разнокалиберным товаром, присущим комиссионной торговле во всех частях света: от кофейной мельницы до полотен живописи.

За прилавком — целых три продавщицы; они очень похожи друг на друга. Очевидно, дело ведет одна семья. А вот и ее глава — из стеклянного скворечника кассы вылезает и подходит ко мне пожилой человек в элегантно-небрежном полосатом пиджаке. Розовая маслянистая физиономия, аккуратненько зачесанная реденькая шевелюра, волосок к волоску.

— Здравствуйте, — говорит он медовым голосом по-литовски.

— Добрый день, — строго отвечаю ему по-немецки и мимо него направляюсь к прилавку, где разложены всякие безделушки.

Хозяин проворно обегает прилавок и, отстранив девушку, оказывается прямо передо мной.

— Сувенир? Подарок? — спрашивает он уже

по-немецки, рабски заглядывая мне в глаза.

Я брезгливо показываю на витрину:

— Это, по-вашему, сувениры или, может быть, подарки?

Хозяин разводит руками:

— Мы, комиссионеры, товар не заказываем. Что принесут, то и продаем.

— У нас в Германии уши протрубили, что Литва богатейшая страна. И, очевидно, это факт, раз литовцы не несут вам настоящие вещи. Когда богат, зачем уносить вещи из дому? Лучше нести в дом.

Хозяин засмеялся, причем как-то странно, будто икоту рассыпал.

— А мне приходится нести от этого материальный ущерб, — продолжал я. — Неужели я действительно зря приехал сюда с самого края немецкого света?

— Вы ищете что-нибудь определенное? — осторожно спросил хозяин.

— Да, ценности. Я коммерсант-ювелир.

Хозяин пристально и заискивающе смотрел на меня целую минуту, а потом прошелестел:

— Может быть разговор. — Кивком головы он показал на дверь в углу магазина и пошел туда. Я — за ним.

Мы оказались в темной, пахнущей мышами

комнатушке. Наверное, здесь он принимал товар. Комнатушку перегораживал низкий ларь, по обе стороны которого стояло по креслу.

— Что вам конкретно надо? — деловито спросил хозяин.

— Конечно, не пудреницы без крышек. Нужен настоящий товар: благородный металл, камушки и прочее. Будет и настоящая плата. Я ехал сюда с уверенностью, что война тряхнула вашу аристократию. А тут дошло до того, что вон там, на углу, в комиссионном магазине продается эмалированная кастрюля с отломанной ручкой.

Хозяин печально улыбнулся:

— О-о, знаю. Тот делец неудачник. У него в первые дни войны от случайной бомбы сгорело большое дело, и он начал все сначала. Если вы коммерсант, то знаете, что означает начинать снова.

Я вздохнул:

— Это верно. Мой отец прогорал ровно три раза и три раза начинал сначала. Но я веду дело по-новому, в ногу со временем. Кастрюлями меня торговать не заставишь, черта с два!

Мы оба посмеялись. Я спросил:

— Ну что ж, будет разговор о настоящем товаре?

— Да… может быть… может быть… — замедленно ответил хозяин и вдруг решительно спросил: — Чем вы платите?

— Товар люкс оплачиваю швейцарской валютой. Но только чистый люкс. Остальное — рейхсмарками, не оккупационными, а рейхс, понимаете?

Хозяин мелко-мелко кивал головой, в это время о чем-то напряженно думая.

— Сколько времени вы можете мне дать? — спросил он.

— Выращивать садик возле отеля не собираюсь, — засмеялся я. — Даю три дня.

— О, мало. Ведь теперь все страшно сложно, люди не верят друг другу, как бывало.

— Да, я забыл сказать. С каждой сделки и в валюте той сделки вы получите десять процентов комиссионных. Но цену мы сбиваем вместе. Этого вам достаточно для восстановления пропавшей веры в людей?

Хозяин блудливо улыбнулся:

— Лично мне достаточно. А какие гарантии?

— Гарантия — первая же сделка. И с клиентом и с вами я буду расплачиваться немедленно и наличными.

В конце концов мы условились, что завтра я

зайду к нему в час закрытия магазина.

Да, теперь я держался более правильно. Однако уже было десять минут первого, и я отправился к месту явки…

На парапете сидел человек, который меня ждал. Стараясь не привлечь его внимания, я прошел мимо него и шагах в пятнадцати сел на скамейку. Решил понаблюдать, что происходит вокруг связного. Может быть, он сам не знает, что за ним следят. После возможной неудачи Ивана Ивановича я должен быть настороже вдвойне. Методически просмотрел площадь и садик. Как будто ничего подозрительного не было, но сам связной почему-то вел себя неспокойно. При приближении каждого мужчины он начинал перекладывать молитвенник из руки в руку и все время озирался по сторонам. «Все-таки неправильно, — заметил я про себя, — что на такую ответственную связь, от которой зависит судьба всей подпольной организации, поставили неопытного, да еще, видно, и нервного человека».

Ровно в час тридцать пять связной встал, осмотрелся и пошел к главной улице. А я отправился продолжать знакомство с коммерсантами — это мне нужно было, чтобы в случае чего я мог

сослаться на свое с ними знакомство и чтобы освоиться на улицах города. Посетил еще два магазина. Оба они были похожи на тот, где продавалась кастрюля без ручки. Я даже не вступал в переговоры с хозяевами.

Пообедал в фешенебельном кафе. Все тут было на высоком уровне — и меню и цены. Удивило, что кафе переполнено, и не военными, а штатскими. Сидят по двое, по трое, беседуют, осторожно сблизив лица и поминутно оглядываясь. Кто эти люди? Коммерсанты? Чиновники нового порядка? Вылезшая из щелей буржуазия? Поди разберись.

За мой стол села пожилая дама, явно переусердствовавшая по части косметики. Она молчала как пень и только протяжно вздыхала. На двух пальцах ее левой руки были дорогие перстни. Так, не обронив ни слова, мы с ней отобедали и вышли из кафе. Она еще раз вздохнула и пошла налево, а я — направо.

На другой день, согласно расписанию явок, связной должен был прийти на свое место в садике к десяти часам утра. В случае дождя он должен находиться у колонн музея.

И как раз дождь. Хорошо еще, что хоть не холодный. Шагаю, подняв воротник плаща и надвинув

шляпу на нос.

Связной, тот же самый человек, исправно стоял, прислонясь к колонне. Я подошел к нему.

— Здравствуйте.

Он не отвечает — по паролю так и надо.

— Не знаете, случайно, где в Вильнюсе можно купить породистых голубей?

Следует установленный ответ:

— Я знаю, где продаются голуби декоративных пород.

Мы пожали друг другу руки.

— Идемте, — сказал связной.

Мы пересекли площадь и вошли в узкую, кривую улочку старого города.

— До меня вы встретили товарища? — спросил я.

— Он не пришел.

Я даже остановился.

— Как — не пришел?

— Так — не пришел. Очевидно, с ним что-то случилось. И, может быть, очень плохое. Наши люди пытаются разузнать.

Мне стало холодно — неужели Иван Иванович схвачен? Не хотелось в это верить. Но что же тогда могло помешать ему прийти на явку? Только какой-нибудь нелепый случай. Именно за это

объяснение я и ухватился, чтобы не думать ни о чем другом.

Через ворота, такие маленькие, что в них не могла бы въехать и малолитражка, мы прошли в квадратный тесный дворик, вымощенный каменными плитами. У двери, украшенной художественной поковкой, связной нажал кнопку звонка. Дверь тотчас отворилась. По железной гремящей лестнице мы поднялись на второй этаж и вошли в маленькую, по-мещански обставленную квартирку.

В столовой, наполовину заполненной старинным пузатым буфетом, у круглого стола сидели двое мужчин. Перед ними стояли откупоренная бутылка вина и три бокала. Мы поздоровались. Я сел к столу. Связной из столовой вышел. Мне придвинули бокал и налили в него вина.

— С благополучным прибытием! — Мужчина с острым лицом и орлиным носом улыбнулся и пригубил бокал.

— Что случилось с моим предшественником? — не дотрагиваясь до бокала, спросил я.

— Очевидно, попал в гестапо. Окончательное подтверждение будет завтра вечером.

— С кем я разговариваю? Вы руководитель организации?

— Так и есть, — последовал ответ. — Я руководитель, кличка «товарищ Петер», а это мой заместитель — «товарищ Ян». — Человек с орлиным носом говорил по-русски с отчетливым акцентом прибалтийца.

Я припомнил все, что должен был сказать, и спросил:

— Не появился ли в вашей организации примерно месяц назад человек со следующими приметами: рост средний, возраст сорок — сорок два года, по национальности литовец, широколицый. Возможно, носит усы. Волосы чуть рыжеватые, глаза серые. Главная мета — на спине под левой лопаткой крупная родинка со следами попыток вывести ее. У него должны быть две биографические версии. Обе подтверждаются документами. По первой он постоянно жил в Латвии, был в партизанском отряде, действовавшем в Латгалии, бежал из Латвии в Литву после разгрома отряда карателями. Прилично говорит по-русски. Другая версия…

— Одну минуту, — тревожно сказал товарищ Петер, — у нас есть такой человек.

— Он провокатор.

Товарищ Петер даже привстал:

— Не может этого быть!

— Абсолютно точно. Он подготовлен и заслан к вам гестапо. Москва получила не подлежащие сомнению сведения из Берлина. Что сходится — приметы или версия?

— И то и другое.

— Родинка?

— Этого мы не могли видеть.

— Для абсолютной уверенности надо увидеть и это.

— Все остальное сходится. Невероятно! — Товарищ Петер нервно закурил.

Я сказал, что в гестапо работают не дураки и с этим нужно считаться. Потом спросил, много ли известно провокатору об организации.

— Он знает свою тройку, в которой действует, — ответил товарищ Петер, — знает меня и товарища Яна. Мы с ним, естественно, беседовали сразу после его появления.

Я сказал, что Москва рекомендует установить, как провокатор нашел ход в организацию.

Товарищ Петер и товарищ Ян переглянулись.

— Установить нетрудно, — покачивая головой, сказал товарищ Ян. — Его ввел в организацию Эльгисонис. Он его рекомендовал, ручался за него.

— Значит, он провокатор номер второй, — ска-

зал я.

— Он десять дней назад убит при довольно смутных обстоятельствах, — сказал товарищ Петер. — Но теперь эти обстоятельства проясняются, — видимо, его, как лишнего свидетеля, устранили гестаповцы. Да, да, а он стал их человеком после ареста зимой и довольно фантастического побега из тюремной машины.

— Тройка, в которой действует провокатор, важная? — спросил я.

— У нас все важные.

— Где он сейчас?

— Минувшей ночью его тройка должна была взорвать восстановленную немцами мельницу. Взрыва не произошло. Сегодня в двадцать часов у него явка с моим связным.

— Где?

— На одной из наших квартир.

— Можно его там задержать, осмотреть и, если надо, ликвидировать?

— Можно. Это отдельный домик на окраине. Хозяин домика врач, наш человек, его можно посвятить во все. Мне самому нужно там быть?

— Ни в коем случае, товарищ Петер. Там буду я и ваш связной. Врач абсолютно надежный? Тогда пусть где-нибудь поблизости находится и он. Вы

меня представите ему как нового связного.

— Все ясно.

…В домик врача меня привезли в санитарном автобусе. Наверное, водитель этой машины связан с организацией. Автобус въехал во двор и задним ходом подкатил вплотную к крыльцу. Скрываемый со стороны улицы дверцей автобуса, я прошел в дом, и машина тотчас уехала.

Врач оказался совсем молодым человеком, примерно моим ровесником, только ростом он был повыше и скроен покрепче. По-русски он говорил плохо, и мы сразу перешли на немецкий язык.

Я рассказал ему, что должно произойти вечером в его доме. Он побледнел.

— Ведь он уже второй раз приходит на явку в мой дом.

— Второй и последний, если вообще придет. Но так или иначе, дом этот вам придется покинуть.

— Только бы пришел… — сквозь сжатые зубы произнес врач.

Я объяснил ему, в чем его роль.

Мы осмотрели дом. Врач показал мне столовую, где обычно происходили явочные встречи. Окна ее выходили на улицу, и, хотя они плотно закрывались внутренними ставнями, я все же решил перенести явку в спальню, единственное окно

которой выходило в сад. Кровать оттуда убрали, а из столовой принесли стол и три стула.

Время было еще раннее. Врач приготовил кофе, и мы на кухне мирно толковали о чем придется.

Начало смеркаться. Я попросил врача незаметно понаблюдать за улицей — нет ли там чего-нибудь подозрительного, — а сам стал продумывать, как получше провести эту нелегкую операцию. Продумал все вплоть до того, как поставить настольную лампу и как наклонить ее абажур. За этим занятием я старался подавить волнение, которое подступало к сердцу.

И вот наконец настал час операции. Пришел связной. Он во все уже был посвящен, и мне осталось только сказать ему, какой помощи я от него жду. По всему было видно, что это опытный человек. Он дал мне несколько дельных советов, и мы вдвоем, если можно так сказать, прорепетировали свои действия.

Ровно в восемь пришел тот, кого мы ждали. Его встретил связной. Из комнаты я слышал, как они весело разговаривали о чем-то в передней. Но вот дверь отворилась, и я увидел его. Он удивленно оглянулся на связного.

— Знакомьтесь, — сказал связной. — Теперь вы будете встречаться с ним, его зовут Михаил.

Мы обменялись рукопожатием, и я пододвинул ему стул, сев на который он оказался в узком пространстве между столом и стеной.

— Ну, как идут дела? — спросил я по-русски, стараясь говорить как можно непринужденнее.

— Сегодня ночью шли плохо, — угрюмо ответил он и замолчал.

Я смотрел на него, и в ушах у меня звучали слова описания примет провокатора, заученные мною, как стихи. Все сходилось.

— Я пойду к доктору, кофе сварю, — сказал связной и вышел из комнаты, не совсем плотно прикрыв за собой дверь.

Провокатор кивнул головой на дверь:

— Он, кажется, не закрыл?

Я махнул рукой:

— Ничего, тут все свои. — Волнение, сковывавшее меня в первую минуту, стало проходить, я совершенно спокойно спросил: — Как было сегодня на мельнице?

Он грустно покачал головой:

— Не повезло. Мины установили, а часовой механизм подключить не успели, подвел третий исполнитель — замешкался. А в это время у корпуса, где мы действовали, появился сторож с собакой, и пришлось бежать.

— Повторить операцию можно?

— Конечно, — обрадованно произнес он. — Ведь самое трудоемкое уже сделано: мины установлены.

— Когда это сделаете?

— Завтра ночью.

— А сегодня нельзя?

— Нет. Тот человек, который помогает нам проникать на территорию мельницы, работает через день.

— Понятно, понятно.

Я делал все, чтобы он успокоился, чтобы в душе его ослабла напряженность, естественная для его двуличной жизни.

— Ну, вот мы и познакомились. Теперь мы будем встречаться часто.

— Вы уже давно в организации? — спросил он.

— Да нет. А вы?

— Тоже недавно. Вы русский, местный?

Я улыбнулся:

— Отнюдь нет, я из Москвы.

В глазах у него зажглось любопытство:

— И давно оттуда?

— Нет.

— Как там, в Москве?

— Порядок получше, чем здесь.

— Воздухом? — Он поднял глаза вверх.

— Что — воздухом? — изобразил я непонятливость.

— Как прибыли сюда?

— А как же еще? Прямые поезда из Москвы сюда пока еще не ходят.

— Это здорово. — Он помолчал. — Ну, а как вам здесь, в организации?

— Пока осматриваюсь. Вы-то подольше меня в организации. К тому же, вы человек с партизанским опытом. Какое впечатление у вас? Правда, какое ваше первое впечатление? Мне… нам это очень важно знать.

Он кивнул головой:

— Понимаю, — и преданно посмотрел мне в глаза. — Берите-ка все это дело в свои боевые, московские руки, вот что я вам скажу. Берите, пока не поздно.

Я выказал крайний интерес к тому, что он говорил. Он привстал и плотно прикрыл дверь.

— У меня такое впечатление, — снова заговорил он, — что организация действует на холостом ходу. А главное, что в ней происходит вообще, узнать невозможно.

— Это же хорошо, — сказал я. — Секретность — наш первый завет.

Он усмехнулся:

— Понимаю. Но, когда люди организации в полном неведении о ходе борьбы, это плохо. Успехи товарищей всегда подогревают других. А тут организация словно нарочно так построена, чтобы ты, кроме того, что делают два человека из твоей тройки, абсолютно ничего не знал.

Я подумал: «Молодцы руководители организации, правильно ее построили, трижды правильно».

— Но это, — продолжал он с улыбочкой, — создает одновременно благоприятные условия для очковтирательства. Ведь руководство в своих рапортах и донесениях может приписать к заслугам организации все, что происходит и даже не происходит в городе. Поди проверь.

— Спасибо за ориентировку. Я подумаю об этом, посмотрю. Вы, я слышал, партизанили в Латвии?

— Так точно, — по-военному ответил он, и я увидел, как он в это мгновение весь подобрался. Он знал, что как бы безупречно ни была разработана его биографическая версия, всегда в ней может образоваться трещина и надо быть начеку. — В лесах Латгалии воевал, хорошие дела мы там совершали. Но пролез провокатор. Сколько погибло замечательных бойцов — страшно вспомнить.

— А как попал в отряд провокатор?

— Очень просто. Задержали в лесу человека. «Иду, — говорит, — к вам». Партизаны есть партизаны. Проверили его кое-как и зачислили в отряд: мол, пусть покажет себя в деле. Вот он и показал.

— Ну что же, провокатор может пролезть и в нашу организацию. И очень хорошо, что она разбита на глухие тройки. Предаст двоих — вот и все его трофеи.

Он чуть смешался:

— Да… В этом отношении — да.

— А организация здесь действует сильная, — продолжал я, не сводя с него глаз. — Ею наверняка интересуются в Берлине. И представьте себе, они с огромным трудом снаряжают сюда провокатора. А тот, кроме как выдать двоих подпольщиков, сделать ничего не может. Нельзя позавидовать тому провокатору. Нет, нет, вы, пожалуй, неправы в отношении троек. Подпольная организация — это не партизанский отряд. Тут действуют свои законы распределения сил и свои законы бдительности.

— Да, да, конечно, — поспешил согласиться он, и я заметил, как он приложил к скатерти, как видно повлажневшую ладонь.

Ну что же, пора переходить в наступление.

— Опасность провокации всегда страшна, — сказал я жестко. — Уберечься от нее можно, но это нелегко. Вот вы, например… — Я сделал секундную паузу и заметил, как в глазах у него словно тень метнулась. — Вот вы, например, приезжаете сюда, устанавливаете контакт с организацией, говорите, что вы из Латвии, что вы партизан. А какая гарантия, что вы не являетесь тем самым провокатором?

— Ну, знаете… это… — Он пробовал даже возмутиться. — У меня документы на руках.

Я покачал головой:

— В Берлине делают документы отлично, тем более что в руки гестапо попало немало подлинных партизанских документов. А еще какие у вас есть доказательства, что вы не провокатор?

Теперь он уже догадался, что попал в западню. На висках у него проступили бисеринки испарины. Я пристально следил за его руками. Никогда не забуду эти руки. По ним будто ток пробегал, в них дрожала каждая жилка. Они были готовы на все. Но тот, кому они принадлежали, видел, что моя правая рука в кармане пиджака, а это лишало его тех секунд, какие были нужны ему, чтобы опередить меня. И потому он продолжал навязанную мною игру.

— Всегда можно почувствовать, когда у человека реальная биография, а когда выдуманная, — сказал он устало. — А потом ведь всегда можно провести последующую проверку.

— Это верно, — согласился я. — Но далеко не всегда. Скажем, вашу партизанскую биографию так или иначе можно проверить — это, как говорится, в наших руках. Ну, а вдруг вы предложили бы совсем другую свою биографию? Например, такую… — И я начал рассказывать вторую, резервную версию, разработанную для него в Берлине.

Вот теперь он уже окончательно понял, что находится в западне. Но, как видно, это был человек очень сильной воли. Он даже улыбался.

— Но ведь и у второй стороны можно потребовать доказательств, подтверждающих ее подозрения?

— Вам их еще недостаточно? — мгновенно спросил я.

— Да, недостаточно.

— Ну что же, вот вам еще одно: снимите пиджак и рубашку. Если у вас на спине под левой лопаткой…

Вот тут-то он и сорвался. Сделал стремительное движение правой рукой со стола в карман, но, когда рука его еще была в движении, я выпу-

стил в него три пули из своего «ТТ». Он рывком выпрямился и, замерев на секунду, смотрел на меня бешеными глазами, а потом начал медленно валиться на стол. В комнату вбежали врач и связной.

Врач, наклонившись над телом провокатора, смешно сказал по-русски:

— Уже есть покойник.

— Приговор приведен в исполнение, — торжественно произнес связной, смотря на распластанное тело провокатора. — А может, стоило сперва выбить из него все полезные нам сведения?

— Нет, — ответил я, — такие умеют молчать. Его нужно было ликвидировать, и все.

Итак, задание выполнено. По плану операции, завтра вечером я должен с помощью подпольщиков покинуть город, вернуться на хутор и оттуда — в отряд Деда.

Но вышло все иначе…»

12

«До утра я находился в домике врача. На рассвете приехала санитарная машина, на которой увезли труп провокатора. Его оставят в подворотне одного из домов на главной улице города с

приколотой на груди бумажкой: «Судьба фашистского провокатора». Когда труп обнаружат, эта бумажка кому следует скажет все, и в Берлине карточка еще одного агента будет переставлена в картотеке гестапо в раздел «потерян».

Покинули дом и мы…

Около полудня я зашел в свой отель. Дежурил тот же портье, который меня регистрировал. Я сказал ему, что буду в Вильнюсе еще только один день, и спросил, нужно ли идти отмечаться в полицию? Получил благосклонное разрешение не ходить.

Пообедал в скромном ресторанчике отеля и поднялся в свой номер. Не раздеваясь, прилег на постель, думая просто так полежать часок без сна. Но, как видно, именно в этот момент произошла разрядка нервного напряжения. Притом и минувшей ночью я совершенно не спал. Словом, как только я прилег, по всему телу разлилась томящая слабость. Комната закачалась и полетела куда-то…

Проснулся внезапно. На часах половина шестого. Быстро умылся, привел себя в порядок и спустился к портье. Попросил его получить с меня за номер по завтрашний день включительно, но предупредил, что если я успею закончить дела

до поезда, то сегодня же уеду домой, в Германию.

Шел по улице и думал все о том же — неужели Иван Иванович в гестапо?

Незаметно для себя я подошел к комиссионному магазину, хозяин которого назначил мне свидание в час закрытия. Я вообще не думал к нему заходить, хотел те полтора часа, которые оставались до явки, просто побродить по городу, но чисто автоматически пришел к этому магазину. Так же автоматически я остановился перед витриной и вдруг вижу — за стеклом хозяин магазина делает мне знаки подождать его. Теперь уходить нельзя. И уже знаю — я совершил ошибку.

Хозяин выбежал из ворот справа от входа в магазин:

— Здравствуйте! Я думал, вы уже не придете. Идемте.

Он повел меня в магазин черным ходом, через двор, но мы пришли не в ту тесную комнатку, где я беседовал с ним первый раз, а поднялись по лестнице в квартиру, находившуюся над магазином. Это была довольно богато, хотя и безвкусно обставленная квартира из нескольких комнат. Хозяин ввел меня в гостиную, и я увидел сидевшего в кресле гестаповца в полной форме и даже

с железным крестом на шее.

Сердце замерло, в ногах противная слабость.

— Ну, видите, господин полковник, я был прав — он все-таки пришел, — подобострастно смотря на гестаповца, сказал хозяин.

— Добрый вечер, — небрежно обронил полковник и встал.

— Добрый вечер, — отозвался я осевшим голосом.

Полковник засмеялся:

— Вы, я вижу, удивлены? Ничего, ничего, надо знать, что и в гестапо бывают деловые люди, которые занимаются не только своим прямым неприятным делом. Давайте сядем вот здесь.

Я сел на краешек стула и непроизвольно нащупал локтем лежавший в кармане брюк пистолет. Думал только об одном — дешево я им не дамся.

Хозяин магазина сел на диван чуть в стороне от нас.

— С кем имею честь? — Полковник смотрел на меня открыто-насмешливо.

— Карл Мотмиллер из Дельменхорста, коммерсант, — отрекомендовался я по-солдатски.

Полковник покачал головой:

— Любопытно, почему вы в вашем возрасте не в армии рейха?

— У меня плохое сердце, и я единственный мужчина в семье, веду дела фирмы.

— А что с сердцем-то? — как-то просто и по-человечески спросил он.

— Органический порок, с детства.

— О-о! — Полковник сочувственно посмотрел на меня. — Я думал, у вас болезнь времени — артериосклероз, тогда я бы мог оказаться для вас полезным. Мне из Франции друзья присылают прекрасное лекарство… — Полковник помолчал и спросил: — Как сложились здесь ваши дела?

— Плохо. Пустая трата денег на поездку.

— Коммерсантам надо поддерживать контакт с гестапо, и тогда у вас не будет таких промахов… — Полковник посмеялся. — Конечно, вы приехали сюда зря. Ведь каждая страна на прошедшую через нее войну реагирует по-своему. В Румынии, например, деловой Бухарест на наш приход ответил грандиозным взрывом спекуляции. Продавалось буквально все. Я, кстати сказать, за бесценок приобрел там изумительную коллекцию охотничьих ружей. Второй такой коллекции в Германии нет даже у Геринга. А вот в Париже — наоборот. Наш приход французы отметили свертыванием коммерции. А тут вообще положение особое. Большевики за год своего

владычества успели крепко потрясти богатых людей. Сейчас эти люди выжидают и осторожно вынюхивают, что у кого осталось. У них происходит как бы перегруппировка сил. Кто здесь выведен из игры, так это евреи. Но перейдем к делу. Что вас интересует?

— Все, что имеет подлинную ценность…

Я был уже совершенно спокоен и начал сложную игру, конца которой, однако, не видел. В этой игре была только одна внезапно возникшая цель: а что, если этот гестаповец окажется полезным в отношении судьбы Ивана Ивановича? Но, как это может произойти, я пока не думал. Главное, о чем я сейчас мечтал, — вовлечь полковника в большую игру. Ведь не кто иной, как Иван Иванович, рассказывал, как падки гестаповцы на крупную наживу.

— Золото? Отдельные камни? Так я вас понимаю? — деловито спросил полковник.

— Да, именно.

— Речь идет не об одном кольце или браслете? — Полковник пытливо вглядывался в меня.

— И не о двух, — улыбнулся я.

После долгой паузы полковник спросил:

— Какая валюта?

— Самая надежная — рейхсмарки.

Полковник повел головой:

— А других предложений на этот счет не последует?

Я сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит, но гестаповец тут же пояснил:

— Меня бы устроили английские фунты.

— Валюта врагов? — почти возмутился я.

Полковник поморщился:

— Коммерция, я слышал, находится вне политики.

Теперь долго молчал я. Обдумывал. Потом спросил:

— Размер сделки?

— Крупный, — мгновенно последовал ответ.

— А все же?

— Ну… одного золота, например, килограмма три.

— А камни?

— Один — уникум, десяток — средней величины и мелочь.

Мы оба долго молчали. Я изображал напряженное обдумывание предложенной мне сделки.

— Вы, полковник, надеюсь, понимаете, — сказал я, — что у себя в Дельменхорсте я английские фунты не печатаю и что в поездку беру с собой валюту той страны, в которой я живу. (Он понима-

ющe кивнул головой.) И затем, прямо признаюсь вам, масштабы сделки меня несколько пугают. Я коммерсант меньших масштабов.

Я заметил, как сразу увяло лицо полковника.

— Но у моего коллеги в Ганновере есть сбережения в валюте, которая вас интересует. Разрешите мне связаться с ним по телефону.

— Связывайтесь, но, конечно, без объяснения, с кем сделка.

— Но при полной гарантии с вашей стороны, — подхватил я, — что мой ганноверский коллега останется в полной безопасности в связи с характером валюты.

— Полная гарантия, — полковник, улыбаясь, махнул рукой.

— Тогда я прошу дать мне два дня на улаживание этого вопроса.

— Но не больше. Я буду ждать вас здесь же, в это же время. — Полковник встал, поклонился мне и хозяину магазина и ушел.

Хозяин магазина побежал его провожать.

— Это верное дело, — вернувшись, сказал хозяин.

— Гестапо есть гестапо, — подмигнул я ему. — Вы-то, конечно, не рискуете ничем, а кто поручится, что этот полковник не упрячет потом в

Моабит и меня и моего ганноверского коллегу?

— Не допускаю, — горячо возразил хозяин. — Он уже давно вьется возле меня, и небольшие дела я с ним уже провел. Поверьте моему чутью, он человек, у которого есть товар и который хочет сделать надежный гешефт, больше ни о чем он не думает.

— Наши с вами две головы — хорошо, а третья — еще лучше. Я сегодня же свяжусь с Ганновером. Если все будет в порядке, я приду к вам завтра же. Вы сможете предупредить полковника?

— Конечно, я имею его телефон.

— Пожелаем же друг другу удачи. — Я пожал руку хозяину магазина и, сопровождаемый им, вышел на улицу…

С товарищем Петером я встретился в совершенно новом месте — в фешенебельной квартире в самом центре города. Он поблагодарил меня за ликвидацию провокатора и сказал:

— А ваш товарищ находится в гестапо. Это подтверждено. Его допрашивают. Мы имеем приказ из Москвы сделать все возможное для его спасения, и мы делаем все, что можем. Попался он совершенно случайно — оказался в зоне облавы. Так что гестаповцы о нем ничего не знают.

Тогда я рассказал товарищу Петеру о моей

встрече с полковником и спросил его мнения, нельзя ли попробовать использовать гестаповца для спасения Ивана Ивановича.

Петер попросил описать внешность полковника. Я сделал это с максимальной обстоятельностью.

— Кто же это может быть? — сморщив лоб, задумчиво сказал товарищ Петер. — В собственно вильнюсском гестапо четыре полковника, но ни к одному из них эти приметы не подходят. Может случиться, что ваш полковник не имеет никакого отношения к местным гестаповцам. Нет, я категорически против этой крайне рискованной затеи.

Я рассказал товарищу Петеру то, что слышал от Ивана Ивановича. Что крупные работники гестапо очертя голову бросаются в коммерцию, чтобы награбленное превратить в деньги. Иван Иванович рассказывал, что в Берлине, например, одного гестаповца удалось так приручить, что он продавал не только ценности, но и секретнейшие документы.

— Я категорически против. Бросаться с такой аферой на первого, случайно подвернувшегося гестаповца недопустимо. Если хотите, я запрошу Москву. На это уйдет минимум два дня. Но вы еще сегодня, как предусмотрено планом, уйдете на

хутор и, если вы настаиваете на своем, пробудете там до тех пор, пока не придет ответ из Москвы. Если ответ будет положительный, вернетесь в город.

Я согласился с товарищем Петером. В конце концов, он и для меня являлся здесь начальником.

Итак, за пятнадцать минут до наступления комендантского часа я должен прийти в условленное место, откуда меня выведут за пределы города. В моем распоряжении оставалось около часа.

Я вернулся в гостиницу. После всего пережитого на меня буквально обрушилась страшная усталость. Я прилег.

Вдруг без стука открывается дверь, и в комнату входит мой полковник:

— Извините, господин Мотмиллер, что-то стало скучно, и я решил зайти к вам. И до черта надоели соотечественники в военной форме. — Полковник осмотрел комнату: — Прижимистый вы народ, дельцы, экономите даже на жилье.



— Марку экономит пфенниг…

— А реноме фирмы?

— А оно не что иное, как марки, лежащие на счету в рейхсбанке.

— Это тоже верно… — засмеялся полковник. — Между прочим, я узнал, что в вашем отеле есть чешское пиво.

— С удовольствием, но не могу. Сейчас мне должны как раз звонить из Ганновера. Дело прежде всего. Если хотите попозже, часа через полтора.

— Почему? — Полковник смотрел на меня пристально и чуть усмехаясь. — А мы соединим приятное с полезным. Я закажу сейчас в номер парочку бутылок.

— Да, но… У нас, дельцов, есть свои секреты.

— Как вам не стыдно, Мотмиллер! Полковник гестапо дал вам полную гарантию тайны сделки, а вы бормочете о секретах… — Он позвонил в ресторан и приказал принести пиво.

Я все понимал — он решил меня проверить и теперь уж ни за что не откажется от возможности послушать, как я буду оговаривать нашу сделку с коллегой: проверить солидность предприятия, в которое он ввязался. Вообще нужно сознаться, что я в те минуты растерялся.

Принесли пиво. Мы сели к столу.

— Во сколько у вас разговор с Ганновером? — спросил полковник.

Я посмотрел на часы, лихорадочно обдумывая ответ.

— В течение ближайших тридцати-сорока минут. Так мы договорились два часа назад.

— Вы заказали разговор?

— Нет, коллега будет звонить из Ганновера сам.

— Думаете, я не знаю, о чем будет разговор? О той валюте. Ой, не делайте такие страшные глаза. Неужели вы думаете, что мы не знаем, в каком ходу сейчас у вашего брата эта валюта? Мы даже знаем, как вы ее называете с далеко идущим намеком. Вы называете ее валютой любого варианта.

— Первый раз слышу, — пробормотал я.

— Врете, — отрезал полковник. — Может, вы спросите, а для чего она мне? Хотите, объясню? Мой отец до войны был пайщиком средней английской фирмы. Война не бесконечна, и какая-то Англия после нее останется. А вести дела с этими островитянами выгодно и надежно, вот и все. Видите, как я откровенен с вами, а вы… — Полковник укоризненно покачал головой.

После двух бутылок пива полковник стал менее разговорчив и все чаще посматривал на меня без всякого дружелюбия.

Когда все пиво было выпито, полковник показал на телефон:

— Ну, где же ваш Ганновер?

— Может случиться, что коллега и не позвонит. Помешали дела.

Полковник круто повернулся ко мне:

— Кто должен звонить?

— Я же сказал, коллега.

— Точно — кто?

Этот вопрос был задан уже так, что на него не отвечать было нельзя.

— Оскар Шранке. Ювелирная фирма. Так или иначе, он позвонит обязательно. Не сегодня, так завтра. Ведь я же просил у вас на улаживание дела два дня. Наконец, он мог просто не получить провод.

Полковник на мгновение задумался, встал, решительно подошел к телефону и набрал какой-то номер.

— Говорит Цехмайер. Позвоните сейчас же нашему дежурному в Ганновер, от моего имени попросите его срочно разыскать там коммерсанта Оскара Шранке и соедините его с Вильнюсом,

отель «Палас», номер сто пять. — Полковник положил трубку и снова сел в кресло: — Так-то будет надежней.

«Ну, вот и свершилось, — подумал я. — Я сам всунул голову в петлю, и больше никакого выхода нет...»

— Зря вы загружаете своих людей лишней работой, — сказал я и сел в кресло напротив полковника. — Шранке позвонил бы и сам. Он человек слова.

— Ничего, так будет быстрей.

Я стал подсчитывать, каким временем я располагаю. Из Вильнюса звонят в Ганновер через Берлин. На это, даже при всей власти гестапо, уйдет не меньше десяти минут. Столько же, а может, и больше, понадобится гестапо Ганновера, чтобы убедиться, что никакого Оскара Шранке в городе нет. И тогда еще десять минут, пока Ганновер через Берлин дозвонится в Вильнюс. Словом, я могу рассчитывать минут на тридцать. Но самое страшное в том, что уже через пять минут я должен быть на условленном месте, где меня будет ждать проводник, а от гостиницы до этого места пять-семь минут самой быстрой ходьбы. Словом, на встречу с проводником я уже не успевал.

«Застрелить полковника и бежать!» — эта

мысль возникла в голове раньше других. Но выстрел будет услышан, и моему бегству могут помешать. Ударить его рукоятью пистолета, задушить? Увы, все это не так просто сделать.

Полковник засмеялся:

— Представляю себе, как перетрусит ваш Шранке, когда ему позвонят из гестапо.

Я пожал плечами:

— Как бы это не помешало сделке.

Резкий телефонный звонок. Оттолкнув руку полковника, я схватил телефонную трубку.

— Алло! Говорит дежурный гестапо Ганновера, — кричал в трубке далекий гортанный голос.

— Да, я у телефона. Слушаю.

— Кто у телефона? — спрашивал далекий голос. — Полковник Цехмайер?

Дальше я уже не вслушивался в то, что говорил тот далекий голос, ибо в это мгновение я уже принял решение, что делать. Не слушая того, что звучало в трубке, я делал вид, что говорю со Шранке.

— Одну минуточку, Оскар, ищу карандаш.

Полковник пальцем показал на лежавшую на столе его вечную ручку.

Но я, будто не видя этого, опустил руку в правый карман пиджака, схватил пистолет и, не вынимая

его из кармана, сделал два выстрела в гестаповца. Он взмахнул руками и повалился на бок.

Тишина. Встревоженные голоса в коридоре. Потом кто-то успокаивающе сказал:

— Что-то упало.

Тишина.

Выждав еще немного, я засунул под кровать свой чемодан с фальшивыми рейхсмарками, схватил пальто и вышел из отеля. Спустя минут двадцать я уже был на окраине города, где начиналось шоссе, ведущее в Каунас.

Останавливаю почтовый фургон. Недолгие переговоры с шофером и почтовым чиновником кончаются тем, что в их карманы переходят мои марки, а я получаю место в фургоне.

Примерно в пяти километрах от Каунаса я попросил моих спасителей остановиться и, поблагодарив их, пошел якобы на хутор своего брата.

Я шел полями, рассчитывая выйти на какую-нибудь другую дорогу, тоже ведущую в Каунас.

К рассвету я вышел на шоссе. Впереди, метрах в двухстах, на обочине дороги стояла группа штатских людей. Я сообразил, что они ждут автобуса, подошел к ним и тоже стал ждать. Минут через тридцать показался автобус. Он остановился,

нетерпеливо рыча уставшим мотором. Я сел на крайнее место у задней двери. На виду у меня были все пассажиры, и в случае чего я мог быстро выскочить через заднюю дверь.

На окраине города я вышел из автобуса. Немцев не было видно. Впрочем, я чувствовал себя довольно спокойно. В конце концов, имевшиеся у меня документы на имя коммерсанта были в полном порядке, а до солдата из какого-нибудь случайного патруля мои похождения в Вильнюсе дойти еще не могли. Наконец, я был уверен, что там, куда я иду, я найду надежный приют.

Да, это решение я принял еще в Вильнюсе — я иду прямо к Марите. Иду, потому что помню, как она во время случайной нашей встречи сказала, чтобы я в случае надобности смело шел к ним.

И вот я пришел. Встретили меня поначалу хорошо, особенно Марите. Все получилось удачно. Было так рано, что никто посторонний моего появления не заметил.

Но спустя некоторое время создались первые сложности. Я ведь не мог сказать ни Марите, ни ее отцу и брату, кто я, что делаю и откуда свалился на их голову. Надо признаться, что об этом я своевременно не подумал, и потому рассказал на ходу придуманную историю. Рассказ мой был и

сбивчивый и не очень убедительный.

Я заметил, что отец и брат Марите стали посматривать на меня с подозрением и радушие их заметно померкло. Они задавали мне все больше уточняющих вопросов, и окончилось это тем, что я зашел в тупик. Тогда я сказал им:

— Успокойтесь, могу вас заверить в одном — совесть моя перед вами чиста. Но отвечать на ваши вопросы я больше не буду. Кроме того, долго затруднять вас своим присутствием я тоже не буду.

Марите сказала, что меня никто не гонит, но ее отец и брат промолчали.

И вот я здесь уже вторую ночь. Она на исходе, а я, неизвестно зачем, делаю эту сверхподробную запись обо всем происшедшем со мной.

Нет, я знаю, зачем пишу — документ о том, что со мной произошло, должен остаться. Пусть не будет меня, но правда о моих поступках должна жить, хотя бы для того, чтобы однажды моим старикам кто-то мог сказать: «Ваш сын не был идеальным бойцом, он совершил немало грустных ошибок, но он не был ни предателем, ни трусом».

Вот ради одного этого я и делаю запись. Заканчиваю и ставлю точку...»

После слов «ставлю точку» нарисована огромная точка величиной с орех. Она заштрихована линиями крест-накрест. Под ней мелко-мелко написано:

«Надо перешагнуть и через это».

13

Следующая запись Владимира относилась уже к лету сорок четвертого года. Но в ней ни слова о том, что произошло с ним начиная с конца октября сорок третьего года, когда он появился в доме Марите. А ведь после этого прошел почти год.

Как же восстановить этот год? Что, если попробовать поискать Марите?

Из записок Владимира я знал, что она в сороковом году работала стенографисткой в Каунасском горисполкоме. Ну что ж, можно попробовать поискать…

Машинистки Каунасского горисполкома никакой Марите не помнили. Впрочем, они и не могли ее знать, так как выяснилось, что никто из них в сороковом году здесь не работал. Я уже собрался уходить, как вдруг одна женщина сказала, что года два назад на пенсию ушла старейшая

стенографистка города, которая в сороковом году наверняка здесь работала.

Адрес этой стенографистки я разыскал без особого труда…

Дверь открыла сухонькая, суетливая старушка. Убедившись, что я пришел именно к ней, она, абсолютно не интересуясь, кто я и зачем пришел, провела меня в маленькую, сплошь увешанную коврами комнатку, усадила за стол, сама села напротив, положив на стол руки, словно оплетенные вспухшими венами. Очевидно, она жила одна, ей было тоскливо без дела и приход любого человека был для нее праздником. Она вся светилась, ожидая, что я ей скажу.

Я спросил, не знает ли она работавшую в сороковом году в горисполкоме стенографистку, по имени Марите.

— Вы очень правильно сделали, обратившись именно ко мне, — заговорила она быстро, и на ее сморщенных щеках появился румянец. — Мы, стенографистки, — очень дружный народ, можно сказать, корпорация. Или, может быть, каста. Все стенографистки города, как правило, знают друг друга. Но дружим мы по-особому, и никогда нельзя понять, как мы сходимся в свои особые группы. Но, если уж сходимся, мы друг за друга

стеной. Скажем, одной из нас предлагают работу, и она не может ее взять. Тогда она немедленно дает адрес остальных своих подружек, это уж как закон… — Она осеклась, наверное заметив на моем лице выражение крайнего нетерпения. — Значит, вас интересует некая Марите… Марите… — Она помолчала. — Да, я знала одну стенографистку с таким именем, и она работала тогда в горисполкоме. Фамилия ее Давидайте. Да, да, Давидайте, Марите Давидайте. Это была очень молоденькая стенографистка и страшно неопытная. Мы однажды взяли ее на парламентскую работу и потом мучились с ней невероятно. Да, да, я ее помню, красивенькая такая блондиночка с большими светлыми глазами. Между прочим, болтали, что у нее роман с каким-то русским из Москвы. Впрочем, почему я говорю — с каким-то? Я его видела на одном совещании и даже стенографировала его выступление. Очень темпераментно говорил и оттого страшно быстро. Записывать его было невероятно трудно. Я хоть и училась стенографировать по-русски, и, между прочим, в Петербурге, но к сороковому году успела забыть многие русские слова. Но ничего, я все-таки справлялась… Нет, то, что он говорил, я не помню. Стенографистки вообще никогда

не помнят то, что записывают. Какой он был из себя? Ну, статный такой, светлые волосы. Я бы сказала, что он был юношей шведского типа… Нет, о Марите я больше ничего сказать не могу. Боже мой, что для меня Марите, если я за войну потеряла всех своих близких и давних подружек! Осталась одна, как старое дерево в чистом поле, словом не с кем перекинуться. Только то и делаю, что читаю, читаю, читаю. А нынешние книги мне не интересны, а многое просто не понимаю. Скажите, пожалуйста, почему теперь так мало пишут о любви?..

Уйти от нее оказалось гораздо труднее, чем ее найти. Она и в прихожей продолжала тараторить — теперь уже про то, что подготовка стенографисток в наши дни поставлена отвратительно и что, будь она на месте начальства, она бы не доверяла ни одной стенографистке моложе сорока лет…

Давидайтисов в Каунасе проживало не меньше, чем Давыдовых в любом большом русском городе. Перенумеровав полученные в справочном бюро квитки с адресами, я начал методический поиск. В оставшееся до темноты время посетил три семьи Давидайтис. Ничего похожего. На другой день с утра впустую съездил еще по четырем адресам.

И вот в руках у меня квиток под номером восемь. Он привел меня на тихую, утопающую в зелени окраинную улицу. В пестрой оборке палисадника притаился одноэтажный домик. Из окна уже заметили, что я стою перед калиткой, и на крыльцо вышел мужчина. Он был без пиджака, и подтяжки на его округлом животе были похожи на меридианы глобуса. Он подошел к калитке и впился в меня острыми, подозрительными глазками.

— Да, да, этот дом… принадлежал Давидайтисам… до сорок седьмого года, — сиплая одышка разрывала фразу. — Я купил у них… этот дом… А в чем дело?

Я объяснил, кого ищу. Толстяк помолчал и сказал:

— Да ведь из всей семьи Давидайтисов только эта Марите и осталась. Она теперь инженер. Брат ее погиб в конце войны. Отец умер в сорок седьмом. Оттого она и дом продала.

Я спросил, не знает ли он, где сейчас живет Марите. Толстяк повернулся к дому и выкрикнул какое-то мудреное литовское имя. В окне показалась женщина с рогатой от бигуди седой головой. Толстяк сказал ей что-то по-литовски. Женщина исчезла, но тотчас с необычайной резвостью

выбежала из дома, держа в руке бумажку. Другой рукой она кокетливо придерживала на голове бигуди.

— Вот здесь, — она протянула мне бумажку, — последний адрес Марите. Это она своей рукой написала, — многозначительно подчеркнула женщина.

Указанная в адресе улица была абсолютно новой. По обе стороны чистенькие, только что построенные дома. Некоторые из них были еще в лесах. Земля вокруг разворочена, улица рассечена глубокими канавами, через которые переброшены временные мостки. Машину пришлось оставить в самом начале улицы.

Квартира Марите была на третьем этаже. Звонок не работал. Я постучал. За дверью тишина. Постучал сильнее, и тогда открылась дверь квартиры через площадку, и женщина в ярком клетчатом фартуке, с руками, белыми от муки, спросила у меня что-то по-литовски. Но, поскольку в ее вопросе прозвучали два знакомых мне слова «Марите Давидайте», я ответил по-русски:

— Да, мне нужна Марите Давидайте.

Смешно коверкая русские слова, ломая падежи и склонения, женщина сказала, что Марите ушла в магазин и скоро придет. Я вышел на улицу и

стал у двери. Мне было интересно, узнаю ли я Марите!

И вот я увидел вдали женщину с хозяйственной сумкой в руках, быстро приближавшуюся к дому. Она не пользовалась мостками, пересекала улицу напрямик, уверенно прыгая через канавы. Меня охватило страшное волнение. Еще не разглядев ее как следует, я уже был почему-то уверен, что это и есть Марите, хотя она была совсем не похожа на ту Марите, какую я создал в своем воображении. Хотя бы потому, что приближавшаяся ко мне молодая женщина была совсем маленького роста.

Я не сводил с нее глаз. Она чуть замедлила шаги, издали всмотрелась в меня и затем снова пошла быстрее.

— Простите, пожалуйста, вы, случайно, не Марите Давидайте?

— Да, это я. — Она остановилась. В ее больших серых глазах была настороженность. — Вы по работе?

— Нет.

Настороженность в ее глазах стала еще явственнее.

— А что такое? — тихо спросила она.

— Мне очень нужно поговорить с вами. Я писатель, пишу о человеке, которого вы знаете.

Несколько секунд она стояла в нерешительности, потом сказала:

— Зайдемте ко мне.

У нее была маленькая однокомнатная уютная квартирка. Но ее уют был очень своеобразным. Большая светлая комната с застекленным, выходящим на угол дома «фонарем», по первому впечатлению была похожа на кабинет ученого. Это впечатление создавалось от книг, от огромного их количества. Книжные полки занимали две стены от пола до потолка.

На длинном низком столе, возле которого стояло кресло с цветком торшера над ним, аккуратными кипами лежали журналы. В углу, на специальном столике, стояли радиоприемник и телевизор. Письменный стол, придвинутый к «фонарю», был покрыт толстым стеклом. Отлогий луч предзакатного солнца отражался от стола радужными бликами. На столе не было ничего, кроме сияющего в солнце хрустального бокала, наполненного остро отточенными карандашами. Сбоку стола, прислоненной к стене, стояла чертежная доска с приколотым листом ватмана, на котором едва просматривался какой-то чертеж, выполненный пока карандашом.

Одна из стен была почти сплошь увешана гра-

вюрами, подобранными с большим вкусом. В центре в золоченой рамке висел непонятный чертеж, похожий на рисунок абстракциониста, — беспорядочно пересекающиеся полукруги, от которых вправо и влево уходили строго параллельные двустрочия. По четыре с каждой стороны.

Когда я с любопытством и удивлением рассматривал этот чертеж, стоявшая за моей спиной Марите рассмеялась:

— Это моя работа. Когда я училась в Московском транспортном институте на четвертом курсе, я вообразила, что меня осенила гениальность. Села за чертежку и в неделю разработала вот эту схему маневровых путей активного железнодорожного узла. Снесла профессору. А он сказал: «Вам, милая, надо окончить институт, и тогда вы сами обнаружите катастрофический просчет, имеющийся в вашей схеме». И только через два года я поняла, что в моей схеме такое огромное количество пересечений путей, при котором нормальное маневрирование почти исключается, а моя идея на том и держалась. Тогда я вставила этот чертеж в рамку, повесила среди милых мне картин, а вот тут, в углу чертежа, сделала понятную только мне надпись: «В технике все новое — только от

знаний».

Все это она сказала с той неподдельной оживленностью, за которой угадывалось: вот это — главная радость и главный интерес ее жизни.

Вдруг оживление в ее глазах погасло:

— Простите, я отвлеклась. Вы сказали… Я слушаю вас. Садитесь, пожалуйста.

— Я хочу написать книгу о человеке, которого вы хорошо знали, — о Владимире.

На ее лице медленно проступил румянец.

— Он жив? — быстро спросила она.

— Не знаю.

— Действительно не знаете или не хотите меня огорчать?

— Не знаю…

Мы долго молчали. Я смотрел на нее и пытался представить себе, какой она была тогда, почти пятнадцать лет назад. Сейчас я не мог назвать ее красивой. Но у нее были удивительно живые и выразительные, несколько удлиненные серые глаза.

Прошло немало времени, прежде чем наш разговор более или менее наладился и Марите начала рассказывать.

Когда стемнело, она зажгла свет и сварила кофе. Но свою чашку так и не пригубила. У нее уже

появилась душевная потребность высказаться до конца. И от меня теперь требовалось только до предела напрягать память, чтобы не растерять рассказанных ею дорогих подробностей. Это было нелегко, так как никакой записи во время беседы я, естественно, не вел.

Ниже я привожу рассказ Марите, привожу в том виде, как я записал его ночью, вернувшись от нее в гостиницу.

Рассказ Марите Давидайте

Познакомились мы с Владимиром довольно случайно. Произошло это в начале осени сорокового года. Я тогда работала в горисполкоме. В тот день до самого конца службы у нас шло совещание, на котором я его в первый раз и увидела. Он на том совещании дважды выступал. Но я тогда русский язык знала совсем плохо и, о чем он говорил, не понимала, стенографировала его не я.

А потом так случилось, что мы вместе вышли из горисполкома. Он сказал что-то о погоде, но я не поняла что, и рассмеялась. Я вообще была до неприличия смешливая.

Мы вместе пошли по улице и стали разговаривать по-немецки. Он на этом языке говорил очень хорошо. Потом мы зашли в кафе. Он пригласил, а

я не отказалась, подумав, что мне надо тренироваться в разговоре по-русски. В кафе я предложила говорить по-русски, и мы очень много смеялись: я — от странных для моего уха русских слов, а он — от моего страшного их произношения. Вот с этого наше знакомство и началось.

…Нет, нет, ничего серьезного между нами не было, даже дружбы настоящей не было. Знакомство, не больше. Во всяком случае, я расценивала наши отношения именно так, а что о них думал Володя, не знаю.

Сначала мы виделись главным образом по воскресеньям. Ходили в кино, сидели в кафе, танцевали. Весной сорок первого года мы стали встречаться чаще. Володя побывал у нас в доме.

Мы с братом выросли без матери. Она умерла, когда мы были еще маленькими. Воспитывал нас отец. Он был простым рабочим-железнодорожником и очень хорошим человеком, хотя держал нас с братом в большой строгости. Мы любили и даже боготворили его. Он не был коммунистом, но о вашей стране всегда говорил с симпатией. И не удивительно, что переворот сорокового года он приветствовал и вскоре стал активистом профсоюза железнодорожников.

Когда Володя пришел к нам первый раз, он

повел себя очень странно и выглядел каким-то легкомысленным и болтливым. Отец смотрел на него удивленно. А когда Володя ушел, отец сказал: «Странно, я представлял себе человека из Москвы совсем не таким». Придя к нам второй раз, Володя держался иначе — сдержанно и даже как-то напряженно. Но отец свое мнение о нем не изменил. «Несерьезный он парень. Русские коммунисты совсем не такие». Это мнение отца о Володе впоследствии сыграло большую роль в том, что случилось уже в военное время.

Война, как вы знаете, обрушилась на нас внезапно. На второй день войны Володя позвонил мне по телефону в горисполком, сказал, что хочет помочь нашей семье эвакуироваться, и назначил мне свидание в семь часов вечера. Но сам он на это свидание не пришел. Я рассказала об этом отцу. Он страшно разозлился, сказал, что Володя не человек, а ветряная мельница, и решительно заявил, что он вообще никуда уезжать не собирается.

Фашисты захватили Каунас. Отца с прежней его работы прогнали, и он стал чернорабочим на расчистке путей. Я не работала вовсе. На своем месте остался только брат. Он работал на почтамте. Жить сразу стало очень трудно. Наверное,

пришлось бы голодать, если бы не сестра матери, которая нет-нет, да присылала нам из деревни продукты.

Наступила зима. Как раз под самое рождество я шла домой через центр города и столкнулась с Володей. Я как-то сразу не сообразила, что вижу именно его и что он, советский человек из Москвы, находится в захваченном фашистами Каунасе. Просто я очень обрадовалась встрече и остановила его. Володя был страшно растерян. Он расспрашивал меня, как я живу, а сам в это время думал о чем-то совсем другом. Я спросила его, что он делает в городе, как живет. Он стал говорить очень сбивчиво, концы с концами в его рассказе не сходились. И тогда я подумала, что он, наверное, живет тайно, и попросила больше ничего о себе не говорить. Я сказала ему еще, что, если возникнет надобность, он может уверенно идти к нам. Мы живем на окраине, и у нас спокойно. На том мы и расстались…

Отцу я об этой встрече все же рассказала. Он только рукой махнул: «Я же говорил — ветряная мельница».

Больше о Володе в нашей семье не было сказано ни слова, вплоть до его появления у нас в самом конце октября сорок третьего года.

…Он пришел рано, рано утром. Отец собирался на работу, и я его кормила. Брат еще спал. Вдруг стук в дверь. Я бегу, открываю дверь и вижу Володю. У меня прямо язык отнялся. Смотрю на него и молчу. И он тоже молчит, только как-то жалко улыбается. А одет он был, между прочим, шикарно. Даже при крахмальном воротничке. Наконец я опомнилась и пригласила его войти. Еще в передней он задержал меня за руку и сказал:

— Помнишь, Марите, ты говорила, чтобы я в случае чего шел к вам. Так вот, я пришел. Выручайте.

Мы вошли в столовую. Володя поздоровался с отцом, но тот ему не ответил. Уставился на него злыми глазами и молчал. Тогда Володя сказал ему:

— Извините меня, товарищ Давидайтис, но ваша дочь однажды сказала мне, что в случае надобности я могу найти у вас надежный приют. Вот сейчас я как раз в этом нуждаюсь…

— Садитесь, — проворчал отец, продолжая разглядывать Володю недобрыми глазами. — На вас глядя не скажешь, что вы в беде. Может, вы просто не поладили с новыми господами?..

Лицо у Володи стало серым, он встал со стула:

— Товарищ Давидайтис, у вас нет оснований

оскорблять меня, а у меня нет ни желания, ни возможности перед вами оправдываться. Вопрос очень прост: можете вы укрыть меня на два-три дня?

Отец долго молчал, потом сказал:

— Марите вас приглашала, пусть она делает как хочет.

Володя посмотрел на меня. Согласитесь, что мое положение было весьма сложным. У меня, конечно, и мысли не было, что Володя служит у немцев, но в нашем доме мнение отца всегда было решающим.

— Садитесь пока к столу и кушайте, — растерянно пробормотала я. — А потом мы все обсудим.

Отец, не сказав больше ни слова, ушел на работу.

В это время встал брат. Он тоже отнесся к Володе настороженно, хотя и не так резко, как отец.

— Вы что же, все это время жили в Каунасе? — спросил брат.

Володя покачал головой.

— Я не был здесь два года. Я появился в Каунасе тридцать минут назад. Больше ничего сказать вам я не могу. Прошу лишь поверить мне на слово — с оккупантами не сотрудничаю.

— Ну что ж, — усмехнулся брат, — поверим

на слово.

— Речь идет о том, — повторил брату Володя, — чтобы ваша семья дала мне приют на два-три дня и чтобы об этом никто не знал. А затем я уйду. Просто в ближайшие дни мне опасно появляться где бы то ни было. Не только в Каунасе.

Брат пожал плечами:

— Живите, раз надо.

Вскоре мы остались с Володей вдвоем. Он был подавлен. Молчал. Я предложила ему отдохнуть, но он отказался. Потом спросил:

— У вас ход на чердак есть?

Я показала ему лестницу, пристроенную в кухне за печкой, и люк в потолке.

— Я буду там, — сказал он.

Тщательно осмотрев чердак, он сделал себе там укрытие из пустых ящиков и старой мебели. С чердака он так и не спустился. Попросил, чтобы я ни о чем больше не беспокоилась и занималась своими делами… Да, чуть не забыла — он попросил еще бумаги. Я дала ему свою старую школьную тетрадь.

Вот так он у нас и остался.

К вечеру вернулся отец, спросил:

— Где он?

Я сказала:

— На чердаке.

Отец усмехнулся:

— Хороший костюм испачкает. — И больше о Володе отец не заговаривал, поужинал и лег спать.

Позже пришел брат, принес, как всегда, газеты и стал их читать. Я поставила ему ужин, он отложил газеты в сторону и говорит:

— Читаешь их газеты — дела у них идут как по маслу, а шофер с почтового автобуса рассказывал, что в Вильнюсе коммунисты прямо в гостинице застрелили какого-то крупного нациста. Об этом в их газетах не прочтешь.

Почему-то я сразу подумала, что Володя как-то связан с этим убийством. Я не могу вам объяснить, почему я так подумала, но вот подумала. И видите, не ошиблась.

Еду Володе на чердак носила я. Мне хотелось поговорить с ним, попросить его не сердиться на отца. Но Володя находился в очень подавленном настроении, и с ним не получалось разговора. Поставлю еду и уйду.

На другой день отец вернулся с работы какой-то взволнованный, суетливый. Делает мне знак пройти за ним в спальню. Когда мы вошли туда, он плотно закрыл дверь и говорит:

— Не знаю, что и подумать. Ты слышала, брат говорил про нациста, застреленного в Вильнюсе. Так в городе ходят слухи, что убийца в Каунасе. На вокзале обыскивают всех подряд. Патрули обходят поезда. Пока я с работы шел, меня два раза остановили… — Отец замолчал и выразительно посмотрел на потолок.

— Папа, я тоже так подумала, — сказала я.

— «Подумала, подумала»! — проворчал отец и вышел из спальни. — Давай ужинать.

Пришел брат и тоже стал рассказывать о кутерьме, поднятой в городе нацистами. Почтамт кишит агентами, все письма вскрываются. То и дело хватают людей и ведут на проверку в специально отведенную для этого комнату. Брат заметил, что хватают только хорошо одетых мужчин молодого и среднего возраста.

Вдруг отец положил ложку и строго сказал:

— Ну-ка, проверь затемнение на окнах. В порядке? Марите, иди позови его с чердака сюда!

Брату он приказал выйти на улицу и смотреть, чтобы никто случайно не нагрянул.

Володя спустился с чердака и вошел в столовую. Небритый, бледный, глаза воспаленные. Остановился перед отцом и спросил:

— Мне пора уходить?

— Садитесь. Надо поговорить, — смущенно сказал отец. — Дело серьезное. В Вильнюсе, говорят, застрелен какой-то крупный фашист, а убийцу ищут здесь, в Каунасе. В городе переполох, хватают кого попало. Вот… — Отец замолчал.

Володя пожал плечами:

— А при чем здесь я? Если вы боитесь и хотите…

— Я еще не сказал, что я хочу, — разозлился отец. — А я хочу немного: хочу что-нибудь знать.

— Так вы уже знаете больше меня, — улыбнулся Володя.

В это время я заметила, что его трясет, как в лихорадке, а лицо покрывается красными пятнами.

— Володя, вы больны? — спросила я.

— Это не имеет никакого значения, — хрипло сказал он. — Я сейчас уйду.

— Вас никто не гонит, — твердо произнес отец.

— Я уйду, — повторил Володя. — Уйду хотя бы потому, что не имею права подвергать всех вас опасности. Мало ли что… — Он повернулся ко мне: — Прошу вас, Марите, поднимитесь ко мне через час.

Он поднялся на чердак, а мы — я, отец и брат, — собрались в спальне и шепотом обсуждали,

как нам поступить. Я настаивала, чтобы отец уговорил его пожить у нас еще хотя бы два-три дня. Отец это отказался сделать.

— Если он действительно тот, кого ищут, — сказал он, — то он сам лучше знает, что ему делать. А если не тот, тогда тем более пусть уходит. Я не хочу, чтобы наша семья сгнила в тюрьме из-за нелепого случая.

Брат поддерживал меня, но не очень уверенно. Так мы ни до чего и не договорились. Отец и брат легли спать. Я поднялась на чердак. Володя при свете коптилки писал. Посмотрел на меня, улыбнулся:

— Наделал я вам хлопот. Жалеете теперь, что неосторожно пригласили меня тогда?

— Я никогда не жалею о том, что делаю.

Он внимательно посмотрел на меня, вздохнул и сказал:

— А я, бывает, очень жалею о сделанном. — Он полистал лежавшую перед ним тетрадь и сказал: — Марите, у меня к вам просьба. Я скоро закончу писать. Прошу вас эту тетрадь не трогать. Я спрячу ее у вас на чердаке и при первой возможности приеду за ней сам или пришлю человека. Обещаете?

— Обещаю.

Он крепко сжал мне руку и, очень волнуясь, сказал:

— Когда-нибудь все выяснится. Абсолютно все. И тогда вы убедитесь, что я вас не обманывал. Скажите это и вашему отцу. Я на него не в обиде, я его понимаю. А теперь — до свиданья. — Он снова сжал мне пальцы своей горячей рукой, быстро отвернулся и склонился над тетрадкой.

Я ушла. Уснуть, конечно, была не в силах. Я лежала с открытыми глазами и прислушивалась к тому, что делалось на чердаке. Я слышала, как он там ходил, что-то передвигал. Но, когда он ушел, я не слыхала: под утро я все же заснула.

Завтракая, ни отец, ни брат о Володе не говорили и у меня ничего не спрашивали. Как только они ушли на работу, я поднялась на чердак. Час был ранний. Утро выдалось мглистое, и на чердаке было совсем темно. Я остановилась, чтобы получше приглядеться, и вдруг услышала стон.

Володя полулежал, прислонившись к ящикам. В груди у него свистело и клокотало. Изредка он стонал и неразборчиво произносил какие-то слова. Я прикоснулась рукой к его лицу. Оно было горячее, как печка. На мое прикосновение он никак не реагировал, он был без памяти…

Володя заболел, судя по всему, воспалением

легких. Что я пережила, пока пришли с работы отец и брат, словами не передашь. Не забыть то, что пережили мы за те две недели, пока он болел. Ведь даже хорошо знакомого врача позвать было нельзя. Опасно было спросить у кого-нибудь совета. Чуть ли не каждую ночь нам казалось, что Володя умирает. Все же отец ухитрился как-то получить врачебную консультацию и даже добыл лекарства.

На девятый день в болезни наступил перелом, резко спала температура. Невероятно похудевший и ослабевший, Володя был похож на беспомощного ребенка. Воды из чашки сам не мог выпить. Вдобавок ему совершенно отказали нервы, он часто плакал. Спросишь у него, как дела, а у него слезы из глаз ручьем.

Но поправлялся он быстро. Через неделю начал вставать, нашел на чердаке два кирпича и систематически проделывал с ними гимнастические упражнения.

— Болезнь, — говорил он, — событие, от меня не зависящее, а вот выздоровление я уже обязан ускорить, именно обязан.

Другой раз он так изматывал себя этими кирпичами, что потом целый час лежал без движения.

Однажды отец пришел с работы не один.

Привел с собой старого своего знакомого, тоже железнодорожника, которого мы все звали дядюшкой Ионасом. Об этом человеке нужно кое-что рассказать, чтобы вам все было понятно и не вызывало никаких подозрений…

Дядюшку Ионаса мой отец знал с юных лет. Они когда-то даже учились в одной школе. Вместе они пошли и работать на железную дорогу. Так, наверное, года до тридцать пятого они дружили и часто встречались. А потом вдруг сразу вся дружба оборвалась. Дядюшка Ионас перестал у нас бывать. Как-то отец сказал о нем: «Не терплю людей, которые берутся не за свое дело». И так как он не пояснил, что имел в виду, мы ничего не поняли. И только значительно позже, когда уже кончилась эта война, отец все нам рассказал.

Оказывается, дядюшка Ионас был коммунистом. Отец сам не знал этого до той поры в тридцать пятом году, когда дядюшка Ионас начал уговаривать и его вступить в организацию, тайно работавшую на железной дороге.

Надо сказать, что у нашего отца был довольно своеобразный взгляд на жизнь. Может быть, даже несколько странный. Он верил в судьбу. Что бы ни случилось, он говорил: «Судьба! Против нее не пойдешь». Ну, будь в этой его теории религиозная

основа, тогда все было бы понятно. Так нет, он не верил ни в бога, ни в черта и в местном приходе числился в еретиках. По его понятиям, судьбой была сама жизнь во всем ее необъятном масштабе, перед которой отдельный человек абсолютно ничего не значит — песчинка, не больше. И жизнь, она кидает эту песчинку куда захочет и как захочет. Идти против судьбы отец считал бесполезной затеей. «Судьбу, — говорил он, — не надо испытывать. С ней надо ладить». Для него самого ладить с судьбой означало — честно работать и не лезть ни в какие посторонние дела.

И, когда отец узнал, что его друг дядюшка Ионас не только сам лезет на рожон со своими коммунистами, но и его на это подбивает, он порвал с ним. Помню, как однажды отец сказал не без злорадства: «А наш-то Ионас попал в тюрьму. Теперь у него будет время подумать, полезно ли совать нос, куда не следует».

Дядюшку Ионаса выпустили из тюрьмы в день переворота летом сорокового года. Он стал каким-то небольшим начальником на железной дороге. На отца он злобы не имел и даже предлагал ему работу полегче и повыгоднее. Отец отказался. Мне он сказал об этом так: «Этот Ионас опять полез не в свой огород и меня хотел потянуть

туда же. Тюрьма ничему его не научила». Дружба между ними так и не восстановилась. Мне казалось, что отец чувствовал себя неправым по отношению к дядюшке Ионасу, но сознаться в этом даже самому себе он не хотел. Он ведь был у нас очень упрямым. Такими упрямыми могут быть только литовцы…

Вышло так, что во время оккупации дядюшка Ионас тоже стал чернорабочим и работал вместе с отцом. И они снова начали дружить.

Дядюшка Ионас был абсолютно одинокий человек. Он часто приходил к нам и целыми вечерами играл с отцом в шашки. И вдруг между ними произошел новый разлад. Это случилось на моих глазах. Вернее, начала этого разлада я не знаю. А в этот вечер случилось следующее. Я сидела в спальне за шитьем и услышала, что отец со злостью кричит что-то дядюшке Ионасу. Я вошла в столовую.

— Ты лучше забудь дорогу в мой дом! — кричал отец. — У меня дети. Я не бездомный пес, как ты, которому все нипочем! Ты подумал, что ты мне предлагаешь? Чтобы я своими руками свел на виселицу своих детей и себе петлю на шее завязал! А я-то думал, что жизнь тебя образумила. Уходи отсюда сейчас же, чтоб ноги твоей тут не было!

Как тебе только не стыдно было входить в мой дом об руку со смертью. Уходи подобру, Ионас!

Дядюшка Ионас, улыбаясь, встал и, не сказав ни слова, ушел. Я спросила у отца, что случилось, но он не ответил. Впрочем, я догадывалась, конечно, о причине ссоры. Наверное, дядюшка Ионас снова участвовал в какой-нибудь тайной работе и звал с собой отца.

Произошло это осенью сорок второго года. И с тех пор мы о дядюшке Ионасе ничего не знали. Отец о нем никогда не заговаривал. И вот спустя год после ссоры отец вдруг привел его к нам домой. Зная характер отца, я страшно этому удивилась. Но дальше последовало такое, что буквально ошеломило меня.

— Веди сюда Володю, — сказал мне отец.

Стою, с места тронуться не могу. Смотрю то на отца, то на дядюшку Ионаса. Отец разозлился, ударил ладонью по столу:

— Веди, раз сказано!

Я поднялась на чердак и разбудила Володю. Сказала, что его зовет отец, и предупредила, что отец не один, с ним пришел еще один человек, железнодорожник, старый приятель отца.

Несколько мгновений Володя напряженно думал, а потом сказал:

— Выбирать не из чего. Пошли!

И вот такая, значит, картина: за столом сидят отец, дядюшка Ионас и Володя. Дядюшка Ионас, наклонив голову, поверх очков рассматривает Володю. Тишина. Только слышно, как сердито сопит отец.

— Кто вы и откуда? — тихо спросил у Володи дядюшка Ионас.

— Я советский человек, которого крайние обстоятельства заставляют сейчас скрываться. Больше я ничего сказать не могу и не имею права. А вы кто?

— Я местный рабочий, железнодорожник. — Дядюшка Ионас усмехнулся. — Номинально член коммунистической партии.

— Что значит — номинально? — спросил Володя.

— А то и значит. Членских взносов, согласно уставу, не плачу. Организации у нас фактически нет. Четверо вот таких же, как я, номинальных, и все дело. Кустарничаем как можем. А голыми руками и не всякую блоху словишь. Но сейчас не об этом речь. Нужно решать, что с вами делать.

Володя пожал плечами:

— А что со мной делать? Я в ближайшие дни уйду.

— Куда?

— Решу по обстановке.

Дядюшка Ионас вздохнул:

— Ну, так вот: обстановка сейчас такая, что как бы все за вас не решили гестаповцы. Город на просмотре, да еще на каком! Просто так уходить и не думайте, если жизнь вам, конечно, дорога.

— Но и сидеть без конца, как клоп в щели, я не собираюсь! — рассердился Володя.

Несколько минут все молчали. Потом дядюшка Ионас сказал:

— Тут такое есть предложение: из города на восток, в Белоруссию, идут товарные порожняки. Есть кондукторская бригада, в которой все до одного — верные люди. Могут вас доставить поближе к партизанам. Они эти места в Белоруссии знают.

— Это надо обдумать, — нерешительно сказал Володя. — Я хочу…

Володя не договорил. В дом ворвался запыхавшийся брат:

— Гестаповцы прочесывают нашу улицу! — крикнул он.

— Быстро на свое место! — приказал Володе дядюшка Ионас.

Володя поднялся на чердак. Отец с дядюшкой

Ионасом разложили шашки и стали играть. Я подала брату ужин, а сама занялась шитьем. Прошел, может быть, целый час. Все мы прислушивались к тому, что было за окнами, но ничего не было слышно.

И вдруг резкий стук в дверь. Отец спокойно сказал мне:

— Иди и без лишних разговоров открой дверь.

В дверь барабанили сразу несколько человек.

— Кто там? — крикнула я.

— Полиция! Проверка! Открой!

В переднюю вошли два немца и двое штатских, одним из которых был уполномоченный по нашей улице, сосед через дом, Капчинский.

— Посторонние есть? — спросил Капчинский.

— Нет, — ответила я, совершенно забыв про дядюшку Ионаса.

— Как так нет, если сосед напротив сказал, что час назад к вам в дом зашел человек?

Немец оттолкнул меня, и все прошли в столовую. Отец и дядюшка Ионас, не вставая, удивленно смотрели на них.

— А это кто? — спросил Капчинский, ткнув пальцем в дядюшку Ионаса.

— Это мой друг и сослуживец Ионас, — ответил отец.

— Дядюшка Ионас, — добавила я.

— Что еще за дядюшка?

— Не вы же, господин Капчинский, дружите с ним, а я. Оттого вы его и не знаете. — Отец сказал это и передвинул шашку.

Второй штатский протянул руку к дядюшке Ионасу:

— Живо документы!

Дядюшка Ионас не спеша вынул из кармана документы и отдал штатскому. Тот рассматривал их недолго. Видимо, все было в порядке. Возвращая документы, штатский сказал:

— Скоро комендантский час.

Дядюшка Ионас засмеялся:

— Если шашечный турнир затянется, заночую здесь. Так уж не раз случалось.

— Посмотрите, — приказал солдатам штатский.

Обыск был поверхностный. Просто солдаты обошли комнаты, заглянули в окна, на черный ход. В спальне зачем-то откинули одеяло на постели отца. В кухне пооткрывали ящики в столе. И после этого ушли. Капчинский простился с отцом за руку и, вздохнув, тихо сказал:

— Покоя от них нет ни днем, ни ночью!

Продолжение разговора с Володей происходи-

ло уже при погашенном свете, возле дивана, на котором было постелено для дядюшки Ионаса. Договорились так: в течение трех дней дядюшка Ионас выяснит все возможности переправки Володи к партизанам в Белоруссию и потом даст знать, как и когда все это будет организовано…

Прошло больше недели. И вот отец снова пришел домой вместе с дядюшкой Ионасом.

Все было уже подготовлено. Состав порожняка уходил в Белоруссию в конце следующего дня. Стали обсуждать, как незаметно переправить Володю на товарную станцию. Где достать для него теплую одежду? Зима в тот год была ранняя и довольно жестокая, а Володе предстояло несколько суток провести в холодном вагоне. Поезд-то не пассажирский, он вообще не столько едет, сколько стоит на запасных путях.

Снова выручил дядюшка Ионас и его товарищи. В этот вечер дядюшка Ионас ушел от нас в отцовской старой куртке; полушубок, в котором он пришел, оставил для Володи.

Дальше план был такой. Завтра отец должен заболеть. И так как завтра воскресенье, его придут навестить товарищи по работе. Они будут приходить в разное время, одинаково одетые в свои рабочие полушубки. А в конце дня вместо

одного из них наш дом покинет Володя. Вряд ли соседи смогут что-нибудь заметить. Затем Володя должен пройти до окраины города, к свалке. Там его будет ждать дядюшка Ионас, чтобы отвести к месту формирования эшелона и спрятать в одном из вагонов.

Володя с этим планом согласился. Даже пошутил, что-де напрасно дядюшка Ионас скромничал: не такие уж они кустари, как аттестовал он себя и своих товарищей. Но было заметно, что Володя очень нервничает.

На другой день я видела Володю только тогда, когда пришли товарищи дядюшки Ионаса. Вместо одного из них и должен был уйти из дома Володя. Он надел рабочий полушубок, валенки, шапку-ушанку… Прощаясь со мной, он снова напомнил о спрятанной на чердаке тетради и сказал, что верит моему слову. Я только кивнула головой, мне было трудно говорить. Володя внешне держался теперь спокойно, только был очень бледен.

Ну вот… А на другой день в самую последнюю минуту, когда Володя был уже запрятан в вагон, эшелон неожиданно был направлен не на восток, а на запад — в Кенигсберг. Единственное, что успел сделать дядюшка Ионас, это крикнуть

Володе через стенку вагона, что в случае чего он может обратиться к машинисту паровоза, и сказал его имя.

Спустя недели две, когда машинист вернулся в Каунас, дядюшка Ионас узнал от него, что Володя покинул поезд на станции Вилковишки. Подробности до меня не дошли. Дело в том, что после этой истории отец окончательно рассорился с дядюшкой Ионасом, считая его виноватым в том, что случилось с Володей. Он больше не хотел его видеть и до самой своей смерти так и не помирился с ним. Не пришел на похороны отца и дядюшка Ионас.

Уже весной сорок четвертого года к нам днем явился литовский паренек лет семнадцати. Дома был один отец. Насчет тетради он был мной предупрежден, и, когда паренек сказал, что он пришел по поручению Володи, отец пустил его на чердак. Там паренек сразу же нашел тетрадь, засунул ее за рубаху и ушел.

Вот все, что я могу вам рассказать…

14

Рассказ Марите Давидайте дорог подробностями пребывания Владимира в их доме, но он

восстанавливает около месяца из того года его жизни, о котором я ничего не знал.

Что с ним было после того, как он на станции Вилковишки покинул товарный поезд?

Может быть, все-таки хоть что-нибудь знает машинист? Во всяком случае, упускать эту возможность я не имел права.

На другой день утром мне снова пришлось съездить к Марите, узнать фамилию машиниста. Вечером я уже беседовал с ним.

Рассказ машиниста

Это одно из самых страшных моих воспоминаний о том времени. Вы же не знаете, как трудно было подготовить тайный вывоз того русского товарища. Ведь мы отвечали за него и сами рисковали жизнью. И вдруг, когда самое трудное было уже позади, все сорвалось.

Было это так. Я уже принял в депо паровоз и ждал разрешения идти к эшелону. Но проходят все сроки, а разрешения нет. Волнуюсь все больше и наконец не выдерживаю. Оставляю паровоз на помощника и иду к диспетчеру. Спрашиваю у него: «Почему задерживается выход?» А тот отвечает: «Черт их, этих немцев, поймет! Полчаса назад вызвали маневровый паровоз и переформи-

ровывают твой эшелон». У меня замерло сердце. «Зачем?» — спрашиваю. Диспетчер отвечает, что, очевидно, состав пойдет в другом направлении, потому что они переставляют головные вагоны в другой конец эшелона.

Вернулся я в депо сам не свой. Жду. Думаю только одно: знают ли об этой беде Ионас и его товарищи? Успеют ли, смогут ли выручить русского? Идти искать их я не мог, так как обязан был находиться у паровоза.

Прошло еще минут сорок. Наконец я получаю приказ подать паровоз к эшелону. Направление — на Кенигсберг. Но мой паровоз идет только до станции Вилковишки, что недалеко от немецкой границы. Когда я подвел паровоз к стрелке и ожидал зеленого сигнала на переход к эшелону, кто-то назвал мое имя. Я выглянул в окошко. Это был Ионас.

— Помоги ему в Вилковишках! — крикнул он и убежал.

...Как помочь? Об этом я думал всю дорогу, а она длинной была. В то время немецкий порядок на дорогах уже сильно поломался. На каждой станции приходилось стоять из-за страшной неразберихи в движении. Графиком в то время распоряжалась целая куча военных начальников,

между которыми не было никакой слаженности. Вот так мы и двигались от станции до станции. Тридцать минут движения, час стоянки. А я все думал и думал, как же помочь русскому. Я даже не знал, в каком он вагоне. Я не мог оставить паровоз и идти его разыскивать. А между тем, если бы я того русского увидел, я мог бы ему помочь: в трех километрах от Вилковишек находился хутор моего двоюродного брата и я мог направить русского туда. Все-таки кое-что. В общем, от собственного бессилия что-нибудь сделать я переживал так, как никогда не переживал. Я же не знал, что Ионас успел крикнуть русскому, чтобы он в случае чего обратился ко мне за помощью.

В Вилковишки прибыли ранним утром. После сильного мороза от резкого потепления стоял такой туман, что в трех шагах ничего не было видно. Прямо ощупью привел эшелон на товарный двор станции. Отцепился, перешел на запасный путь и стою. Жду. А чего жду, сам не знаю. Но стою, между прочим, рядом со своим эшелоном. Прибежал связной от диспетчера движения, передал мне приказ через час становиться под уголь и воду. Обратно меня пристегнут толкачом к воинскому эшелону.

Связной убежал на станцию, а я сижу и жду.

Вдруг вижу — к паровозу метнулся человек. Я сразу подумал: он. Говорю помощнику: «Держи пар, я маленько промнусь». Соскочил на землю и сразу увидел человека. Он стоял, прижавшись к тендеру. Я подошел к нему поближе.

— Вы машинист? — спрашивает он по-немецки.

— Да, — говорю, — машинист.

Тогда он назвал мою фамилию и сказал, что дядюшка Ионас советовал ему в случае надобности…

— Знаю, знаю, — перебил я его. — Переходите пути, идите вперед до пакгаузов. Не доходя до них шагов сто, сворачивайте налево и идите под прямым углом, пока не увидите речки Шеймена, а потом по берегу идите к лесу. Там хутор под названием «Мария». Хозяин — мой двоюродный брат, зовут его Август. Передайте ему от меня привет и скажите, что я рекомендовал вас в батраки. А остальное про себя придумайте сами.

— Спасибо, — сказал он и исчез в тумане.

Вот и все. После войны Август приезжал ко мне в гости. «Два месяца, — говорит, — я из-за твоего батрака жил, как на вулкане. Каждую ночь мне виселица снилась»… Нет, я никаких подробностей у него не спрашивал. Да потом, этот Август

вовсе не мастер рассказывать, он больше мастер молчать. Узнал я только, что еще зимой русский с хутора исчез… Да, Август жив. Он сейчас бригадир в колхозе. Могу дать вам к нему записку, только боюсь, что вы из него и двух слов не вытянете…

Действительно, это оказался на редкость неразговорчивый человек. Он был богатырского роста и сложения. Огрубелое от ветров и солнца лицо точно высечено из меди, и только наголо бритая голова его была белой. Мы сидели за столом в аккуратном домике из кирпича, куда семья Августа только недавно переехала.

Я сказал ему, что меня интересует. Он смотрел на меня светлыми непроницаемыми глазами и молчал. Его жена накрывала на стол. Я видел, как она бросала на мужа осуждающие взгляды, а тот продолжал молчать. Наконец женщина недовольно сказала ему что-то по-литовски. Август шевельнул могучими плечами, вздохнул и сказал:

— Владимир пришел к нам зимой… — и снова надолго умолк.

— Как он у вас работал?

Колхозный бригадир усмехнулся:

— Уж работал! Я только и ждал, когда полиция нагрянет.

— Что же он такое опасное делал?

Бригадир махнул рукой:

— Все.

— Что именно? Расскажите хоть что-нибудь?

Бригадир только пожал плечами.

— Знаете, что я вам посоветую? — вмешалась в разговор его жена. — Не тратьте вы с ним время попусту. В трех километрах от нас — колхозная электростанция, а на ней работает поляк Збышек Старчинский. Он в то время был первым приятелем Владимира.

Но, когда я встал из-за стола, чтобы последовать ее совету, она обиделась:

— Как же так? Я еду готовила, а вы уходите.

Пришлось остаться. Во время ужина вспыхнула висевшая над столом электрическая лампочка.

— Вот Збышек как раз заработал, — сказала женщина.

Спустя полчаса я в сопровождении бригадира шагал вдоль реки к электростанции, мерный стук двигателя которой уже был слышен. Дойдя до крутого поворота речки, бригадир остановился и показал рукой на видневшийся в сумраке силуэт приземистого здания на невысоком косогоре.

— Там, — сказал он. И пошел назад.

Электростанция помещалась в старинном ка-

менном здании непонятного назначения. Скорее всего, когда-то это был жилой дом.

Внутри здания грохотал небольшой дизель, возле которого в задумчивости стоял высокий тощий мужчина в брезентовой куртке. На голове у него был берет, низко сдвинутый на самые брови. Когда я подошел к нему вплотную, он вздрогнул, досадливо сплюнул и рассмеялся.

— Думал — привидение! — прокричал он. — Вы ко мне?

Я стал отвечать, кто я и зачем пришел, но тут же понял, что это бесполезное занятие, и показал Старчинскому на дверь. Мы вышли, сели на скамеечку, и я сказал ему, что меня интересует.

15

Рассказ Збышека Старчинского

Я тогда працевал у того же Августа, от которого вас ко мне послали. Но я не был у него на постоянной вакации, а так — когда есть дело, працую. А больше я вертелся на станции. Там было бардзо интересантно. Не снег загребать, конечно, а технику смотреть. У меня с детства беспокойство к машинам. Ну, а гитлеры гнали по дороге целые

горы всякой техники. И с харчами на станции тогда было полегче, чем у пана Августа. Тому пану самому часто есть нечего было. Ну… Потом на станции жила одна девочка, к которой у меня был интерес, то есть теперь моя жена. Так что на станции я был больше, чем у пана Августа.

В ту зиму гитлер стал уже бардзо злой. И техники он возил меньше, и с харчами стало, как у пана Августа.

И один раз я пришел к пану. Явился и вижу: працует у него новый человек, вроде молодой, а с бородкой. Дрова колет. Я ему: «День добрый, Панове», а он — молчок. Вышел пан Август, объяснил мне: взял, говорит, работника. Русский. И все. От пана Августа подробностей не получишь, сами уж знаете.

Подхожу я к тому русскому. Бросил он дрова, а топор держит нехорошо, словно готовится вместо дров меня колоть. Стоим, молчим. Предложил я ему сигарету немецкой продукции. Он посмотрел на пачку и взял топор покрепче. Стоим, молчим. Я ему говорю:

— Дайте-ка я от скуки дров поколю.

А он только боком повернулся, чтобы я топор у него не мог выхватить. Тогда я уразумел: он, наверное, думает, будто я какой-нибудь полицай

или шпион. Говорю ему, кто я такой.

Тут опять выходит из дому пан Август и говорит:

— Два работника мне не надо. Останется русский…

Русский так русский. А мне просто интересно с тем русским поразмовлять, как он и что. Русский размовлять не желает. Смотрит на меня, как волк на собаку. Молчит. Так я ни с чем на тот раз и ушел.

Потом я все время думал про того парня. Тогда русских вообще поминали с утра до ночи. Они же наступали и шли к нам!

На станции было совсем плохо. Гитлеры стали сатанеть, лучше не подходи — злые и боязливые. Которые транспортируются на фронт — те злые, а которые обратно в Германию — те боязливые и бардзо торопятся. Паровоз водой наливают, а они кругом бегают: «Шнеллер!»

И вот происходит такой случай… Начальник станции сказал мне, чтобы я натаскал угля для кипятильника. Взял я корзинку и пошел до угля, который был кучами навален возле путей. Накладываю уголь в корзинку, вдруг откуда ниоткуда появляется гитлер:

— Ты что делаешь?

Я по-немецки размовляю не бардзо, но все же говорю тому гитлеру, что беру уголь, чтобы сделать вармвассер, то есть горячую воду. Гитлер хватается за пистолет и кричит, что я диверсант и хочу оставить транспорт без угля.

Не знаю, как бы все это кончилось, но тут подбежал начальник станции и пояснил, что я есть рабочий и должен кипятить воду. Гитлер пистолет спрятал, но ударил меня ногой. Я все время, пока он хотел стрелять, сидел на корточках возле корзины, и когда он ударил меня ногой, то удар пришелся вот здесь, в спину. Я упал и сам встать не могу. Начальник станции хотел меня поднять, а я как закричу — матка-боска, в спине такая боль, ужас!

Начальник побежал к себе, а я остался лежать на снегу. Потом пришли двое, которых прислал начальник. Они перенесли меня в будку, и там я лежал три дня и три ночи.

А когда немного отпустило, я ушел к пану Августу. Еле дошел. И там лежал еще целую неделю. Рассказал, конечно, что со мной произошло. И вот только тогда состоялось наше знакомство с Владимиром. Но прошли дни, прежде чем стали мы друзьями и начали вместе кое-что шкодить…

Так как пан Август кормить нас двоих не мог, я

снова стал ходить на станцию. Но тут дело было уже не только в еде и заработке. Мы с Владимиром решили первую шкоду устроить именно на станции. Сговор этот состоялся, пока я еще болел. Я все твердил, что, как поправлюсь, найду гитлера, который меня ударил, и рассчитаюсь с ним с процентами. Конечно, я говорил это просто так, чтобы произвести выход злости. Я же знал, что гитлер тот был с эшелона, и теперь попробуй найди его. И вдруг Владимир совершенно серьезно спрашивает у меня:

— А ты узнаешь его, не ошибешься?

Я подумал и отвечаю:

— А если ошибусь, беда не бардзо большая, все они бандиты.

Владимир посидел возле меня молча, потом говорит:

— У меня тоже к ним счет с процентами.

Так вот и начался тот наш исторический разговор, после которого мы и затеяли устроить шкоду на станции.

Весь вопрос — что сделать? Смешно сказать, с чего мы начали. Вон там, за горкой, кузнец жил. Пошли мы к нему и из амбарного крюка выковали два кинжала. Ничего себе кинжалы получились. Владимир сказал: «Кинжалы хорошо,

а пистолеты лучше. Надо раздобыть у гитлеровцев». Я ему говорю: «Они не дадут». А Владимир настаивает: «Надо отнять».

Ну, отнять так отнять…

Мы делали так: я шел на станцию с утра и целый день мелькал у всех перед глазами — любую работу делал. Но с особой охотой оказывал услуги гитлерам. А под сумерки на станцию приходил Владимир, и мы уже вместе высматривали подходящий момент, чтобы обзавестись оружием. То не легкое было предприятие. Гитлеры уже не те, норовили держаться кучками. Тогда нам запало в голову, что сцапать гитлера лучше всего, когда он по нужде отобьется от своих и уединится в кустики.

Эшелоны, которые транспортировались на фронт, всегда останавливались у выходной стрелки и вытягивались далеко за пределами станции. И там как раз были кустики. Но гитлеры туда не совались. Они со своей немецкой аккуратностью, наверное, не представляли себе, что можно пользоваться теми кустиками, поскольку к ним не ведет никакая официальная тропинка. Однако аккуратность не мешала им так загаживать пути, что, когда эшелон уходил, страшно было смотреть на то место, где он стоял. Между прочим,

постоянной моей работой на станции была как раз уборка путей.

И тогда мы с Владимиром придумали авантюру. Примерно на том месте, где останавливались самые последние вагоны, мы протоптали в снегу тропинку в кусты и притаились там перед приходом эшелона. Выбрали мы поезд вечерний. Лежим в снегу, ждем. Эшелон пришел, остановился. И что вы думаете? Гитлеры сразу клюнули на нашу тропинку. Валом к нам повалили. Целую очередь образовали. Прямо смех разбирает от этого зрелища.

Ну, мы, конечно, ждем, пока спрос на тропинку уменьшится. Поток стал редеть. Вот прибежали пятеро, потом трое. Смотрим на часы — минут через десять эшелон уйдет. И никто больше в кусты не является. И вдруг прибегает гитлер-одиночка, деловитый такой. Автомат повесил на куст, шинель закинул на голову… и тут Владимир, как рысь, бросился на него. Гитлер и не пикнул. Я схватил автомат, и мы с Владимиром побежали от станции. Как раз в эго время эшелону дали отправление. Мы перебрались на санную дорогу, и по ней пришли на станцию. Автомат, конечно, мы сховали. Спросили у начальника, нет ли какой работы, и, поскольку он сказал, что нет,

мы со спокойной совестью отправились спать к пану Августу.

Утром на станцию я пошел один. Все спокойно. Очевидно, на эшелоне не заметили потери. Начальник станции сказал, чтобы я сбросил снег с крыши. Тем я и занялся. Денек был чудесный, хоть и морозный. Вдруг я вижу — мчится с востока автодрезина. На ней сплошь черные мундиры. Эти всегда появляются на беду людям. Соскакивают они с дрезины и бегут к начальнику станции. А затем вместе с начальником все отправляются туда, где стоял эшелон. «Ну, Збышек, — говорю я себе, — держись, начинается». И действительно, началось.

Гитлера нашего они, конечно, нашли сразу. Как забегали туда-сюда! Смотрю, двое волокут за шиворот начальника станции. Ему, бедняге, первому досталось. А он, между прочим, был неплохой человек, только что политики не признавал.

Был на станции и комендант от гитлеров — капрал Генрих. Тихий такой, сильно пьющий, пожилой. Он до недавнего времени служил каким-то диспетчером в Кенигсберге. За недостатком молодых его забрали в армию и послали комендантом на нашу станцию. Он ничего тут

не делал, только шнапс глотал да мешал всем рассказами, как он славно жил в мирное время. Так вот его гестаповцы вытащили на улицу и расстреляли тут же, возле станции. Я еще на крыше был и оттуда смотрел, как его поставили к стенке и пристрелили. Но капрал, наверное, и не понял, что случилось, он был бардзо пьяный. А затем дрезина, прихватив нашего покойного гитлера, укатила обратно.

Но на станции остались два гестаповца. С этого времени один из них всегда находился при начальнике станции, а другой, когда приходил эшелон, маячил около состава. И, видно, был дан приказ, чтобы солдаты нужду справляли, не отходя от эшелона.

Теперь не только меня, но и Владимира мобилизовали убирать пути после ухода эшелонов. За это нам даже платили и выдавали хлеб с сахаром. Опять и смех и грех получился. Смех оттого, что так мы себя работой обеспечили, а грех, что приходилось с дерьмом возиться.

Автомат мы перенесли на хутор пана Августа и спрятали на сеновале. Владимир нервничал. «Надо, — говорит, — решать, что делать дальше». Я ему предлагаю: «Давай стукнем этих двух гестаповцев, которые на станции». — «Это, — говорит

Владимир, — только на крайний случай, потому как в такой акции нет большого тактического смысла. Как бы раздобыть нам мину какую-нибудь или взрывчатки хотя бы килограмм».

И тут меня озарило. Я вспомнил, что не так далеко от станции, где раньше проходила граница, есть поле, на котором торчит табличка: «Внимание, мины!» Я сказал об этом Владимиру. Он прямо вспыхнул: «Вот это дело!»

Как вы думаете, кто пришел нам на помощь, чтобы достать мины? Голодная свинья пана Августа. Ее нечем было кормить, а там, рядом с минной полосой, находилось поле неубранной картошки. И мы дали пану Августу мысль съездить туда за картошкой. Пан Август запряг коня, и мы поехали. За день мы накопали ему целую кошму картошки и заодно прихватили три мины, похожие на чудо-кастрюльки, в которых теперь хозяйки пироги пекут.

Первую мину мы потратили впустую. Позже та мина стала для меня вроде справкой о патриотизме. В общем, мы ее без всякого понятия заложили под рельсы, в десяти километрах от станции, а она не взорвалась. И пришлось мне, когда советские войска подходили, двое суток дежурить возле того места, чтобы предупредить своих.

Ведь мина-то дура: под немцами не рвалась, а тут вдруг возьмет да и взорвется. Вынуть ее сам я боялся, вот и дежурил, пока не сдал ее советским саперам, за что и получил благодарность.



Вторая мина сработала бардзо красиво. Ночью

мы зарыли ее в ямку на шоссе, и под утро на ней подорвался штабной автобус, битком набитый панами офицерами. Семеро стали покойниками. Третью мину мы заложили в башню водокачки на станции. Но взрыв башню повредил немного. Однако кутерьма поднялась на станции страшная. Одних гестаповцев прибыло человек пятьдесят. По всей округе прошла молва, будто у нас появились партизаны, и не один, не два, а целый полк. Нам бы с Владимиром посмеяться над этими слухами, но было не до смеха. Пять человек из жителей станции гестаповцы арестовали и расстреляли. Кроме того, пошли аресты и в городе и на пристанционных хуторах. Являлись и к пану Августу. Мы с Владимиром спрятались под полом в леднике. Но пан Август все же порядком перетрусил, и, когда гестаповцы ушли, он сказал нам, что он и тени нашей больше не хочет видеть. Теперь, когда я хочу подразнить пана Августа, я спрашиваю у него: а не помнит ли он, как выгнал из дома героев партизанской войны? Он в ответ только головой мотает, как конь, и говорит: «Про героев не помню, а двух плохих работников действительно выгнал».

Оставаться в этих местах было опасно. Я предложил Владимиру на время перебраться в Польшу.

Там, не особенно далеко от литовской границы, жила моя сестра. Она была замужем за сельским учителем. Владимир согласился. И однажды с наступлением темноты мы отправились в путь.

Миновав местечко Калвария, мы вышли к польской границе и, идя дальше на юг, в конце концов добрели до озера Вигры, где и жила моя сестра. На дорогу у нас ушло одиннадцать дней. Шли только в темноте. Особых приключений не было. Разве что одно, уже на самой границе. Там небольшие горы. Мы пробирались впадиной вдоль реки Шешупе, которая, как известно, начинаясь в Польше, пересекает литовскую границу.

И вот мы наткнулись, я думаю, на партизанский дозор. Они испугались нас, а мы — их. Они нас обстреляли. Владимир в тот час прямо рассудок потерял, хотел идти на огонь и таким образом вступить в контакт с партизанами, но я его остановил. Хотя я сам был почти уверен, что стреляют в нас партизаны, все же риск был слишком велик: а вдруг гестаповцы или местные полицаи?

Двинулись мы дальше. Перед самым рассветом подошли к домику моей сестры и полдня вели за ним наблюдение. Ничего подозрительного не заметили. Сестра с утра работала во дворе, ее муж уехал куда-то верхом.

Сперва я пошел к дому один.

Ядвига — так зовут сестру — моему появлению страшно обрадовалась. Она считала меня сгинувшим со света. Осторожно выведав у нее обстановку, я намекнул ей, что пришел не один, а с товарищем и что мы хотим здесь пожить. Ядвига задумалась — против этого будет ее муж, Адам Кричевский, который, по ее выражению, боится собственной тени. «Черт возьми! — сказал я ей. — Близится весна. Неужели местным хозяевам не будут нужны работники?» Ядвига за эту идею ухватилась и сказала, что километра за два отсюда, на богатом хуторе торговца лесом пана Ксешинского, нужны батраки.

Да, батраки там были нужны. И еще как нужны! Пан Ксешинский взял нас обоих и даже сам достал для Владимира документы. Так Владимир стал Вольдемаром Стаховским. Нас поселили в пристройке к хозяйскому дому.

Не зря пан Ксешинский так хлопотал об оформлении Владимира. Работники ему были нужны позарез, и он не собирался устраивать нам курортную жизнь. Он и зимой знал, чем занять батраков. Работать приходилось с рассвета дотемна, и хозяин умел проверять, как работают его люди. И так день за днем, день за днем.

Не прошло и месяца, как Владимир затосковал. Сказал мне однажды: «Я больше так жить не могу. Я обязан воевать, а не батрачить на польских кулаков». Что я ему мог предложить? Ниц — нема.

По воскресеньям мы ходили в ближайшее село купить что-нибудь в лавочке, посидеть часок-другой в корчме. Там Владимир заводил беседы с местными и все пытался выяснить, нет ли в округе партизан. Но как поляки ни любят поболтать, ничего утешительного Владимир от них не услышал и оттого становился все мрачнее.

Вскоре случилось событие, которое всполошило нашу тихую жизнь. Однажды ночью мы услышали, как над нами низко-низко пролетел самолет. Даже стекла в окнах задребезжали. Особого внимания мы на это не обратили. Раз идет война, должны летать самолеты.

На рассвете мы с Владимиром вышли колоть лед для ледника. Видим издали, что возле хутора какая-то суматоха. Подъезжают автомашины, бегают чужие люди. Владимир решил, что это связано с ним, и предложил немедленно бежать. Я стал его уговаривать: ну откуда в Польше могут о нем что-нибудь знать? И может быть так: у немцев что-то случилось, а мы убежим, тогда подозрение падет на нас, а поймать нас им будет

нетрудно, да и вообще, раз тут тревога, удрать — дело нелегкое. Так мы с ним спорим и видим — мчится к нам посыльный. Кричит: «Скорей домой, скорей!»

Приходим. Возле дома стоят две машины — легковая и вездеход. Толпятся солдаты. Нам приказывают зайти в дом. Заходим. За столом сидят два офицера и наш хозяин. Гитлеры смотрят на нас, а Ксешинский, не обращая на нас никакого внимания, говорит офицерам:

— Большевики в семнадцатом году в Смоленске захватили дом моей тетушки и сделали из него клуб. Доблестные немецкие войска выбросили наконец большевиков из Смоленска. Я два года вел переписку с Берлином и Смоленском, чтобы получить компенсацию за дом тетушки, и, когда дело уже шло к успешному концу, вы вдруг уходите из Смоленска! В чем дело? Как это можно?

— Новая тактика, господин Ксешинский, — отвечает со злостью один из офицеров, — и она решает задачи посложнее и поважнее дома вашей тетушки. — Офицер показал на нас: — Кто такие?

Ксешинский пренебрежительно махнул рукой:

— Мои работники.

Нас попросили подойти к столу и стали спрашивать, слышали ли мы ночью гул самолета.

— Да, — отвечаем, — слышали.

— В какую сторону он летел?

— Да как же то можно знать, если он летел в небе, а мы лежали в доме на полатях?

Немцы о чем-то пошептались между собой, потом один из них говорит:

— Ночью русские сбросили здесь банду своих парашютистов. Если заметите подозрительного человека и своевременно сообщите нашим постам — премия тысяча марок. Если сами задержите — пять тысяч. Ближайший пост здесь, в доме господина Ксешинского.

На том разговор и кончился. Мы вышли из дома и направились обратно лед колоть. Посмотрел я на Владимира и, поверьте, не узнал его. Лицо красное, как в горячке. Глаза вот так раскрыты и будто слепые. Я остановился, а он и не заметил этого. Шагов тридцать прошагал один, потом обернулся и назад ко мне. Подходит и, сжав зубы, говорит:

— Ты, Збышек, как хочешь, а я пойду искать парашютистов.

Я, конечно, все понимаю, но говорю ему:

— На тысячу рассчитываешь или на пять?

Он как кинется на меня, я еле отскочил. Весь трясется:

— За такие шутки, Збышек, убить могу! Так и знай.

— Хорошо, — говорю ему, — буду знать. А искать парашютистов нельзя. Видишь? — Я показал ему на вездеход, набитый гитлерами, который мчался, направляясь к лесу. — Их ты найдешь, а парашютистов — вряд ли.

— Я буду искать по ночам, — сказал Владимир.

— И тебя сцапают или немцы, или охотники за премиями.

Владимир вроде согласился со мной, и мы часа два мирно работали.

Вдруг он швырнул лом и говорит:

— Нет, Збышек, я тебя не послушаю. Я понял: ты просто трус. Если бы ты побывал в тех передрягах, что я, ты бы уже несколько раз умер, а я жив, и только потому, что не трусил. Я буду искать своих и найду.

Спорить с ним было бесполезно, я это видел. Только сказал, что в этом деле я ему не компаньон.

Вечером Владимир тихо покинул пристройку и исчез в неизвестном направлении.

Утром его нет. Я иду к хозяину. Прихожу — он

кофе пьет с теми двумя офицерами. Докладываю: так, мол, и так, работник Стаховский сегодня не выйдет, потому что он, в погоне за премией, ринулся помогать великой немецкой армии.

Реакция была самая неожиданная. Пан Ксешинский начал кричать на офицеров, что по их вине он лишился не только тетиного дома в Смоленске, но и должен теперь терять работников.

Когда немцы поняли наконец, что произошло, они переглянулись. Один из них встал из-за стола, подошел ко мне, взял меня за лацкан пиджака, встряхнул и спрашивает:

— Кому побежал помогать твой приятель?

Отвечаю ему:

— Скажу хоть тысячу раз. Он весь день вчера только и говорил, что о премии, и к ночи окончательно решил идти помогать великой немецкой армии.

Немец смотрит на меня, как кот на ежа: и верит и не верит:

Спрашивает:

— Ну, а ты чего с ним не пошел?

— Я, — отвечаю, — рассудил иначе. Если уж великая армия великого фюрера не может отыскать тех бандитов, так я и подавно. И потом, пан Ксешинский не даст соврать, он нам по договору

на весь год только одну пару обуви дает, а нигде так обувь не рвется, как в лесу.

После этого разъяснения офицер вытолкал меня в шею из дому. Очутившись во дворе, я сказал сам себе: «Ну, Збышек, ты сделал для Владимира все, что мог. Остальное зависит от бога».

А дальше все произошло так, как только в кино бывает.

Гляжу — немцы на мотоцикле везут Владимира. Руки у него закручены за спину, лицо в синяках. Конвоиры с двух сторон подхватывают его — и в дом. Я — за ними.

Солдаты что-то докладывают офицерам. А я молчу и глазами показываю Владимиру: дескать, что, получил по зубам? Я тебе, дураку, говорил, что получишь…

Тут делу помог пан Ксешинский. Он накинулся на Владимира. Машет кулаками и кричит:

— Дармовых денег тебе захотелось, а честно работать не хочешь?

Немецкие офицеры тоже бардзо разозлились, выгнали солдат и приказали им возвращаться в лес, а потом взялись за Владимира.

Как только они его ни называли: и осел без ушей, и еще по-разному. Оба офицера точно состязались в брани. А я стою за спиной у Владимира

и шепчу ему: «Терпи, терпи, терпи!»

И он вытерпел. Потом весь день мы с ним працевали. Он не заговаривал, а я ничего не спрашивал.

И опять дни потянулись за днями. О случившемся Владимир никогда не вспоминал. Он вообще стал очень молчаливым.

Парашютистов, судя по всему, гестаповцы так и не поймали. Они будто сквозь землю провалились. Дней через десять вездеход с солдатами вернулся из леса и отбыл в неизвестном направлении. Но пост в составе одного офицера и четырех солдат на хуторе был все же оставлен. Солдаты выболтали, что теперь у поста новая задача — ловить своих дезертиров. Офицер жил в доме, а солдаты — в амбаре. Офицера мы почти не видели, он с утра до вечера играл в карты с нашим хозяином. Солдаты несли патруль парами, но от хутора далеко не уходили, а на ночь все забивались в амбар.

Теперь я расскажу о последнем дне пребывания Владимира на хуторе пана Ксешинского.

С утра хозяин послал нас ремонтировать ограду палисадника. Я заметил, что с Владимиром происходит что-то неладное. Я спросил, не болен ли он.

А он отвечает:

— Никогда так хорошо не чувствовал себя, как сегодня.

А я вижу, он весь как натянутая тетива лука, а в чем дело, не уразумею. Я даже обиделся и перестал с ним разговаривать. Но после работы я все же спросил у него, что с ним происходит. Он отвел меня в сторону и шепчет:

— У меня есть замечательный план.

— Какой?

— Не скажу.

— Почему?

— Ты, — говорит, — опять отсоветуешь мне, а я решил действовать, а не отсиживаться.

— Ну и черт с тобой! — Я сильно на него обиделся.

Легли спать. Я сразу как ко дну пошел. Просыпаюсь оттого, что кто-то меня трясет. Поглядел — Владимир.

— Оденься, выйди на минутку.

Я вышел и оторопел. Дом и амбар были объяты пламенем.

Владимир дрожащим голосом говорит:

— Я убил офицера. Солдат запер в амбаре. Бежим!

Размышлять было некогда. Мы побежали. Три-

надцать дней двигались тем же путем, каким пришли сюда, — через горы, через литовскую границу. И однажды явились к пану Августу. Он нам не обрадовался. Оказывается, нас искали гестаповцы и пана Августа по этому делу таскали в Вилковишки. Он попросил нас не губить его семью. Дал нам хлеба, сала и сказал, чтобы убирались подальше.

В ту же ночь мы с Владимиром пошли на хутор километрах в двадцати, где батрачил один мой приятель. Там мы пробыли недели две. Потом Владимир ушел, а я жил на хуторе до прихода советских войск. Вот тогда-то я вдруг и вспомнил о невзорвавшейся мине и бросился на то место, чтобы предупредить беду.

Когда мы прощались, Владимир сказал:

— Ну что же, Збышек, мы сделали с тобой все, что смогли. Нет, пожалуй, точнее сказать надо так: мы сделали все, что сумели.

Куда он пошел? Он сказал так:

— Пойду навстречу своим.

Никаких его записок или вещей у меня не осталось. Да, когда мы после бегства от пана Ксешинского жили на хуторе, произошла такая оказия. Младший братишка моего приятеля, Юрис, однажды поехал с хозяином в Каунас. Вла-

димир, как узнал об этом, прямо затрясся. Стал меня умолять, чтобы Юрис в Каунасе выполнил его поручение: зашел по одному адресу — взял там какую-то тетрадку и передал от него привет.

Юриса долго уговаривать не пришлось — паренек он был легкий, веселый. «Ладно, — говорит, — все сделаю, как в аптеке».

И через несколько дней он привез Владимиру тетрадку. При мне как раз Владимир ту тетрадку получил, расцеловал Юриса и стал расспрашивать, кого он по тому адресу видел.

Оказалось, что Юрис видел одного старика и больше никого. Владимир вздохнул. Потом он проделал следующее: разделил тетрадку на листы, чистые выбросил, а исписанные по два, по три сложил ленточками и целый вечер зашивал их под подкладку своей куртки и ватных штанов.

Расстались мы, когда весна была уже в разгаре.

16

Последнюю запись Владимир сделал в книжке-дневнике немецкого офицера Генриха Целлера (такими книжками в начале войны были снабжены многие офицеры гитлеровской армии).

На первой странице дневника напечатано обращение Геббельса, в котором говорится, что эти книжки-дневники, впоследствии собранные воедино, составят величественную библиотеку немецкого подвига во имя новой великой Германии.

Однако владелец книжки не слишком заботился о пополнении величественной библиотеки. Он заполнил всего семь страничек, и записи касались главным образом его личного существования на войне. Из них мы можем узнать, сколько Генрих Целлер проиграл в карты двадцатого декабря сорок третьего года и что проигрыш он не отдал. И, наоборот, тридцать первого декабря он выиграл двести марок, получив их сполна. Одну из страниц дневника педантичный Генрих Целлер занял описью своего имущества, не позабыв занести в реестр даже носовые платки. Три страницы занимали анекдоты, переписанные из юмористического журнала «Люстиге блаттер».

И вот на обороте этих листков Владимир и начал свою запись. Никаких дат тут нет.

«Все-таки я принял неправильное решение. Нужно было пробираться в сторону Белоруссии, прямо на восток, южнее Вильнюса, а я пошел к литовскому побережью Балтийского моря. Меня

сбили с толку слухи о том, что наша армия стремительно движется по Приморью. Проверить это я не имел возможности.

Итак, я взял направление к Балтийскому морю, а доро́гой туда избрал Неман. Документ у меня был довольно надежный — удостоверение, которое добыл пан Ксешинский. Во всяком случае, с этим документом я благополучно проболтался без дела почти целый месяц. Итак, я — Вольдемар Стаховский, работник с польского хутора. Разыскиваю разбросанную войной родню. Вид у меня подходящий, даже борода выросла.

Продвигался я очень медленно. Приду в какое-нибудь местечко или на хутор и начинаю выспрашивать, не проживают ли тут какие-нибудь Стаховские. Относились ко мне, как правило, сочувственно — кормили, пускали ночевать. Потом я отправлялся дальше. Шел почти двадцать дней, пока не добрел до более или менее крупного населенного пункта Кудиркос, стоящего недалеко от слияния Немана и Шешупе. Здесь у меня произошло серьезное осложнение.

Надо же было произойти такому дикому случаю — первый человек, к которому я обратился с просьбой дать прикурить, оказался полицаем! Никаких служебных примет у него не было. Шел

мне навстречу довольно пожилой человек, куривший трубку, я и попросил у него огонька. Он стал задавать вопросы. Я отвечал, что ищу свою родню. Тогда он привел меня в комендатуру и начал искать по списку моих несуществующих родственников.

Словом, это оказался какой-то непонятно заботливый полицай. В конце концов он сказал, что искать родню, не имея о ней никаких, хотя бы приблизительных данных, — безнадежное дело. Между тем уже вечерело, и он спросил, где я буду ночевать. Я пожал плечами. Тогда он стал меня уговаривать:

— Брось свои поиски и оставайся здесь. Я устрою тебя на работу, и ты получишь место под крышей.

Держался полицай как-то странно: говорил спокойно, прямо по-отечески заботливо, а в глазах у него то и дело поблескивала усмешка, будто он о чем-то догадывается и моим словам не верит. Вот почему я побоялся отказаться от предложенной мне работы.

Он отвел меня в другую комнату, и не успел я опомниться, как у меня отобрали удостоверение и вместо него выдали бирку и записку в барак для рабочих.

В бараке, кроме меня, оказалось еще только четыре человека. От них я узнал, что́ здесь за работа. Их гоняли копать землю по ту сторону реки, где немцы строили укрепления. Только этого мне не хватало!

Ночью я вышел из барака, добрался до реки, сел в первую попавшуюся лодку, выгреб на середину и отдался во власть быстрому течению. Я так устал, изнервничался, что мгновенно уснул.

Проснулся от звонкого ребячьего крика. Уже взошло солнце. Лодка, зацепившись за поваленное дерево, покачивалась на волнах, а прямо надо мной, на гребне высокого берега, стояли два, судя по одежде, крестьянских мальчика, которые кричали что-то по-литовски. Я помахал им рукой, оттолкнулся от дерева, сел на весла и снова выгреб на середину. Река была довольно широкая, и я понял, что за ночь меня вынесло в Неман. Лодка шла по течению быстро.

Я обнаружил на дне лодки две удочки и сачок. Как они мне потом пригодились!

Чем ниже я спускался по реке, тем все более спокойная обстановка была вокруг. Ничто не говорило о том, что я приближаюсь к местам, куда устремлена отступающая гитлеровская армия. Наоборот, вокруг — идиллические красоты реки и

картины обычной крестьянской жизни. И полное равнодушие людей к моей персоне. Если бы не самолеты, часто пролетавшие над головой днем и ночью, то ничто бы не напоминало о войне.

Мое плавание закончилось довольно неожиданно. Километрах в пятидесяти от моря в Неман впадает небольшая речка. Я не сразу даже ее заметил. Сперва почувствовал, как лодку стало течением разворачивать влево. С чего бы это?

Посмотрев вокруг, я увидел заросшую кустами и осокой небольшую лагуну. Решил здесь остановиться и попробовать наловить рыбы. Очень хотелось есть. Я обнаружил в осоке мостки и причалил к ним.

Приготовил удочку, но только собрался ее забросить, как из-за поворота вылетел моторный катер. Он пошел прямо ко мне. Я поскорее оттолкнул лодку от мостков и, немного отплыв в сторону, забросил удочку. Конечно, я в это время следил не за поплавком, а за катером.

А он развернулся и стал подчаливать к мосткам. На катере было три человека: один в немецкой военной форме, но с какими-то не известными мне знаками различия и двое в штатском. Все они смотрели на меня. Я сделал вид, что увлеченно слежу за поплавком. Выскочивший на мостки

штатский уже начал пришвартовывать катер, но военный крикнул ему:

— Подожди! — и кивком головы показал в мою сторону.

Штатский снова прыгнул в катер, сел к рулю, и катер медленно стал приближаться ко мне. Подошел вплотную. Военный спросил:

— Что за рыбак? Откуда?

Я смотрел на него, глупо улыбаясь, и молчал. Дескать, не понимаю. Военный сказал что-то штатскому, и тот обратился ко мне по-литовски. Я молчал — дескать, опять не понимаю.

— Он, кажется, глухонемой, — по-немецки высказал предположение один из штатских.

Спасибо за подсказку! Да, единственный выход из положения — прикинуться глухонемым. Я ухватился за это, как утопающий за соломинку.

Те трое на катере переговаривались между собой.

— Надо его проверить, — сказал военный, не сводя с меня пристального взгляда. — Вы оба его не знаете?

— Он, наверное, с того берега, я его вижу первый раз.

— Берите лодку на буксир и причаливайте, — приказал военный.

По мосткам мы вышли на берег.

Военный куда-то исчез. Оба штатских остались со мной. Они стали объясняться со мной жестами, пытаясь выяснить все то же: кто я и откуда? Я глупо улыбался. Они оставили меня в покое и закурили.

Вернулся военный. С ним пришел майор со знаками «СС» на расстегнутом воротнике кителя. Он подошел ко мне вплотную и уставился на меня большими белесыми глазами.

— Кто ты? — хрипло спросил он.



Я показал рукой в сторону Немана и жестами стал изображать, что ловил рыбу и ничего плохого не делал.

— Зачем вы его привели? — сердито спросил майор у штатских.

— По подозрению, господин майор.

— В чем? В глухоте и немоте? Идиоты! Что у меня здесь — больница, по-вашему?

Штатские молчали. Военный, который был вместе с ними на катере, стоял поодаль, делая вид, что он тут ни при чем.

— Идиоты! — повторил майор и ушел.

Военный подошел ко мне и молча наотмашь ударил меня по лицу и заорал:

— Вон отсюда, вонючая скотина! Ну, быстро!

Я немедленно выполнил его приказ…

От тех курортных мест, где я теперь нахожусь, фронт совсем недалеко. Я имею возможность причинить здесь кое-какие неприятности гитлеровцам и затем буду пробиваться к своим.

. . . . . .

Решено! К своим! К своим! К своим! Дневники собрал в сверток. Сегодня же подыщу более или менее надежного человека и сдам ему сверток на хранение. И в путь! К своим! К своим!..»

Больше никаких записей в свертке не было.

17

Пока шла работа над повестью, я все время помнил, что у истории, попавшей в мои руки, нет конца. Это, по правде сказать, мешало работать. Я утешал себя такой мыслью: как бы читатель ни хотел узнать, что, в конце концов, случилось с героем — жив он или погиб, — главное и самое интересное не это, а то, что он сделал во время войны, какие подвиги совершил, какие приключения пережил. Утешение это было слабое, и в течение года, пока писалась повесть, я не раз пытался выяснить дальнейшую судьбу Владимира, но это ни к чему не приводило…

Да, Владимир словно растворился. Опытные работники, чья профессия — помогать людям искать друг друга, сказали мне, что розыск по одному только имени почти наверняка результата не даст. Тем более что речь идет о военных годах.

Но, может, все-таки можно установить фамилию Владимира? Я снова пересмотрел все записи и составил перечень зацепок, которые могли потянуть за собой новые сведения о нем. Такая, например, зацепка: Владимир (раз он стал

инженером-экономистом) учился в каком-то столичном экономическом институте. В том институте его должны знать. Упомянутый в начале дневника профессор или преподаватель Сергей Емельянович Радецкий (или Ратецкий, или Разецкий — третья буква в этой фамилии написана небрежно). В том же институте должен быть и профессор, которого Владимир в дневнике ласкательно называет Боголепычем. Начинаю поиск по этой зацепке. Обращаюсь за помощью в Московский государственный экономический институт. Нет, здесь таких профессоров или преподавателей не было.

Связываюсь с Московским экономико-статистическим институтом. Там мне тоже помочь ничем не смогли. Только в Институте экономики Академии наук мне сказали, что фигурирующий в дневнике Боголепыч мог быть известным экономистом, членом-корреспондентом Академии наук Боголеповым. Но он умер в 1945 году.

Попробовал выяснить, не сохранились ли в архивах Каунасского горисполкома протоколы или стенограммы заседаний сорокового года. Нет, не сохранились…

Один из старейших сотрудников Всесоюзной справочной службы, за свою жизнь разгадавший

тысячи ребусов с адресами и пропавшими людьми, утешая меня, сказал так:

— Вы должны учитывать, что все учреждения вместе взятые знают о людях очень многое, но далеко не всё. Всё знают только сами люди.

Тогда я расценил это его изречение как фразу, не лишенную афористичности, не больше…

Но месяца через два я убедился, что это не фраза, а совершенно точная формула, продиктованная и проверенная опытом жизни. Вот при каких обстоятельствах это произошло.

Шла обычная читательская конференция в библиотеке. Я рассказывал о Венском фестивале молодежи и потом отвечал на вопросы. Один из вопросов был такой:

— Над чем вы сейчас работаете?

Я рассказал об этой повести и пожаловался на трудности, возникшие в связи с выяснением дальнейшей судьбы моего героя. Рассказывал об этом довольно подробно. Говорю и вижу, что один из сидящих в зале, пожилой, сильно поседевший мужчина, слушает меня не так, как остальные. Не то он волнуется, не то нервничает. Я увидел, как он торопливо вынул из кармана блокнот, неаккуратно вырвал из него листок, что-то написал на нем и отправил по рукам к моему столу. Я

прочитал его записку:

«Не уходите после выступления. Надо поговорить».

Подпись неразборчива.

Теперь начал волноваться я. У меня сразу же возникла мысль, что этот человек хочет сообщить мне что-то о Владимире.

Наконец конференция закончилась. Ко мне приближается тот пожилой человек.

— Кажется, я могу помочь вам в поисках героя повести, — говорит он с места в карьер.

Я молчу и смотрю на него почти со страхом. Вдруг все, что происходит, окажется сном и этот человек сейчас исчезнет? Подобные сны я уже видел.

— Я знаю Володю и знал его семью. Судя по вашему рассказу, речь идет именно о них, — продолжает вполне реальным, земным голосом пожилой человек.

Я спрашиваю:

— Почему его вы знаете, а семью знали?

— Дело в том, что отец Владимира погиб в начале войны, а мать умерла три года назад.

— А он где? — с трудом произношу я.

— Здесь, в Москве.

— Где?

Пожилой человек улыбнулся:

— Я не взял с собой записную книжку, но дома у меня есть его служебный и домашний телефон. Если хотите, пройдемте ко мне, я живу совсем рядом.

И вот я сижу в уютной комнате старого московского дома. Невероятно высокие потолки. Громадный старомодный письменный стол на львиных лапах завален книгами и бумагами. Похожий на тирольскую шляпу металлический абажур отбрасывает на стол прямоугольник яркого света. Я уже знаю, что хозяина комнаты зовут Родион Ильич, что он пенсионер, а до недавнего времени, в течение почти четверти века, — учитель истории и директор школы, в которой учился Владимир. Да, мы уже точно установили, что он знает именно его.

— Володя был, как иногда любят говорить педагоги, гордостью школы, — рассказывает Родион Ильич. — Учеником девятого класса он стал победителем общегородской математической олимпиады. И вообще это был мальчик талантливый. На вечерах он очень хорошо читал стихи. Его рисунки всегда выделялись на школьных выставках. Он уже тогда в совершенстве вла-

дел немецким языком и знал английский. Ну, а через него я, естественно, познакомился и с его родителями. Отец его был историком — знатоком средневековья. Мать тоже высоко интеллигентная женщина. Она знала языки, хорошо играла на рояле. Но, правда, все эти ее качества оставались без применения, она свою жизнь посвятила семье…

Родион Ильич помолчал, качая головой.

— До сих пор не могу привыкнуть к мысли, — сказал он, — что этой семьи не стало. Отец Владимира погиб нелепо. Спустя недели три после начала войны стало ясно, что с Володей в Литве случилась беда. О нем не было никаких сведений. Отец просто сходил с ума. Ему было далеко за пятьдесят, а он пошел записываться в ополчение. Его не взяли. Тогда он без всякого оформления сам отправился на фронт. Я его видел накануне. Он сказал мне: «Само средневековье топчет нашу жизнь. Не могу». И он ушел. Именно ушел. И где-то под Вязьмой попал под бомбежку, был тяжело ранен и скончался.

Я должен предупредить вас. Вам нужно очень тщательно продумать свой разговор с Владимиром Евгеньевичем. Он очень тяжело перенес смерть родителей, особенно отца. Работает он

сейчас на каком-то большом заводе. Кажется, он там главный инженер. Скажу вам откровенно, я написал записку по первому движению души, а потом об этом пожалел. Я все думаю: могу ли я взять на себя, так сказать, посредничество в вашем знакомстве с ним? В общем, я бы предпочел, чтобы вы это сделали без всяких ссылок на меня.

Я обещал.

И вот ровно в восемь часов вечера я набираю номер телефона квартиры Владимира. Протяжный гудок. Еще гудок. Еще. Трубка снята:

— Да?

— Владимир Евгеньевич?

— Да.

Я представляюсь и говорю, что мне крайне нужно с ним повидаться. Я просил его о свидании в любой день и час. Он долго не отвечал, потом спросил:

— Может быть, вы скажете, в чем дело?

Я ответил, что мне не хотелось бы говорить об этом по телефону.

Снова долгое молчание. Потом он говорит сухо и немного раздраженно:

— Позвоните в воскресенье в двенадцать часов.

Короткие гудки. А я все еще прижимаю трубку

к уху, от волнения у меня взмок лоб.

До воскресенья три дня. Они тянутся невероятно долго. Ничего не могу делать. Все думаю, как буду с ним разговаривать.

В воскресенье ровно в двенадцать звоню. Он у телефона, я слышал его дыхание. И вдруг:

— Вы можете приехать сейчас?

— Конечно. Я буду у вас через пять минут.

Старый московский дом. Вход со двора. Поднимаюсь на третий этаж. Сердце колотится так, будто вхожу на двадцатый. Нажимаю кнопку звонка. Дверь открывается. Он! Я так в этом уверен, будто видел его раньше. Рост средний. Красивое строгое лицо.

Когда я снимал пальто, он демонстративно посмотрел на часы.

— Проходите сюда.

Мы вошли в комнату, которая раньше, очевидно, была отцовской. На полках — книги по истории на разных языках, словари, энциклопедии. Над письменным столом — большой фотопортрет женщины, очень похожей на Владимира. Наверное, его мать в молодости.

Владимир Евгеньевич сел в кресло у стола, а я — в кресло, стоявшее в углу комнаты. Удивительное дело, я совершенно не волновался. Я весь

был собран для разговора. Владимир Евгеньевич смотрел на меня выжидательно; я видел, что на висках у него густая седина.

— По правде сказать, я недоумеваю, зачем я вам понадобился, — сказал он с оттенком иронии в голосе.

Решаю идти напролом.

— Дело в том, Владимир Евгеньевич, что у меня находятся ваши дневники.

Он как-то пригнулся и сделал движение ко мне, но тут же расслабленно откинулся на спинку кресла и, смотря мимо меня, спросил:

— Вы хотите мне их вернуть?

— Нет, Владимир Евгеньевич. Впрочем, да. Дневники я могу вам вернуть. Но на основании этих материалов я написал повесть.

Быстрым движением он переставил на столе тяжелую хрустальную пепельницу.

— Я протестую! Самым категорическим образом! — Он смотрел на меня гневно и в то же время встревоженно. — То, что в дневниках, писалось для себя, а не для публичного чтения.

— Не совсем так, Владимир Евгеньевич. Например, запись, которую вы сделали в доме Марите Давидайте — замечу, запись самую важную и интересную, — вы адресовали не только своим

родителям, но и родине. Эти, так сказать, адреса записаны там вашей рукой.

— Мало ли что я мог под настроение написать, — помолчав, сказал он несколько спокойнее. — Наконец, это не отнимает у меня права теперь распорядиться своими дневниками так, как я нахожу нужным. Каким образом сверток попал к вам?

— В том, что он оказался у меня, виноваты вы сами.

Он пожал плечами:

— Еще что!

— Отдавая его Ольге Михайловне Никишиной, вы разве не сказали ей, что, если за ним не придете, она, то есть Ольга Михайловна Никишина, может поступить со свертком по своему усмотрению?

— Я не помню этого! — сказал он решительно, но, помолчав, добавил: — Я мог, наконец, сказать это, думая, что мне не удастся остаться в живых. Но я жив, и свертком, его содержимым, могу распоряжаться только я и никто другой. Вообще, исходя из элементарной порядочности, вы просто обязаны вернуть мне дневники.

— А как вы, Владимир Евгеньевич, распорядитесь в отношении повести, которую я писал

в течение года? — Я тоже начинал злиться, хотя понимал, что это может все погубить.

Наступило долгое молчание, после которого он сказал:

— Это уже дело вашей совести.

— Хорошо, Владимир Евгеньевич, поговорим о совести. Я не стал бы работать над вашим дневником, не стал бы разыскивать по стране людей, знавших вас, не стал бы искать и вас самого, если бы совесть не говорила мне, что книга, над которой я работаю, будет полезна юному, и не только юному читателю.

— Чем? — быстро спросил он.

— Книга расскажет читателю, как из не подготовленного к большим испытаниям молодого человека формировался смелый и находчивый боец за народное дело.

Владимир Евгеньевич неестественно рассмеялся:

— Вы наивный человек, если думаете воздействовать на меня подобной лестью! Поймите — у меня может быть свое принципиальное отношение к жизни вообще и к собственной в частности. Если вы читали мои записки с минимумом внимательности, я не говорю вдумчивости, вы должны были усвоить, что жизнь все время

учила меня скромности, а вы теперь дешевой лестью хотите пробудить во мне то, что я считал и считаю бедой своей юности. Неужели вам это непонятно? Наконец, в моих дневниках есть такое, чего не должен знать другой человек. Вы же не позволяете себе вскрывать чужие письма?

— Нет, не позволяю. Но, во-первых, я дневник использую далеко не полностью. Я отлично понимаю, какие страницы, какие записи вы сейчас имеете в виду. Их в повести нет, потому что они попросту не представляют интереса для читателей. Во-вторых, я ваши дневники литературно обработал, устранил некоторые неловкости и сделал записи более интересными для чтения. Вы же сами сказали, что писали только для себя. Так вот, эту особенность ваших дневников мне пришлось преодолевать. Если уж говорить напрямую, я не знаю, что и подумать по поводу вашего сопротивления. Может быть, в дневниках неправда?

На щеках у Владимира Евгеньевича проступил румянец.

— В них все, кроме лжи.

Снова наступило долгое молчание. Владимир Евгеньевич как-то замедленно пододвинул к себе лежавшую на столе коробку «Казбека», открыл

ее, вынул папиросу, долго ее разминал пальцами и наконец закурил:

— Могу ли я прочитать то, что вы написали? — устало спросил он.

— Конечно. Именно об этом хотел просить вас. — Я расстегнул лежавший у меня на коленях портфель и положил на стол рукопись.

Владимир Евгеньевич показал на портфель:

— Дневники здесь?

— Нет. Дома.

— Предосторожность? — усмехнулся он.

— Нет, я просто не думал, что наша встреча будет такой. Но вы не беспокойтесь, я верну вам дневники. И смею вас заверить, что все ваши записи, кроме меня, не читал никто.

— Какой срок вы даете мне на чтение рукописи?

— Я уверен, что вы прочтете ее еще сегодня. Я просто ставлю себя на ваше место и думаю, что поступил бы именно так: прочел бы рукопись сразу.

Наш разговор начал входить в более или менее спокойное русло.

— Владимир Евгеньевич, можно вам задать несколько вопросов?

— Попробуйте…

— Как сложилась ваша военная судьба после того, как вы отдали папку Ольге Михайловне Никишиной?

— Более чем просто и менее чем интересно. Пробравшись через линию фронта, я стал солдатом и в этом высоком звании закончил войну в Берлине.

— А нельзя ли рассказать подробнее? Ведь читатели захотят узнать об этом. Они замучают меня письмами.

Владимир Евгеньевич пожал плечами:

— Это уже заботы ваши.

— Еще один вопрос. Если вы так щепетильно относитесь к своим записям, почему вы не съездили в Литву и не забрали там свой сверток? Во всяком случае, Ольга Михайловна делала все, чтобы там, в Литве, знали, где он находится.

— Я был уверен, что сверток давно потерян. Наконец, я настолько захвачен работой на заводе, что все военное стало для меня прошлым, ворошить которое попросту ни к чему, да и некогда. — Он посмотрел на меня с усмешкой: — Мне эти дневники могли пригодиться только как приложение к заявлению на орден. Но я награжден и без этого. А к славе я отношусь более чем сдержанно.

— Последний вопрос. Если не захотите, можете на него не отвечать. Как вы относитесь к Марите Давидайте?

Владимир Евгеньевич мгновенно рассердился:

— Вам для сюжета нужно, чтобы я женился на ней? В нашем роду мужчины женились только по любви. А вы что же — то, что имелось в дневниках, так сказать, переработали в любовь?

— Ни в коем случае. Но я побывал у Марите. Она человек для вас не посторонний. В трудную минуту очень помогла вам. И даже не знает, живы ли вы.

И вдруг Владимир Евгеньевич обмяк, и лицо его стало задумчивым и грустным.

— Да! Пожалуй, вы правы, — тихо произнес он. — Я должен был написать ей письмо.

— Вы можете это сделать и сейчас. У меня есть ее адрес.

— Вы что, по совместительству еще и сваха? — На лице Владимира Евгеньевича первый раз улыбка была не злой. Он встал: — Я обещаю прочитать рукопись. Дайте мне ваш телефон. Когда прочитаю, позвоню.

На том наша встреча и кончилась.

Он позвонил спустя двенадцать дней. Выдержал характер и в этом. Я снова пришел к нему.

Подвинув ко мне рукопись, он сказал:

— Прочитал. Там на полях есть мои замечания, претензии, просьбы. Дело вашей совести посчитаться с ними или ими пренебречь. Делайте с рукописью что хотите, но одно абсолютно категорическое условие: моя фамилия в ней фигурировать не должна. Объяснять это условие не намерен. Впрочем, понять это нетрудно. Смею надеяться на вашу порядочность. Вот так…

Я видел, что он волнуется. Вдруг он решительным движением открыл ящик письменного стола, вынул из него и положил перед собой блокнот большого формата. Прикрыв его рукой, он еще раз посмотрел на меня и сказал:

— Боюсь, однако, что вы не поймете меня правильно.

Я улыбнулся:

— Постараюсь быть максимально сообразительным.

— Я хочу дать вам свой последний дневник, — сказал он решительно и без паузы заговорил быстро, точно не желал дать мне секунды для неправильной оценки его поступка: — Речь не обо мне. Категорическое условие, что моя фамилия фигурировать не должна, остается неизменным. Так что речь, повторяю, не обо мне. Все эти дни

я думал о вашей повести, представлял себе, как ее будут читать, что о ней будут думать, вернее, что будут думать о герое и его судьбе. И вот это последнее и привело меня к решению отдать вам дневник. Здесь есть кое-что, объясняющее читателю мое поведение. Этот дневник я начал писать в госпитале на окраине Берлина. Закончил здесь, в Москве. В нем есть то, что вас интересовало, — конец войны. Но есть и другое — мои мысли о себе. Первое не может быть напечатано без второго. Таково мое требование. Принимаете его?

— Я не могу не принять любого вашего требования, но все же раньше я должен прочитать.

— Я это понимаю. Словом, возьмите. — Он пододвинул блокнот ко мне. — Пригодится — хорошо. А нет, вернете вместе с другими моими записями…

18

Итак, читаем последнюю часть дневников Владимира.

«Война окончена. Лежу в госпитале уже двадцать четвертый день. Казалось бы, пустяковая рана, а такая коварная — не заживает, и все.

Врачи говорят, будто это оттого, что я нервничаю. Ох, врачи, врачи! Они всегда, когда у них не получается, любят ссылаться на что-нибудь непонятное и туманное. Нервы. Какие, к черту, нервы, когда у меня горит душа и костенеет мозг от мысли, что мой милый батя, всю свою жизнь изучавший средневековье, всегда казавшийся мне зарывшимся в пыльные папирусы и ничего современного не понимающим, взял в руки оружие и пошел сражаться с ожившим средневековьем. И погиб. Мама пишет, что в дни перед уходом на фронт он говорил обо мне. «Я верю, — говорил он, — наш мальчик окажется достойным своей отчизны. Но я не могу сидеть в тылу, зная, что он там, где средневековье, одевшееся в мундир фашизма, огнем и мечом терзает нашу родную землю и убивает наших светлых людей». И он ушел туда…

Милый мой батя! Родной мой! Я старался оправдать твое доверие, старался как мог, как умел. А воевать ведь тоже надо уметь. Этому надо учиться. Я учился уже на войне.

Милый мой батя, я снова и снова требовательно просматриваю всю свою военную пору. Конечно, многое, приведись мне это сделать теперь, я сделал бы лучше, умнее. Особенно отчетливо

я понял это в последний период моей военной жизни. Хочу в нем отчитаться и перед собой. Это уже стало привычкой…

Очень грустным и досадным рубежом в своей военной жизни я считаю день, когда мои литовские друзья посадили меня в поезд-порожняк, чтобы доставить в партизанский район, а поезд по иронии случая пошел совсем в другую сторону и я оказался в районе станции Вилковишки. Конечно, я был безмерно рад, когда литовские друзья предложили доставить меня к нашим партизанам.

Збышек Старчинский, с которым судьба связала меня в Вилковишках и вместе с которым мы «воевали», был очень хороший парень. Но что это была за «война»! Я не уверен, что мы с ним могли тогда сделать больше. Но то, что мы действовали только вдвоем, придавало нашей борьбе и случайный и кустарный характер. И в этом смысле мы совершили гораздо меньше, чем могли. Я это ясно понял, когда мы с ним вернулись из Польши в район Вилковишек. Тогда я твердо решил пробиваться через линию фронта к своим войскам, которые вели героическое наступление.

Я оказался в районе литовского приморского курорта. Фронт был очень близко. В одну из ночей

мне показалось, что он рядом. По шоссе валом валили отступающие гитлеровцы. Это было радостное и вместе с тем фантастическое зрелище.

В темноте только на мгновение включались подфарники или засиненные фары. В лязге, грохоте и гуле, в бензиновой вони по шоссе двигались вперемешку танки, легковые машины, грузовики, штабные автофургоны и пешие солдаты. Иногда вдруг создавалась пробка — и поток останавливался. Слышались страшная брань, остервенелые выкрики приказов — и движение возобновлялось. А стоявший вокруг лес уже озаряли зарницы фронта, и далекое его громыхание становилось все ближе. У меня было два автомата с запасными обоймами к ним и пять немецких гранат. Все это оружие я минувшей ночью взял в бою, напав на отставших от строя трех гитлеровцев.

И вот я сижу в кустарнике в десяти шагах от шоссе, по которому движется поток вражеских войск, и лихорадочно обдумываю, что мне делать. Первый позыв — швырнуть туда гранаты, а затем пустить в ход автоматы. Конечно, я нанесу врагу значительный урон, может быть даже на какое-то время задержу движение. А дальше что? Врагов-то тысячи и тысячи. Они, конечно, быстро

разберутся, что я один, и тогда мне конец.

А как не хотелось погибать теперь, когда свои рядом! Я всячески отодвигал решение, успокаивал свою совесть примитивным объяснением, что действовать надо начать попозже, когда фронт будет еще ближе и когда мой маленький удар по врагу как бы сольется с могучим ударом наших войск. «А как ты определишь этот срок?» — спрашивала совесть. «Очень просто, — отвечал я. — Когда фронт будет совсем близко, это будет понятно ребенку». Совесть спрашивала: «А что, если к тому времени перед тобой не будет уже такого скопища врагов, они успеют удрать дальше на запад»... На этом разговор с совестью обрывался, и я снова начинал мучительно и лихорадочно думать, что делать.

Посмотрел на часы. Начинался второй час ночи. И вдруг мне показалось, будто громыхание фронта, которое я только что так отчетливо слышал, умолкло. И именно это подействовало на меня, как приказ. Словно фронт умолк специально, чтобы прислушаться, как я тут действую.

Меня охватило какое-то безудержное и бесшабашное ликование. В ушах звенело: «Действуй! Действуй!»

Я раздвинул кусты, пригляделся к гремучей

мешанине на шоссе, метнул туда одну за другой все пять гранат и прижался к земле. Взрывы, казалось, встряхнули лес. А на шоссе возникла невообразимая паника. Кто-то зажег яркие фары, и в их лучах я увидел форменное светопреставление — опрокинутые машины, мечущихся среди них людей. Два танка напролом, скидывая в кювет автомашины, давя людей, прорывались вперед.

Я взялся за автомат. Две обоймы первого автомата выпустил абсолютно безнаказанно. Паника на шоссе разыгралась еще больше. Меня даже рассмешило, как какой-то гитлеровец вопил без конца одно слово: «Мешок! Мешок! Мешок!» Но, когда пошел в дело второй автомат, начали раздаваться и ответные выстрелы. Вокруг меня защелкали по сучьям пули. Я услышал за спиной лязг гусениц и треск ломаемых деревьев. Параллельно шоссе по лесу, точно обезумевший слон, проламывался танк. Он на ходу стрелял из орудий и пулеметов, но бил вслепую. Я прижался к земле, а когда танк прошел, вскочил и побежал на восток, все больше углубляясь в лес.

Я бежал, наверное, часа два, не чувствуя ни малейшей усталости. Изредка останавливался и слушал. Оттуда, где было шоссе, все еще доноси-

лась страшная стрельба, но вскоре я и ее перестал слышать. Тихо было и впереди. Это пугало. Где же фронт? Я свернул немного левее, чтобы снова приблизиться к шоссе.

Начало светать. Я выбрал глубокую лесную лощину и на ее дне схоронился в густых кустах орешника. Приподнятое бесшабашное настроение прошло, вместо него появилось успокаивающее сознание, что я все-таки сделал то, что мог сделать.

Но что будет дальше?

Когда день уже занялся вовсю, я услышал приближающиеся ко мне осторожные шаги, а затем и голоса. Никогда не забуду этих первых услышанных мною русских слов! Говорили двое: один — чисто по-московски, а другой — окая.

— Ты махорку получил? — спросил окающий.

— Поменял на папиросы, — ответил другой.

— На, держи. Закурим для порядка.

Они остановились в нескольких шагах от меня, но я их не видел. Сердце мое билось как ошалелое.

— Я курением занялся только на фронте, — сказал окающий.

— Наука нехитрая, — отозвался другой. — Меня батька бил за это еще в школьные годы.

Я раздвинул ветви орешника и теперь увидел их. Это были наши, советские солдаты. Они настороженно смотрели в мою сторону.

— Слышал? — тихо спросил один.

— Ветер, — так же тихо отозвался другой.

Не понимая, что рискую нарваться на автоматную очередь, я начал вылезать из своей берлоги. «Товарищи, товарищи!» — бормотал я, от волнения не в силах произнести это слово громче. Солдаты, направив на меня автоматы, пристально следили за каждым моим движением.

— Брось оружие! — тихо, но властно приказал окающий.

Я бросил.

— Руки вверх!

Я сделал и это. Окающий подошел ко мне, а другой остался на месте, держа меня на прицеле. Окающий быстро обшарил меня руками и, заглянув мне в глаза, спросил:

— Кто таков?

— Свой.

— Что значит — свой?

Ну что я должен был им ответить? Не мог же я начать рассказывать свою биографию. И тут со мной произошло непонятное. Я заплакал. Подошел другой солдат. Они стояли и молча смотрели,

как я плачу, до крови кусая себе губы.

— Что же с ним делать? — растерянно спросил окающий у товарища.

Тот помолчал и сказал:

— Может, подойдет Лешка Масленников.

— А если не подойдет? Мы же с тобой на боевом задании.

Но Лешка Масленников подошел. Это оказался толстенький и румяный, как колобок, солдат. К спине его была прикреплена рация.

— Лешка, живей вызывай хозяйство, — приказал окающий, — скажи — задержали неизвестного с оружием, говорит, что свой, но не поясняет. Спроси, что с ним делать.

— Резеда, Резеда, я — Перелесок! — весело затараторил колобок в микрофон. И потом с раскатом на букве «р» произнес: — Пррррием.

Прижав наушник рукой, он слушал ответ, выпучив веселые серые глаза. Потом опять заговорил в микрофон, передал то, что сказал ему окающий, и снова: «Прррием». Выслушав ответ, он снял наушники и сказал:

— Приказано Полякову доставить его в штаб.

Приказ касался окающего солдата.

— Пошли! — сказал он мне с недовольным лицом и рукой показал, чтобы я шел вперед.

Молча мы шли по лесу километра два. За это время он только спросил, откуда я взялся.

Я ответил, что иду к своим через фронт из тыла.

— Ясно, — сказал он.

И на том разговор кончился.

Вскоре мы вышли на поляну, где стоял добротный кирпичный дом, к окнам которого тянулись телефонные провода. Возле дома — автомашина, наша родная, видавшая виды «эмка». У машины мирно беседовала группа солдат. Доставивший меня сказал что-то стоявшему у дверей часовому, и тот скрылся за дверью. Через минуту он вернулся и крикнул:

— Веди его сюда!

Меня ввели в просторную горницу, в которой находились два офицера. Я смотрел на них как завороженный, еле подавляя снова подступавшие слезы. Мой конвойный кратко доложил, где меня взяли. Ему приказали вернуться в лес, к товарищам. Он лихо стукнул каблуками, рывком повернулся и ушел.

— Расскажите, кто вы и что вы делали в этом районе, — устало спросил сидевший за столом офицер с наголо побритой головой.

Я начал рассказывать и начал, как говорится,

от самой печки. С того, как я в первый день войны остался в Каунасе. Офицеры слушали меня терпеливо, не перебивая, изредка переглядывались. Когда я стал рассказывать, как первый раз попал к партизанам и что там со мной произошло, офицеры перебросились тихими фразами, и один из них вышел.

— Погодите! — прервал мой рассказ другой.

Я замолчал.

— Мы вас сейчас доставим к одному майору. Вы все это должны рассказать ему.

В сопровождении уже другого конвойного меня повезли на «эмке». Дорога была недолгой, минут через десять мы въехали в большой, сильно разбитый курортный поселок и остановились возле здания с вывеской «Аптека». Здесь помещался, видимо, уже какой-то большой штаб.

Меня тотчас ввели в комнату, где за столом сидел спиной к окну и оттого плохо видимый мне широкоплечий офицер.

— Владимир? Не может быть! — услышал я и чуть не упал.

У меня перед глазами все кругом пошло. Это был Иван Иванович. Тот самый Иван Иванович, вместе с которым мы шли тогда от партизан в Вильнюс и который попал в гестапо.

Я уже не могу припомнить в точности, что мы говорили в эти первые минуты нашей встречи. Я снова плакал, как последняя гимназистка, а Иван Иванович отпаивал меня водой и, смеясь, приговаривал:

— Ну и чудак же! Чего ревешь? Поздно реветь, все уже в порядке.

Немного успокоившись, я начал рассказывать ему о своих приключениях. Иногда он задавал вопросы, и я отвечал ему, ничего не тая. О себе Иван Иванович рассказал более чем кратко. Почти две недели он был в руках гестапо, а потом с помощью подпольщиков ему удалось бежать. Мне показалось, что подробно он об этом говорить не хочет, и я не стал ничего выспрашивать.

Потом снова речь пошла обо мне. Иван Иванович сказал, что поможет мне уехать в Москву. Но я даже обиделся — не для того я, рискуя жизнью, рвался к своим, чтобы затем удрать подальше от войны. Тогда Иван Иванович сказал, что раз у меня нет офицерского звания, мне придется воевать рядовым солдатом. Но я ни о чем другом и не мечтал.

К следующему утру я был уже солдатом по всей форме. Меня включили в подразделение разведчиков дивизии. Тут же снова началось

наше наступление. И первый его рывок был таким стремительным, что я даже не заметил, как мы проскочили местечко, где я оставил свой сверток. А теперь я о нем и не думаю. К чему он мне? Не собираюсь же я хвастаться своими приключениями, когда вокруг меня кого ни возьми — настоящие герои и труженики войны.

Вообще, когда я попал в среду военных разведчиков и получше узнал их, все совершенное мной сильно померкло в моих глазах. Какие это ребята! Вот Леша Масленников, тот самый колобок с рацией. У него два ордена Красной Звезды. Однажды он почти сутки пробыл в осенней холодной воде, ведя наблюдение за вражеским аэродромом, расположенным на берегу озера. В другой раз он со своей рацией сидел на чердаке ветряной мельницы и корректировал огонь нашей артиллерии. Мельница загорелась. Он продолжал работать до последнего, У него сейчас руки все в следах ожогов. «Это оттого, — говорит он, — что через огонь пришлось пробиваться с чертовой рацией в руках. Без нее я бы проскочил как миленький».

А Федя Сапетов! Я мылся с ним в бане. Гляжу — у него все тело в рубцах. Оказывается, в начале войны он служил возле границы и уже на третий день, раненный, попал в плен. Сидел в

концлагерях, бежал и воевал вместе с польскими партизанами. Попал в руки гестапо и перенес там тяжкие пытки. Снова бежал, добрался до Белоруссии, пробился к своим и вот воюет как ни в чем не бывало. Он рассказал мне о себе так же кратко, как я тут написал, и прибавил: «Да ничего интересного не было, на войне как на войне». И весь разговор…

А Сережа Пронин! Донбасский шахтер, наш неутомимый шутник и весельчак, автор всех прозвищ. Он награжден орденом Красного Знамени. Однажды он пошел в свободный ночной поиск за «языком». На дороге напоролся на легковую автомашину. Она стояла. Испортилась. А возле нее на диком морозе хлопотали три гитлеровца. Один, видно, важная птица, на тех двоих покрикивал, чтобы торопились с ремонтом. Тогда Сережа тех двоих ликвидировал, а важного взял живьем. Это оказался штабной полковник. Но сам Сережа в перестрелке был ранен в ногу. Это не помешало ему, как он говорит, «стреножить» полковника и потом тащить его почти пять километров.

Действительно, кого из моих новых товарищей ни возьми — настоящие герои. Что я в сравнении с ними? Я в тылу имел целые месяцы каникул. А ведь они все шли на смерть каждый час, каждый

день, и это длилось месяцы и годы.

В свою среду они приняли меня запросто и душевно. Я заметил, что у них вызывает большое уважение, что я знаю языки, что я инженер и собирался стать ученым. Наверное, командир нашего подразделения лейтенант Крупин что-то сказал им обо мне, так как Сережа Пронин тут же приклеил мне добродушное прозвище: «Диверсант-аспирант».

А какие все они верные, славные товарищи в бою! Я уже имел возможность убедиться в этом не один раз. Под Кенигсбергом мне спас жизнь лейтенант Крупин. Он пришел мне на помощь, когда я, казалось, уже ни на что надеяться не мог. Я потом стал его благодарить, а он разозлился: «Тут не свадьба, а война, и нечего этикеты разводить». В том же бою погиб Миша Долгушин. Разведывая вражеские огневые точки, он напоролся на пулеметное гнездо. Сзади шли его товарищи, и Миша недолго думая закрыл собой амбразуру, повторив подвиг Александра Матросова. Говорят, ему тоже посмертно дадут Героя. Между прочим, сделал ли бы я то, что сделал он? Не знаю. Не знаю.

Теперь расскажу о последнем бое, в котором меня ранило.

Берлин горел и рушился от могучих ударов

нашей артиллерии и авиации. Но враг еще сопротивлялся, и делал он это с яростью обреченного. Большой урон фашисты наносили нам при помощи фаустпатронов, от которых танки горели, как облитые бензином. Вооруженные фаустпатронами, гитлеровцы таились в высоких каменных домах, и нередко получалось так, что они оказывались уже за спиной наших продвинувшихся войск.

Наше подразделение получило приказ пробраться вперед и очищать дома от фаустпатронщиков. Мы быстро к этой работе приладились и самыми разными способами истребляли их, как чумных крыс. Не обходилось без перестрелок и даже рукопашных схваток.

Перед самым рассветом мы начали очистку большого дома, который углом выходил на широкую площадь. Расположение дома было очень выгодным для гитлеровцев, и поэтому тут засели матерые волки.

Одного мы с Лешей Масленниковым прихватили еще на лестничной клетке. Он оказался майором войск СС. Потом мы разделились по этажам. Мне, Леше и сержанту Коле Архипову достался третий этаж. Тут раньше располагалась какая-то контора. Большие комнаты, и в

каждой — только письменные столы да шкафы, набитые папками. Мы осторожно прочесывали комнату за комнатой. Особенно осмотрительно мы начали действовать, когда, подошли к тем комнатам, окна которых выходили на площадь. Уже рассветало, и в коридоре можно было кое-что разглядеть.

Подошли к дверям. Прислушались. Раздались голоса. Прислушались еще. Установили, что в комнате не меньше пяти человек. Ну что ж, а нас трое. «Подходяще», — шепнул Коля Архипов и распахнул дверь.

Мы ворвались в огромную комнату, и я на хорошем немецком языке скомандовал:

— Сопротивление бесполезно! Оружие на пол!

Немая картина. А в это время мы уже видим, что гитлеровцев здесь не меньше двадцати: возле каждого окна — по двое. Тут я замечаю, что один из них осторожно тянет руку к лежащей на столе гранате. Ждать больше нельзя, мы открываем огонь. Косим гитлеровцев длинными очередями. Через минуту здесь полный порядок. Но раздается стрельба в коридоре. Это выскочили гитлеровцы из соседних комнат. Коля Архипов быстро закрыл дверь, а мы с Лешей придвинули к ней два стола. Гитлеровцы из коридора начали стрелять сквозь

дверь. Мы легли на пол и схоронились за столами. На выстрелы отвечаем огнем и тоже через дверь.

Но тут произошло новое осложнение. Оказалось, что в нашей комнате не все гитлеровцы были убиты. Двое отползли в дальний угол и оттуда, укрываясь за столами, начали стрелять в нас из пистолетов. Пришлось занять, что называется, круговую оборону. Мы с Колей Архиповым держим дверь, а Леша Масленников наблюдает за теми, уползшими в угол.

Как видно, гитлеровцы, находившиеся в коридоре, уже сообразили, что нас тут немного, и решили вломиться в комнату. В общем, горячее заварилось дело. Дверь фашистам удалось проломить, и они по одному начали просачиваться в комнату.

Вдруг в том углу комнаты, куда отползли гитлеровцы, послышался хлопок и шипение. Это один из раненых пошел на крайнее — выстрелил из фаустпатрона. И сразу комнату затопило оранжевое пламя. Даже рвавшиеся из коридора гитлеровцы оторопели.

Коля Архипов оценил обстановку и скомандовал:

— Пробиваемся!



Я глянул на Лешу Масленникова — слышит ли он приказ, — а он лежит на боку, и из-под него вытекает ручеек крови. Думать некогда. Я вскинул Лешу на плечо и под прикрытием огня Коли

Архипова выбежал в коридор. Потом мы вместе побежали к лестнице. Сзади стрельба. Пули сшибают штукатурку, но нас почему-то милуют, и мы успеваем свернуть на лестницу. Смотрим — с верхнего этажа к нам на помощь спешит группа Сережи Пронина.

— Рота, за мной! — орет он на весь дом. А с ним всего-навсего три бойца.

Я посадил Лешу Масленникова на ступени, а сам обратно в коридор вслед за Прониным и его ребятами. И Коля Архипов тоже.

Драка была отчаянная. Раз пять сходились в рукопашной, но бой все же выиграли мы. Но тут меня ранило…

Вот и очутились мы в госпитале вместе с Лешей Масленниковым. Лежим рядом. Ему сделали какую-то очень сложную операцию, и он еще слаб, даже говорить ему трудно. «Ничего, ничего, — шепчет он, кривя лицо в улыбке. — Важно, что войне конец и что мы ее сделали как надо»…

Как я счастлив, что он будет жить и что я сделал для этого все, что мог! Когда он называет меня крестным, я готов расплакаться.

Когда я из письма мамы узнал о гибели отца, я не находил себе места. Леша видел, что у меня какое-то горе и что я сильно переживаю, но ничего

не спрашивал. Я сказал ему сам. Он долго молчал, а потом тихо сказал:

— Я сам из Смоленска, там у меня все погибли. Все до одного — и брат, и сестра и маманя с отцом.

Как ни говорят, что свое горе горше чужого, я, узнав о Лешиной беде, буквально замер. Да, и горе мое тоже далеко не единственное на свете. Оказывается, есть великое солдатское товарищество и в беде. И оно, это товарищество, помогает тебе стать сильнее и мужественнее. Спасибо, Леша, за то, что ты был рядом со мной не только в бою, но и в пору моего страшного горя…

А Москва какой была, такой и осталась. Милая и единственная на всей земле. Но с мамой беда. Она постарела сразу лет на двадцать и стала какой-то странной, отрешенной от всего. Вроде живет и не живет. Мне нужно сделать все, чтобы отогреть ее душу. Сделаю!

И сам отдыхать не буду. Нельзя останавливаться после такого разбега. Иду оформляться на завод. Инженеры очень нужны. Мне там так обрадовались, будто всю войну ждали именно меня.

Итак, начинается новая моя жизнь, жизнь после войны. И эту жизнь надо прожить достойно. По-моему, нет ничего страшней для нас, людей

войны, как прийти в эту новую жизнь с заносчивым расчетом, что твои военные заслуги будто бы еще не оплачены народом и ты имеешь право на какое-то особое положение в жизни.

Неправильно это! Каждый наш человек во время войны сделал то, что мог, то, что обязан был сделать, и военная слава у всех у нас — общая.

Ну, а если Родина позовет на свою защиту, мы первыми встанем в строй, и с нами будет весь наш военный опыт, вся наша любовь к советской Отчизне и вся наша ненависть к ее врагам. Вот с этим ясным сознанием я и буду жить...»

Каждый день, в семь часов утра, из темных, как туннель, каменных ворот старинного московского дома выходит среднего роста, чуть сутулящийся мужчина. Посмотрев на часы, он энергично шагает к станции метро «Новокузнецкая». Купив в киоске газету, он спускается на подземный перрон, садится в голубой поезд и мчится к далекой окраине Москвы. Всю дорогу он читает газету. Услышав рядом молодые голоса, он из-за газетного листа внимательно посмотрит на веселых парней и девчат, и на его лице мелькнет какая-то беспокойная улыбка: не видит ли он в них себя, того парня, который двадцать лет назад вот так же беззаботно жил, не зная, не ведая, что

судьба готовила ему тяжкое испытание.

На последней станции метро он поднимается на поверхность и пересаживается в троллейбус. Газета небрежно засунута в карман, лицо серьезно-сосредоточенное — всеми своими мыслями он уже на заводе.

Владимир Евгеньевич едет на работу…

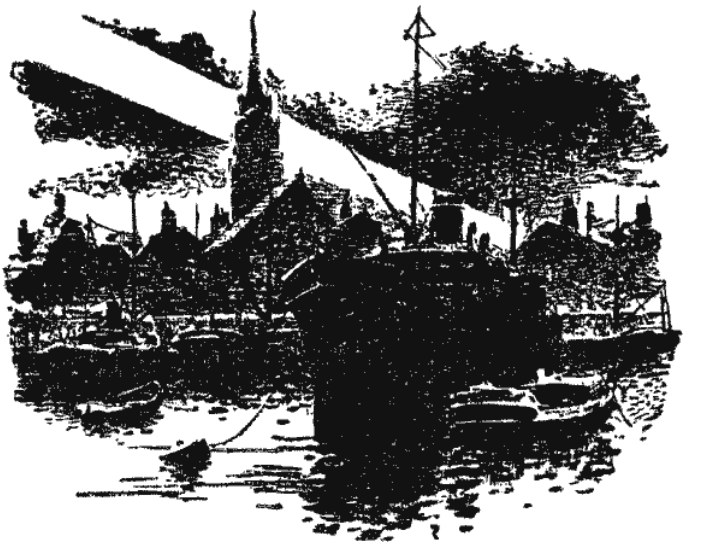




„Я 11-17"



«Я 11-17»



1

Шла к концу последняя военная зима. Наши войска с боями пробивались к Берлину, а здесь, в глубоком тылу советских войск, оставался этот мешок, набитый гитлеровскими дивизиями, и уже давно здесь шли упорные бои. Вполне боеспособные, хорошо вооруженные гитлеровские дивизии, не сумев предотвратить свое окружение, теперь проявляли большую стойкость и военное искусство. На первых порах им сильно помогало и то обстоятельство, что в их распоряжении были порт и открытая морская дорога в Германию, — они бесперебойно получали вооружение и боеприпасы.

И все же узел постепенно стягивался, и положение окруженных становилось все хуже и хуже. Перестали приходить транспорты из Германии — гитлеровской ставке было уже не до этих окруженных дивизий. О контрнаступлении из мешка немецкое командование больше не думало. У него появились совершенно иные заботы.

...Оттепельной мартовской ночью солдаты разведроты капитана Дементьева, вернувшись из ночного рейда, приволокли гитлеровского офицера. Он оказался штабным капитаном с красивой фамилией Эдельвейс.

Разбудили Дементьева. Спросонья покачива-

ясь, он шел в домик штаба и с досадой думал, что ему предстоит сейчас допрашивать еще одного истерика. Весь вопрос только в том, какая истерика у этого: «Хайль Гитлер» или «Гитлер капут»? Дементьева одинаково раздражали и те и другие, он не верил ни тем, ни другим.

Немецкий офицер спокойно, но с любопытством рассматривал Дементьева, пока тот знакомился с отобранными у пленного документами. Просматривая их, Дементьев задал немцу несколько вопросов, и его уже в эти первые минуты допроса поразило, как спокойно отнесся гитлеровец к своему пленению. Держался он совершенно свободно, охотно отвечал на вопросы.

— При каких обстоятельствах вы взяты в плен?

Капитан Дементьев всегда любил задавать этот вопрос. Ответ пленного было интересно сопоставлять с тем, что уже было известно из рапорта разведчиков.

— При самых обыденных… — Немец грустно улыбнулся. — Я возвращался с передовых позиций, в моем мотоцикле заглох мотор. Я разобрал карбюратор, а собрать его мне помешали ваши солдаты. Вот и всё…

— Видно, война в том и состоит, — усмехнулся

Дементьев, — что солдаты обеих сторон мешают друг другу жить. Но согласитесь, что мои солдаты для вас избрали помеху не самую тяжелую.

— О да! — Немец засмеялся, но тут же улыбка слетела с его лица. — Но, вероятно, эта самая тяжелая помеха ожидает меня теперь?

По напряженному взгляду немца Дементьев понял, что он спрашивает серьезно.

— У нас пленных не расстреливают.

— О да! Их вешают.

— Это зависит от размера вашего преступления перед нашим народом, — сурово и чуть повысив голос, сказал Дементьев.

— Но, говорят, самым страшным преступлением у вас считается принадлежность к партии Гитлера. Не так ли? А я как раз убежденный национал-социалист. С тысяча девятьсот тридцать седьмого года.

— Убежденный? — Дементьев с хитрецой смотрел в глаза немцу. — Убежденные выглядят не так и ведут себя иначе.

— Поминутно кричат: «Хайль фюрер!»?

— Или «Гитлер капут».

Немец засмеялся, откинувшись на спинку стула. Вместе с ним смеялся и Дементьев.

— Вы не лишены остроумия, — сказал немец.

— Между прочим, вы говорите по-немецки, как истинный берлинец. Откуда это у вас?

— Мой отец много лет работал в советском торгпредстве в Германии. Я вырос в Берлине.

— Берлинский акцент, как след оспы, вытравить нельзя. — Немец помолчал, затем пытливо посмотрел на Дементьева: — Приятно, капитан, выигрывать войну? Такую войну!

— Очень! — искренне воскликнул Дементьев.

— Верю, верю… — грустно произнес немец. — Мы ведь это тоже переживали и…

— Правда, несколько преждевременно, — безжалостно заметил Дементьев.

В глазах у немца сверкнул и тотчас погас злой огонек. Он опустил голову, плечи его обмякли, и он тихо сказал:

— Да, сорок пятый год — это не сорок первый.

И, как только он это сказал, Дементьеву словно плеснуло в лицо страшным огнем сорок первого года. Он быстро спросил:

— Где были в сорок первом?

От совершенно нового, сухого и злого дементьевского голоса немец сразу подтянулся. Он, вероятно, понял ход мыслей советского офицера и ответил четко, по-военному:

— Брест — Минск — Смоленск — Вязьма. Здесь

зимовал… — Немец помолчал и прибавил: — В ту зиму и произошло крушение победоносных иллюзий. Дальше была уже служба, чувство долга… словом, работа. Частный успех. Частное поражение. А история войны делалась уже помимо нас.

— Однако сейчас ваши дивизии сидят в мешке и не спешат сложить оружие. На что надеетесь?

— Я же сказал: служба. Когда лучше не размышлять и не спрашивать.

— Вы верили в возможность контрнаступления из мешка?

— Нет. Но такой приказ, насколько мне известно, в начале окружения готовился. А теперь делается нечто противоположное. Говорят, нас должны эвакуировать отсюда морем и перебросить на защиту Берлина.

Дементьев понимал всю важность этой новости, но спросил как только мог небрежно:

— Это слух или приказ?

— Скорей всего, приказ…

За окнами домика, где происходил допрос, прозвучал автомобильный гудок, послышались мужские голоса, смех. Хрипловатый басок весело спросил:

— Где тут ваша дичь?

Немецкого капитана увезли в штаб армии. Как

только машина отъехала, Дементьев позвонил своему непосредственному начальнику полковнику Довгалеву и сообщил ему новость об эвакуации войск из мешка.

— Да, такие сведения у нас есть, — подтвердил полковник. — Спасибо.

Ни полковник Довгалев, ни Дементьев в это время не думали о том, что уже утром им придется встретиться специально для обсуждения именно этого вопроса и что их разговор станет началом новой страницы в военной биографии Дементьева.

2

Полковник Довгалев говорил, шагая по кабинету. У окна он останавливался, умолкал и несколько секунд смотрел, как мокрые хлопья снега падали и таяли на черной спине стоявшей под окнами автомашины. Потом он круто поворачивался и снова начинал говорить, замедленно шагая к противоположной стене. Уже не первый год Дементьев работал с полковником, прекрасно знал этого сурового человека и теперь видел, что Довгалев волнуется…

Дементьев неудобно сидел в низком, глубоком

кресле. Он просто не привык пользоваться такой мебелью, не знал, куда девать ноги, вдруг ставшие непомерно длинными. Это раздражало, хотя все, что он слышал, радовало его смелое солдатское сердце.

Дементьеву всегда по душе были наиболее сложные задания. Он был разведчиком, а заниматься этим делом без риска невозможно. Ну, а если еще беззаветно любить это свое дело, разве не естественно желать заданий посложней, поинтересней? Выполняя задание, Дементьев не искал пути к цели полегче. У него была даже своя теория, что в разведке самое тяжелое и опасное приносит наилучший результат. Он мог бы рассказать немало разных историй, подтверждающих эту его теорию. Но Дементьев совершенно не собирался погибать. Он почти фатально верил в свою счастливую судьбу. В самом деле, он прошел разведчиком всю войну и даже царапины не получил. Была у Дементьева любимая девушка. Ее звали Тамарой. Жила она в Подмосковье. Познакомились они в тяжелую зиму сорок первого года. Дементьев оказался на постое в домике, где жила Тамара… Всю войну получала она от Дементьева письма. Одно из последних его писем заканчивалось так:

«...еще раз говорю тебе — не волнуйся. Гитлер не предусмотрел многого. И, в частности, он явно забыл изготовить пулю для моей персоны. Живу! И буду жить! Вместе будем жить!..»

Нет, нет, Дементьев погибать не собирался.

Слушая сейчас полковника Довгалева, Дементьев прекрасно понимал всю сложность и опасность особого задания, которое ему предстояло выполнить, и испытывал знакомое чувство радостного возбуждения.

— Вы должны знать, — говорил полковник, — что задание это совершенно не похоже на все, что вы делали до сих пор. Не лес, не болото, а большой портовый город. И вам нужно будет действовать там не одну ночь, а, может быть, недели, если не месяцы. Город битком набит гитлеровским офицерьем.

— На этом как раз и можно сыграть, — быстро вставил Дементьев.

— «Сыграть, сыграть»... — поморщился полковник. — Осторожнее, Дементьев! Осторожнее! По нашим сведениям, в городе скопилось огромное количество гестаповцев, бежавших из Таллина, Риги и Каунаса. Много гестаповцев из разгром-

ленных воинских частей. Все они ожесточены, стараются выслужиться перед начальством. Ежедневно в городе арестовывают и расстреливают десятки людей. Мы вот дадим вам несколько явочных адресов, но ни один из них не является полностью реальным.

— Ненадежные люди? — настороженно спросил Дементьев.

— Нет. Люди как раз надежные. Всю войну были связаны с нами. Выполняли большую работу. Но сейчас мы о них ничего не знаем. В большинстве это латыши, и связь с ними была через латышских партизан. Теперь связь утеряна. Словом, планируя операцию, мы должны трезво обдумать и тот вариант, что наши явки разгромлены. Но даже если они в порядке, ни одна из них вашей постоянной базой стать не может. Рисковать этими людьми нам не разрешено. Вы сможете одну из явок использовать только как первый приют на два-три дня. А потом вы должны сами устроить себе надежную базу. На одной из явок имеется законсервированная рация; вы ее возьмете. Дальше связь с подпольщиками — только по самой крайней необходимости. А лучше без всякой связи с ними.

— Вдруг та явка, где рация, разгромлена? Я к то-

му, что, может, лучше мне взять рацию с собой.

— Нет. Рация — это не спичечная коробка. А ваше первое появление в городе с чемоданом более чем рискованно. Если в течение пяти дней вы в эфире не появитесь, мы сбросим вам рацию в условленном месте…

— Ясно. Каким способом я попаду в Н.?

— Ночью мы устроим массированный налет на город, и под этот шумок вы спрыгнете со специального самолета.

— Когда?

— Завтра ночью.

— Завтра? — Дементьев, не веря, смотрел на полковника.

Довгалев подошел к нему вплотную. Капитан встал.

— Да, Дементьев, завтра ночью.

— Ну что ж, завтра так завтра. Разрешите идти к оперативникам?

— Идите, Дементьев.

Капитан вышел из кабинета своей быстрой и легкой походкой. Когда дверь за ним закрылась, полковник Довгалев вслух сказал:

— Он справится. И останется жив! — Полковник произнес это так, точно хотел убедить не только себя, но и саму судьбу.

3

Наши бомбардировщики, прилетая небольшими группами, бомбили Н. больше двух часов. Самолет, на котором находился Дементьев, сделав обманный маневр, приближался к городу со стороны моря. Он летел на небольшой высоте. Прильнув к окну, Дементьев видел пожары в разных местах города. В небе шастали лучи прожекторов, рвались зенитные снаряды.

Дементьев наблюдал за всем так спокойно, будто это не имело к нему никакого отношения.

А думал он в это время про самое неожиданное… Вот досада — забыл отчитать лейтенанта Козырькова за неопрятный вид. Просто удивительно, как не понимает парень, что внешний вид офицера — это его второе удостоверение личности… Жаль сержанта Малова — очень грустное письмо получил он из дому. Ни кола, ни двора. Половина большой семьи погибла. Как утешить человека в таком горе? И все же нужно было поговорить с сержантом по душам… Интересно, каким будет первый день мира? Вдруг пойдет дождь? Или разойдется гроза, и люди подумают, что бьет артиллерия?.. Дементьев задумчиво

улыбался.

Второй пилот вышел из кабины и тронул Дементьева за плечо:

— Давай сюда. — Летчик подвел Дементьева к зияющей дыре открытой двери. Спокойно, точно речь шла о чем-то простом и обыденном, сказал: — Гляди на лампочку. Как загорится, прыгай! — Он улыбнулся Дементьеву, рядом с ним прислонился к стенке самолета и стал смотреть на лампочку.

Теперь через дверь Дементьев видел густую темноту ночи и больше ничего. Наверно, самолет удалился от города… Было страшновато, черт возьми, думать, что вот через эту черную дыру нужно будет шагнуть в неведомую, темную бездну.

Лампочка медленно, точно нехотя, загорелась тусклым багровым накалом. Дементьев кивнул летчику и шагнул в пропасть. В уши ударил рев моторов. Упругий воздух отшвырнул его от самолета. Рев моторов уже не слышен. Хлопок расправившегося парашюта. Резкий рывок. Тишина. Покой. Ночь…

В течение немногих секунд снижения с парашютом Дементьев подумал о двух вещах. С досадой о том, что в спешке подготовки к отлету

у него не нашлось пяти минут написать письмо Тамаре. Неизвестно, сколько придется ему проторчать в городе Н., а она будет думать бог знает что… И с беспокойством о том, как произойдет приземление, — все-таки это был всего только третий его прыжок с парашютом…

Внезапно Дементьев увидел землю. Вернее, он увидел черные пятна кустарника на белом снегу. Приземлился он, как и было рассчитано, на заснеженном болоте, неподалеку от шоссейной дороги. Увязнув в снегу по пояс, он подтянул парашют, отстегнул его и затоптал в снежную яму. Потом осторожно вышел на шоссе, выпростал из-под ремня подобранные полы немецкой офицерской шинели и неторопливо зашагал к городу.

По шоссе шел уже не Дементьев. Это был капитан немецкой армии Пауль Рюкерт, уроженец Берлина, возраст — 31 год, стаж воинской службы — восемь лет. Последняя должность… На этот вопрос Пауль Рюкерт мог дать несколько ответов. И, что самое удивительное, он мог из разных карманов извлечь ровно столько же документов, с абсолютной достоверностью подтверждающих любой из его ответов. Каждый из этих документов был изготовлен великолепными мастерами графики и литографии. Тот немецкий начальник,

который в свое время подписал подобный документ, посмотрев на этот, сказал бы: «Да, это моя подпись». Больше того, если бы эти документы, среди других, были бы предъявлены специалисту по немецкой военной документации, он вряд ли обнаружил бы, что они поддельные. Дементьев мог свято верить в непогрешимость своих документов. И он верил. Но все же продумал миллион уловок, как избежать чересчур частого предъявления документов. В обычных его рейдах по вражеским тылам, если приводилось столкнуться с гитлеровцем накоротке, ситуация мгновенно разрешалась с помощью огнестрельного или холодного оружия. Здесь это исключалось, и к этому новому своему положению Дементьеву предстояло привыкать…

Внимание, Дементьев! Навстречу движется колонна машин.

Дементьев закинул руки за спину, сцепил их там и шел, уставясь в землю. Шел посередине шоссе. Что вы хотите? Шагающий в город офицер задумался. Слава богу, фронтовикам сейчас есть о чем подумать. Вот он и задумался так, что ничего не видит и не слышит.

Отрывистый сигнал сирены. Дементьев отскакивает в сторону и грозит кулаком. Машины с

ревом проносятся мимо, вздымая мокрую снежную слякоть. Дементьев успел заметить, что машины нагружены снарядными ящиками. Значит, в городе у них какие-то запасы снарядов еще имеются. Ну что ж, спасибо и на этом.

Город был все ближе. Оттуда доносились глухие и тяжкие удары фугасок, в двух местах полыхали зарева огромных пожаров. Дементьев услышал ровный гул над головой и посмотрел на часы. Да, в атаку на город шла последняя волна наших самолетов. «Удачи вам, родные! И просьба — хоть одну фугаску положите поближе к их штабу. Мне очень важно, чтобы они нервничали…»

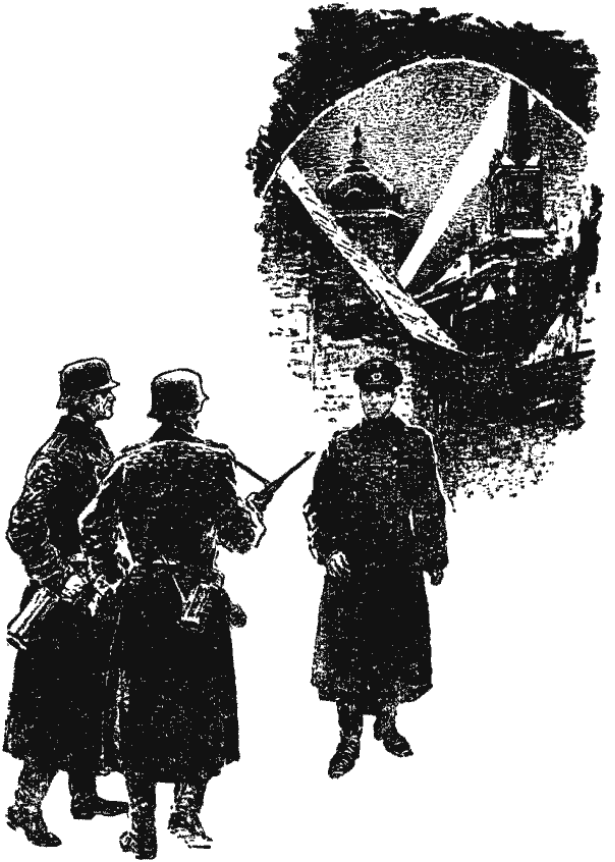
Дементьев вошел в город, когда налет прекратился. Зенитчики еще продолжали расстреливать черное небо. Но вот стрельба внезапно оборвалась и прожекторы погасли, будто город почуял, что Дементьев вошел в него, и затаился перед этой новой для него опасностью, еще не зная, как против нее действовать.

Улица, по которой шел Дементьев, была узкой-узкой, шага три в ширину. Старинные, основательные дома со скошенными лбами мансардных крыш вплотную жались друг к другу. Улица была похожа на каменную траншею. В самом ее конце виднелся тонкий и острый силуэт

костела. Дементьев шел посередине улицы, цокая подковками сапог по присыпанному снежком булыжнику. Его шаги отдавались тупым эхом, которое слышалось откуда-то сверху.

То, что Дементьев попал в город во время воздушной тревоги, имело и свою неприятную сторону — его движение по совершенно безлюдным улицам было очень заметным. Не успел Дементьев подумать об этом, как из темноты каменного туннеля ворот его окликнул осторожный голос:

— Господин офицер, укройтесь сюда.



Дементьев на мгновение замер, но тут же послушно шагнул в нишу ворот. У каменной стенки стояли два солдата. Один из них вытянулся перед Дементьевым и робко, точно извиняясь, сказал:

— Отмены воздушной тревоги еще не было.

Дементьев засмеялся:

— Я вижу, у вас тут все как по нотам. А у нас… там… — Дементьев повел плечом, и солдат понял, что офицер говорит о фронте, — такого образцового порядка нет. Прилетают и швыряют на нас бомбы без предупреждения. Днем и ночью.

— Трудно сейчас… там? — помолчав, спросил солдат.

— Все в полном порядке, мой солдат! — шутливо отрапортовал Дементьев. — Скажи-ка лучше, как пройти на Шестигранную площадь. Есть тут такая?

— Есть, есть! — с поспешной готовностью ответил солдат. — Это недалеко. Вот по этой улице до костела и направо. Вам, наверно, нужен объект номер три?

— Что мне нужно, я знаю. А вот тебе, мой солдат, не нужно болтать в подворотнях о секретных объектах! — сердито выговорил Дементьев.

Солдат стукнул каблуками и вытянулся. Дементьев, не оглядываясь, вышел из ворот.

Итак, первая встреча с немцами прошла без сучка и задоринки. «Да, господа фашисты, — думал Дементьев, — видать, вам тут лихо, если первый попавшийся солдат заговаривает о трудностях…» Дементьев помнил гитлеровцев первого года войны — те о трудностях войны не думали.

У костела Дементьев повернул направо и пошел другой, такой же узенькой и темной улицей, которая вела на Шестигранную площадь. Солдат там, в воротах, мог не стараться: Дементьев и без него знал, что на Шестигранной площади, в здании банка, расположен главный штаб окруженных войск, именуемый объектом номер три. Но было на этой площади и нечто другое, весьма интересовавшее Дементьева: в маленьком двухэтажном, домике, как раз напротив штаба, находилась та явочная квартира, где хранилась законсервированная радиостанция. Полковнику Довгалеву очень не нравилось, что Дементьеву придется сразу идти на явку, расположенную в такой опасной близости к главному штабу, но полковник все же согласился с Дементьевым, что лучше сразу, в самом начале операции, выяснить положение с радиостанцией…

Дементьев шел по улице уверенно, как мог идти фронтовой офицер, для которого город со

всеми его страхами и строгостями не больше как часть фронта, и притом наименее безопасная. В это время он в своей цепкой памяти разведчика перебирал данные явки. Двухэтажный дом с лошадиной головой и подковой на фронтоне, квартира номер семь. Хозяин квартиры — Павел Арвидович. Его дочь зовут Лидией. Кроме них, в квартире никого не должно быть. Пароль: «Скажите, не у вас ли живет военный врач Нельке?» Ответ: «Нет, у меня живет майор Фохт».

Дементьев вышел на площадь. Она действительно оказалась шестигранной. Одна ее грань — большой мрачный дом. Нетрудно было догадаться, что это и есть объект номер три. Там у подъезда чернели автомашины и маячил часовой… А вот и дом с лошадиной головой на фронтоне. Он был слева, вторым от угла. Дементьев уже сделал туда несколько шагов, как вдруг круто повернул и пошел через площадь к зданию штаба. Мысль зайти сначала в штаб родилась внезапно, как всегда это бывало с Дементьевым, когда он во время операции вдруг решал изменить первоначальный план действий. Всегда эти смелые экспромты приносили ему успех…

Часовой молча загородил Дементьеву дорогу.

— Я офицер штаба восьмой дивизии! — строго

сказал Дементьев. — Мне срочно нужно к полковнику Гешке!

Такой полковник в штабе имелся, это Дементьев знал точно. Но он знал и то, что этот Гешке — немец, а это значит: в штабе его сейчас нет. Ночью немцы спят. Этот порядок они, по возможности, соблюдают даже на переднем крае.

Часовой молчал — видимо, думал, как поступить.

— Вызовите начальника караула, — подсказал ему Дементьев.

— Один момент! — Часовой метнулся к двери и нажал кнопку.

Прошло минут пять, прежде чем появился заспанный фельдфебель.

— Что тут случилось?

— Офицер восьмой дивизии — к полковнику Гешке! — четко доложил часовой.

Фельдфебель сошел с крыльца, приблизился к Дементьеву и вгляделся в его лицо.

— Откуда это вы свалились? — насмешливо спросил он.

— Я попросил бы разговаривать со мной, как положено разговаривать фельдфебелю с капитаном армии рейха! — повысив голос, сказал Дементьев.

Фельдфебель направился к дверям:

— Идемте со мной…

Они вошли в ярко освещенный вестибюль. После ночной темени свет ударил в глаза Дементьеву — он заслонился от лампы рукой. Фельдфебель прошел за столик, позади которого стояла разворошенная койка. Сесть фельдфебель решился только после того, как Дементьев устало опустился в кресло перед столиком.

— Сейчас пятый час. Вероятно, полковник Гешке вас не ожидал? — не без ехидства спросил фельдфебель.

— Война… война, — рассеянно вымолвил Дементьев. — Но я не спал вовсе. У вас есть отель для приезжающих с фронта офицеров?

— Есть, — мгновенно ответил фельдфебель.

— Дайте мне туда направление или позвоните.

— Это можно… — Фельдфебель схватил телефонную трубку, но тут же ее положил. — Дайте ваш документ…

— Теперь я знаю, зачем нам выдают удостоверения. На фронте их почему-то не спрашивают… — Усмехаясь, Дементьев небрежно бросил на стол черную книжечку.

Внимание, Дементьев! Ведь это первый экзамен твоим документам…

Фельдфебель с серьезным лицом, не спеша смотрел удостоверение. Его, видно, задела насмешка Дементьева, и он, как это любят делать штабные вояки, решил показать полевику, что тут ему не бункер посреди поля, тут неумолимо для всех действуют свои законы и порядки.

— Сколько времени вы, капитан, пробудете в городе?

— Не знаю, — устало ответил Дементьев, а сам весь напрягся от ощущения подступившей опасности.

— Если более суток, то вам завтра надо зайти в комендатуру. На вашем удостоверении поставят специальный штамп о пребывании в городе. Таков порядок…

На душе у Дементьева отлегло, и он решил подыграть фельдфебелю в его штабной заносчивости:

— Откуда я могу знать, на какой срок меня вызвали? Кто я такой? Генерал? Фельдмаршал? Скажут в вашем штабе — назад, только меня и видел ваш город.

— Приказ есть приказ… — благосклонно согласился фельдфебель и снова взял телефонную трубку. — Говорит дежурный комендант объекта номер три. У вас есть место?.. Очень хорошо.

Сейчас к вам придет… Запишите: капитан Пауль Рюкерт… Спасибо… — Фельдфебель положил трубку. — Вы город знаете?

— Я здесь всего второй раз.

— Отель минут десять отсюда.

— Может, у вас есть дежурная машина?

— Нет. Она дежурит только до трех ночи.

— За час не дойдешь до вашего отеля. Ведь на каждом углу — патрули. Объясняйся с каждым…

Фельдфебель вырвал листок из настольного календаря, торопливо что-то на нем написал и протянул Дементьеву. Дементьев хотел листок взять, но фельдфебель отдернул руку:

— Прочитайте и запомните.

— Спасибо, — запомнив пароль, сказал Дементьев, тяжело поднялся, пожелал фельдфебелю спокойной ночи и ушел.

4

Все в порядке. Теперь, если с явкой неблагополучно, есть где провести остаток ночи. Дементьев посмотрел на часы — скоро начнет светать. Надо торопиться…

Звонок в явочной квартире, видимо, не работал. Дементьев нажимал кнопку несколько раз; в

ответ — глухая тишина спящего дома. Дементьев постучал — решительно и громко. За дверью послышались шаги и осторожный старческий голос:

— Кто там?

— Откройте! — властно приказал Дементьев.

Дверь приоткрылась, но кто там был в темноте, за дверью, Дементьев разглядеть не мог.

— Скажите, не у вас ли живет военный врач Нельке?

— Нет. У меня живет обер-лейтенант Гримм.

Дементьев замер. Начало ответного пароля было сказано правильно, а конец не сходился.

В приоткрытую дверь высунулась седая голова, и Дементьев услышал шепот: «Завтра в зале почтамта в четырнадцать часов…»

Дверь захлопнулась. Дементьев быстро пошел вниз по лестнице. Мысль его работала мгновенными толчками; точно острый лучик света, она вонзалась в тревожною темень опасности… Явка в руках гестапо. Но тогда зачем им было изменять пароль? Не лучше ли было назвать пароль правильно, чтобы он вошел в квартиру, и там схватить его? А может, они сначала хотят проследить его связи и специально для этого исказили пароль и теперь за ним будет установлено на-

блюдение?.. А может, явка просто в опасности и ее хозяин дает об этом знать изменением пароля? Но как расценивать назначение свидания в почтамте?.. Честное желание хозяина явки?.. Или это сделано под диктовку гестапо?.. Но зачем гестапо откладывать его арест на каких-то десять часов и потом делать это в людном месте, а не сейчас, здесь, без свидетелей?.. Остается одно: эти десять часов они все-таки хотят за ним наблюдать. И вот когда пригодится отель для офицеров…

Дементьев шел по улице то быстро, то медленно, создавая этим трудности для возможного наблюдателя. Нарочно прошел через два патруля, пользуясь паролем, полученным от фельдфебеля. Пройдя патруль, затаивался в нише ворот, ждал, когда к патрулю подойдет наблюдатель. Но никто не подходил. Нет, слежки за ним явно не было, и это в известной мере поддерживало версию, что завтрашнее свидание на почтамте с гестапо не связано. Так или иначе, скорей в отель. Нужно отдохнуть. Кроме того, еще тогда, когда он принял решение зайти в штаб и получить там направление в отель для офицеров, он рассчитывал, что этот отель может ему пригодиться не только для отдыха…

У подъезда отеля «Бристоль» тесно жались

автомашины. Смешно выглядела втиснувшаяся среди них фронтовая танкетка. Из нее по площади разносился богатырский храп водителя. Он спал на переднем сиденье, высунув через борт длинные ноги в стоптанных сапогах.

Через вертящиеся двери Дементьев вошел в вестибюль. За стойкой портье никого не было.

— Кто-нибудь живой тут есть?

Из-за гардины вышел молодой человек. Скользнув по Дементьеву равнодушным взглядом, он развернул громадную книгу:

— Капитан Рюперт?

— Рюкерт! — сердито поправил Дементьев.

— Простите. Триста пятая комната. Третий этаж. Лифт, извините, не работает. И, пожалуйста, потише — там уже спит майор Зандель.

Дементьев медленно поднимался по лестнице, обдумывая, чем ему может грозить присутствие в номере майора Занделя.

Майор спал, укрывшись с головой. Не зажигая света, Дементьев разделся. Китель повесил на стул так, чтобы была видна вплетенная в петлицу ленточка «железного креста». Внимательно осмотрев комнату, Дементьев лег в постель и стал думать…

Главное, что нужно было обдумать: завтрашнее

свидание в зале почтамта. Все решало — кто он, этот хозяин явки. Дементьев знал только, что он латыш, что зовут его Павел Арвидович, что у него есть дочь и что он почти два года был связан с латышскими партизанами. Разве этого недостаточно, чтобы поверить в человека?.. В конце концов, Дементьев и принял за исходное веру в хозяина явки, и стал обдумывать все доступные ему меры предосторожности на тот случай, если он окажется обманутым… Через час Дементьев заснул. Он попросту приказал себе спать — к утру он обязан быть со свежей головой.

Сосед Дементьева проснулся в восьмом часу утра. Дементьев повернулся лицом к стене и натянул одеяло на голову. Майор Зандель прошлепал босыми ногами в ванную и долго плескался там под душем. Потом вернулся в комнату и, покрякивая, стал делать гимнастику. Одеваясь, он бормотал что-то себе под нос. И вдруг громко сказал:

— Коллега, так можно проспать всю войну!

Дементьев медленно повернулся на спину, неохотно стащил с головы одеяло и удивленно осмотрелся, как всегда осматриваются спросонья люди, проспавшие ночь в новом для них месте. Увидев майора, он улыбнулся:

— Доброе утро!

Майор засмеялся:

— Утро действительно как будто доброе! А вот ночь была свирепая. Наш отель не раз подпрыгивал… Как вы пришли, я уже не слышал.

— Я пришел под самое утро. — Дементьев сел на кровати и стал не спеша одеваться, рассчитывая, что майор уйдет.

Но майор уходить не собирался. Он сел в кресло, вытянув худые ноги в роскошных лаковых сапогах. «Штабной», — отметил про себя Дементьев. Умывшись, Дементьев надел китель и подошел к майору:

— Давайте знакомиться — капитан Рюкерт.

Майор встал:

— Майор Зандель.

Они пожали друг другу руки.

— Рюкерт, Рюкерт… — вспоминал майор, не выпуская руку Дементьева. — Откуда-то я эту фамилию знаю.

— Вы подзадориваете мое самолюбие! — рассмеялся Дементьев. — Я начинаю нахально думать о своей несуществующей славе и популярности.

Майор отпустил руку Дементьева, и его лицо вдруг приняло печальное и вместе с тем строгое выражение. Он помолчал и, посмотрев на часы,

сказал:

— Идемте, капитан, завтракать.

Они спустились в ресторан и заняли столик возле огромного зеркального окна. Официант принял заказ и ушел.

— Вот вы, капитан, сказали о несуществующей славе… — Майор вздохнул и, смотря в просвет занавесок на еще безлюдную площадь, продолжал: —А ведь у всех нас была слава подлинная, большая. Была она и у вас. Я вижу у вас гордую ленточку — «железный крест» получали самые храбрые…

Майор замолчал. Дементьев напряженно обдумывал, как ему вести себя с Занделем. Направление мыслей майора он предугадывал.

— Известный вам, капитан, военный гений предупреждал, что длительность войны неизбежно вступает в противоречие со всеми ее расчетами, которые на первых этапах войны предрекали успех. Сейчас мы этот фактор длительности прежде всего и ощущаем. Не так ли, капитан?

В это время Дементьев уже принял решение, как себя вести, но ему нужно было получше узнать настроение майора. На его вопрос Дементьев не ответил, и за столом наступило неловкое молчание.

— Я не люблю поспешную откровенность. Потом военный гений Бисмарка для меня — всего лишь история. Моя вера сегодня — гений фюрера… — тихо и задумчиво сказал Дементьев. Заметив, как при его последних словах в глазах майора метнулась тревога, он, чтобы немного успокоить его, добавил: — Я только что пережил трагедию восьмой дивизии.

— Ах, вы из восьмой? Как же это вы уцелели? Ведь дивизия, я слышал, уничтожена.

— Это не совсем верно, — грустно сказал Дементьев. — Нас бросили в частное контрнаступление. Операция была спланирована правильно, но русские… — Дементьев пристукнул кулаком по столу. — Наши солдаты дрались, как львы, и гибли. После блуждания по лесам и болотам я вывел несколько своих парней и, как видите, вышел сам. И прибыл сюда, чтобы рассказать командованию, что произошло с нашей дивизией. — Помолчав, Дементьев добавил: — И просить назначения. Кстати, вы не в курсе дела: реально сейчас получить назначение? Я слышал, будто таких, как я, здесь больше чем достаточно.

— Я сам из таких, — задумчиво сказал майор. — Но я назначение уже получил. Дело это нелегкое. Кроме всего прочего, здесь уже действует фактор

паники, он порождает беспорядок в штабных делах. У вас какие-нибудь связи в штабе есть?

— Никаких.

— Я попробую вам помочь, — помолчав, сказал майор и, улыбаясь, добавил: — Вы не удивляйтесь, что я сразу с вами разоткровенничался. Я люблю людей с открытыми лицами и слепо им верю. Может быть, зря?

— Бывают лица, которые открыты умышленно, — усмехнулся Дементьев.

— Я знаю, знаю! — испуганно согласился майор.

— Если бы вы помогли мне устроиться, я был бы вам весьма благодарен, — сказал Дементьев. И это его «если» содержало в себе и некий особый смысл, в котором майор не мог не почувствовать чуть заметную угрозу. — Я офицер, имеющий погоны и фронтовой опыт, но, увы, не имеющий никаких связей. А болтаться в резерве без дела я не смогу, не выдержу. Уйду на фронт рядовым!

Последние слова Дементьев произнес так искренне, что майор посмотрел на него с жалостью и подумал, что перед ним сидит честный, в честности своей ожесточенный фронтовой офицер, бояться которого не следует, а помочь нужно.

— Как с вами связаться? — спросил майор.

— Если я не устроюсь жить подешевле, чем в отеле, мы будем вместе каждую ночь, — ответил Дементьев. — Если же я перейду на частную квартиру, я через два-три дня загляну к вам вечерком. Можно?

— Конечно.

— Спасибо.



После завтрака Дементьев расплатился за двоих.

— Сегодня — я. Пока я бродил по болотам, у меня не было расходов и появились сбережения.

Майор засмеялся:

— Предпочитаю сбережения без блуждания по болотам.

Они дружески простились, и Дементьев пошел в город.

Прежде всего нужно сходить в комендатуру — получить отметку на удостоверении, о которой говорил фельдфебель. Да, порядок есть порядок. Господа немцы больше всего не терпят, когда нарушается порядок… Идти в комендатуру Дементьев не боялся. Ведь он предъявит там абсолютно подлинное удостоверение офицера восьмой дивизии. Оно было отобрано из целой груды документов убитых и взятых в плен гитлеровцев после того самого боя, о котором Дементьев только что рассказывал майору Занделю. У офицера, которому оно принадлежало, оказались еще письма и другие документы, позволявшие знать о нем то, что крайне важно было для его двойника — Дементьева. На удостоверении теперь только фотокарточка была не подлинная, но, по случайности, у гитлеровца и Дементьева ока-

залось и некоторое внешнее сходство. Это тоже было немаловажным обстоятельством. О своем «предшественнике» Дементьев знал многое, он даже научился писать его почерком…

Словом, Дементьев вошел в комендатуру без тени опасения. Офицер комендатуры, ставивший отметки, взял у Дементьева удостоверение, заглянул в него, сделал запись в гроссбухе, поставил штамп в виде маленького треугольника и вернул удостоверение.

— Каким отделом штаба вызваны? — небрежно спросил он, снова пододвигая к себе гроссбух.

— Я приехал за назначением.

— А-а! Тогда предъявите карточку открепления с прежней должности.

— У меня ее нет! — подавляя тревогу, раздраженно произнес Дементьев.

— Как это — нет? — Глаза у офицера округлились: он столкнулся с самым недопустимым — с нарушением порядка.

— Вот так — нет, и все! Вы слышали, надеюсь, о трагедии восьмой дивизии? Или, может, вас какая-то карточка волнует больше гибели целой дивизии фюрера?

Офицера это не смутило.

— Мне известна эта трагедия… но порядок есть

порядок…

— Скажите, кто должен был подписать эту карточку?

— Начальник штаба.

— Он убит.

— Тогда — его заместитель.

— Убит. Еще кто?

Офицер задумался и потом сказал:

— Хорошо. Я запишу так: карточка открепления не получена в связи с особыми причинами. И в скобках помечу — восьмая дивизия.

— Пишите как хотите, — насмешливо обронил Дементьев. — До свидания…

Дементьев вышел на улицу. Ф-фу! Ну, и бюрократы же!.. Он рассмеялся от мысли, что возмущается бюрократизмом немцев.

5

В зале почтамта было многолюдно. «Молодец, — подумал Дементьев о хозяине явки. — Знает, где устраивать встречу».

Дементьев пришел сюда за час до назначенного времени: хотел посмотреть, как Павел Арвидович будет вести себя, ожидая встречи. А главное, Дементьев все-таки опасался провокации. На улице

ничего подозрительного он не заметил. Всевидящим взглядом разведчика он обшарил весь зал почтамта. Ничего похожего на то, что готовится засада, он не обнаружил и здесь. За столом, где люди писали телеграммы, Дементьев выбрал место, откуда ему открывался почти весь зал почтамта и выход на улицу. Купив бумагу и конверт, он, подолгу обдумывая каждую фразу, начал писать письмо в Берлин, дорогой и любимой своей жене Лизетте. Самое удивительное было то, что, если бы кто-нибудь решил выяснить, существует ли в Берлине, по адресу Александрплац, 4, квартира 15, такая Лизетта, он ее там обнаружил бы. Больше того, она сказала бы, что уже давно ждет письма от своего мужа, Пауля Рюкерта. Дементьев и весь аппарат оперативного отдела во главе с полковником Довгалевым, разрабатывая операцию, подумали о многом…

Павла Арвидовича Дементьев узнал сразу и немножко этому огорчился: уж очень было заметно, что старик явился сюда на свидание. Дементьев решил подождать. Пусть старик немного освоится и перестанет вертеть головой во все стороны.

Павел Арвидович сделал круг по залу и остановился около киоска, где все время толпились

люди. «Вот это правильно!» — мысленно похвалил старика Дементьев.

Спрятав недописанное письмо в карман, Дементьев встал и подошел к киоску. Старик скользнул по нему настороженным взглядом, но, видимо, ночного гостя не узнал. Купив несколько газет и журнал «Сигнал», Дементьев пристально посмотрел на старика:

— Позвольте, вы, кажется, хозяин квартиры, где живет военный врач Нельке? Я не ошибаюсь?

— Да, это я, — дрогнувшим голосом ответил старик.

— Ну, как он там? Жив, здоров? Он сейчас дома? — Дементьев спрашивал громко, чтобы все слышали, о чем он говорит. — Вы идете домой? Идемте, я хочу повидать вашего жильца.

Не давая старику опомниться, Дементьев взял его под руку, и они вышли из почтамта.

— Налево, за углом, — кафе «Луна», — тихо сказал старик. — Заходите туда через десять минут.

— Хорошо, — так же тихо произнес Дементьев и пошел вперед.

Он проследовал мимо кафе, о котором сказал старик, дошел до перекрестка, постоял там и направился обратно.

В кафе было пусто. Дементьев снова огорчился

неопытностью хозяина явки. Ну почему в пустом кафе немецкий офицер должен подсаживаться к столику, занятому старой штатской крысой? На это сразу могут обратить внимание. Но делать было нечего. Дементьев быстро подошел к столу, за которым сидел Павел Арвидович:

— Можно за ваш столик?

— Пожалуйста…

Когда Дементьев сел и взял меню, старик тихо сказал:

— Не беспокойтесь, это место надежное. Хозяин кафе — наш человек… Так вот. Моя квартира сейчас для вас не пригодна. Я вынужден был взять на постой офицера. В домах, которые поблизости от штаба, они живут почти в каждой квартире. Учтите.

— Кто ваш жилец?

— Гестапо. А кем он там, черт их знает… Весьма строгий господин. Уходит рано, приходит поздно. И больше я о нем ничего не знаю.

— Так, ясно. А что поделываете вы?

— Ничего. Связи нет уже третий месяц.

— Есть что-нибудь важное?

— Да. Они начинают эвакуировать войска морем.

— Это нам известно. Еще что?

— Усилились аресты.

— Знаем.

Павел Арвидович замолчал, рассматривая свои положенные на стол старческие, жилистые руки.

— Не огорчайтесь, Павел Арвидович. Я знаю, какую пользу вы принесли нашей армии. Спасибо вам. Мне вы не нужны. Я приду к вам только затем, чтобы взять рацию. Она цела?

— Конечно!.. Появились бы вы месяцем раньше, — виновато заговорил старик, — как хорошо можно было все устроить! Я бы сдал вам комнату — и шито-крыто.

— Нет, все равно этого сделать было нельзя. У меня совсем другой план. Прошу вас об одном — приготовьте рацию. Я зайду к вам под предлогом поиска комнаты… До свидания, Павел Арвидович.

6

Город жил странной жизнью. С утра до вечера улицы были заполнены военными. В этой серо-зеленой толпе редко-редко мелькнет пятно штатского костюма. Военные всюду — в магазинах, кафе, ресторанах, гостиницах, в трамваях. Но

что бы ни делали эти военные, в их поведении и даже в их облике чувствовалось напряжение и тревога. Ведь все эти люди в шинелях, плащах, кожаных регланах всегда помнили, что они окружены. А последнее время они уже знали, что война докатилась до стен их столицы и что отсюда у них только одна дорога жизни, дорога домой, на родину — через морские ворота города. И только воинская дисциплина, которой они подчинялись почти религиозно, удерживала их от того, чтобы не броситься в порт захватывать места на морских транспортах. Каждый вечер в ресторанах, а то и на улице среди военных вскипали истерические скандалы. То они возникали из-за того, что кто-то неуважительно выразился о фюрере, а то, наоборот, из-за того, что кто-то кому-то надоел ссылками и упованиями на божественный гений Гитлера… Именно на это состояние гитлеровцев при разработке операции Дементьева делалась большая ставка. Как выразился майор Зандель, паника порождает беспорядок.

На площади перед портом Дементьев подошел к группе немецких офицеров, стоявших около легковой машины. Их было пятеро. Дементьев спросил, не знают ли офицеры, где помещается

комендант порта.

— Вот.

Один из офицеров показал на одноэтажный дом. Все офицеры смотрели на Дементьева настороженно и в то же время вопросительно.

Один из них не выдержал и спросил:

— Отъезд?

— Да нет, — безразлично ответил Дементьев. — Не могу найти груз, прибывший для моего полка.

— Неужели сюда еще прибывают грузы и они кому-нибудь еще нужны? — с недоброй улыбкой, обращаясь не к Дементьеву, а куда-то в сторону, спросил высокий офицер с багровым шрамом на лице. Шрам у него подергивался; было похоже, будто офицер все время подмигивал кому-то.

— Ответить вам не могу, — сухо произнес Дементьев. — Мне приказано найти груз, и я должен выполнить приказ. Извините… — Дементьев чуть поклонился и ушел.

В коридоре комендантского дома кипела нервная толчея, в которой Дементьеву нетрудно было затеряться и, не обращая на себя внимания, пробыть там десять — пятнадцать минут. Дементьев внимательно прислушивался: все говорили об одном — об эвакуации из мешка.

Выйдя из дома коменданта порта, Дементьев увидел, что офицеры, к которым он подходил, продолжают стоять на том же месте. Поравнявшись с ними, Дементьев виновато улыбнулся тому, со шрамом, и сказал:

— Кажется, вы были правы. Надо мной и над моим грузом там довольно зло посмеялись.

— Весь вопрос сейчас в том… — снова не глядя на Дементьева и как бы продолжая разговор, который шел без него, сказал офицер со шрамом, — весь вопрос в том, когда наступит стадия «брутто — Берлин».

— Как… это понимать? — Дементьев изобразил на своем лице крайнюю растерянность, если не испуг.

Полненький, розовощекий майор сухим, скрипучим голосом выкрикнул:

— Это надо понимать так, что майор Рауд начинает впадать в истерию женского образца! — Он злобным взглядом вцепился в высокого со шрамом.

— В то время как майор Ауэрбах, — насмешливо отпарировал тот, — впал в детство со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Среди офицеров вспыхнула отчаянная перебранка. Они принялись поносить друг друга

бранными словами.

— Извините, мне некогда… — Дементьев быстро зашагал прочь.

С другого края площади он оглянулся назад. Офицеры продолжали кричать… «Очень хорошо, господа офицеры, очень хорошо, — произнес про себя Дементьев. — А вот когда наступит стадия «брутто — Берлин», меня интересует не меньше, чем вас».

Дементьев приступил к поискам квартиры. В тихой узенькой улочке недалеко от порта он вошел в подъезд первого попавшегося дома, поднялся на второй этаж и остановился перед дверью в квартиру номер пять. Нажал кнопку звонка. Дверь тотчас же открылась, словно человек ждал звонка, притаившись за дверью. Перед Дементьевым стоял мужчина с холеным лицом, одетый в дорогой мохнатый халат.

— Кого вам угодно? — спросил он на плохом немецком языке.

— Не кого, а что, — усмехнулся Дементьев. — Мне нужна комната.

— Но…

— Не торопитесь говорить «но», сейчас не то время, когда офицеры рейха могут спокойно это выслушивать. — Отстранив мужчину, Дементьев

прошел в дверь и закрыл ее.

— Выслушайте меня, господин оберст… — Человек в халате говорил уже просительно.

— Ну, ну… — Дементьев рассматривал роскошно обставленную прихожую.

— Моя квартира не подлежит заселению. Достаточно высокий чиновник гестапо, господин Мельх, в случае чего, разрешил мне ссылаться на него. Давайте позвоним ему по телефону.

— С этого и нужно было начинать! — Дементьев небрежно козырнул хозяину квартиры и вышел на лестницу.

«С комнатой не вышло, но зато мы знаем теперь о существовании некоего Мельха, который занимается квартирами. Может пригодиться…» С этой мыслью Дементьев шел по улице, присматривая себе другой дом.

Между тем день был уже на исходе — всего только первый день пребывания Дементьева в этом городе, а сколько событий он уже пережил, сколько раз подвергался смертельной опасности! О грозящей ему опасности Дементьев, конечно, помнил все время. Но мы знаем: совсем не чувство опасности определяло его поступки. Ведь он мог и не пойти ночью в штаб, а затем — в гостиницу. Мог переночевать где-нибудь в укромном

местечке, найти которое в большом городе всегда можно. Увидя на портовой площади офицеров, он мог бы обойти их стороной, а он не только подошел к ним, но и вступил с ними в разговор. Вот и сейчас он мог бы пойти отдыхать в уже освоенную им гостиницу. А он туда не торопился, упорно хотел уже сегодня иметь свое собственное жилье.

Дементьев стоял на площадке второго этажа другого дома. Перед ним — дверь, аккуратно обитая черной клеенкой, с тщательно надраенной табличкой:

«Песис А. А.».

Кто он, этот Песис, так любовно ухаживающий за своей дверью? Коммерсант? Врач? Чиновник? Дементьев нажал кнопку, которая была в виде глаза в медной головке льва. Дверь открыла миловидная девушка. Ее голубые заплаканные глаза при виде немецкого офицера испуганно расширились, она невольно сделала шаг назад и крикнула:

— Мама!

Дементьев, не раздумывая, вошел в квартиру и закрыл дверь. В переднюю вышла высокая седая женщина. И она, увидев немецкого офицера, за-

стыла на месте с испуганным выражением лица.

— Прошу извинить меня, мадам, — обратился к ней Дементьев. — Меня привела к вам необходимость. Нет ли у вас для меня свободной комнаты? Недели на две… Я, конечно, заплачу. Отели забиты, а жить где-то надо… И городу приходится как-то делить с нами тяжесть положения… — Дементьев сказал все этой с мягкой, подкупающей улыбкой.

— Пройдите сюда, — растерянно произнесла женщина.

Они вошли в просторный, со вкусом обставленный кабинет. По стенам были развешаны картины; их было много, и, как успел заметить Дементьев, все они были хорошие. Женщина пригласила Дементьева сесть в кресло, а сама села на диван. Она в упор рассматривала Дементьева и молчала.

— Это квартира латышского художника Песиса, — заговорила она наконец, — но его нет… — Женщина поднесла ко рту платок. — Он недавно умер…

Дементьев встал:

— Я прошу извинить меня, мадам. Искренне сочувствую вашему горю. — Он стоял, скорбно склонив голову, думая, что именно в этой квар-

тире ему и надо поселиться. — Может, как никто другой, я понимаю ваше горе. У меня в Берлине погибли все мои близкие. Все… — Дементьев сделал движение, будто собирался уйти.

— Одну минуточку, господин офицер… Садитесь, пожалуйста… Я хочу объяснить вам… — Женщина подошла к столу, отыскала там какую-то бумагу и протянула ее Дементьеву. — Вот. Примерно полгода назад мой муж получил от ваших властей вот эту охранную бумагу…

Дементьев быстро пробежал документ глазами. В нем говорилось, что художник Песис А. А. является выдающимся живописцем и что находящаяся в его квартире коллекция картин пользуется защитой администрации. Подпись под документом — Герман Мельх. Дементьев с трудом подавил улыбку: этот Мельх попадается ему на каждом шагу, но в данном случае Мельх помог Дементьеву принять правильное решение. Он стал внимательнее всматриваться в картины.

— Какая прелесть!.. Огромный мастер!.. Ах, как хорошо!.. — тихо восклицал он, переводя взгляд от картины к картине. — Да, все это великая ценность. Я вот думаю: достаточно ли прочная защита — выданная вам бумажка? Объявится

какой-нибудь хам, — а такие и в нашей армии, увы, имеются, — плюнет на эту бумажку и вывезет все эти картины. Ведь хамы, мадам, тоже разбираются иногда в ценностях…

— Боже, что вы говорите! — в ужасе прошептала женщина.



— Похожий инцидент был в Риге. Там один профессор пятьдесят лет коллекционировал фарфор. Он собрал вещи, которым нет цены. И вот однажды к нему на квартиру совершенно случайно забрели два солдата — они делали обычный обход. Им понравились красивые вещички профессора, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в квартире профессора не жил наш офицер. Он услышал шум, вышел из своей комнаты и, узнав, в чем дело, выставил солдат. А представляете, что могло бы случиться? Итальянский фарфор семнадцатого века в солдатском мешке… — Подбросив жене художника этот трагический сюжет с благополучным концом, Дементьев старательно делал вид, что рассказ не имеет никакого отношения к его визиту в эту квартиру и что он сейчас распрощается и уйдет.

Приманка сработала — жена художника предложила Дементьеву поселиться в ее квартире. Дементьев не упирался.

— Инга! — громко позвала она.

В кабинет вошла девушка, которая открыла Дементьеву дверь.

— Познакомься…

Дементьев щелкнул каблуками и склонил голову:

— Капитан Пауль Рюкерт.

— Инга Песис, — чуть слышно промолвила девушка.

— Господин Рюкерт будет у нас жить, — сказала ей мать. — Так нужно, Инга. Не бойся, все будет хорошо…

Так Дементьев обрел собственное жилье. Вскоре он уже улегся на диване спать. Все складывалось как нельзя лучше.

«Спокойной ночи, Пауль Рюкерт!» — Дементьев улыбнулся и мгновенно заснул.

7

Три дня Дементьев провел в порту и досконально изучил всю его огромную территорию. Впрочем, нет, не всю. Несмотря на все свои ухищрения, он не смог попасть на так называемый «оперативный причал», который находился на узкой косе, далеко вонзавшейся в море. Корабли подходили только туда. Для прохода на оперативный причал еще две недели назад командование ввело специальные пропуска. Дементьев видел, как эти пропуска предъявлялись патрулю, но видел издали и, каковы эти пропуска, узнать не мог. Вдобавок он установил, что такие пропус-

ка имеет весьма ограниченный круг людей и главным образом офицеры по званию не ниже майора. Между тем все в порту говорило о том, что эвакуация войск должна начаться в самое ближайшее время…

Охваченный тревогой, Дементьев вернулся на квартиру. Хозяйка позвала его ужинать; он отказался, сославшись на головную боль. Заперся в своей комнате, сел к столу и стал напряженно обдумывать создавшееся положение. Чтобы не вызвать любопытство хозяйки, он погасил свет.

В эту ночь Дементьев не поспал и двух часов. Ранним утром он вышел из дому и направился в отель «Бристоль». На улицах много военных. Нетрудно было заметить, что большинство из них только что прибыли с фронта — кучками они лениво бродили от витрины к витрине, как люди, у которых нет никакого дела. Дементьев непроизвольно ускорил шаг.

В отеле Дементьев подошел к портье:

— Я числюсь у вас в триста пятой комнате. Вычеркните меня, я снял квартиру. Майор Зандель еще живет там?

— По-моему, он только что прошел в ресторан.

Дементьев сдал шинель в гардероб и вошел в ресторан. Он сразу же увидел майора Занделя,

сидевшего за тем же столиком у окна, но сделал вид, будто не замечает его, и, осматриваясь по сторонам, медленно пошел через зал.

— Рюкерт, идите сюда! — крикнул Зандель.

«Прекрасно, фамилию мою он запомнил. Значит, не забыл и всего остального». Дементьев направился к столику майора.

Они встретились как старые друзья. Зандель подозвал официанта и заказал завтрак для Дементьева:

— Сегодня моя очередь угощать…

Да, майор помнил все. И сегодня он был в гораздо лучшем настроении, чем тогда. «Интересно, что тому причиной?» — думал Дементьев.

— Насколько я понимаю, вы сняли квартиру. — Зандель погрозил Дементьеву пальцем. — И обо мне, конечно, забыли.

— Да, квартира есть. Живу в семье. Тошно… Впору пулю пустить в висок.

— Что так?

Дементьев грустно покачал головой:

— Оказывается, есть еще на земле семьи, квартиры, где по утрам пьют кофе, вечером ужинают, читают книги. Я считал, что это бывает только во сне.

— Рюкерт, что с вами? В несколько дней вы

стали пессимистом.

— А вы, наверно, получили гарантию, что русские вас не убьют? — насмешливо спросил Дементьев.

— Плохая шутка, Рюкерт, — помолчав, серьезно сказал Зандель. — Просто я получил письмо от своих. Они переехали к моему брату, в горную местность Гарц. Там совершенно спокойно. Вот и вся моя радость.

— Остается только и вам благополучно выбраться отсюда, а затем — хоть потоп. Мой рейх — моя семья, — так когда-то говаривали у нас…

— Что с вами, Рюкерт? — В голосе Занделя прозвучала искренняя жалость к ожесточившемуся капитану.

— Что? Сейчас, когда, судя по всему, начинается эвакуация войск из этого проклятого места, я не могу не думать о моей родной дивизии. Она останется в этой чужой земле навеки. А ведь с этой дивизией я маршировал под Триумфальной аркой в Париже. Нас приветствовал фюрер… Скажите, майор: зачем я уцелел? Я теперь хожу по штабным канцеляриям, кабинетам с одним только делом — пытаюсь доказать чиновникам в мундирах, что я жив и хочу действовать. А они смотрят сквозь меня оловянными глазами, будто

меня нет. Будто я убит, как убита моя дивизия. Послать меня на фронт они, очевидно, стесняются. Один так и сказал: «Не стоит вам испытывать терпение судьбы…» А ничего другого не предлагают. Живите, говорят, здесь, отдыхайте. Вы, говорят, достаточно пережили. А я не хочу отдыхать! Не хочу! — Дементьев так стукнул кулаком по столу, что подскочили тарелки.

— Тише, Рюкерт… — Майор Зандель осторожно оглянулся. — Пока вы, забыв обо мне, пропадали, я нашел вам дело. (Дементьев посмотрел на Занделя радостно и будто не веря.) Ну да, нашел. Правда, работа не очень сладкая, но все же работа. И вы раньше других получите возможность выбраться отсюда. Я служу в отделе по организации гражданского тыла. Мы занимаемся вывозом отсюда в рейх ценного имущества. Гражданского имущества. Понимаете?

— Конечно, понимаю. Но… разве Германии это имущество еще нужно?

— Мы об этом не думаем, — строго сказал Зандель, — и вам не рекомендую думать. Так вот, два дня назад гестапо изъяло из нашего отдела одного офицера.

— За что? — мгновенно спросил Дементьев.

— Он отказался выполнить приказ. В общем, он

был истериком, наговорил что-то лишнее начальнику отдела… Да бог с ним! Я сказал начальнику отдела о вас. Сказал хорошо, как нужно, и он согласен с вами поговорить. Мы пойдем к нему теперь же… Его фамилия Мельх. Герман Мельх…

Дементьев чуть не рассмеялся: «Опять Мельх».

— Он очень сложный человек, — продолжал Зандель, — я знаю его давно, мы вместе учились в офицерской школе. Во время войны он быстро сделал карьеру, хотя на фронте не был ни разу. Всю войну он занимается этими самыми гражданскими тылами. Злые языки болтают, будто он на этой работе сколотил богатство. Я этого не знаю, и, в конце концов, это его личное дело. У него громадные связи. Я видел у него фотографию, где он снят вдвоем с Борманом. Недавно он показал мне личное письмо, полученное им от Розенберга. Он немного хвастлив. Но голова у него могучая. Работать умеет. Организатор, каких поискать…

— А вдруг я ему не понравлюсь? — обеспокоенно спросил Дементьев.

Зандель сочувственно улыбнулся:

— Конечно, такой пессимист, каким я увидел вас сегодня, Мельху не нужен.

— Да мне бы только дело в руки! — с жаром

воскликнул Дементьев.

— Вот, вот, капитан, так держать! Кроме того, Мельх, как многие тыловики, обожает проявлять заботу о фронтовиках. Словом, завтракайте скорее, и идемте…

Через час Дементьев вместе с Занделем вошли в кабинет Германа Мельха.

В просторной комнате за громадным столом сидел маленький человек. Над полированной равниной стола, как серый бугорок, виднелась его голова. Когда Зандель и Дементьев вошли, бугорок шевельнулся, и тотчас же из-за стола выскочил Герман Мельх. Хотя в ежике его волос уже была седина, он походил на подростка. Мягкие, как у юноши, черты лица, румянец на гладких щеках, капризный рот. И только глаза у него были большие, глубокие и темные.

— Это тот офицер, о котором я говорил… — Зандель за локоть вывел вперед Дементьева.

Мельх поздоровался с Дементьевым. Рука у него оказалась жесткой, сильной. Мельх провел офицеров в угол кабинета, где стоял низкий столик, окруженный несколькими креслами. Все уселись в кресла. Мельх не сводил прямого взгляда с Дементьева. Они смотрели друг другу в глаза и молчали.

— Зандель сказал вам, в чем состоит работа отдела? — спросил наконец полковник.

— Да. Но не в деталях, — твердо ответил Дементьев.

— У вас нет сомнений в необходимости нашей работы для Германии?

Дементьев невольно посмотрел на Занделя: неужели он успел сказать Мельху об их разговоре за завтраком? Но этот взгляд на Занделя полковник расценил по-своему.

— Вы, я вижу, не понимаете моего вопроса. Поясню. Вакансия, на которую вы претендуете, освободилась как раз потому, что занимавший ее офицер пришел, видите ли, к выводу, что единственная национальная ценность, которая здесь осталась и которую необходимо срочно вывезти в Германию, — это его собственная персона. — Полковник долго смеялся и все подмигивал Занделю, а тот одобрительно улыбался. Внезапно оборвав смех, полковник повернулся к Дементьеву. — Кто вас знает, кто может рекомендовать?

Дементьев печально усмехнулся:

— Кто может знать солдата? Если командир моей восьмой дивизии выберется от русских, как выбрался я, он скажет вам обо мне, что я солдат как солдат. Эта характеристика была у генерала

Фельдмайера самой высокой.

— Так вы из дивизии этого старомодного чудака?

Дементьев резко поднялся и сказал:

— Господин Мельх! Где бы я ни служил, кто бы ни был моим командиром, имя командира для меня свято, а его приказ — закон! И я никому не позволю третировать моего командира, за которого я шел на смерть!

Дементьев сделал этот смелый ход и впился преданными глазами в Мельха.

Расчет Дементьева был простой. Во-первых, разговор о связях и знакомствах лучше прекратить — здесь легко допустить промах; во-вторых, он решил, что Мельху больше всего по душе должен быть вот такой сверхисполнительный служака, готовый выполнить любой его приказ.

Дементьев в своем расчете не ошибся. Мельх вскочил с кресла и, показывая Занделю на Дементьева, с пафосом воскликнул:

— Вот такие офицеры и спасут Германию! Попомни, Зандель, мои слова!

Дементьев, внутренне ликуя, решил продолжать игру.

— Я прошу вас, — сказал он с допустимой дозой строгости, — взять обратно ваши слова о генерале

Фельдмайере.

— Беру, беру! — Мельх дружески похлопал Дементьева по плечу. — Беру, славный капитан рейха! Ваш командир — герой, раз он воспитал таких офицеров…

Оформление приказа не заняло и получаса. И вот Дементьев снова пришел в кабинет Мельха, но уже без Занделя. Начальник встретил его неожиданно сухо, даже не пригласил сесть. Больше того, огорошил Дементьева неожиданной просьбой:

— Расскажите мне о материальном положении вашей семьи.

Однако Дементьев мгновенно разгадал ход мыслей Мельха.

— У меня семьи, очевидно, нет, — просто сказал он. — Мать и жена оставались в Берлине. Уже семь месяцев писем от них нет. Мое личное состояние все при мне, — Дементьев улыбнулся, — и больше мне ничего не надо… кроме победы над врагом.

— Прекрасно! — сорвалось у Мельха, но он тут же смущенно засуетился и добавил: — Я, конечно, горю вашему сочувствую, но война, капитан, есть война. Где вы живете?

Дементьев улыбнулся:

— Я живу в квартире художника Песиса, в квартире, художественные ценности которой охраняются вашей бумагой. Как видите, я свои обязанности начал исполнять еще до поступления в ваш отдел.

— Вот как! Песис, вы говорите? — Полковник вынул из кармана миниатюрную записную книжечку и начал ее просматривать.

— Ага! Бастионная улица, дом четыре, квартира девять. Верно?

— Совершенно верно.

— Там все в порядке?

— В идеальном.

— Учтите, капитан, что имеющаяся там коллекция… — Мельх замялся. — Вы разбираетесь в живописи?

— Нет. Вообще все эти штуки для меня — пустое место. Я солдат. Что вы прикажете, то я и сделаю.

— Прекрасно! — снова сорвалось у полковника. — Вот вам, капитан, первое задание. У меня есть сведения, что в городском музее какая-то сволочь снимает со стен ценные картины и заменяет их ерундой, а ценные прячет. Проверьте это тщательно и будьте беспощадны. Заодно подсчитайте, сколько понадобится ящиков для упаковки всех картин музея — без рам, конечно.

8

Дементьев шел в музей в прекрасном настроении. Утром, направляясь к Занделю, он рассчитывал только на то, что майор имеет пропуск на оперативный причал и ему удастся этот пропуск как следует рассмотреть, а в случае удачи и похитить. А все сложилось гораздо лучше: он получил именно такую работу, которая даст ему возможность проникнуть в святая святых эвакуации.

В музее Дементьев без особого труда обнаружил совершённую там подмену картин и огорчился неопытности, с какой это было проделано. В одном месте люди, заменявшие картины, умудрились оставить табличку, относившуюся к снятой картине. Дементьева сопровождал по музею его смотритель — чистенький старичок с розовой лысиной, обрамленной светлым венчиком вьющихся волос. Окна музея были заложены мешками с песком, а смотритель музея, входя в залы, зажигал далеко не весь свет. Некоторые картины просто нельзя было рассмотреть. Дементьев решил проверить смотрителя: вынул из кармана электрический фонарик и направил луч

на табличку, оставшуюся от спрятанной картины и совершенно не соответствовавшую новой, повешенной здесь картине. Он внимательно прочитал табличку, посмотрел на картину и быстро обернулся к стоявшему позади смотрителю. Расширенные от ужаса глаза старичка сказали Дементьеву все.



— Хорошая картина, — спокойно произнес Дементьев и пошел дальше, услышав за спиной облегченный вздох смотрителя.

Дементьеву стало жалко этого честного, неопытного старичка. Осмотрев весь музей, они прошли в кабинет смотрителя.

— А где хранятся фонды? — равнодушно спросил Дементьев.

— В подвале, господин капитан, — подобострастно ответил старичок.

— Можно посмотреть? — Дементьев снова увидел округлившиеся от страха глаза старичка. — Впрочем, у меня сейчас нет времени. В другой раз. Ваш подвал глубокий?

— О да, там сотни полотен.

— Строго секретно должен предупредить вас, что в самое ближайшее время мы ожидаем интенсивную бомбардировку города русской авиацией. Все богатства вашего музея могут превратиться в пепел за один час. Нужно снять с рам все картины и упаковать их в ящики, которые сложить в подвал. Упаковать нужно все, что хранится в фондах. Срок — два дня…

Смотритель молчал, опустив голову.

— Ну что, вам это непонятно?

— Почему? Все понятно.

— Вот и хорошо. Для ускорения дела опись картин делать не надо. На ящике ставить только цифру, обозначающую, сколько в нем картин, и все.

Глаза у смотрителя оживились. Дементьев еще раз убедился, что старичок положительно не умеет владеть собой.

— Да-да, мы всё так и сделаем. Послезавтра можете прийти проверить.

— Послезавтра утром я зайду непременно. До свидания…

Вскоре Дементьев докладывал Мельху о своей поездке в музей.

— Надо думать, — говорил он, — что замена нескольких картин действительно произведена. Снятые картины они, вероятно, спрятали в подвале, а там хранятся сотни полотен и царит дикий хаос. В течение двух дней мы все картины отделим от рам и упакуем в ящики. Фонды — тоже. Я поставил в музее часового — и оттуда они не вынесут тряпки. Если я найду неупакованным хоть один кусочек, — Дементьев показал половину пальца, — я расстреляю всю их шайку!

— Прекрасно, Рюкерт! — воскликнул Мельх. — Спасибо. Ну, а я, пока вы там были, посетил вашу квартиру.

Дементьев нахмурился, хотя знал, что ничего опасного для него полковник на квартире обнаружить не мог.

— Извините, Рюкерт, но я решил сделать это сам. В моем отделе гестапо — это я, и лучше, что туда сходил я, а не кто-нибудь другой.

— Неужели неверие друг в друга стало в нашей среде обязательным? — с возмущением спросил Дементьев.

— Люди гестапо никогда никому не верили. В этом их служба. В общем, они уже заинтересовались вами, но я сказал, что за вас отвечаю я сам. И больше ради проформы решил съездить на вашу квартиру… Почему вы так мрачно это воспринимаете? Ведь ничего страшного не произошло. Наоборот, мать и дочь отзываются о вас прекрасно. Это ваш «железный крест» лежит там на столе?

— Мой.

— Почему вы не сказали мне об этой вашей награде?

— Солдаты орденами не хвастают, они их хранят как воспоминание о битвах.

— Вы молодец, Рюкерт!.. Между прочим, я бы на вашем месте обратил внимание на дочку художника. Прелестный цветочек, а?

— Иметь на войне романы солдатским уставом не предусмотрено, — сурово произнес Дементьев.

— Но, если в данном случае вы устав нарушите, я не взыщу… — Мельх засмеялся. — Вы свободны, Рюкерт.

— Я хотел спросить у вас…

— Завтра, завтра, капитан. Мне очень некогда. Идите…

Дементьев вышел на улицу и в глубоком раздумье стоял у подъезда. В странное попал он положение: так удачно закрепился в одном из отделов временного штаба, попал, как ему казалось, в отдел, который ближе многих других находится к эвакуации, а получилось так, что он приблизился к музею, а совсем не к порту, который был главной его целью. Могут пройти дни, и он узнает лишь, когда будут отправлять фонды музея. А может, уже сегодня, сейчас из порта уходят транспорты с солдатами, с техникой…

Дементьев беспомощно оглянулся по сторонам.

— Весна, господин капитан… — грустно произнес часовой.

— Да, да… весна…

А весна торопилась. Хотя день был совсем не

солнечный, вдоль тротуаров бежали ручьи, со звоном падали сосульки, в водосточных трубах грохотали ледяные обвалы. Дементьев как-то сразу все это увидел и услышал. Да, весна работала вовсю, а он?.. Дементьев торопливо пошел по улице. Но на первом же перекрестке остановился… «Куда я так спешу? Куда?.. Надо хоть пообедать…»

Кафе «Орион» было в числе рекомендованных немецким офицерам. Такая рекомендация — тоже часть прославленного немецкого порядка. Рядом другое кафе — пустое. А в «Орионе» свободного места не отыщешь. Табачный дым висит под потолком сизым пологом.

Не умолкает гул от разговоров. Дементьев приметил свободное местечко за столиком в дальнем, темном углу — там сидели три офицера. Все они были из инженерных войск Тодта. Дементьев попросил разрешения сесть за их стол. Офицеры, как по команде, молча пожали плечами: мол, что поделаешь, запретить-то мы не можем. Дементьев сел и погрузился в изучение меню. Офицеры молчали. Сделав заказ официанту, Дементьев вынул из кармана газету и стал читать…

— Что интересного, капитан, нашли в газете? — насмешливо спросил один из офицеров.

— Молодцы ваши коллеги! — не отрываясь от газеты, сказал Дементьев. — За десять дней опоясали Берлин неприступным поясом из стали и бетона.

Офицеры молча переглянулись. Потом один из них задумчиво сказал:

— Нашим коллегам там хорошо, у них в руках вся техника. Попробовали бы они действовать голыми руками, когда вместо техники тебе дают приказ, полагая, очевидно, что эта бумажка всесильна…

Снова, как по команде, офицеры вздохнули и надолго замолчали. Дементьев настороженно, но терпеливо ждал продолжения их разговора.

Вдруг один из офицеров выхватил из кармана бумагу и карандаш.

— А что, если сделать так? — сказал он и начал что-то рисовать.

Остальные два офицера придвинулись к нему и стали внимательно рассматривать рисунок.

Дементьев слышал потом только отрывистые фразы, которые поначалу ничего ему не говорили.

— …Скошенный помост большого запаса прочности… Придвигается вплотную к борту…

— …А как он передвигается вдоль?

— …Два тягача. Максимум — три…

— …А если разная высота борта?

— …Об этом надо подумать…

— …Делать помост из убирающихся сегментов…

— …Идея!.. Вот так…

— …Но разве можно такой помост построить за одни сутки?

— …Если дадут саперный батальон — можно.

— …А дадут?

— Идемте сейчас же в штаб.

Офицеры расплатились и ушли. Тотчас же их места заняли два майора и капитан. Судя по всему, это были фронтовики — обветренные лица, огрубелые руки, усталость и злость в глазах. Весь их разговор вращался главным образом вокруг того, чем их здесь накормят…

Дементьев ушел. Конечно, ему хотелось посидеть еще — может быть, фронтовики тоже заговорили бы об эвакуации и он узнал бы что-нибудь новое. Но после того как он покушал и расплатился, оставаться за столом, когда по кафе все время в поисках свободного места бродили офицеры, было нельзя: это могло вызвать подозрение…

Да, а инженеры явно связаны с эвакуацией. И

что-то относящееся к ней они должны сделать за одни сутки… Одни сутки… Что же делать? Что предпринять для приближения к главной цели?.. Дементьев, идя домой, думал только об этом. Только об этом.

Совершенно неожиданно вечером в гости к Дементьеву пришел майор Зандель. Пришел мрачный и точно за один этот день похудевший. Дементьев уже приметил, что майор — впечатлительная натура, с весьма неустойчивым настроением, и теперь очень заинтересовался, что сделало майора мрачным.

Зандель прикрыл дверь и подошел вплотную к Дементьеву:

— Вам полковник ничего не говорил?

— Советовал поволочиться за хозяйской дочкой! — Дементьев засмеялся.

Зандель даже не улыбнулся; задумался на секунду и сказал:

— Все равно секретом это остаться не может… Кажется, сегодня ночью начинается эвакуация войск. Их перебрасывают на защиту Берлина.

«Вот оно!» — радостно и в то же время тревожно подумал Дементьев, но равнодушно спросил:

— Всех войск?

— Очевидно.

— Ну что ж, верховному командованию виднее! — беспечно заключил Дементьев. — Нас ведь это не касается?

— Нет, капитан, касается. Наш отдел заработает теперь с максимальной нагрузкой. Мельх сказал, что под наши грузы будет отводиться место на каждом транспорте.

— Наконец-то работа! — весело воскликнул Дементьев. — А то от первого задания я было загрустил. Воевать с музейными старичками не по мне.

— Эта война, Рюкерт, только начинается. И пока мы не вывезем отсюда все, что можно вывезти, мы сами отсюда не выберемся! — почти с надрывом сказал Зандель.

— Надо постараться сделать наше дело поскорее! — все так же весело сказал Дементьев, будто не замечая нервного состояния Занделя. — Может быть, нам еще удастся участвовать в драке за наш Берлин. У меня чешутся руки проучить русских. Они не понимают того, что Германия борется, пока жив хоть один немец, и что последнее слово войны еще не сказано.

Зандель смотрел на Дементьева почти с жалостью: он в это время решил, что в Рюкерте он не найдет собеседника для откровенного разговора

о том, что сейчас угнетало его.

— Что-то у меня страшно разболелась голова, — сказал он. — Извините меня, капитан, я пойду: мне надо лечь в постель. Не дай бог заболеть в такие дни…

Зандель ушел. Дементьев сел за стол и сжал голову руками. Ну вот, началось то, ради чего он послан в этот город. Быстро и весьма успешно он сумел легализоваться, даже заручиться доверием начальства. Волей случая он попал на работу, близкую к перевозкам. Но все это может оказаться бесполезным, если он не сможет получать совершенно точную и исчерпывающую информацию об отправке транспортов.

Так или иначе, первую — правда, неуточненную — информацию он уже имеет: эвакуация начинается сегодня ночью. Об этом немедленно надо известить командование. Дементьев быстро оделся и отправился за рацией на явочную квартиру Павла Арвидовича.

Город, погруженный в темноту, казался мертвым. На улицах ни души. Промчится машина с пригашенными фарами — и снова темень и тишина. У выхода на Шестигранную площадь Дементьева остановил патруль. Он назвал пароль, солдаты козырнули, и он пошел дальше.

Павел Арвидович ждал Дементьева каждый вечер, давно приготовил рацию, но очень боялся, что его квартирант заметит приход Дементьева и заподозрит неладное.

В этот вечер квартирант задержался на работе позже обычного, и Дементьев столкнулся с ним у входа в дом. Они молча козырнули друг другу и стали вместе подниматься по лестнице. Вместе они остановились и перед дверью в квартиру Павла Арвидовича.

— Вы тоже сюда? — удивленно спросил гестаповец.

— А вы, вероятно, и есть мой соперник? — засмеялся Дементьев. — Сегодня я искал себе жилье и зашел в эту квартиру. Мне сказали, что тут уже живет офицер гестапо. Чтобы не болтаться по городу с чемоданом, я попросил у хозяина разрешения оставить чемодан у него. И только теперь вот иду за чемоданом. Иду и боюсь, что хозяин вместе с квартирантом за столь поздний приход спустят меня с лестницы…

Ничего не сказав, гестаповец нажал кнопку. В дверях смутно возникла фигура Павла Арвидовича. Увидев Дементьева вместе с квартирантом, он буквально окаменел.

— Здравствуйте еще раз и, ради бога, извините!

— весело сказал Дементьев. — Но я только сейчас нашел себе комнату. Дайте мне, пожалуйста, мой чемодан.

— Ах, чемодан? Сию минуту, сию минуту…

Павел Арвидович побежал в свою комнату за чемоданом. Гестаповец вошел в переднюю, но остался стоять возле открытой двери.

— Где же устроились? — спросил Павел Арвидович, передавая Дементьеву чемодан с рацией.

— Бастионная, четыре, квартира девять…

— У кого ж это? Я тут всех знаю.

— Художник Песис.

— А! Это тот, что недавно скончался?

— Совершенно точно. Он-то и освободил комнату для меня! — Дементьев засмеялся. — Еще раз простите, что явился так поздно. Спокойной ночи!

Дверь закрылась, и Дементьев стал спускаться с лестницы.

Выйдя на площадь, он выругал себя последними словами: взволнованный сообщенной Занделем новостью, он отправился за рацией, совершенно не подумав, что здесь его могут подстерегать весьма опасные неожиданности. Просто чудо, что все сошло так гладко… Не успел Дементьев подумать это, как перед ним, точно

из-под земли, выросли два патрульных солдата. Дементьев сказал пароль, но солдаты дороги ему не уступали и о чем-то перешептывались.

Командование окруженных войск, опасаясь самовольной погрузки офицеров на транспорты, отдало приказ комендатуре: обращать особое внимание на подозрительных в этом отношении военных. Дементьев, шедший в сторону порта, да еще с чемоданом, вызвал у патруля явное подозрение. Солдаты посовещались и предложили Дементьеву вместе с ними идти в комендатуру.

— Если это необходимо, идемте, — спокойно сказал Дементьев.

Комендатуры он не боялся — его легальное положение было достаточно ясным и прочным. Наконец, он правильно догадывался, почему вызвал подозрение патрульных. Их, конечно, смущал чемодан. Дежурному коменданту можно даже доставить удовольствие заглянуть в чемодан. Он увидит там смену белья, бритвенный прибор, полотенце, экземпляр «Майн кампф», иллюстрированные журналы, потрепанный роман… Рация-то искусно спрятана в узком пространстве меж стенок двойного дна чемодана. Словом, Дементьев шагал за патрулем, не испытывая особой тревоги…

В комендатуре оказалось уже несколько задержанных патрулями офицеров. Их по очереди приглашали в кабинет дежурного коменданта. Вызвали наконец и Дементьева. Он вошел в комнату с чемоданом. Дежурный комендант глянул на него насмешливо:

— Ваши документы…

Дементьев подал документы, и комендант долго их изучал.

— Так… А куда же это вы собрались?

— Перебираюсь с временного жилья на постоянное. Из отеля на частную квартиру, где подешевле.

— В каком отеле вы жили?

— «Бристоль», номер триста пятый.

Комендант позвонил в гостиницу и убедился, что задержанный говорит правду.

— По какому адресу вы шли?

— Бастионная, четыре, квартира девять.

Комендант вызвал патрульных; которые задержали Дементьева:

— Где вы задержали капитана?

— На углу Бастионной.

— Проводите капитана до его квартиры. Помогите донести чемодан… Извините, капитан, но служба есть служба.

— Я все понимаю. До свидания…

Патрульные шагали рядом с Дементьевым; один из них нес чемодан. Вдруг Дементьеву вспомнились слова Маяковского: «Моргнул многозначаще глаз носильщика, — хоть вещи снесет задаром вам». Дементьев не удержался и засмеялся.

Солдат, несший чемодан, смущенно сказал:

— Нам же приказано, господин капитан. Мы люди маленькие…

— Ничего, ничего, мой солдат. На военной службе всякое бывает, я понимаю…

И все-таки солдаты дошли с Дементьевым до самых дверей квартиры. Одно из двух: или они хотели выслужиться перед ним, или комендант все же приказал им проверить, пойдет ли капитан по названному им адресу. Когда Дементьев отпер дверь своим ключом, солдаты пожелали ему спокойной ночи и ушли, грохоча по лестнице тяжелыми сапогами.

Запершись в своей комнате, Дементьев быстро развернул радиостанцию и передал короткую радиограмму:

«Я 11-17. Эвакуация начинается, возможно, сегодня ночью. Точных данных

пока не имею...»

Упаковав чемодан, Дементьев лег на диван и задумался...

Интересно, почему о начале эвакуации войск Мельх Занделю сказал, а ему — нет? Впрочем, к концу дня они просто не виделись. Может быть, поэтому? Да и не важно это. Самое главное: сможет ли он завтра попасть в порт? Тревога за это самое главное долго не давала Дементьеву заснуть...

Он представил себе, как полковник Довгалев читает сейчас его первую радиограмму. Правая бровь у полковника становится выше левой — это всегда, когда он злится. В самом деле, разве можно так сообщать? «Возможно, начинается...» Но разведчик должен сообщать только то, что он знает. Ни слова домысла! Дементьев беспощадно прогонял из своей разведроты каждого, кто, докладывая о разведке, позволял себе хоть немного пофантазировать. «Вы мне не нужны, — говорил Дементьев. — Вы не понимаете, что самая маленькая ваша неточность может стоить солдатской крови». Сам Дементьев всегда был до болезненности точен. Однажды он, находясь во вражеском тылу, пристрелил гитлеровского

полковника. Докладывая об этом начальству, он сказал так: «Думаю, что это был полковник. Но не уверен. Ведь шинель со знаками полковника мог случайно или по ошибке надеть кто-нибудь другой». — «Может, ее генерал надел?» — засмеялось начальство. «Может, и генерал», — совершенно серьезно согласился Дементьев. С тех пор в разведроте бытовала шутка. Притащит кто-нибудь «языка», у него спрашивают: «Кого словил?» Разведчик отвечает: «По шинели вроде рядовой, а может, и генерал…»

Нет, нет, точность прежде всего. Ведь майор Зандель о начале эвакуации сказал нетвердо. Он сказал: «Кажется, сегодня…» Больше никаких подтверждений нет. Если не вставить слова «возможно», то значит, что полковник Довгалев сейчас доложит командованию о начале эвакуации. Последует приказ авиации идти наперехват кораблей. Рискуя жизнью, самолетами, летчики будут прорываться через зенитный пояс линии фронта. Навстречу им вылетят вражеские истребители. Наконец, летчики прорвутся к морю, а там — пусто… Нет, нет, одно это слово «возможна» стоит слишком дорого, чтобы отнестись к нему небрежно. Да, эвакуация начинается. И, возможно, уже сегодня ночью. Но точно он не знает. Не

знает, и всё…

9

Посыльный солдат от Мельха поднял Дементьева в шесть утра. Когда Дементьев явился в отдел, там были уже почти все офицеры. Мельх отдавал приказания, и офицеры чуть не бегом покидали его кабинет. Дементьев ждал своей очереди, но Мельх словно не замечал его. Закончив разговор с одним из офицеров, Мельх повернулся к Дементьеву:

— Погасите свет и поднимите шторы.

Большой кабинет заполнил синеватый свет раннего утра. За окном падал мокрый снег. Лица у всех стали серого цвета.

И вот в кабинете остались только Мельх и Дементьев.

— Капитан Рюкерт, с вами у меня разговор особый… — Мельх вышел из-за стола и сел в кресло напротив Дементьева. — Именно с вами, потому что из всей этой когорты, — Мельх презрительно кивнул на опустевшие стулья, — в одном вас я вижу человека, который знает, что такое приказ, и не любит задавать лишних вопросов. — Он говорил, не сводя глаз с Дементьева. — Гибель нашей

империи — бред истериков. Этого не произойдет, капитан, даже если русские сотрут в порошок Берлин, даже если они выиграют войну! Есть люди, которые ее поднимут так быстро, что те же русские не успеют опомниться. Но вы понимаете, капитан, что сделать это голыми руками нельзя. Эти люди должны иметь средства, чтобы начать свое великое дело сначала. Так вот, им, этим людям, мы и отправляем отсюда все самое ценное. За это отвечает наш отдел — я и вы.

— Я выполню любой ваш приказ! — торжественно произнес Дементьев, преданно смотря Мельху в глаза.

— В музее все готово?

— Кроме надписи адреса на ящиках.

— Возьмите сейчас с собой солдат, они сделают надписи. Адрес такой…

Мельх протянул Дементьеву сложенную бумагу. Дементьев ее развернул и прочитал:

«Гамбург, Елизаветштрассе, 7, Гринвальд».

— Это, как вы догадываетесь, адрес условный, но груз попадет в нужные руки.

— Кому сдать ящики в порту? — вставая, спросил Дементьев, напряженно ожидая ответа, от

которого могло зависеть все.

— Пакгауз номер четырнадцать, Рихард Брандт. Получите расписку: «Принято столько-то ящиков». Потом расписку сдать мне. И все. Возможно, что Брандт сам приедет в музей.

— А не лучше будет, если я сам доставлю ящики прямо на корабль? Это надежнее.

— Вы просто не знаете, кто такой Рихард Брандт, — Мельх усмехнулся, — и неосторожно выражаете ему недоверие. Он — гестапо, и этим сказано все. Словом, делайте так, как я сказал.

Дементьев вышел из кабинета. Вот и случилось то, чего он больше всего боялся! Чтобы лучше засекретить свои дела, Мельх решил между ним и кораблем поставить Брандта, которого он, видимо, знает лучше и которому больше верит. А может, это придумал и не Мельх.

Просто секретному делу придана классическая цепочка исполнителей, пройдя через которую, дело как бы теряло след. И, может быть, в этой цепочке есть звено и после Брандта. Но черт с ней, с этой цепочкой! Главное в том, что он снова фактически отрезан от порта. Пакгауз номер четырнадцать находился в нескольких километрах от оперативного причала, где будут грузиться корабли.

Тревога Дементьева усилилась, когда он вышел из здания. Улица была заполнена войсками, и все это серо-зеленое месиво, нашпигованное техникой, двигалось в сторону порта. Пробираясь навстречу движению, Дементьев испытывал чувство, будто он в минуту боя покидал передовую…

Надписывание адреса на ящиках заняло около часа. Да, Мельх был отличный организатор: только успели закончить надписывание, как уже прибыла автомашина с солдатами-грузчиками. Дементьев наблюдал за погрузкой ящиков и все думал, думал, что предпринять, как прорваться в порт.

Шагах в десяти от Дементьева стоял, наблюдая за погрузкой, высокий, грузный офицер в кожаном пальто без знаков различия. Только фуражка на нем была офицерская. Он поминутно делал вращательный жест головой, точно ему жал воротник. Когда погрузка была закончена, офицер в кожаном пальто подошел к Дементьеву:

— Вы капитан Рюкерт? — И, не ожидая ответа, добавил: — Я — Брандт. Пойдемте.

За углом он сел за руль малолитражного «Оппеля», открыл дверцу и указал Дементьеву на сиденье рядом с собой. В машине пахло бензином и резким одеколоном.

— Сколько ящиков?

— Семьдесят девять.

Брандт вынул из-под сиденья блокнот, вырвал из него лист и размашисто написал:

«Получено 79 ящиков специального груза».

— Вы забыли подписаться, — строго сказал Дементьев, прочитав записку.

Брандт посмотрел на него неподвижными глазами:

— Отдайте это Мельху, и все. Можете идти.

— В порт мне ехать не нужно?

— Нет. — Брандт открыл дверцу. — До свидания.

«Оппель» сорвался с места и исчез. За ним потянулись грузовики с ящиками…

Дементьев вернулся в отдел и в коридоре столкнулся с майором Занделем.

— Как дела, Рюкерт? — торопливо спросил Зандель и, оглянувшись по сторонам, тихо сказал: — По-дружески советую: позаботьтесь, чтобы однажды вместе с ящиками не забыли погрузить и вас.

— Не понимаю, — сухо произнес Дементьев.

— Я сказал достаточно ясно. — Зандель покло-

нился и пошел по коридору.

Дементьев прошел в кабинет Мельха. Минут пять ему пришлось стоять, ожидая, пока Мельх закончит разговор по телефону. Говорил он одними междометиями: «Да»... «Да»... «Нет»... «Да»... Положив трубку, Мельх взял из рук Дементьева расписку Брандта, внимательно ее прочитал, сделал какие-то пометки в своей записной книжке, а затем тщательно сжег расписку в пепельнице. Наконец он поднял взгляд на стоящего перед ним Дементьева:

— Вы хотите что-нибудь сказать?

— Нет... Разве только то, что ваш Брандт мог бы быть вежливее.

Мельх усмехнулся:

— Я же объяснял вам: он человек гестапо. У них вежливость — недостаток! Между прочим, это он непременно хотел вас проверить, когда вы ко мне поступили.

— Значит, я отвечаю только за погрузку ящиков в машины?

— Да.

— Но, мне кажется, эту работу может выполнить рядовой солдат.

— Вот как? — Мельх встал. — В военной машине рейха вы, капитан Рюкерт, и есть рядовой солдат!

— повысив голос, сказал он.

— Вы не поняли меня. Я просто хочу быть вам полезным в большей степени! — Дементьев вытянулся. Он понял, что переиграл, и стремился исправить положение.

— Это дело другое, — примирительно произнес Мельх. — Сию же минуту поезжайте вот по этому адресу, возьмите мою машину. Там проводит операцию капитан Лемке. Он должен был доложить об окончании дела еще в полдень. Сейчас — четырнадцать двадцать. Выясните, почему он задержался, и, если увидите нераспорядительность с его стороны, от моего имени прикажите ему сдать операцию вам, а он пусть немедленно явится ко мне.

— Понятно. — Дементьев повернулся и быстро вышел из кабинета.

Капитану Лемке было поручено упаковать и отправить в порт ценные фонды центральной библиотеки, но он столкнулся с организованным сопротивлением работников библиотеки, которые ночью забаррикадировались в глубоком подвальном помещении и никого туда не впускали. Дементьев застал капитана Лемке растерянно стоявшим перед толстой бронированной дверью в подвал. Солдаты колотили в дверь прикладами

автоматов. Дементьев мгновенно оценил обстановку и принял решение:

— Вы капитан Лемке? Мельх приказал вам вернуться в отдел. Своих солдат заберите. Сюда идут мои люди, которые умеют работать… Что за ящики лежат во дворе?

— Это все, что мы успели вынести, — испуганно пробормотал Лемке.

— Хорошо, отправляйтесь в отдел. У ворот — машина Мельха, можете ее взять.

Лемке ушел, но тут же вернулся:

— Я забыл сказать вам — через полчаса за грузом приедет Брандт.

— Это уже не ваша забота, капитан! — злобно крикнул Дементьев.

Лемке уехал, ушли его солдаты. Дементьев остался один. За бронированной дверью было тихо. Дементьев присел на ступеньки и еще раз обдумал возникший у него план спасения библиотеки. «Не могу сделать главное, — думал он, — так сделаю хоть это… Моя задача — не дать Брандту возможности проверить подвалы библиотеки».

Дементьев вышел во двор и пересчитал ящики. Их было тридцать два. Адрес на них был надписан тот же:

«Гамбург, Елизаветштрассе, 7, Гринвальд».

Вскоре во двор библиотеки въехали грузовик и «Оппель» Брандта. Солдаты молча принялись грузить ящики на машину. Брандт подошел к Дементьеву:

— Что здесь случилось? Почему Лемке так долго не звонил?

— Не надо поручать серьезное дело слюнтяю, — небрежно ответил Дементьев.

Брандт посмотрел на него одобрительно:

— Вы правы. Лемке — из интеллигентов. А где ваши солдаты?

— Это я должен у вас спросить. Является сюда какой-то деятель гестапо и забирает моих солдат, а когда я ссылаюсь на Мельха, он нецензурно ругается и уходит.

Брандт улыбнулся:

— Неизбежные издержки. Сколько тут ящиков?

— Тридцать два.

— Получите расписку... Мне сказали, что вы жаловались на меня Мельху. Должен заметить, что вы первый, кто на меня жаловался. Это мне нравится.

— Я просто привык, чтобы со мной обращались грубо, только когда я не выполняю приказа. — Дементьев преданно смотрел в неподвижные глаза Брандта.

— Прекрасно! — Брандт поднял руку к козырьку. — Будем выполнять приказ. До свидания.

«Оппель» Брандта умчался за грузовиками…

Мельх встретил Дементьева почти весело:

— Вы молодчина, Рюкерт, а Лемке действительно слюнтяй. Это был великолепный урок для Брандта. Лемке имел прекрасные рекомендации, его проверял сам Брандт — и вот, пожалуйста… Поздравляю вас, Рюкерт! Понравиться Брандту — дело нелегкое. А Лемке я уже вернул в комендатуру — там ему будет лучше.

Мельх говорил оживленно, весело, но Дементьев заметил, что в это время он думает о чем-то другом, что его явно тревожит. Интересно, о чем он думает?

— Я жду ваших приказаний, — раболепно произнес Дементьев.

— Да, да, приказаний… приказаний, — задумчиво проговорил Мельх и посмотрел на часы. — Вот что, капитан: идите отдыхать, а завтра утром — за дело. Вы заслужили отдых, идите. До завтра. — Он вышел из-за стола и буквально вытолкал

Дементьева из кабинета.

«Тут происходит что-то тревожное», — подумал Дементьев и направился к Занделю. Он застал его за странным занятием: в кабинете топился камин, и майор вытряхивал в огонь содержимое ящиков письменного стола.

— Вы теперь поняли то, что я сказал вам в коридоре? — усмехнулся Зандель.

— Прекрасно все понимал и тогда, — равнодушно ответил Дементьев.

— Вы уезжаете с сегодняшним кораблем или завтра? — торопливо спросил Зандель.

— Завтра…

— О, значит, мне оказана высокая честь — я отбываю вместе с Мельхом. И на первом же корабле!..

Дементьев старался казаться совершенно спокойным:

— Я вообще не понимаю, почему такая паника с отъездом? Фронт совершенно неподвижен.

— Здесь — да, но там — нет… — Зандель махнул рукой в сторону.

— Где это?

— Вы младенец, Рюкерт! Не сегодня-завтра англосаксы будут там, куда мы с вами отправляем грузы. Понятно?

— Понятно.

— Это, во-первых. Во-вторых, Мельх заботится и о себе. На кой черт ему сидеть в этом мешке? Он свое дело сделал.

— Счастливого пути, майор! — грустно сказал Дементьев. — А я пойду спать.

— До новой встречи, капитан! — Зандель пожал руку Дементьеву. — Вы все-таки славный парень…

— Когда отходит ваш транспорт?

— В полночь…

Дементьев вышел на улицу и медленно пошел в сторону своей квартиры.

Так… Ситуация более или менее ясна: шайка Мельха убегает. Но почему они не берут его с собой? Объяснение может быть только одно: Мельх опасается лишних свидетелей его деятельности в этом городе. Тем более, что Рюкерт не свой, так сказать, человек и только что взят со стороны. Но Мельх мог бы сказать прямо, что «отдел свою работу закончил, и вы, капитан Рюкерт, больше мне не нужны». Зачем ему понадобилась эта игра? «Идите отдыхать, а завтра — за дело». Не скрыта ли тут опасность? Ведь свидетель перестает быть опасным, только когда он мертв. Да, на квартиру, пожалуй, идти не стоит. Но куда же идти?..

Размышления Дементьева были удивительно точными. За полчаса до того, как Мельх отправил его отдыхать, он разговаривал с Брандтом. И действительно, Брандт похвалил Дементьева, а Мельх не отказал себе в удовольствии напомнить Брандту, что слюнтяя Лемке проверял он. С этого и начался разговор, во время которого буквально в течение минуты была решена судьба Дементьева.

Брандт насмешливо спросил:

«Берете капитана Рюкерта с собой?»

Мельх подумал и покачал головой:

«Нет, Брандт. Мы включаемся в слишком большую игру, чтобы допускать самый малейший риск. Рюкерт — человек не нашей среды. Там нам будут нужны люди отборные, каждый самый незначительный исполнитель должен быть рыцарем нашей идеи».

«Но он останется жив и однажды на досуге начнет вспоминать…»

Мельх перебил Брандта:

«Об этом должны позаботиться вы. Он ничего не должен вспоминать… — Мельх помолчал и деловито добавил: — Заодно нужно забрать картины в квартире, где он живет. В суматохе чуть не забыл об этой коллекции».

Вот и все. С капитаном Рюкертом было покончено, и они заговорили о другом…

10

Полковник Довгалев после ужина вернулся к себе в отдел и, как всегда, прежде всего зашел на пункт связи:

— Что-нибудь есть?

— Нет. — Радист прекрасно знал, о чем спрашивает полковник.

— Продолжайте слушать внимательно.

И эту фразу Довгалева радист уже слышал не раз.

Дверь за полковником закрылась. Радист поправил наушники и положил чуткие пальцы на ребристый верньер приемника. Эфир был забит сигналами множества раций: и наших и вражеских. Иногда сквозь хаос сигналов слышались голоса открытой радиосвязи. В этом месиве звуков, казалось, ничего невозможно разобрать. Но ухо радиста так уж устроено, что, появись в эфире позывные Дементьева, он услышит их так ясно, отчетливо, будто, кроме этих позывных, в эфире полная тишина.

Полковник Довгалев сел за стол и посмотрел

на телефон. В это время всегда звонит командующий.

Вот и телефонный звонок.

— Довгалев у телефона… Не получено… Слушаем круглые сутки… Спасибо.

Положив трубку, полковник подвинул к себе папку с донесениями фронтовой разведки. В донесениях говорилось об одном и том же — началась эвакуация войск из мешка. Почему же молчит Дементьев? Неужели он попался? Передал одно неуточненное сообщение и больше ничего не успел сделать? Как полковник ни старался освободиться от этой мысли, она становилась все более назойливой…

Радист ворвался в кабинет Довгалева и, позабыв о всех необходимых воинских условностях обращения к полковнику, крикнул:

— Дементьев!..

Полковник взял бланк расшифрованной радиограммы; руки у него дрожали.

— Спасибо, идите, — сказал он радисту и впился глазами в текст радиограммы.

«Я 11-17. Сегодня с наступлением темноты выйдет первый транспорт. Это донесение случайное. Продолжайте сле-

дить за моими позывными».

В следующую минуту полковник Довгалев уже говорил с командующим. Еще спустя минуту командующий уже отдавал по телефону приказ командиру корпуса бомбардировщиков. Еще через несколько минут в штабе корпуса бомбардировщиков у военной карты стояли командир корпуса, начальник штаба, штурман и экипажи трех самолетов. Они производили подсчет, в каком месте может оказаться транспорт с наступлением рассвета.

…Отправленный Мельхом отдыхать, Дементьев оказался в очень сложном положении. Идти на квартиру было опасно: если Мельх отдал приказ ликвидировать его как опасного свидетеля, лучше всего они могли это сделать именно на квартире — без шума, без лишних глаз. Но Дементьев имел теперь точную информацию об отходе первого транспорта, и воинский долг обязывал его немедленно передать сведения полковнику Довгалеву. А рация находится на квартире… Около часа Дементьев бродил по городу и наконец принял решение. Собственно говоря, он принял его в первые же минуты раздумья, потом он только уточнял детали. Решение было такое: идти на

квартиру, взять рацию, скрыться где-нибудь в городе и оттуда передать радиограмму, а затем чемодан с рацией сдать на хранение портье в гостинице «Бристоль». Утром же как ни в чем не бывало явиться в отдел. Ну, а если на квартире засада, смело принять бой и погибнуть с честью, как подобает солдату. При обдумывании этого плана страх перед гибелью ни на мгновение не обжег сердце Дементьева. О возможной гибели своей он думал только как о проклятом обстоятельстве, которое может не позволить ему выполнить приказ.

Да, разведчики — люди особого склада характера и ума. Говорят, во Франции один художник предлагал на безымянной могиле разведчиков установить такой памятник: узкая тропа на гранитной скале, повисшей над пропастью, по тропе навстречу друг другу идут Человек и Смерть, пристально глядят друг на друга и… улыбаются.

Нет, в тот вечер, идя на квартиру, Дементьев не улыбался. Но к грозящей ему смерти он действительно относился без страха, он ее попросту презирал, как нелепую и досадную помеху в его трудном солдатском деле. Вот это и есть презрение к смерти…

На улице перед квартирой ничего подозритель-

ного не было. Дементьев прошел во двор — здесь тоже все, как обычно. Войдя в подъезд, он сначала поднялся до самого верхнего этажа, а потом спустился на свой, — не было засады и на лестнице. Дверь в квартиру открыла дочь хозяйки. В ее глазах Дементьев не приметил никакого волнения, она, как всегда, небрежно ответила на его приветствие и прошла в комнату. Дементьев отпер ключом свою дверь, на мгновение задержался и потом быстро вошел в комнату. Не было ничего подозрительного и здесь. И все-таки Дементьев остро чувствовал грозящую ему опасность. Схватив чемодан, он почти бегом покинул квартиру.

Быстрым шагом он прошел Бастионную улицу, свернул на набережную и направился к городской окраине.

Здесь, у морского побережья, город обрывался внезапно, и сразу же начинался район дач. Именно сюда и стремился Дементьев, рассчитывая, что в это время года он легко может найти пустующую дачу. Он не знал, что здесь почти все дачи были зимними и в них жили круглый год. Он узнал это только теперь, когда увидел, что к дачам ведут хорошо натоптанные тропки.

На углу дачной улицы Дементьев остановился возле заколоченного досками магазина. У черно-

го хода магазина высилась груда пустых ящиков. Дементьев осмотрелся, быстро прошел за магазин и протиснулся в узкую щель между стеной магазина и грудой ящиков. Не теряя ни минуты, он раскрыл чемодан, сдвинул в нем фальшивое дно, включил радиостанцию и торопливо простучал ключом ту радиограмму, которую так ждал полковник Довгалев…

Передав радиограмму, Дементьев ушел на побережье и посидел там на каменных валунах, раздумывая о своих делах. С горечью отметил он, что дел-то, собственно, еще и не было. Разве только одна сегодняшняя радиограмма… А что будет завтра? Послезавтра? С этой тревожной мыслью Дементьев и вернулся в город.

В это время наши бомбардировщики уже готовились к вылету наперехват первого транспорта с вражескими войсками, о выходе которого сообщил Дементьев.

Счастливо избежав встречи с патрулями, Дементьев вышел на площадь перед отелем «Бристоль». Несмотря на поздний час, возле отеля суетились люди, подъезжали и уезжали автомашины; в кузов грузовика, въехавшего на тротуар, солдаты забрасывали офицерские чемоданы. «Только меня здесь и не хватало», — усмехнулся

про себя Дементьев и быстро прошел в отель.

Удача! Дежурил тот самый портье, который принимал Дементьева. Портье его узнал и охотно согласился сохранить дементьевский чемодан до завтра. Дементьев пытался всунуть ему в руку деньги, но портье категорически отказался их взять и при этом непонятно рассмеялся. Только выйдя из отеля, Дементьев понял, почему засмеялся портье: конечно же, нелепо было давать человеку деньги, которые не сегодня-завтра превратятся в ничего не стоящую бумажную макулатуру.

В эту ночь Дементьев совершенно не спал. Стараясь держаться подальше от своей квартиры, он бродил по улицам, заходил в подъезды домов, присаживался там на ступени, но, как только начинал чувствовать сонливость, немедленно вставал, выбирался на улицу и шел дальше. Утром, прежде чем направиться в отдел, он решил зайти в порт.

11

Вся площадь перед портом была забита войсками. Дементьев с огромным трудом протискивался через густую, жаркую, раздраженную толпу. Ко-

нечно, один вид этой картины не мог не радовать Дементьева. Он подумал, что при таком скоплении войск вряд ли гитлеровцы смогли сохранить строгий режим прохода на оперативный причал, и решил попробовать проникнуть туда. Но его ждало разочарование. Чем ближе он пробивался к оперативному причалу, тем явственнее чувствовал, что с каждым шагом бурливая толпа все заметнее подчинялась какому-то пока еще непонятному Дементьеву порядку. Но вскоре он понял: прославленная немецкая организованность нашла способ навести порядок и здесь. С приближением к оперативному причалу все солдаты и офицеры сами разбивались на группы по двенадцати человек. Тринадцатый — старший в группе. Группы подбирались из знающих друг друга однополчан. Если своих на группу не хватало, ее пополняли чужими, но требовалось, чтобы они тоже знали друг друга. Формирование групп производилось быстро, на ходу, и к контрольному пункту оперативного причала солдаты подходили уже организованно. С техникой проходили только обслуживающие ее солдаты и офицеры… Первая мысль у Дементьева — примазаться к одной из групп. Нет, это было опасно. Кроме того, могла возникнуть угроза, что он не выберется

потом из порта — ведь его могут погрузить на пароход или заставить ждать в строю. Понаблюдав за проходом войск на оперативный причал, Дементьев пошел обратно. Идти против движения было очень трудно.

Наконец Дементьев вырвался из порта и направился в отдел…

Часовой у входа стоял. Он вытянулся, из-под каски на Дементьева посмотрели тревожные глаза.

В помещении было тихо. Пахло паленой бумагой. В кабинете Мельха весь пол был усыпан черными хлопьями пепла. Пустые ящики его письменного стола валялись у печки. Дементьев прошел в другие комнаты. Везде та же картина. И только в комнате технического секретаря отдела на своем обычном месте, за пишущей машинкой, сидел тощий фельдфебель Ширер. Он встретил Дементьева радостным криком:

— Здравствуйте, капитан Рюкерт!

— Здравствуйте… — сдержанно ответил Дементьев. Он решил разыграть перед фельдфебелем осведомленного во всем человека, который остался здесь не случайно. — В каком состоянии ваши дела?

— По приказу Мельха я уничтожил всю доку-

ментацию. Очень хорошо, что вы пришли! Рихард Брандт приказал, если вы придете, задержать вас до его прихода.

— Я с ним уже виделся в порту… — спокойно сказал Дементьев. — Скажите-ка, чистые бланки у вас остались?

— Сто шестнадцать штук, — с чисто немецкой точностью ответил фельдфебель.

— Все, что осталось, принесите в кабинет Мельха и придите туда с машинкой. Скорее!

— Один момент!..

Дементьев сидел в кресле Мельха и диктовал Ширеру текст распоряжения:

— «Пункт первый. В связи с окончанием работ отдел по организации гражданского тыла ликвидируется.

Пункт второй. Фельдфебелю Ширеру сдать мне чистые бланки и пишущую машинку.

Пункт третий. Фельдфебель Ширер откомандировывается в распоряжение комендатуры города…»

Дементьев приказал фельдфебелю третий пункт скопировать на отдельном бланке: эту выписку фельдфебелю нужно будет предъявить

в комендатуре. Все это время одна мысль, как пульс, билась в голове Дементьева: сейчас может войти Брандт… Предохранитель на пистолете спущен. Сначала — Брандта, затем — фельдфебеля…

Закончив печатать приказ, Ширер встал и вытянулся перед Дементьевым:

— Разрешите спросить? (Дементьев кивнул.) Мельх ночью сказал мне, что сегодня я буду эвакуирован вместе со второй группой офицеров отдела.

Дементьев вздохнул:

— Со второй группой, Ширер, ничего не вышло. Держаться за меня я вам не советую. Я уеду отсюда последним. Если вообще уеду. Не волнуйтесь, идите в комендатуру. Вы будете эвакуированы на общих основаниях. Здесь не останется ни один солдат рейха — таков приказ фюрера.

Ширер щелкнул каблуками, повернулся и ушел. Дементьев положил в карман чистые бланки, запер пишущую машинку в футляр, взял ее и вышел на улицу. «Первый барьер взят», — думал он, еще боясь радоваться тому, что здесь все сошло так гладко.

Дементьев шел на квартиру. Опасность ждущей его там засады оставалась. Брандт — в городе.

Дементьев и на этот раз шел, готовый ко всему. Но не идти он не мог. Как вчера он не мог обойтись без рации, так и сегодня для выполнения задуманного им плана действия ему был необходим надежный приют хотя бы на час. Но сначала надо зайти за чемоданом в отель…

Площадь перед отелем выглядела пустынной, ни одной машины у подъезда. Очевидно, в течение ночи все штабное офицерье перебралось в порт.

Дверь в отель была заперта. Только этого не хватало! Дементьев непрерывно нажимал кнопку звонка, стучал в дверь ногой — никто не появлялся. У Дементьева похолодело сердце… Ошибка! Совершена страшная, непростительная ошибка — он не имел права расставаться с чемоданом! Не имел… Никто, и в первую очередь он сам, не простит этой ошибки. Если чемодана он не получит, тогда… пуля, предназначавшаяся Брандту, совершит единственно справедливое возмездие за ошибку…

В двери щелкнул ключ, и она открылась.

— О капитан! Как хорошо, что вы пришли! Я прямо ума не мог приложить, что делать с вашим чемоданом. Просил ваших коллег, чтобы они его взяли, — никто не берет. А нам приказано отель

запечатать…

Дементьев слушал портье и тихо смеялся:

— Спасибо, дорогой… Большое спасибо…

Хозяйка квартиры встретила Дементьева както странно: не поздоровалась, смотрела на него с презрительной усмешкой. Ее дочь приоткрыла дверь из своей комнаты, но, увидев Дементьева, с треском ее захлопнула. Только войдя в свою комнату, Дементьев начал догадываться, что произошло в квартире. Стены кабинета были голыми, на полу валялись пустые рамы от картин.

— А где картины? — строго спросил Дементьев у хозяйки, стоявшей в дверях.

— Где? — Хозяйка неестественно засмеялась. — Это я у вас должна спросить.

— Ничего не понимаю… — искренне произнес Дементьев, выжидательно смотря на хозяйку.

— Ночью явился ваш сослуживец и ограбил квартиру.

— В какое время это произошло?

— Около двенадцати…

— Как он выглядел? Смею вас заверить, мадам, это тяжкое недоразумение.

— Это был офицер в кожаном пальто, высокий, с мертвыми глазами.

«Брандт», — сразу догадался Дементьев, но про-

должал разыгрывать полное недоумение:

— В кожаном пальто?

— Да.

— Какое у него звание?

— У него знаков различия не было.

— У нас таких нет.

— Странно, а он вас прекрасно знает и очень огорчился, когда узнал, что вас нет. Он даже не поверил мне и глупо искал вас за шкафом и под кроватью.

— Вы, мадам, стали жертвой авантюриста, — убежденно сказал Дементьев.

— Странно, но он называл вас этим же самым словом…

— Меня не интересует, что он говорил. Но я не успокоюсь, пока не найду эту сволочь! Простите, мадам, но нет ничего мерзостнее мародеров. Что же касается того, что мародер будто бы знал меня, согласитесь, что узнать мою фамилию было не так уж трудно.

Дементьев заметил, что хозяйка начинает ему верить.

— Какая мерзость, какая мерзость! — повторял он, оглядывая голые стены. — Я сегодня же пойду в штаб и, можете мне поверить, сделаю все, чтобы вернуть вам ваши вещи. Слово офицера!

Хозяйка пожала плечами и ушла к себе…

«Главное, что окончательно установлено, — думал Дементьев, — и что таит в себе огромную опасность — Брандт остается в городе. Он был здесь в полночь и потом никак не мог успеть запаковать и погрузить на транспорт картины… Теперь об этом нужно помнить каждую минуту… Конечно, Брандту и в голову не может прийти, что я вернулся сюда, в свою квартиру. А это значит, что пока квартира — самое надежное место. Да, это так, и надо действовать…»

Дементьев запер дверь, включил рацию и передал короткую шифровку:

> «Я 11-17. Порт днем и ночью забит войсками и техникой. Установить час отправления транспорта пока не могу. Наносите удары по порту».

Затем Дементьев вынул пишущую машинку и на чистом бланке напечатал себе заранее продуманное удостоверение. Впрочем, это было скорее не удостоверение, а несколько необычный приказ…

> «Капитан Рюкерт П. отвечает за санитарное состояние транспортов, по-

дающихся под погрузку. До сведения капитанов транспортов, администрации порта, командования воинских частей доводится приказ командования: в целях устранения возможности возникновения среди солдат эпидемических заболеваний и переноса их на территорию Германии необходимо беспрекословное подчинение правилам осмотра трюмов и других корабельных помещений, осуществляемых предъявителем сего капитаном Рюкертом П.

ПРИНЯТО ИЗ БЕРЛИНА ПО РАДИО ЗА ПОДПИСЬЮ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ФОН РЕМЕРА — КОМАНДУЮЩЕГО ОСОБЫМ ЦЕНТРОМ ОРГАНИЗАЦИИ БЛИЖНЕГО ТЫЛА ОБОРОНЫ БЕРЛИНА. КОПИЯ ВЕРНА…»

Далее следует неразборчивая подпись. Документ венчает печать. Самая настоящая печать из отдела Мельха, которую Дементьев получил из рук фельдфебеля Ширера.

Что говорить, документ получился смелый, рискованный, но Дементьев учитывал психологию военного немца, который всегда цепенеет перед

начальственной бумагой из ставки. Учтена была и общая ситуация войны: паника, появление новых должностей и новых генералов. Впрочем, фон Ремер был весьма реальной фигурой, и он как раз занимался в ставке делами штабной организации.

12

Перед тем как снова пойти в порт, Дементьев решил поесть и немного отдохнуть. Но только прилег на диван, как мгновенно заснул. С ним это бывало. Однажды он три дня бродил по вражеским тылам, выискивал «языка» из штабных офицеров. Выследив одного, он залег в канаву, чтобы дождаться темноты, и тут же заснул. Видно, так уж у него была устроена нервная система: перед серьезным делом она требовала отдыха.

Дементьев проснулся оттого, что кто-то подбрасывал его вместе с диваном. Вскочил, ничего не понимая. Тишина. Землетрясение, что ли, приснилось? И вдруг где-то близко-близко затявкали скорострельные зенитки, и тотчас дом задрожал от серии фугасных взрывов.

— Порядок! — весело вслух сказал Дементьев и посмотрел на часы. — Оперативно управились,

товарищи летчики! Спасибо вам и за то, что разбудили…

Бомбардировка продолжалась около часа. Было ясно, что удар наносится по порту.

Когда все стихло, Дементьев вышел из дома и направился в порт, предвкушая увидеть там милую сердцу картину. Да, летчики поработали здорово. Еще издали Дементьев увидел горящие пакгаузы. Черный дым пожара гигантским грибом качался над городом. Прилегающие к порту улицы были забиты войсками и техникой, очевидно выведенными из порта. Среди перемешавшихся в панике солдат сновали офицеры. Они выкрикивали номера воинских частей. На эти крики сбегались солдаты. И эта их перетасовка была похожа на игру. Но, так или иначе, немецкая организованность уже действовала.

На территории порта зияли огромные воронки от тяжелых бомб. Трупы убитых уже были уложены аккуратненькими рядками, чуть ли не по ранжиру. В санитарные машины навалом грузили раненых. Кисло пахло сгоревшей взрывчаткой. Дементьев решил, что сейчас самое удобное время, для того чтобы начать действовать в новой своей личине.

Три солдата тащили раненого к санитарной

машине. Здоровенный рыжий детина, вращая бешеными глазами, ногами отбивался от солдат и истошно кричал что-то бессвязное. Очевидно, ранен он был легко, но находился в состоянии безумия. А может быть, он просто боялся, что его свезут в госпиталь и он не сможет эвакуироваться. Солдатам никак не удавалось подтащить его к машине, на подножке которой стоял офицер — по-видимому, врач. Вот к нему-то и подошел Дементьев.

— Из за одного легкораненого, — сердито сказал Дементьев врачу, — вы задерживаете машину! За счет этого времени вы могли бы сделать два рейса до госпиталя.

Врач пренебрежительно посмотрел на Дементьева:

— Это не ваше дело, капитан.

— Нет, мое. Я санитарный инспектор особого назначения.

Врач мгновенно вытянулся. Ведь он был немцем и, как все немцы, боготворил власть. Машина тотчас же уехала. Дементьев пошел дальше. Первая проба сошла отлично. Вдруг Дементьев возле наполовину уцелевшего пакгауза увидел знакомые ящики, те самые, которые он вывез из музея. Ящики лежали беспорядочной грудой, и

возле них стоял часовой с автоматом. Дементьев протиснулся к часовому и строго спросил:

— Почему грузы без движения?

— Не знаю, — безразлично ответил часовой. — Офицер, чьи грузы, убежал в комендатуру.

Дементьев нырнул в толпу. От этих ящиков надо быть подальше. Наверняка убежавший в комендатуру офицер — это Брандт.

У входа на оперативный причал порядка теперь было значительно меньше. Солдаты уже не группировались своими чертовыми дюжинами, они стояли и сидели как попало, то и дело поглядывая на небо. Видимо, находясь ближе всех к счастливой возможности эвакуироваться, они решили и во время бомбежки порта не покидать. А может быть, был такой приказ. Но зато на территорию оперативного причала теперь никого не пропускали.

Дементьев пробрался поближе к контрольному пункту и начал пристально вглядываться в лица солдат.

— Дайте вашу руку, — сказал он одному из солдат, у которого лицо было багрового цвета и глаза воспалены.

Солдат послушно протянул руку. Дементьев нащупал пульс и про себя считал его удары.

— Кто ваш командир?

— В чем дело? — К Дементьеву подошел низкорослый лейтенант на кривых ногах. Его лицо, задубелое на морозных ветрах, пересекал глубокий шрам. Ясно, что это был видавший виды отчаянный вояка. — Что вы тут делаете с моими солдатами? — хриплым голосом спросил он.

— Пока ничего, — усмехнулся Дементьев. — Но ни один больной солдат на борт транспорта не попадет. За это отвечаю я, и таков приказ.

Вокруг Дементьева возник ропот недовольства. Солдата, которому Дементьев щупал пульс, кто-то попытался оттеснить в сторону и спрятать. Но Дементьев вовремя схватил его за руку и обратился к лейтенанту:

— Позовите сюда старшего офицера.

В толпу, окружившую Дементьева, протиснулся офицер с погонами майора:

— Что случилось?

— Посторонний капитан почему-то осматривает наших солдат, — поедая майора преданными глазами, доложил лейтенант.

Майор перевел взгляд на Дементьева:

— Кто вы такой?

— Я санитарный инспектор особого назначения. Есть приказ о том, чтобы на транспортах не

было ни одного больного. В Берлине не хватает только эпидемии!

Майор начал снимать перчатки, готовясь принять от Дементьева документы.

Дементьев, изобразив на лице обиду, вынул свою бумагу и протянул ее майору.

Майор был дальнозоркий и читал документ, отстранив его в вытянутой руке. Дементьев пристально следил за выражением его лица, но сухое лицо майора абсолютно ничего не выражало. Прочитав бумагу, он аккуратно сложил ее и вернул Дементьеву:

— Что вы находите у этого солдата?

— Во всяком случае, у него повышенная температура. Остальное необходимо проверить.

— Можно вас на минуточку? — Майор взял Дементьева под руку.

Они выбрались из толпы и подошли к самому контрольному пункту, где их могли слышать только три солдата и лейтенант, охранявшие вход на оперативный причал.

— Можете вы выполнить мою просьбу, просьбу старого солдата? — сказал майор. — Солдат, у которого температура, — один из ветеранов моего полка. Он был со мной еще под Москвой. Оставить его здесь, когда полк уедет, значит, предать

его. Если вы хоть один день были на фронте, вы обязаны меня понять и сделать то, о чем я прошу: солдат должен уехать со своим полком.

— Нет, майор. Я такой же солдат, как и вы, и я выполняю приказ.

— Но, может быть, на транспорте есть санитарный изолятор? — не сдавался майор.

Дементьев задумался и сказал:

— Этот транспорт я еще не осматривал. Могу вам пообещать только одно: если на нем есть изолятор минимум на четыре места, я вашего солдата пропущу.

— Когда вы это узнаете?

— Сейчас.

Дементьев направился мимо контрольного поста, но на его пути встал лейтенант — розовощекий юнец с голубыми глазами. Дементьев заметил в его глазах нерешительность. Но тут совершенно неожиданно вмешался майор:

— Что вы делаете, лейтенант? Это санитарный инспектор, отвечающий за всю эвакуацию.

— Должен быть пропуск, — робко вымолвил лейтенант.

— Пожалуйста!

Дементьев протянул лейтенанту все ту же свою бумагу. Лейтенант даже не дочитал ее до конца,

вернул Дементьеву и взял под козырек.

— Очень прошу вас, капитан, найдите там, на причале, полковника Кунгеля и представьтесь ему. Без его разрешения я не имею права…

— Мне незачем представляться полковнику Кунгелю, мы с ним давно знакомы… — небрежно сказал Дементьев и пошел к заветному причалу.

Под погрузку только что был поставлен огромный транспорт под названием «Аэлита». Матросы торопливо прилаживали широкие трапы. Это были те самые собирающиеся по сегментам трапы, о которых в кафе толковали три офицера инженерных войск. «Все-таки успели…» — подумал Дементьев. Возле транспорта стояла группа офицеров и, по-видимому, капитан транспорта — полный мужчина в черной морской куртке.

— Простите, господа офицеры… — Дементьев учтиво козырнул всем, — мне нужен капитан «Аэлиты».

— Я капитан, — произнес человек в черной куртке.

— Вот вам мой мандат. — Дементьев дал ему свою бумагу.

Капитан прочитал и снисходительно улыбнулся:

— Что же вы от меня хотите?

— Я должен осмотреть все помещения корабля. И главным образом те, которые займут солдаты. Короче говоря, трюмы.

— Зачем это? — вмешался в разговор полковник с холодным, чуть одутловатым лицом.

— Вы полковник Кунгель? — Дементьев вытянулся.

— Да, я полковник Кунгель.

— Капитан Рюкерт, санитарный инспектор эвакуации. Вот мой мандат.

Полковник брезгливо отмахнулся от протянутой ему бумаги:

— Хорошо, хорошо… Делайте свое дело, но помните: солдаты простят нам, что мы вывезли их отсюда не в каюте первого класса.

— Но вы же понимаете, — с жаром возразил Дементьев, — какую опасность может представить эпидемическое заболевание в условиях…

— Делайте свое дело!.. — раздраженно прервал Дементьева полковник Кунгель и повернулся к капитану «Аэлиты»: — Пусть ему покажут трюмы…

Дементьев осматривал трюмы в сопровождении молчаливого помощника капитана, который шел позади него, хлюпая короткой трубкой-носогрейкой и распространяя едкий дым дешевого

табака. Что бы ни говорил Дементьев, он молчал. Наконец они поднялись на палубу.

— Когда отходите? — строго спросил Дементьев.

— Должны были в девятнадцать тридцать, но помешали русские бомбардировщики, — медленно, не вынимая изо рта трубки, проговорил помощник капитана. — Если не помешают, уйдем в двадцать три ноль-ноль. Говорят, есть приказ выходить только в темноте.

— Сколько человек примете на борт?

— Сколько влезет. — Трубка захлюпала, и Дементьеву показалось, что помощник капитана смеется.

— Сегодня уйдут еще и другие корабли?

— Вряд ли... — Помощник капитана вырвал изо рта трубку и вдруг заговорил быстро и возмущенно: — Хотел бы я видеть дурака, который придумал эту организацию! Десятки кораблей в страхе перед бомбежкой держат на открытом рейде, а сюда, под погрузку, ставят по одному. Пока мы уйдем, пока пришвартуется другой транспорт, пройдет часа три-четыре, а ведь к этому причалу можно сразу поставить пять кораблей. Дураки! — Он сердито воткнул трубку в рот и снова замолчал.

Дементьев расписался в судовом документе и спустился на причал. Кунгель встретил его насмешливым взглядом:

— Ну, капитан, вам удалось поймать там заразную блоху?

— Трюм в приличном состоянии, — сухо ответил Дементьев и обратился к капитану «Аэлиты»: — Сделайте все, что возможно, в отношении вентиляции.

— Хорошо, — буркнул капитан и посмотрел на часы: — Пора начинать...

Кунгель пошел к пропускному пункту, рядом с ним шагал Дементьев. Полковник, словно извиняясь перед ним, сказал:

— Каждый из нас делает свое дело. Нам нужно только не мешать друг другу.

— Но все-таки нужно предусматривать все, что можно предусмотреть в смысле заботы о жизни наших солдат.

— Тогда надо начать с того, чтобы запретить русским пользоваться авиацией!.. — Полковнику явно понравилась его шутка, и он долго смеялся, поглядывая на Дементьева. — Капитан, вы бывали на фронте?

— Начиная с Франции и все время, — четко, точно рапортуя, ответил Дементьев.

— Странно, что фронт не убил в вас педанта. Вы понимаете вообще, что происходит?

— Идет война. И мы обязаны сделать все для победы! — восторженно произнес Дементьев.

Полковник посмотрел на него, вздохнул и больше уже ничего не говорил…

Солдаты серо-зеленой лавиной ринулись на оперативный причал. Ревя моторами, ползли танки, тягачи катили орудия. Дементьев вместе с полковником Кунгелем стоял у пропускного пункта, и лейтенант мог убедиться, что они действительно знакомы.

— Когда будут грузить следующий транспорт? — спросил у Кунгеля Дементьев.

— Не знаю, — сухо обронил полковник. — Может быть, ночью.

— Помощник капитана «Аэлиты» сказал мне, что организация эвакуации плохая.

— Да? — Полковник потер ладонью пухлую, до блеска выбритую щеку.

— Он сказал, что одновременно можно грузить пять транспортов, — продолжал Дементьев.

— А генерал Троттер считает, что нужно грузить по одному, — с неясной интонацией сказал Кунгель.

— Надо сообщить ему мнение специалистов-

моряков.

— Это сделать очень трудно, капитан: генерал Троттер еще вчера улетел в Берлин.

— Кто-то же остался вместо него?

Полковник промолчал.

— Когда же мне явиться для осмотра следующего транспорта? — почтительно спросил Дементьев.

— Что-нибудь около полуночи, — ответил полковник и отвернулся к лейтенанту пропускного пункта.

— До свидания, полковник Кунгель.

Полковник небрежно козырнул, не оборачиваясь к Дементьеву и не прерывая начатого разговора с лейтенантом.

13

Три дня и три ночи Дементьев осматривал каждый ставившийся под погрузку корабль, присутствовал при его отплытии и немедленно радировал об этой новой цели для нашей авиации. И эти корабли в порт назначения не прибывали. Советские бомбардировщики, торпедоносцы быстро находили их в открытом море и появлялись на их курсе так точно, что гитле-

ровское командование не могло не подумать о том, что советская авиация получает точные сведения о выходе каждого корабля. Тотчас из Берлина последовал секретный приказ ставки — принять необходимые и самые строгие меры предосторожности.

Дементьев, конечно, ожидал, что гитлеровцев осенит такая догадка, но никаких контрмер против этого он предпринять не мог. Он мог только надеяться, как и прежде, что в панике эвакуации гитлеровцы пеленгацию радиостанций уже не производят.

Глубокой ночью под погрузку стал итальянский транспорт «Венеция». Черная его громада еле виднелась в густой ночной темноте. Ни огонька вокруг, запрещалось даже зажигать спички. Полковник Кунгель был в крайне нервном состоянии. Дементьев не знал, что произошло здесь, на причале, за полчаса до его появления.

А произошло вот что… Как только «Венеция» пришвартовалась, Кунгель поднялся на капитанский мостик. В это время к кораблю подъехали три грузовика с ящиками. Солдаты, прибывшие на грузовиках, немедленно начали таскать ящики на палубу. Помощник капитана пытался их остановить, но тут из темноты вынырнул офицер

в кожаном реглане, назвавшийся уполномоченным гестапо Брандтом. Он отбросил помощника капитана от трапа и сказал:

— Я действую по приказу рейхсминистра Гиммлера. За сопротивление — расстрел на месте!

Помощник капитана побежал на мостик и застал там капитана вместе с полковником Кунгелем. Он рассказал им о своей стычке с гестаповцем.

— Кроме меня, здесь никто приказывать не может! — сказал Кунгель и спустился по трапу на причал.

Погрузка ящиков продолжалась. Кунгель подошел к солдатам.

— Остановить погрузку! — крикнул он, и тотчас перед ним возник Брандт. — С кем имею честь? — спросил Кунгель.

— Брандт! Гестапо! А кто вы?

— Полковник Кунгель. Я отвечаю за погрузку.

— Очень хорошо! — Голос Брандта звучал насмешливо. — Это значит, что вы ответственны за погрузку этих ящиков секретного груза. Отправитель и получатель этого груза — гестапо. Вам все понятно?

Полковник Кунгель молчал. Случись все это еще вчера, он, не задумываясь, вызвал бы солдат

из охраны порта и вышвырнул бы и эти ящики, и этого не предъявившего никаких документов гестаповца. Приказ, которому подчинялся и который выполнял Кунгель, говорил только об эвакуации войск… Но сегодня вечером, находясь в штабе, Кунгель имел очень неприятный разговор со своим непосредственным начальником полковником Штраухом о потоплении кораблей русской авиацией.

— У вас никаких подозрений на этот счет нет? — настойчиво спрашивал Штраух.

— Нет, я гружу войска, и все.

— Напрасно. Тот, кто осведомляет русских, должен находиться на оперативном причале, рядом с вами, полковник. У него данные слишком точные. Берлин в бешенстве, и у нас с вами могут быть крупные неприятности.

Вот почему полковник Кунгель сейчас молчал, изо всех сил подавляя в себе раздражение против наглого гестаповца.

— Прошу вас приостановить погрузку, — сказал Кунгель. — Я снесусь со штабом.

— Делайте что хотите, но не мешайте мне выполнять приказ рейхсминистра!

Кунгель пошел к сторожке, где был телефон. Брандт приказал солдатам продолжать погрузку

ящиков. Час был поздний — Кунгель с трудом дозвонился до квартиры полковника Штрауха. Выслушав донесение Кунгеля о самовольном действии офицера гестапо, Штраух долго молчал.

— Принимайте решение сами, исходя из обстановки, — наконец сказал он и повесил трубку, явно избегая продолжения разговора.

Кунгель вернулся на причал, и как раз в это время к нему подошел Дементьев. Брандт был на корабле.

На приветствие Дементьева Кунгель не ответил. Солдаты, тащившие ящики, толкнули их.

— Что это за погрузка? — спросил Дементьев у Кунгеля.

— Гестапо, — коротко обронил полковник и отошел в сторону.

В темноте Дементьев не мог рассмотреть надписи на ящиках, а как раз эти надписи были ему знакомы и могли предупредить его, что где-то поблизости находится Брандт.

Дементьев по трапу взбежал на «Венецию» и начал уже ставший ему привычным осмотр судна. Выбравшись из главного трюма, он шел по узкому коридору, вдоль матросских кают.

Коридор был чуть освещен единственной тусклой лампочкой, запрятанной в сетчатый колпак.

Впереди послышались шаги: кто-то шел навстречу Дементьеву. Необъяснимое чувство мгновенно предупредило Дементьева: впереди опасность! Он прижался в угол возле двери. По коридору шел Брандт. Еще десять-пятнадцать шагов — и он увидит Дементьева. Эти шаги измерялись секундами, в течение которых Дементьеву нужно было принять решение.

Брандт все ближе и ближе… Вот он уже занес ногу, чтобы перешагнуть через высокое ребро корабельной переборки. Он видит Дементьева… Но вряд ли он успевает понять, что происходит.



Дементьев с силой ткнул ему пистолет в грудь и выстрелил.

Звук выстрела прозвучал глухо и негромко. Брандт взмахнул руками и грузно повалился на Дементьева. Подхватив обмякшее тело гестаповца, он взвалил его на плечо, поднес к двери,

которая вела в трюм, и бросил в черную пропасть. Потом вернулся в коридор, убедился, что никто случившегося не видел, и быстро спустился в трюм. Он запихнул тело Брандта под доски и завалил его бочками.

Через несколько минут Дементьев сошел на причал к полковнику Кунгелю.

— Что это за офицер в кожаном пальто сошел сейчас с корабля по носовому трапу? — спросил Дементьев.

— Хозяин интересовавших вас ящиков, — ответил Кунгель.

Солдаты спустились с корабля на причал, чтобы забрать новую партию ящиков.

Теперь Дементьев уже знал, что это за груз, и лихорадочно обдумывал, как помешать погрузке. С борта «Венеции» Кунгеля позвал капитан. Дементьев остался один…

Солдаты, переругиваясь, тащили ящики к причалу, и вдруг перед ними возникла рослая фигура незнакомого офицера. Это был Дементьев.

— Где здесь солдаты, работающие под командой уполномоченного гестапо Брандта? — строго спросил Дементьев.

— Мы эти солдаты, — недовольно ответил один из них.

— Брандт срочно вызван в штаб. Он прислал меня с приказанием прекратить погрузку. То, что погружено, снять обратно на причал и сложить вон там... Быстро! А потом сами можете погрузиться на этот транспорт.

Последние слова Дементьева мгновенно погасили вспыхнувшее было озлобление солдат. Они бросили ящики и весело побежали по трапу на борт «Венеции».

Вернувшись на причал, Кунгель с удивлением смотрел на солдат, тащивших ящики обратно с корабля на причал.

— Что здесь случилось? — спросил он у Дементьева.

— Кто может знать? — безразлично ответил Дементьев. — Гестапо есть гестапо. Прибегал какой-то их офицер, приказал сгрузить все обратно, а солдатам погрузиться на пароход.

«Видимо, Штраух все-таки распорядился», — подумал Кунгель.

«Венеция» отчалила в пятом часу утра. Как только ее черный силуэт растаял в предрассветной мгле, Дементьев покинул порт. А через полчаса его радиограмма об отплытии «Венеции» уже лежала на столе Довгалева.

Передав радиограмму, Дементьев хотел тотчас

лечь спать, но вдруг почувствовал страшную слабость. У него не было даже сил упаковать рацию. Лоб покрылся холодной испариной.

«Неужели я заболел?» — с ужасом подумал он.

Расстегнув китель, он приложил руку к сердцу. Оно билось резкими, замедленными толчками. Но температуры как будто не было. И Дементьев понял: это нервы с запозданием реагировали на все пережитое им в эту ночь. И тогда все, что случилось, снова прошло перед глазами. Только теперь события развертывались неторопливо, а главное, впереди уже не было неожиданностей…

Постепенно Дементьев успокоился, закрыл чемодан с рацией и прилег.

Всю ночь ему снился один и тот же страшный сон. Будто он подходит к железной двери, на которой прикреплена табличка «Вход воспрещен», и прекрасно знает, что к этой двери нельзя даже прикоснуться, и вдруг на двери, там, где только что была запретная табличка, появляется лицо Брандта, который, прищурясь, смотрит на него и спрашивает: «Боишься?»

Дементьев делал решительный шаг к двери и брался за медную кроваво-красную ручку. Его начинал бить электрический ток. Дементьев хотел оторвать руку, но не мог, терял сознание, падал

и просыпался. Несколько минут он сознавал, что все это было в глупом, почти детском сне, успокаивался, но потом снова засыпал и снова оказывался перед железной дверью с табличкой «Вход воспрещен».

14

В семь часов утра Дементьев решительно встал с постели. Боясь разбудить хозяйку, он осторожно прошел в ванную комнату, побрился и умылся холодной водой. Но когда он вышел из ванной, хозяйка уже ждала его в передней. Произошел еще один тягостный разговор. Дементьев упрямо заверял ее, что картины будут найдены.

На этот разговор ушла уйма времени. Наконец Дементьев выбрался из дома.

Как и вчера, все улицы вблизи порта забиты войсками, но был уже наведен порядок. Технику расставили по дворам, и на улицах уже не было вчерашней толчеи. На воротах, на стенах домов нарисованы условные номера или символические обозначения частей. Дементьев улыбнулся, увидев нарисованную на облезлых воротах голову льва: царя зверей загнали на грязные задворки.

У входа в порт Дементьев увидел нечто новое. В воротах стояли четыре эсэсовца с автоматами на груди. К сожалению, Дементьев увидел их, уже пересекая площадь, когда свернуть в сторону было поздно — эго могло вызвать подозрение. Дементьев только чуть замедлил шаги, чтобы успеть обдумать эту новую ситуацию. Очевидно, командование решило усилить охрану порта, и все. Смело вперед!

У него даже мелькнула гордая мысль: «Это из-за меня».

Дементьев хотел пройти между эсэсовцами, как бы не обращая на них внимания. Один из них выдвинул автомат, и проход оказался закрытым.

— В чем дело? — спросил Дементьев.

— Пропуск.

Дементьев вынул из кармана свою бумагу, но эсэсовец даже не взял ее:

— Нужен новый пропуск.

Другой эсэсовец добавил:

— С сегодняшнего дня введены новые пропуска. Пройдите вон в тот дом…

Это был уже знакомый Дементьеву дом коменданта порта. Он заходил туда, якобы разыскивая какие-то грузы для своего полка. Тогда в коридоре было полно людей, а теперь — ни души. И

сразу Дементьев понял, что здесь обосновалось гестапо.

— Где здесь выдают новые пропуска в порт? — обратился Дементьев к проходившему гестаповцу.

— Комната номер девять, — не посмотрев на Дементьева, ответил гестаповец.

Когда Дементьев был уже в трех шагах от этой комнаты, дверь распахнулась и два гестаповца вытащили в коридор пожилого человека в форменной морской фуражке и кителе.

— Выслушайте меня! — кричал человек. — Я сотрудник портовой метеостанции… Моя обязанность…

Какова была обязанность у этого человека, Дементьев уже не расслышал — человека впихнули в другую комнату…

Заходить в девятую комнату или, пока не поздно, вообще уйти отсюда? Но уйти — это значит, что полковник Довгалев больше не получит от Дементьева сведений, транспорты беспрепятственно повезут гитлеровские войска в Германию, и они выступят против Советской Армии. В общем, уйти — значит не выполнить боевого приказа.

На эти размышления Дементьеву понадоби-

лось не больше секунды. Презирая себя за то, что в мыслях могло хотя бы мелькнуть подлое «или», Дементьев решительно открыл дверь и вошел в девятую комнату. Комната была большая. Посередине ее перегораживал длинный стол, за которым сидели рядом два гестаповца. Против двери, в которую вошел Дементьев, по ту сторону стола, была другая дверь. Наверно, раньше в этой комнате производился таможенный досмотр морских пассажиров.

Дементьев закрыл за собой дверь и, как все боевые офицеры гитлеровской армии, не любящие тянуться перед гестаповцами любых чинов, медленно подошел к столу и без всякого обращения спросил:

— Здесь выдают новые пропуска в порт?

— Кто вы такой? — быстро спросил гестаповец.

— Капитан Рюкерт. Я отвечаю за санитарное состояние кораблей.

Гестаповцы переглянулись.

— Ваши документы, капитан?

Дементьев решил сначала предъявить свое офицерское удостоверение. Это был совершенно надежный документ, ибо на нем даже фамилия «Рюкерт» была подлинной.

— Здесь указана дивизия, которой уже нет.

— Совершенно верно, — спокойно согласился Дементьев. — Я из немногих, которым удалось прорваться обратно.

— А каким образом вы вдруг стали заниматься санитарными делами?

— Вернувшись сюда, я получил это назначение.

— Из чего это видно?

Наступает решающий момент — Дементьев вынимает из кармана свою самодельную бумагу и протягивает ее гестаповцам.

Вечностью показались ему минуты, пока гестаповцы порознь, а потом вместе рассматривали непривычный для них документ. Потом они о чем-то тихо переговорили. Один из гестаповцев положил дементьевскую бумагу в стол и сказал:

— Мы обязаны все проверить. Обижаться не следует, капитан. Таково время и положение. В порту действует враг, и это стоит жизни тысяч и тысяч наших солдат. Явитесь сюда в шестнадцать ноль-ноль… — Гестаповец замялся и добавил: — За пропуском.

Дементьев вышел на площадь. Еще не было двенадцати часов. Впереди четыре часа ожидания. То, что ровно в шестнадцать он войдет в девятую комнату, он знал так же твердо, как свое

имя. Но раз уж даны ему эти четыре часа, нужно ими воспользоваться и проанализировать все возможные и невозможные варианты того, что произойдет в девятой комнате в шестнадцать ноль-ноль.

Дементьев вернулся на квартиру и передал короткую радиограмму полковнику Довгалеву:

«Возникли осложнения, слушайте меня вечером…»

15

За четыре часа человек ровной походкой может пройти десять километров. Вероятно, это расстояние Дементьев и вышагал по своей комнате. Заложив руки за спину, с окаменевшим лицом, он ходил из угла в угол, задавая себе самые сложные, самые каверзные вопросы и тут же на них отвечая. Иногда, если ему удавалось придумать такой сложный и опасный вопрос, что сразу ответить на него он не мог, он останавливался и напряженно думал. Ответ найден! На лице Дементьева чуть заметная тень довольной улыбки, и снова он ровным шагом ходит из угла в угол…

В половине четвертого он вышел из дому. Без

трех минут четыре он был уже перед дверью в девятую комнату, но решил войти туда точно в назначенное ему время.

Мимо него в девятую комнату прошел один из тех двух гестаповцев. Через дверь Дементьев ясно услышал, как гестаповец, войдя в комнату, удивленно произнес: «Он пришел!» Будто холодным ветром пахнуло в лицо Дементьеву.

Дверь приоткрылась.

— Капитана Рюкерта просят зайти.

Дементьев вошел в комнату, посмотрел на часы, улыбнулся.

— Мне приказано явиться в шестнадцать ноль-ноль. Сейчас без одной минуты... — Говоря это, Дементьев успел заметить, что, кроме двух уже знакомых ему гестаповцев, в комнате находился третий. Все они с любопытством разглядывали Дементьева.

Третий, сидевший в кресле по эту сторону стола, молча показал Дементьеву на стул, стоявший у стены. Дементьев сел. Ясно: третий среди них — старший. Гестаповцы продолжали его разглядывать. Потом тот, третий, перестал на него смотреть и с совершенно безразличным лицом, подняв золотые очки на лоб, начал разглядывать ногти на своих руках. Дементьев уже безошибоч-

но чувствовал, что главная опасность — именно этот флегматичный, бледнолицый гестаповец.

Наконец заговорил один из гестаповцев, которого Дементьев уже знал:

— Капитан Рюкерт, документ, который вы нам предъявили, вызывает подозрение. Кто вам его выдал?

— Начальник отдела по организации гражданского тыла Герман Мельх, — мгновенно ответил Дементьев. — Впрочем, все это указано в мандате.

— Какое отношение названный вами Мельх мог иметь к вопросам санитарного состояния транспорта?

— Этого я не могу знать.

Бледнолицый, продолжая разглядывать ногти, лениво спросил:

— Какова история вашего назначения на этот пост?

— Прошу прощения, господа офицеры, — Дементьев улыбнулся, — но я эту историю, пожалуй, изложить не смогу. Я войсковой офицер, впервые попал в атмосферу больших штабов и, признаться, не успел разобраться в тонкостях структуры даже своего отдела.

Бледнолицый оставил в покое свои ногти,

опустил очки и впился в Дементьева острыми, увеличенными стеклами глазами.

— Когда вы попали в Н.?

Дементьев точно назвал число и продолжал:

— Я прибыл сюда ночью и явился в комендатуру штаба. Там мне дали направление в отель «Бристоль»...

— Минуточку, — прервал Дементьева бледнолицый. — На каком участке фронта вам удалось прорваться к своим?

— Линию фронта я перешел на участке дивизии «Гамбург». Сутки после этого я был гостем заместителя начальника штаба дивизии майора Борха.

— Прекрасно... — Бледнолицый встал, подошел к телефону и набрал номер. — Здесь говорит Крамергоф. Мне срочно нужна справка по командному составу дивизии «Гамбург». Прежде всего — фамилию заместителя начальника дивизии... Я жду...

Все в комнате молчали. Дементьев обиженно улыбался. Он прекрасно знал, что сейчас услышит по телефону Крамергоф. Он услышит именно ту фамилию, которую назвал Дементьев. Если вся проверка сведется только к этому, гестаповцы — балбесы. Такими-то заранее подготовленными

данными хороший разведчик должен располагать в обязательном порядке.

— Да, я слушаю… Так. Спасибо…

Крамергоф положил трубку и вернулся в свое кресло. Гестаповец, сидевший за столом, сказал:

— Вы остановились на том, что получили направление в гостиницу «Бристоль». Продолжайте.

— Я оказался там в одном номере с майором Зайделем, номер комнаты триста пять. Мы, естественно, познакомились. Зандель, узнав мою грустную историю, видимо, проникся ко мне симпатией и помог устроиться при штабе. Он сам работал как раз в отделе Мельха. Но сначала я пошел просить назначения на фронт. К сожалению, я этого назначения не получил. В штабе всем было не до меня. Тогда мне пришлось воспользоваться любезной помощью майора Зайделя. В отделе Мельха я занимался эвакуацией музея и библиотеки. Работал вместе с уполномоченным гестапо Брандтом.

— Брандт? — удивленно воскликнул Крамергоф и переглянулся с гестаповцами. — Это интересно! Когда вы последний раз видели Брандта?

— В день, когда я эвакуировал фонды библиотеки. Он принял от меня груз и повез его в порт.

Больше я его не видел.

— Разве ваша работа у Мельха на том и закончилась? — спросил Крамергоф, теперь уже не сводя глаз с Дементьева.

— Совершенно правильно. Дальше моя судьба сложилась так. Вечером Мельх вызвал меня, вручил мне тот самый документ, который вызывает у вас подозрение, и сказал, что утром он мне объяснит мои новые обязанности. А когда я утром пришел, уже не было ни Мельха, ни его штаба. Он уехал, кажется, с первым же транспортом. Зачем ему понадобилось таить от меня отъезд, мне непонятно. Он, конечно, поставил меня в глупое положение. Тем не менее свои обязанности я как мог исполнял.

— Во время прорыва вашей дивизии вы в руки к русским не попадали? — быстро спросил Крамергоф.

— Если бы это случилось, — Дементьев пожал плечами, — я бы не сидел перед вами.

— Ответьте, пожалуйста, без «если»: были вы в плену хоть один час?

— Ни минуты. Мой батальон попал в окружение в районе торфяных болот. Здесь нас утюжила авиация. Потом я с группой уцелевших солдат выбрался из болота, и лесами, что юго-восточнее

прежнего расположения моей дивизии, мы вышли в район позиции дивизии «Гамбург». Ночью с боем прорвались к своим. Уцелело нас трое.

— Кто эти уцелевшие? Их имена и где они сейчас? — мгновенно спросил Крамергоф.

— Иоганн Рихтер, капрал, — так же мгновенно ответил Дементьев. — Он остался в дивизии «Гамбург». Карл Ландхарт, лейтенант, ранен в плечо, положен в госпиталь при штабе дивизии «Гамбург». Третий — я.

Крамергоф злобно рассмеялся:

— Ах, какая точность! Вы же прекрасно знаете, что дивизия «Гамбург» уже эвакуирована отсюда, и потому не боитесь проверки.

Дементьев обиженно молчал, смотря мимо Крамергофа.

— Слушайте, как вас там… Рюкерт, что ли? Скажите прямо: кто вы на самом деле? — спросил Крамергоф.

Дементьев молчал, не меняя позы.

— Может быть, вы просто господин дезертир? — злобно выкрикнул Крамергоф.

Дементьев резко повернулся и, впившись в Крамергофа бешеным взглядом, заговорил громко, со злостью, чеканя каждое слово:

— Когда мой фюрер вручал мне в Париже «же-

лезный крест», я сказал ему: «С вами до конца!» Фюрер сказал: «Идти надо далеко...» И я пошел этим дальним путем, не обходя трудности и не прячась от войны в штабах. Я всегда уважал людей гестапо, считая их верной охраной моего фюрера. И я не верил россказням о гестапо, распространяемым плохими немцами. А вы, видимо, добиваетесь, чтобы я им поверил. Все равно не поверю, потому что вы всего лишь один из офицеров гестапо. Больше я на ваши вопросы не отвечаю. Можете поступать со мной как хотите. Хайль Гитлер!

В комнате стало тихо. Уголками глаз Дементьев следил за гестаповцами и видел, что его гневная тирада произвела на них впечатление.

Крамергоф привстал, взял со стола самодельный мандат Дементьева и, брезгливо держа его за уголок, уже спокойно сказал:

— Согласитесь, что этот документ странный и не может у нас не вызвать подозрения.

— Не знаю! — резко произнес Дементьев. — Я уже сказал, что я не специалист по штабным документам. На войне я привык выполнять приказ. И эта вызывающая ваше подозрение бумага была для меня приказом, который я свято выполнял. Если вы вправе отменить приказ, сделайте это и,

ради всех святых, помогите мне оказаться там, где воюют солдаты, а не… — Дементьев не договорил, твердо смотря в глаза гестаповцу. Он внутренне торжествовал: он видел, что Крамергоф сбит с толку и не знает, как дальше вести разговор.

— Вернемся к вопросу о Брандте, — помолчав, заговорил Крамергоф. — Дело в том, что на имя Брандта в Н. продолжали поступать очень важные распоряжения из ставки. Не дальше как сегодня пришла радиодепеша за подписью Кальтенбруннера, в которой предписывалось во что бы то ни стало разыскать Брандта… Значит, когда вы видели Брандта последний раз?

— В день эвакуации фондов библиотеки, — усмехаясь, ответил Дементьев. — Он принял от меня ящики с грузом и повез в порт. Больше я его не видел. К этому ничего не смогу прибавить, отвечая вам даже в сотый раз.

— Вы полковника Кунгеля знаете? — быстро спросил один из гестаповцев.

Дементьев насторожился:

— Полковник Кунгель… полковник Кунгель… — Выигрывая секунды для обдумывания этой новой ситуации, Дементьев делал вид, что силится припомнить эту фамилию. — Очень знакомая фамилия… Ах, да… Ну конечно! Он был ответ-

ственным за погрузку войск на транспорты.

— Совершенно верно! — оживленно подхватил Крамергоф. — Что вы можете сказать о нем?

— Очень немного. Я видел его два или три раза.

— Вы разговаривали с ним?

— Да.

— Не припомните, какие мысли он высказывал, к примеру, о ходе войны?

— Столь общих разговоров у нас не было. Разве только… — По тому, как мгновенно насторожился Крамергоф, Дементьев понял, что он делает правильный ход. — В общем, у меня сложилось впечатление, что Кунгель в порученном ему деле был совершенно не заинтересован. Когда я получил назначение, я сам, учитывая военную ситуацию рейха, выразил Мельху свое недоумение: зачем этот санитарный бюрократизм? Но Мельх разъяснил мне, что речь идет об устранении опасности завезти в Берлин эпидемические болезни, и я понял, что моя работа серьезная, и взялся за нее со всей ответственностью. А полковник Кунгель к моей работе отнесся насмешливо: он утверждал, что солдатам фюрера неважно, в каких условиях их эвакуируют, лишь бы удрать отсюда. Далее… Моряки критиковали организа-

цию эвакуации, давали совет, как ее ускорить. Я передал их советы Кунгелю, но он отказался к ним прислушаться…

— Что это были за советы?

— Ну, например, чтобы грузить войска сразу на пять кораблей…

— Так, так… — Крамергоф все записывал.

Дементьев видел, что его показания очень интересуют гестаповцев, и догадывался, чем этот интерес был вызван.

…Кунгель был арестован гестапо накануне, но на допросах он очень искусно разбивал все ухищрения гестаповцев сделать его виновным во всех семи смертных грехах. А Крамергофу, головой отвечающему за расследование обстоятельств потопления кораблей, нужно было показать рвение и отдать под расстрел кого угодно, хотя бы того же полковника Кунгеля. Час назад он думал проделать это с Дементьевым, но по ходу его допроса пока отказался от этой мысли. Дементьев давал ему в руки козыри против изворотливого Кунгеля.

Записав все, Крамергоф спросил:

— Вы подтвердите все это на очной ставке?

— Безусловно.

Крамергоф приказал привести Кунгеля. Ожидая

его появления, Дементьев еще раз припомнил все свои разговоры с полковником на оперативном причале.

Кунгеля усадили напротив Дементьева. Полковник насмешливо посмотрел на него и спросил:

— Вы тоже зачислены в пятую колонну рейха?

Дементьев не ответил. Крамергоф, повысив голос, сказал:

— Не разговаривать! Вы будете отвечать на вопросы.

— И прекрасно. Разговаривать с вами у меня нет ни малейшего желания! — Лицо Кунгеля сделалось непроницаемым и надменным.

— Капитан Рюкерт, повторите, что говорил вам Кунгель по поводу эвакуации наших войск отсюда.

— Он утверждал, что солдатам фюрера совершенно неважно, в каких условиях их отсюда вывезут, важно — удрать.

— Вы говорили это, Кунгель?

— Нет. Санитарный инспектор из… гестапо сказал неправду… — Теперь Кунгель с ненавистью смотрел на Дементьева.

— Хорошо. Я припомню наш разговор поточнее… — Дементьев сморщил лоб. — Так. Вы разве не говорили мне, что наши солдаты простят нам,

что мы вывезем их отсюда не в каютах первого класса?

— Это говорил. Но это же совсем другое. Я думал…

— Абсолютно ясно, что вы думали! — грубо оборвал его Крамергоф.

— Я передавал вам, — продолжал Дементьев, — что моряки критикуют порядок эвакуации и советуют, как лучше ее организовать. Помните, я просил вас довести это до сведения вашего начальства? Вы сделали это?

— Нет, — твердо ответил полковник Кунгель.

— А почему бы вам не прислушаться к советам специалистов и не улучшить организацию эвакуации? — быстро спросил Крамергоф.

— Я выполнял приказ. В армейских условиях рекомендуемая вами самостоятельность недопустима.

— Но вы же не так глупы, чтобы не понимать, что за лучшее проведение эвакуации вас ожидала только благодарность.

— Нет, я как раз настолько глуп, чтобы беспрекословно выполнять тот приказ, который я получил от высшего командования.

— Все ясно. Уведите его! — приказал Крамергоф.

Кунгеля увели. Несколько минут Крамергоф молчал, устремив задумчивый взгляд в пространство. Потом он обратился к Дементьеву:

— Сейчас мы дадим вам пропуск, и вы сможете продолжать исполнение своих обязанностей. А завтра в девять утра явитесь к нам, ибо на каждый день мы выдаем новые пропуска.

Дементьев улыбнулся:

— Это нетрудно… Если, конечно, каждый день у нас не будет столь подробных бесед…

— В дальнейшем разговоры наши будут короче, — сухо обронил Крамергоф.

Дементьев взял пропуск, направился к двери, но тут же вернулся.

— Вы, случайно, не знаете: днем погрузка будет?

— Нет. В полночь под погрузку поставят сразу два транспорта, а может, и больше. Нам надо торопиться.

Дементьев тревожно посмотрел на Крамергофа:

— Можно задать вам еще один вопрос?

— Пожалуйста.

— Как обстоят дела там, в Германии?

Крамергоф ответил не сразу. Дементьев заметил, что на мгновение лицо его стало мрачным,

но тут же гестаповец изобразил улыбку и сказал:

— Все в порядке, капитан. Война продолжается, а наш фюрер сказал: «Пока есть один немецкий солдат…

— …есть и великая Германия!» — быстро подхватил Дементьев и выбросил вверх правую руку. — Хайль Гитлер!

— Хайль! — глухо отозвался Крамергоф.

Дементьев вышел. Когда дверь за ним закрылась, Крамергоф сказал:

— И все-таки с этим Рюкертом что-то нечисто. Чувствую, что нечисто.

— Может, лучше его, на всякий случай, арестовать? — предложил один из гестаповцев.

— Успеем. Давайте-ка установим за ним наблюдение. Сейчас же…

Дементьев прошел по коридору шагов десять, и в это время раздался оглушительный взрыв.

Тяжелая авиабомба, как потом выяснилось, угодила в соседний дом. Воздушная волна вырвала окна и проломила стену в коридоре. Дементьева швырнуло на пол. Маленький осколок стекла вонзился ему в щеку. Оглушенный, он прижался к стене и вытащил стекло из сильно кровоточившей ранки.

Захлопали двери, из всех комнат в коридор

выбегали гестаповцы. Не обращая внимания на Дементьева, они, грохоча сапогами, бежали к лестнице, которая вела в убежище. Из девятой комнаты вышел Крамергоф. Он помог Дементьеву встать и повел его в убежище.

В тесном подвале гестаповцы жались к стенам, напряженно прислушиваясь, но взрывов больше не было.

Крамергоф усадил Дементьева на пол, взял из аптечки санитарный пакет и протянул его Дементьеву:

— Перевяжите рану.

— Ерунда, — отмахнулся Дементьев. — Всего лишь кусочек стекла. Нет ли в аптечке йода?

Крамергоф подал йод.

Дементьев продезинфицировал ранку и закрыл ее пластырной заплаткой.

Постепенно в подвале возник разговор, из которого Дементьев выяснил, что и гестаповцев остро волнует все тот же вопрос: когда их эвакуируют? Разговор об эвакуации стал чересчур шумным. Полковник Крамергоф встал и властно крикнул:

— Прошу замолчать! Идите работать!

Гестаповцы, хмуро переговариваясь, начали выходить из подвала. Очевидно, Крамергоф был среди них начальником.

— Вы куда? — обратился он к Дементьеву.

— Пойду на квартиру. Может, смогу немного поспать.

— Скажите ваш адрес… на случай, если вы понадобитесь еще сегодня.

— Бастионная улица, четыре, квартира девять.

16

Когда Дементьев вышел на площадь, соседний дом, в который попала бомба, еще горел, и возле него суетились солдаты и пожарники. Дементьев быстро пересек площадь и свернул в узкую улочку. Надо бы ему хоть раз оглянуться — тогда он заметил бы, что за ним неотступно следует человек в штатском. Но Дементьев шел не оглядываясь. Впрочем, посланный Крамергофом шпик на этот раз смог установить только то, что Дементьев полковника не обманул и вошел в дом четыре по Бастионной улице. Через минуту шпик доложил об этом по телефону Крамергофу и получил приказ продолжать наблюдение вплоть до следующего дня.

…Хозяйка квартиры встретила Дементьева с удивлением:

— Как? Вы еще не уехали?

— А почему я должен уезжать раньше всех? — зло спросил Дементьев.

— Мы с дочерью только что слушали радио… — Хозяйка злорадно улыбнулась. — Бои идут уже в Берлине.

— За слушание и распространение московской пропаганды мы расстреливаем! — Дементьев быстро прошел в свою комнату и захлопнул дверь.

По тому, как лицо хозяйки мгновенно залилось краской, он понял, что угадал, откуда у нее это радостное для него сведение…

Бои под Берлином!..

Дементьев вспомнил суровую декабрьскую ночь сорок первого года. Он возвращался из Москвы на фронт, торопился к ночи попасть в свою часть. Дело в том, что эта ночь была новогодняя. Днем, закончив дела в Москве, Дементьев ринулся на Можайское шоссе ловить попутную машину. Подсел в разбитую полуторку. В шоферской кабине ехала женщина-врач — ему пришлось забраться в кузов. А морозец был лихой, да метель еще так крутила, что, как ни сядешь, нельзя упрятать лицо от злых уколов сухого, секущего снега. Но все это не страшно, когда знаешь, что впереди — вечер и ночь среди

фронтовых друзей, да еще ночь новогодняя…

Но судьба распорядилась иначе. Где-то за Голицыном мотор полуторки вдруг загрохотал, залязгал и тут же навеки умолк. Шофер неосмотрительно резко затормозил. Полуторку занесло на обочину, и она свалилась в снежную канаву. Дементьев вылетел из кузова и нырнул в сугроб. Шофер открыл капот, посмотрел мотор и радостно закричал:

— Красота! Шатуны полетели! Что я говорил? — Он обратился к врачихе. — Есть правда на свете! Получу теперь новую машину!

Быстро темнело. Тылы, видимо, уже подтянулись за наступающим фронтом, и оттого здесь, недалеко от Москвы, машины по шоссе ходили редко. А в этот вечер их вовсе не было. Нужно было искать приют.

Недалеко от шоссе они по запаху дыма нашли засыпанную снегом землянку, в которой обитали два старослужащих солдата — оба усатые, оба с бородами и оба по-волжски окающие. Они стерегли сгруженные в лесу бочки с бензином. Собственно, бочки те можно было и не стеречь, потому что из-за глубокого снега к ним ни подойти, ни подъехать. Но приказ есть приказ, и старые солдаты его исполняли.

Откровенно сказать, они были даже довольны, что судьба отвела им на войне такое тихое и безопасное место. Дементьев сразу это почувствовал и начал подтрунивать над старыми солдатами. Тогда один из них сказал:

— Ты, товарищ лейтенант, у своего батьки и в проекте еще не был, когда в меня уже стреляли немцы. Стало быть, на той еще войне. А потом, на гражданской, в меня еще и разные другие стреляли. Не хватит ли головой в решку играть? А бочки-то с бензином, а на том бензине нам еще до Берлина ехать потребуется.

Солдат сказал это со спокойной деловитостью, какая свойственна пожилому крестьянину. О Берлине, до которого ехать придется, он сказал так просто, как, наверно, говаривал в деревне, что по весне придется сеять.

Всю войну потом Дементьев вспоминал эти слова бородатого солдата. Вспомнил и сейчас. Бои идут в Берлине! И кто знает, может быть, тот старослужащий бородач сейчас стережет какие-нибудь бочки уже под Берлином. И поскольку война явно на исходе, он, наверно, уже толкует о весенней пахоте.

Дементьев улыбнулся своим мыслям. В комнату робко вошла хозяйка.

— Извините меня, господин капитан... — Она испуганно смотрела на Дементьева. — Но, может быть, вы меня не совсем правильно поняли?

— Я понял вас прекрасно! — с угрозой произнес Дементьев. — И, пожалуйста, не мешайте мне отдыхать.

Хозяйка поспешно скрылась за дверью. Дементьев запер дверь.

Включив передатчик, он задумался, а затем бесшумным ключом быстро простучал радиограмму полковнику Довгалеву:

> «Я 11-17. Сегодня в полночь под погрузку станут два транспорта. Радирую на тот случай, если не буду иметь возможности сообщить об их отплытии».

Если бы кто-нибудь сейчас спросил у Дементьева, почему у него появилось сомнение, что он ночью, как всегда, не передаст очередное донесение, он не смог бы ответить. Появилось — и все. Если хотите, назовите это предчувствием.

Закрыв чемодан и задвинув его под диван, Дементьев прилег и тут же заснул крепким сном сильно уставшего человека.

17

В одиннадцать часов вечера Дементьев вышел на улицу. Его обдало нежным теплом весеннего вечера. В темно-синем небе скупо светились редкие звезды. Влажный ветерок с моря холодил лицо. Дементьев почти с удивлением обнаружил, что весна уже в разгаре. Он медленно шел по темной улочке. Наблюдатель гестапо шел за ним шагах в пятнадцати. И снова Дементьев его не заметил. Вспомнилась ему сейчас Тамара. Как-то она в далеком своем Подмосковье? В тревоге небось, что нет от него писем. «Не тревожься, родная, и жди. Терпеливо жди…»

…В ворота порта вливалась длинная воинская колонна. Она двигалась почти бесшумно. Изредка звякнет металл о металл или сорвется злое слово ругани…

Новый пропуск действовал безотказно — Дементьев вошел в порт сразу за колонной. Вот и причал. Один транспорт уже стоял пришвартованный, другой маневрировал, подходя к причалу. Там, в темноте, слышались отрывистые возгласы команды, лязг машинного телеграфа, плеск воды…

Дементьев поднялся на причаленный транспорт и, провожаемый помощником капитана, спустился в трюм.

Этот корабль был, очевидно, новым. В трюме — сухо, чисто, несколько ярких ламп освещали каждый его уголок. Придраться было не к чему. Дементьев поднялся к капитану. Неряшливо одетый, небритый капитан равнодушно выслушал Дементьева и положил перед ним судовые документы.

Дементьев расписался и сказал:

— Ваши трюмы в образцовом состоянии.

— Чего нельзя сказать о нашем рейхе, — сказал капитан и засмеялся.

Дементьев недоуменно пожал плечами и вышел из капитанской каюты. Прямо перед ним стоял Крамергоф.

— Работаете, капитан Рюкерт?

— Если это можно назвать работой, — невесело усмехнулся Дементьев.

— Что так мрачны?

— А чему радоваться? На каждом шагу тебе тычут в нос, что Германия погибла.

— Например?

Дементьев глазами указал на дверь капитанской каюты.

Крамергоф кивнул:

— Спасибо, капитан.

Дементьев сошел на причал. Второй транспорт уже пришвартовался, но трапы еще не были спущены. Дементьев прохаживался перед кораблем, обдумывая свой неожиданный экспромт с доносом на капитана транспорта. «Нет, нет, и теперь я поступил правильно. После этого Крамергоф будет верить мне еще больше…»

К Дементьеву подошел спустившийся с корабля Крамергоф.

— Эта грязная свинья не побоялся и мне заявить то же самое, — сказал он, доверительно взяв Дементьева за локоть. — Время, конечно, тяжелое, но не верить — значит предать? Не так ли?

— Конечно! — убежденно воскликнул Дементьев.

— К сожалению, с этой свиньей ничего сделать нельзя. Он поведет транспорт с солдатами. Но ничего, мы ему это припомним.

Дементьев смотрел на Крамергофа почти с открытым удивлением: неужели он не понимает, что дни гитлеровской Германии действительно сочтены?

На причале с грохотом придвигали трапы ко второму транспорту.

— Пойдемте со мной, — предложил Дементьев Крамергофу.

— С удовольствием. Заодно увижу, что у вас за работа.

Они поднялись на транспорт, и дежурный матрос провел их в трюм. Этот корабль был порядком потрепан. На дне трюма поблескивала вода, а воздух стоял такой затхлый, что трудно было дышать. Крамергоф закашлялся. Дементьев приказал матросу позвать в трюм капитана. Вскоре капитан пришел. Это был богатырь с русой курчавой головой. Его могучую грудь обтягивал черный свитер. Подойдя к Крамергофу и Дементьеву, он выбросил вперед правую руку:

— Хайль Гитлер!

— Хайль! — небрежно отозвался Дементьев.

Крамергоф не ответил.

— Вы что же, капитан, в этом вонючем хлеву думаете везти солдат фюрера? — спросил Дементьев.

— А что я могу сделать? Я действительно недавно возил из Дании коров.

— Даю вам, капитан, два часа. Организуйте откачку воды, откройте настежь все трюмные люки. Вот из тех ящиков сделайте настил по дну трюма. Перед погрузкой я зайду проверю.

Будет сделано! — Капитан ушел.

Крамергоф хлопнул Дементьева по плечу:

— Молодец, Рюкерт! Свой хлеб едите не зря.

К трем часам ночи погрузка солдат была закончена, оба транспорта выбрали якоря и ушли.

Дементьев направился домой. И только тогда обнаружил за спиной наблюдателя. Это произошло случайно.

…Дементьев вышел из ворот порта и пошел вдоль высокого забора. И вдруг звезда бесшумно покатилась наискось по черному небу, оставляя за собой бледный, быстро таявший след. Дементьев непроизвольно замедлил шаги. Наблюдатель, старавшийся идти с ним в ногу, прозевал это замедление, сделал лишний шаг, и Дементьев его услышал. В такую позднюю пору идти мог только наблюдатель. Дементьев решил убедиться в этом получше. Он сошел с тротуара, быстрым шагом пересек площадь. Повернул за угол и выглянул оттуда — человек бежал через площадь. Дементьев пошел дальше. Да, сомнений быть не могло: слежка.

Что это могло означать? Прежде всего то, что Крамергоф ведет двойную игру. Но не проще ли ему было арестовать его, когда он явился в гестапо за пропуском?.. Проще-то проще, да это

ничего ему не дало бы. Крамергоф убедился в этом на первом допросе. Ну конечно, они решили сначала узнать о нем все, что можно. «Ну что ж, пожалуйста! Мы будем вести себя как можно спокойнее и постараемся всячески облегчить работу наблюдателю».

Дементьев свернул на улицу, параллельную Портовой, и пошел по ней в направлении к своему дому. Он шел шумно, не торопясь, а перед своим домом замедлил шаг ровно настолько, чтобы наблюдатель мог точно установить, в какой подъезд он вошел.

Быстро поднявшись на один лестничный пролет, Дементьев остановился и замер. Войдет ли наблюдатель в подъезд? Нет. Вот он прошел мимо двери, остановился… пошел назад.

Дементьев взбежал на свой этаж и открыл дверь ключом. Не зажигая света, он быстро выдвинул чемодан, открыл и включил рацию. Нужно немедленно сообщить о выходе двух транспортов. Это самое главное. Вероятно, наблюдатель сейчас сообщит по телефону, что объект дома. Даже если они немедленно организуют налет на квартиру, у Дементьева есть те десять-пятнадцать минут, которых достаточно, чтобы передать радиограмму. И еще с двумя транспор-

тами будет покончено. Ну, а после этого… Ключ привычно, быстро выстукивал точки и тире.

Радиограмма передана. Дементьев задвинул фальшивые днища чемодана, хотел его закрыть, но передумал: пусть стоит возле дивана раскрытым. Обыкновенный чемодан с обыкновенными вещами, в которых хозяин рылся, перед тем как лечь спать.

Дементьев снял шинель, не спеша разделся и лег в постель. Около часа он не засыпал, ожидая визита гестапо. Он был уверен, что такой визит последует, но почему-то не считал нужным спасаться от него бегством. Мне, рассказчику, знающему, что будет дальше, хочется крикнуть Дементьеву: «Беги!» Но он меня не услышит. А заочно судить его за то, что он не спасается, я не собираюсь… Но, видимо, налет на его квартиру пока не входил в план Крамергофа. Дементьев заснул.

18

Потом ему показалось, что весь остаток ночи он видел один и тот же сон. Со всех сторон его обступали невидимые люди, они по очереди произносили его фальшивое имя: «Рюкерт, Рюкерт».

Он старался по звуку голосов увидеть этих людей, но они были невидимы. И снова то за спиной, то откуда-то сверху раздавалось все то же слово:

«Рюкерт, Рюкерт, Рюкерт!»

— Рюкерт, откройте! — вдруг прозвучало ясно, громко и уже наяву.

Дементьев не успел сообразить, что происходит, как дверь с треском распахнулась. Выломанный дверной замок отлетел к стене. В комнату с пистолетами в руках ворвались четверо гестаповцев во главе с Крамергофом. Один из них зажег свет. Другой встал в ногах Дементьева, направив на него пистолет. Дементьев, не поднимаясь, с удивлением смотрел на ворвавшихся.

— Кончайте, Рюкерт, спектакль! Где ваша радиостанция? — весело, почти дружелюбно сказал Крамергоф и сел на стул в трех шагах от постели Дементьева, держа наведенный на него пистолет.

— Я ничего не понимаю, полковник… Что здесь происходит? Объясните… — Дементьев медленно, лениво спустил с постели ноги, сел и начал неторопливо одеваться. — Извините, что принимаю в таком виде. Я сейчас оденусь… — Дементьев посмотрел на часы. Было пять часов утра.

Крамергоф махнул рукой гестаповцам:

— Ищите!

Обыск был очень тщательным. Гестаповцы поднимали паркет, простукивали стены, сбросили с полок все книги, распороли мягкие кресла. В это время Крамергоф не сводил глаз и пистолета с Дементьева, который оделся и сидел на диване, с улыбкой наблюдая за гестаповцами, производившими обыск. Его попросили пересесть на стул. Диван был распорот, как и кресла.

Гестаповцы прекратили обыск и выжидающе смотрели на Крамергофа.

— Обыскать всю квартиру! — приказал он.

Гестаповцы ушли в комнаты хозяйки.

— Где радиостанция? — тихо, почти доверительно спросил Крамергоф.

— Какая радиостанция? — Дементьев рассмеялся с обезоруживающей искренностью. — Честное слово, мне кажется, что все это происходит во сне.

— Та самая радиостанция, — все так же тихо продолжал Крамергоф, — появление которой в эфире было зафиксировано ровно через пять минут после того, как вы вошли в свою квартиру, и по сигналу которой наперехват транспортов, наверно, уже вылетели русские бомбардировщики.

— Самое дикое недоразумение из всех, что я

пережил! — возмущенно произнес Дементьев.

Взгляд Крамергофа остановился на раскрытом чемодане. Дементьев замер.

— Возможно, конечно, что я подал сигнал при помощи грязного белья… — Дементьев кивнул на чемодан и засмеялся. — После того, что произошло, вам остается только убедить меня и в этом.

Крамергоф ногой придвинул к себе чемодан и выбросил из него все вещи, брезгливо беря их двумя пальцами. Дно чемодана оголилось, Крамергоф нагнулся и постучал по нему пальцами. Видимо, звук вызвал у него подозрение. Он громко крикнул:

— Прошу сюда!

Все остальное измерялось секундами. Дементьев вскочил со стула, наотмашь ударил Крамергофа по виску, и тот упал на пол. Двумя прыжками Дементьев достиг окна, вскочил на подоконник, спиной проломил раму и прыгнул во двор.

19

Вот уж верно, что у смелого солдата воинское счастье в кармане. Дементьев упал на ноги и, еле удержав равновесие, ринулся за выступ дома.

И тут же из окна загремели выстрелы.

Бежать на улицу нельзя: там наверняка поставлены люди гестапо.

Дементьев заблаговременно изучил двор своего дома. Он знал, что в левом его углу, в узком проходе между домами, где хранятся железные банки для мусора, есть забор, за которым начинается соседний двор с выходом на параллельную улицу.

Дементьев побежал туда, но в это время хлестнули два выстрела с противоположной стороны двора. Жгучая боль ударила Дементьева в спину.

В туннеле ворот послышались голоса, топот сапог. Дементьев продолжал бежать. Позади беспрерывно стреляли, но в предрассветном мраке гестаповцы плохо видели бегущего.

Вот и проход между домами. Дементьев вскочил на мусорные банки, с разбегу ухватился за верх забора, хотел подтянуться, но страшная боль в плече сбросила его с забора обратно на банки. Он присел и пружинным прыжком, помогая себе левой рукой, взвалился на забор и перекувырнулся на соседний двор. Через ворота он выбежал на параллельную улицу и побежал направо к центру города. Он знал, что неподалеку есть узенькая кривая улочка. Скорей туда!

Сутулясь от боли в плече, Дементьев бежал по извилистой улице, понемногу успокаиваясь: погони позади не слышно.

Почему он бежал к центру города? Где он там надеялся укрыться? Не лучше ли было бежать к окраине?

Но где-то там, в центре, была явочная квартира Павла Арвидовича. Не столько рассчитывая умом, сколько чувствуя сердцем, Дементьев бежал именно туда — ведь во всем большом городе только там были его друзья, на помощь которых он мог рассчитывать.

Может быть, в эту минуту он забыл приказ, запрещающий ему подвергать риску явочную квартиру… Или, может быть, ему вспомнились слова полковника Довгалева: «Только по самой крайней необходимости…» Нет, нет и нет!

Дементьев был из тех людей, для которых военный приказ — святое и непреложное дело чести.

Поэтому, хотя он и бежал по направлению к явочной квартире, он прекрасно знал, что туда не зайдет, и поэтому все время лихорадочно думал: куда бежать дальше? Где скрыться?

Довольно быстро светало. Любой случайный человек заподозрит неладное, увидев бегущего немецкого офицера без фуражки, в кителе, вся

спина которого набрякла кровью. Кроме того, Дементьев знал, что сейчас на ноги будет поднята вся городская комендатура. Словом, в его распоряжении были минуты. И тут Дементьев вспомнил чистенького старичка — смотрителя музея, того самого, который так неумело пытался скрыть подмену ценных картин.

Решение принято. Дементьев бежит в музей.

К громадному зданию музея во дворе лепилась маленькая пристройка, в которой и жил смотритель.

Вбежав во двор, Дементьев несколько минут прислушивался: нет ли погони? На улице было тихо. Дементьев поднялся на высокое крыльцо пристройки и нажал кнопку на двери. Где-то в глубине домика еле слышно прозвучал звонок. Тишина. Но вот Дементьев заметил, как в угловом окне шевельнулась занавеска. Он позвонил еще раз.

Голос из-за двери:

— Кто там?

— Откройте, ваши друзья, — по-русски сказал Дементьев.

— Скажите, кто?

— Советский офицер. Откройте скорей, за мной гонятся…

Несколько минут за дверью было тихо. Потом разноголосо залязгало железо многочисленных запоров, и дверь открылась. Перед Дементьевым стоял смотритель музея, в халате, со свечой в руках. Он сразу узнал Дементьева и отпрянул от двери. Свеча погасла.

— Заприте дверь, — тихо, но властно приказал Дементьев.

Старичок послушно запер дверь.

— Зажгите свет!

Старичок долго искал по карманам спички и наконец зажег свечу.

— Извините меня, но я действительно советский офицер, и я попал в беду. Ранен. За мной — погоня.

Старичок молчал, не сводя с Дементьева округлившихся глаз. Он явно не верил Дементьеву.

— Я говорю правду. Должен сказать вам, что, вероятно, мне удалось спасти ваши картины. Ящики с ними остались в порту.

Но еще долго смотритель музея ничему не верил и молчал. Дементьеву пришлось рассказать о себе немного больше, чем он имел право сделать.

Постепенно старичок приходил в себя и, кажется, начинал верить тому, что слышал.

— Спрячьте меня! — попросил Дементьев. — Мне больше от вас ничего не надо. Только спрячьте и помогите мне сделать перевязку.

Смотритель музея помолчал, потом взял со стола свечу:

— Идемте.

Оказалось, что из пристройки был прямой ход в музей.

Смотритель провел Дементьева в подвал-хранилище и, указав ему укромное место за грудой ящиков, ушел.

Вскоре он вернулся, принес бинт и целый сверток разных лекарств.

Рана оказалась не очень опасной. Пуля по касательной ударила в нижнюю часть правой лопатки, раздробила ее и, уже обессиленная, неглубоко ушла под кожу.

Смотритель при помощи ножниц сам извлек пулю, залил рану йодом и искусно забинтовал.

— Кушать хотите? — спросил он, закончив перевязку.

— Нет. Буду спать. Самое лучшее для меня сейчас — сон. Если можно, приготовьте мне какую-нибудь штатскую одежду.

— Хорошо.

— Сюда никто не придет?

— Нет. Музей закрыт… с вашей помощью… — Старичок чуть заметно улыбнулся.

— Ничего. Скоро откроете, — сказал Дементьев и тоже улыбнулся.

Три дня пролежал Дементьев в подвале музея.

Смотритель часами просиживал возле него, и они беседовали обо всем на свете.

Рана заживала плохо. По ночам Дементьева изнуряла высокая температура. На четвертый день ему стало совсем плохо. Иногда он чувствовал, что теряет сознание.

Смотритель еще в первый раз предложил Дементьеву позвать своего друга, профессора-хирурга, уверяя, что этот человек надежный. Дементьев наотрез отказался, полагая, что, чем меньше людей будут знать о его существовании, тем лучше. Но теперь он решил согласиться.

К концу дня смотритель привел угрюмого, костлявого человека с наголо бритой головой. Не поздоровавшись, он сел возле Дементьева на ящик, поставил на пол маленький чемоданчик и взял руку раненого.

— Та-ак… — произнес он протяжно и начал разбинтовывать плечо. — Та-ак, — снова произнес он, осмотрев рану, и затем сказал что-то смотрителю по-латышски.

Тот поспешно ушел. Профессор достал из чемоданчика инструменты. Дементьев лежал ничком и только слышал отрывистое звяканье стали.

Вернулся смотритель, неся кастрюлю с кипятком.

Продезинфицировав инструменты, хирург неожиданно добрым голосом попросил:

— Пожалуйста, потерпите немножко.

Но терпеть пришлось долго: обработка раны длилась больше часа. Наркоз не делался, и Дементьев от боли несколько раз терял сознание. Но вот боль начала заметно ослабевать. Дементьев почувствовал опустошающую усталость и незаметно для себя заснул.

20

Два дня полковник Довгалев не докладывал командованию о том, что рация Дементьева в эфире не появляется. Полковник сперва не хотел и думать, что с Дементьевым случилось что-нибудь плохое. Ведь уже был у него один перерыв в связи — правда, меньше, но был. А потом, длительная работа с военными разведчиками научила полковника терпеливо ждать даже тогда, когда кажется, что ждать уже нечего.

Пошел третий день молчания дементьевской рации.

Довгалев утром зашел в аппаратный зал радиосвязи. Дежурный оператор встал и, не снимая наушников с головы, воспаленными от бессонницы глазами смотрел на полковника. Смотрел и молчал. Довгалев круто повернулся и, ничего не спрашивая, вышел из зала. Придя в свой кабинет, он решил: «Буду ждать до двенадцати часов. Если ничего не изменится, доложу командованию».

Довгалев не знал, что командующий еще вчера сам справлялся о Дементьеве, но не заговаривал об этом с Довгалевым. Командующий догадывался, как тяжело переживает полковник беду каждого своего разведчика.

Ровно в двенадцать Довгалев поднял телефонную трубку и попросил соединить его с командующим.

— Докладывает полковник Довгалев. Третьи сутки мы не имеем связи с Н.

— Ну и что же? — весело отозвался командующий. — Надо думать, что ваш человек находится там не в идеальных условиях. Ему, наверно, мешают работать. Но и то, что он уже сделал, прекрасно… Я это к тому: не собираетесь ли вы устроить своему человеку взбучку за перерыв в

связи? Не надо этого делать.

— Я все это понимаю, — устало сказал Довгалев. — Беда в том, что вражеские транспорты уходят безнаказанно.

— Почему — безнаказанно? С помощью вашего человека наши летчики уже приноровились к перехвату. Да и ночи стали короче. Если будут новости, звоните.

Полковник Довгалев был, конечно, благодарен командующему за этот разговор, но тревога его меньше не стала. Полковник слишком хорошо знал Дементьева, чтобы теперь не быть почти уверенным, что только большая беда могла помешать разведчику продолжать работу. Мучительным было сознание бессилия помочь Дементьеву. Просто невыносимо было думать о потере Дементьева в эти последние дни войны.

Прошел еще один день. Радиостанция Дементьева молчала. А ночью Довгалев получил радиограмму от другого своего человека в Н., от человека, который больше двух месяцев не появлялся в эфире и вдруг объявился. И в его радиограмме Довгалев обнаружил весть о Дементьеве.

«Здесь разоблачен капитан Рюкерт.

Его считают русским шпионом. Бежал во время ареста. Полагают — ранен. Ведется тщательный поиск».

Первая мысль у Довгалева — приказать этому человеку помочь Дементьеву. Но нет, ничего из этого не выйдет. Человек этот работает техником на телефонном коммутаторе города. Вероятно, ему всего-навсего удалось подслушать разговор гестаповцев. Да и как он может в большом городе найти прячущегося, притом неизвестного ему человека?

Довгалев доложил об этой радиограмме командующему. Тот помолчал и сказал:

— Будем верить, что Дементьев спрятался надежно. Будем верить в лучшее. Поздравляю вас, полковник, с Первым мая! Между прочим, англичане сообщают по радио, что Берлин капитулировал…

21

Дементьев потерял счет дням и ночам. О том, что наступило Первое мая, ему сообщил смотритель музея. По случаю праздника он принес в подвал бутылку вина, и они распили ее.

— Да здравствует Первое мая! — торжественно произнес Дементьев, выпил и удивленно осмотрелся.

Подвал с низким сводчатым потолком. Кругом — груды ящиков. Скупой блеск пустых золоченых рам. В углу — фигура рыцаря в латах. Все это озарено блеклым, качающимся огнем свечи. Да, не думал, не гадал Дементьев, что в жизни его случится такой Первомай!

— Я слушал Лондон, — тихо сказал смотритель музея. — Они сказали, что Берлин пал.

Дементьев верил и не верил тому, что услышал, по лицу его текли слезы.

— Чего вам-то плакать? — осевшим голосом спросил смотритель. — Пусть плачут они.

Дементьев, конечно, понимал, что капитуляция фашистской столицы — огромное событие войны, но все-таки это еще не конец ее.

Все дни болезни Дементьев тяжко страдал от сознания, что он бездействует; почти каждую ночь ему виделось ночное море, в котором бесшумно двигались, быстро исчезая, черные силуэты транспортов.

А теперь Дементьев знал: Берлин капитулировал. В этом есть кроха и его воинского труда.

От сознания этого непроизвольно потекли из

его глаз слезы, слезы радостного облегчения и утешения души солдата, для которого всегда самым святым была его ратная работа на войне…

8 мая 1945 года загнанные в мешок гитлеровские войска капитулировали.

В ночь на 10 мая советские войска вступили в город Н.

С первыми частями мотопехоты в город приехали полковник Довгалев и его люди. На площадях города уже формировались колонны пленных.

Часть подчиненных Довгалеву офицеров разбирала уцелевшие архивы гестапо. Другие офицеры наблюдали за регистрацией пленных.

Это было очень ответственным делом, так как многие гестаповцы, облачившись в солдатскую форму, стремились раствориться в одноликой массе пленных. Но они не пользовались любовью и у гитлеровских солдат.

То и дело к советским офицерам обращались пленные немецкие солдаты с просьбой проверить затесавшихся в их группы незнакомцев.

Так попался и гестаповец Крамергоф, тот самый, который пытался арестовать Дементьева.

Начиная допрос Крамергофа, Довгалев не знал, что перед ним гестаповец, наиболее полно осведомленный о судьбе Дементьева.

Это уже выяснилось в ходе допроса… Видимо, в панике капитуляции, а может быть, и с целью маскировки, Крамергоф потерял очки, и теперь, сидя перед Довгалевым, он близоруко щурил глаза и, нервничая, все время делал автоматический жест рукой, точно хотел поправить или снять очки.

Первые тридцать минут допроса Крамергоф отвечал кратко, явно не желая входить в подробности своей биографии и своей деятельности. Он сказал, что его звание — капитан, что он работал здесь в качестве офицера по наблюдению за эвакуацией.

Довгалев делал вид, что всему этому верит, а на самом деле был убежден, что допрашиваемый врет, что он назвался не своим именем и вообще рассказывает басни.

Постепенно разговор расширялся, и Крамергоф начал вязнуть в сетях, хитро разбрасываемых Довгалевым.

— Значит, вы отвечали за эвакуацию войск?

— Нет… Я был всего лишь одним из офицеров в довольно многочисленной группе.

— Кто возглавлял эту группу?

— Полковник Кунгель.

— Где он теперь?

— Не знаю. Он был арестован некоторое время назад.

— За что?

— Ваши самолеты каждый день топили уходившие транспорты. Кто-то должен был за это ответить.

— Почему пострадал именно Кунгель?

— Он отвечал за эвакуацию.

— И вам удалось доказать, что Кунгель был связан с нашей авиацией?

— Нет, не удалось... — Крамергоф никак не реагировал на слова «вам удалось». Он просто не заметил этого подвоха в вопросе русского полковника и продолжал. — Виноват, конечно, был кто-то другой. Когда Кунгель был арестован и предан суду, здесь был разоблачен некий капитан Рюкерт. Он был взят вместе с советской радиостанцией.

Довгалеву стоило огромных усилий не выдать своего волнения.

— Этот разоблаченный капитан Рюкерт во всем сознался? — небрежно спросил Довгалев.

Гестаповец помолчал и ответил:

— Он бежал.

— Бежал, будучи арестован? Невероятно! И совсем не похоже на гестапо.

— Он был ранен. Найдены следы крови. Можно полагать, что он забился куда-нибудь и умер от раны.

— Откуда вам известны все эти подробности? — Довгалев в упор смотрел Крамергофу в глаза.

— Я… — Крамергоф на мгновение замолчал.

— Да, вы… Откуда вы все это узнали? Вы же занимались эвакуацией, а не ловлей диверсантов! Надеюсь, вы не будете утверждать, что о поимке Рюкерта сообщалось в печати?

— Видите ли… — начал выпутываться Крамергоф, — мой друг работал в гестапо, и он рассказал мне.

— Фамилия друга? — мгновенно спросил Довгалев.

Крамергоф сразу не ответил.

— Придумав друга, — заметил Довгалев, — надо было сразу придумать ему и фамилию. Для работника гестапо такая оплошность непростительна.

— Почему — гестапо?

— Потому… Мы с вами взрослые люди. Пора нам заговорить серьезно, — сказал Довгалев спокойно и уверенно. — Вы участвовали в операции против капитана Рюкерта?

— Нет.

Довгалев улыбнулся:

— Тогда вам ничего не остается, как сослаться на печать.

— Я же сказал вам о моем друге — майоре Фальберге.

— Поздно. Майору Фальбергу уже совсем не к чему появляться на белый свет, тем более из небытия.

В это время дверь открылась, и в комнату вошел мужчина в штатском, явно не по росту костюме.

Довгалев смотрел на вошедшего и верил и не верил, тому, что видел. Да, это был Дементьев! Только он был с усиками и с нелепой шкиперской бородкой золотистого цвета.

— Очень хорошо, товарищ Дементьев, что вы зашли, — спокойно сказал Довгалев, так спокойно, будто Дементьев вышел из его комнаты полчаса назад. — А то вот моему собеседнику приходится выдумывать всякую всячину. Проходите, садитесь.

Дементьев сразу все понял, прошел к столу и сел напротив Крамергофа. Тот мельком посмотрел на Дементьева и невольно отшатнулся.

— Надеюсь, больше не будете заниматься сочинительством? — обратился к гестаповцу Довгалев и нажал кнопку звонка. (В комнату вошел конвойный.) — Идите, подумайте. Через час мы

поговорим с вами начистоту. Согласны?

— Согласен… — Крамергоф не сводил глаз с Дементьева.

Гестаповца увели.

Довгалев напряженно ждал, пока закрылась дверь, а потом вскочил, опрокинув кресло, и бросился к Дементьеву:

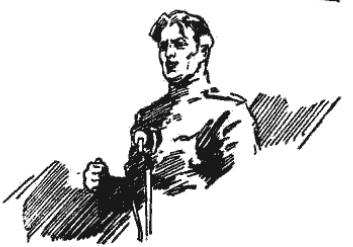
— Жив!

Больше Довгалев не смог сказать ни слова. Он обнял Дементьева, прижал его к себе, как отец сына, вернувшегося домой после долгой и опасной разлуки. Вот так они и стояли молча, крепко обнявшись, два солдата, для которых высшее счастье — исполненный воинский долг.

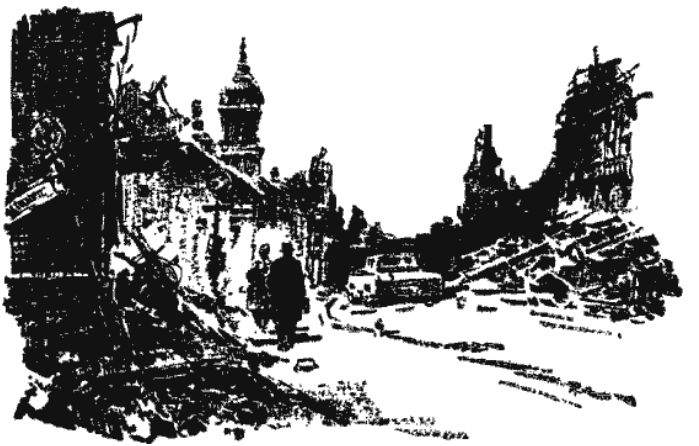




Ответная операция



ОТВЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ



Часть первая
1

Война — позади.

Берлин пережил три тяжелые послевоенные

зимы и готовится к четвертой. Но выглядит он почти так же, как в мае сорок пятого года — сильно разбит и весь обуглен. Обрушившееся на него пламя гнева народов было яростным и беспощадным…

Кроме того, Берлин живет такой жизнью, какой не было ни у одного города нашей планеты за всю историю человечества. Он рассечен на четыре части, и в каждой — своя военно-оккупационная власть и свои порядки. Хотя считалось, что жизнь города объединяет Межсоюзническая комендатура из военных представителей СССР, Америки, Англии и Франции, на самом деле уже давно комендатура превратилась в место бесконечных и безрезультатных споров между представителями советского командования и представителями Запада. И уже давно стало понятно, что Америка, Англия и Франция не хотят наладить объединенную жизнь Берлина. Здесь в точности повторялось то же, что происходило в Контрольном Совете, призванном управлять жизнью всей Германии и где представители Запада, все меньше стараясь это скрыть, добивались окончательного раскола Германии на две части.

Разъединение страны уже проявлялось и в самой жизни немцев. В советской оккупационной

зоне делалось все для того, чтобы немецкий народ прочно вступил на путь мирной демократической жизни. В то же время три западные оккупирующие державы делали все, чтобы превратить Западную Германию в свою военно-политическую базу для авантюр против миролюбивой политики Советского Союза и против демократической жизни Восточной Германии.

Осень сорок восьмого года, когда начинаются события нашего рассказа, была особенно напряженной. Западные державы уже перестали хоть как-нибудь маскировать свои цели. «Маски сорваны! — писала в это время одна западногерманская газета. — Запад открыто вступил в политическую войну с Востоком...»

2

Гром среди ясного неба вызвал бы меньшее удивление, чем это событие. Лейтенант Кованьков, Алеша Кованьков бежал из Восточного Берлина в Западный и попросил там политического убежища. Это было невероятно. В это невозможно было поверить. Ясно было одно — с лейтенантом что-то случилось.

В штабе расположенной в Берлине советской

воинской части стол Кованькова стоял пустой. В полдень офицеры штаба, сгрудившись у приемника, слушали повторное сообщение западноберлинской радиостанции о побеге советского офицера Алексея Кованькова. Оттого, что диктор говорил на плохом русском языке, еще труднее было поверить в то, что он сообщал.

Передача окончилась. Заиграл джаз. Все смотрели на пустой стол Кованькова.

— Не верю. Не верю, и все, — тихо произнес капитан Радчук. Он был не только непосредственным начальником, но и другом Кованькова. Жили в одной квартире.

— Он ночевал дома? — спросил майор Звягинцев.

— Часов до девяти мы играли с ним в шахматы...— Капитан Радчук сморщил лоб, припоминая, как все было. — Потом он сказал, что хочет снести прачке белье... Возился в передней с чемоданом. Кто-то позвонил ему по телефону... Вскоре я услышал, как хлопнула дверь.

— Он ушел с чемоданом? — быстро спросил Звягинцев.

— Не знаю. Я в это время уже лежал в постели. Болела голова, я принял пирамидон и вскоре уснул.

— А утром? Вы же всегда на работу ходили вместе.

— Обычно мне приходилось его будить. А тут он еще вечером предупредил меня, что встанет завтра очень рано. Сказал, что ему надо сходить за посылкой в гостиницу, где остановился приехавший из Москвы земляк.

Майор Звягинцев пожал плечами:

— Странно… очень странно.

— Не верю, не верю, и все, — упрямо повторял Радчук. — Алеша Кованьков убежал, попросил убежища! Чушь!

— И все же факт остается фактом: его нет. — Лейтенант Уханов кивнул на пустой стол Кованькова. — Ведь всего год, как он у нас в штабе. Разве мы его так уж хорошо знали? Как говорит майор Звягинцев, анкета — это еще не примета.

— Да бросьте вы, ей-богу! — возмутился Радчук. — «Анкета, анкета»… Вы же знаете, что он просто хороший парень, всей душой — советский. У него невеста в Москве…

— Вековать этой невесте в девках, — нехорошо усмехнулся Уханов.

Не до работы было в этот день. Все в штабе только делали вид, что работают. В два часа дня майор Звягинцев вызвал к себе всех офицеров

отдела, в котором работал Кованьков.

Кроме майора, в кабинете были две стенографистки и незнакомый человек — коренастый, белобрысый, в хорошо сшитом штатском костюме.

— Поговорим, товарищи, о Кованькове. Скажем все, что мы о нем знаем и думаем. — Майор кивнул на стенографисток. — Под стенограмму поговорим. Так надо… Кто первый? Может, вы, Радчук, как его друг, так сказать?

— Почему «так сказать»? — Радчук встал. — Я действительно друг Кованькова, и мне нечего прибавить к тому, что вы уже слышали.

Стенографистки, держа наготове ручки, бесстрастно смотрели в свои тетради. Незнакомый штатский, сидевший в стороне на диване, сказал:

— Дайте, капитан, общую характеристику Кованькову.

— Лейтенант Алексей Гаврилович Кованьков, — заговорил Радчук скучным, рапортующим тоном, — двадцать третьего года рождения, комсомолец, верней — уже кандидат партии, является, на мой взгляд, политически развитым и хорошо подготовленным к службе офицером. Лейтенант Кованьков…

— Не то, не то! — Человек в штатском поморщился. — Вы, если можно, по-человечески.

Радчук уловил в его просьбе дружеское участие к судьбе лейтенанта и заговорил совсем по-другому. Из его слов вырастал знакомый всем облик Алеши Кованькова, которого в штабе успели полюбить и за его добросовестную работу, и за веселый нрав, и за то, что он всем был хорошим товарищем. Родился он в Москве, в семье учителя. Окончив десятилетку, пошел в военное училище. Затем получил назначение в оккупационные войска. Хорошо владел немецким языком и потому сразу был взят в штаб, в отдел, ведающий связями с временными демократическими органами управления одного из районов Восточного Берлина…

Радчук кончил говорить и попросил разрешения сесть.

— Одну минуточку, товарищ капитан, — снова обратился к нему человек в штатском. — Вы сказали, что Кованьков не так давно подружился с немецкой девушкой. Вы ее знаете?

— Знаю, — немного смутясь, ответил Радчук. — Ее зовут Рената.

— В каких отношениях был с ней Кованьков?

— В очень хороших, — быстро ответил Радчук.

— Это не ответ.

— Повторяю — в очень хороших, и это самый точный ответ на ваш вопрос.

— Не был ли Кованьков влюблен в эту Ренату?

Радчук подумал и ответил:

— По-моему, к этому шло.

— Но вы только что говорили, что у Кованькова в Москве невеста?

— Совершенно верно, но… — Капитан на секунду замялся. Разозлившись на свое замешательство, он энергично продолжал: — Это, товарищи, очень сложное дело. Согласитесь, что третий человек не может быть достаточно хорошо об этом осведомлен. Кованьков однажды поделился со мной… Я не знаю, имею ли я право…

— Имеете, — твердо произнес штатский… — Больше того, обязаны!

— Говорите, говорите, — попросил майор Звягинцев.

— Когда Кованькова назначили сюда, невеста потребовала, чтобы он подал рапорт об отмене приказа по семейным обстоятельствам, и предложила тут же оформить брак. А Кованьков решил иначе. Он подумал: не дело, чтобы семейная жизнь офицера начиналась с отмены воинского приказа. Он уехал в Берлин. Позже услужливые

товарищи написали ему из Москвы, что его невеста там не скучает. Да и сама она тоже написала ему об этом, я это письмо читал. Кованьков показывал. Очень нехорошее, очень злое письмо… Ну вот… А полгода назад он познакомился с Ренатой. Она работает, кажется, в библиотеке. Меня он с ней познакомил тоже примерно полгода назад. Она показалась мне симпатичной и серьезной девушкой.

— От других он это свое знакомство скрывал?

— Очевидно. Меня он, например, просил никому об этом не говорить. Вы же знаете, такие дела у нас не поощряются…

— У меня вопросов больше нет.

Потом говорили другие. Все они отозвались о Кованькове хорошо.

Машинистка отдела Галочка, говоря, так разволновалась, что на глазах у нее выступили слезы:

— Алеша был чудесный, ну просто чудесный… Прямо безобразие думать о нем плохо… Мы… — Она не договорила, выхватила из сумочки платок и прижала его к глазам.

— Если можно, без этого… без сырости, так сказать… — тихо произнес майор Звягинцев.

3

Офицеры вышли из кабинета. Майор Звягинцев и штатский остались вдвоем. Несколько минут они молчали.

— Ну, что вы скажете, товарищ Рычагов? — спросил наконец майор.

— Дело сложное… — задумчиво произнес Рычагов, вставая с дивана. — Запишите на всякий случай мой телефон. Добавочный 33-07.

— Дал вам что-нибудь этот разговор?

— Конечно. Известно, по крайней мере, что за человек этот ваш Кованьков.

Вскоре Рычагов уже докладывал о том, что произошло в кабинете майора Звягинцева, своему начальнику — полковнику Семину. Полковник, грузный мужчина с болезненно-отечным лицом, слушал внимательно, изредка утвердительно кивал крупной, до блеска выбритой головой. Когда Рычагов закончил доклад, полковник долго думал, потирая голову ладонью, потом сказал:

— История любопытная, Рычагов. Припомните прежние побеги. Шелыганов — морально разложившийся тип. Бунчук — просто вор, который, очистив полковую кассу, убежал туда, где нет

нашей милиции. Крупников — долго и искусно скрывавшийся враг советского строя. А сейчас, судя по всему, мы имеем дело с парнем хорошим. Наверняка здесь похищение. При развертывании диверсионной деятельности в восточной зоне им очень ценно заполучить нашего, прилично осведомленного офицера…

— Настораживает то, что тут замешана женщина, — сказал Рычагов, — как и в случае Шелыганова…

— Я помню, помню… — Полковник Семин помолчал. — Но почему их радио так быстро оповестило мир об этом лейтенанте? Помните, даже на жулика и разложенца Шелыганова им пришлось потратить неделю, чтобы заставить его делать то, что им надо. А тут хороший парень, и вдруг так быстро с ним сладили… В общем, или товарищи Кованькова — шляпы и его не знают, или… похищение.

— Но в случаях похищений они, как правило, об этом не сообщали.

— И все же, мне кажется, что этот лейтенант не бежал. Так или иначе, надо срочно произвести дальнейшее расследование этой истории и разработать план наших ответных действий. Помните, Кованькова могут увезти в глубь Западной Гер-

мании, и тогда все будет значительно труднее. Я надеюсь на вас, Рычагов. Слышите?

— Я постараюсь, товарищ полковник. Разрешите идти?

Остаток дня Павел Рычагов просидел за картотекой, изучая дела, связанные с явными и мнимыми побегами советских военнослужащих в западную зону Германии. Тогда, когда речь шла о явном побеге, все было ясно. Подлец, морально разложившийся человек, тяготился службой в армии, и он умом, а иногда и инстинктивно приходил к мысли, что там, на Западе, ему будет лучше. И первые три-четыре месяца ему действительно там нравилось. Его портреты печатались в газетах, он выступал по радио, его атаковали корреспонденты. Наконец, его обильно кормили и поили. Но затем обычно все кончалось одинаково — его выбрасывали на задворки жизни, как вышвыривают на помойку выжатый лимон. А иногда и уничтожали…

Рычагов вынул из кармана фотографию лейтенанта Кованькова. На него смотрел веселый паренек с черными густыми бровями, под которыми лукаво блестели немного монгольские, светлые глаза. Лейтенант, снимаясь для личного дела, наверно, старался быть серьезным, а все же

характера спрятать не смог. В некотором несоответствии с веселыми, лукавыми глазами была нижняя часть лица лейтенанта — грубо и резко высеченная, особенно рот, с двух сторон точно отчеркнутый волевыми складками. «Где-то ты сейчас, парень?» — Рычагов вздохнул и пододвинул к себе папку с делами о побегах мнимых. Здесь слова «побег» не было. Оно заменялось другими: «Вероятное похищение». В этих делах точно установленным бывал только самый факт исчезновения человека. Узнать же, что с этим человеком случилось, было очень трудно.

Просматривая дела, Рычагов запомнил, что в нескольких донесениях нашей разведки промелькнула фамилия майора Хауссона. Вообще-то фамилия эта была известна Рычагову. Хауссон был один из опытных работников американской разведки в Германии.

В Западном Берлине он появился сразу после окончания войны. Наша контрразведка обратила тогда внимание на майора, называвшего себя уполномоченным Красного Креста. Под предлогом розыска находившихся в немецком тылу американских военнослужащих майор рыскал главным образом в районах расположения советских войск.

Когда майору намекнули, что он ищет своих соотечественников не там, где они могут находиться, уполномоченный Красного Креста мгновенно исчез. Но фотографии майора нашли свое место в аккуратной картотеке.

Вскоре было установлено, что майор перестал интересоваться судьбой своих соотечественников и, сидя в Западном Берлине, занимается организацией шпионажа в советских оккупационных войсках. Одной из его постоянных обязанностей стала обработка перебежчиков из восточной зоны.

Рычагов всматривался в фотографию Хауссона. Сухое энергичное лицо с ямами глазниц, такими глубокими, что глаз нельзя рассмотреть. Реденькие, тщательно приглаженные волосы. Майор снят за столиком — очевидно, в кафе или ресторане. Рычагов перевернул фотографию и прочел:

«Кафе «Орион». Напротив майора Хауссона сидит лицо неизвестное».

Рычагов улыбнулся: на фотографии вообще никакого «лица» не было, только силуэт ушастой головы, одно покатое плечо — и все.

В десятом часу вечера Рычагов встал из-за стола, потянулся, потер кулаками уставшие глаза и

собрался домой.

Он шел по темным пустынным улицам. Берлин спал. На стенах домов белели плакаты, звавшие немцев строить свое миролюбивое, демократическое государство. Холодный ветер гнал по асфальту сухие листья… Вдруг над западной частью Берлина заметались лучи прожекторов, из черного неба на город обрушился рев самолетов. Рычагов усмехнулся: знакомая картина — заработал «воздушный мост…»

Вот и этот так называемый «воздушный мост» тоже был частью политической войны Запада против Востока. С целью дезорганизации экономики восточной зоны западные оккупирующие державы ввели у себя собственную валюту. В Берлине начали одновременно действовать два вида денег. Это породило страшную путаницу в ценах, выгодную спекулянтам. В Восточный Берлин хлынули банды спекулянтов. А когда советские оккупационные власти, чтобы приостановить эту экономическую диверсию, ввели некоторые ограничения на дорогах, ведущих в западные зоны, немедленно был поднят провокационный вой о красной блокаде Берлина. И якобы для спасения жителей западного сектора от голода американцы организуют доставку туда

продовольствия и угля на самолетах. «Воздушный мост» — так они назвали эту свою авантюру. Именно авантюру, ибо берлинцы продолжали как ни в чем не бывало кормиться за счет советской зоны. А несколько позже стало известно и другое: «мост» действовал в обе стороны — на этих же самолетах из Германии вывозились ее национальные ценности…

Рычагов несколько минут наблюдал карнавальную свистопляску прожекторов. Она предназначалась для жителей Берлина: смотрите, господа немцы, как мы стараемся ради вас!..

Рычагов плюнул и пошел дальше. И снова стал думать о майоре Хауссоне. Ведь он сейчас где-то совсем неподалеку. Может быть, он в эту минуту напряженно смотрит в лукавые глаза лейтенанта Кованькова и ждет его ответа на заданный вопрос.

Рычагов непроизвольно зашагал быстрее.

4

Лейтенант Кованьков в это время спал. Да, он спал и даже видел какой-то приятный сон. На губах у него смутно вздрагивала улыбка. Но вот улыбка погасла, густые брови сдвинулись, и на

лице застыло недовольное выражение. Веки вздрогнули и открылись, сперва чуть-чуть, потом широко. Кованьков приподнял голову, осмотрелся и медленно опустился на подушку… Главное, не забыть все, что случилось, ничего не забыть, ни малейшей детали…

Итак, в девять часов вечера он собрался снести прачке белье. В последнюю минуту, когда он уже надел шинель, позвонила Рената и предложила побродить часок по городу. Сказала: очень хороший вечер… Вечер, впрочем, был не таким уж хорошим. Улицы продувал пронзительный холодный ветер, он колко хлестал в лицо, хлопал сорванными афишами…

Кованьков отнес чемодан с бельем к прачке и встретился с Ренатой. Они бродили по быстро пустеющим улицам. В их разговоре не было ничего такого, что стоило бы вспомнить в связи с дальнейшими событиями этого вечера. Говорили о книгах, о звездах, о спорте, о кинофильмах. Молчали о том, что заставляло их вдвоем бродить по городу в этот поздний неуютный вечер.

Они пересекли Шлоспарк, а затем по улицам Шарлоттен и Массовер вышли к станции метро. Через минуту они уже стояли на гулкой платформе подземной станции. Подошел поезд. Они

сели в совершенно пустой вагон и помчались под Берлином. На станции Александерплац вышли из поезда и поднялись на поверхность. Площадь была залита светом. Здесь поздний час еще не чувствовался. Они постояли, наблюдая суетливую жизнь площади.

— Пойдем к реке, — предложила Рената.

— К реке так к реке! — засмеялся Кованьков.

И снова они разговаривали о книгах, звездах и о всяком другом. Всего, о чем говорили, и не вспомнишь. У поворота на Варшавский мост Рената остановилась:

— Вот куда я вас затащила!

— Это же не край света.

— Почти край, — вдруг серьезно сказала Рената и стала смотреть через реку. — На той стороне уже американский сектор. — Она тряхнула головой и спросила: — Знаете, почему я люблю это место?

Кованьков оглянулся — вокруг не было ничего примечательного.

— Здесь в конце апреля сорок пятого года я увидела первый советский танк и первых советских солдат...

У Кованькова защемило сердце. Не успев попасть на войну, он часто с завистью думал о своих старших товарищах по армии, которым выпало

счастье прийти сюда с победой и свободой.

— Увы, меня в том танке не было, — грустно произнес Кованьков.

Рената посмотрела на часы. Кованьков заметил, что она очень взволнованна. Он знал, что под развалинами дома, в который угодила американская фугаска, погибли мать и брат Ренаты, и подумал, что ее растревожило воспоминание… Но сейчас он не мог не подозревать, что Рената волновалась совсем по другой причине.

Вот что произошло дальше. Возле них остановилось такси.

— Рената, здравствуй! — крикнул мужчина, сидевший рядом с шофером.

— Алло! — Рената помахала ему рукой.

Из машины вылезли двое мужчин. Рослые, хорошо одетые. Они поздоровались с Ренатой и чуть удивленно посмотрели на Кованькова. Рената сказала:

— Познакомьтесь, это мой советский друг. А это — друзья по спорту.


WB·37·91
D

Мужчины пожали руку Кованькову и назвали свои имена. Он даже не попытался их запомнить. Да и ясно теперь, что имена он услышал, конечно, не настоящие.

— Долго еще собираетесь стеречь мост? — смеясь, спросил у Ренаты один из мужчин.

— Пожалуй, уже пора домой, — ответила Рената.

— Садитесь, подвезем. Мы после тренировки решили покататься по городу.

— Поедем? — обратилась Рената к Кованькову.

— Можно… — нетвердо ответил он, понимая, что поступает неосторожно.

Кованьков и оба спортсмена сели на заднем сиденье, Рената — рядом с шофером. Машина тронулась. Все молчали. Вдруг сидевший слева от Кованькова спортсмен спросил:

— Вы обращали когда-нибудь внимание на эту церковь?

Кованьков пригнулся, чтобы увидеть церковь, и в это мгновение ему в лицо шмякнулось что-то влажное, остро пахнущее…

Больше он ничего не помнил вплоть до того момента, когда очнулся вот в этой комнате. Сколько он пробыл без сознания, он не знал — часы с руки были сняты. Окон в комнате не

было. На столе стояла большая кружка с черным кофе, на тарелке лежал кусок холодного мяса, на деревянном подносе белела разрезанная на тоненькие ломтики булка. Все это недавно внес и поставил на стол высокий костлявый солдат в американской форме.

— Позовите сюда ваше начальство! — крикнул ему по-немецки Кованьков.

Солдат даже не оглянулся и вышел из комнаты. Щелкнул замок. Глухая, непроницаемая тишина. Кованьков подбежал к двери и принялся колотить в нее кулаками и ногами. Дверь была массивной, точно вылитой из чугуна. Удары вызывали жалкий тихий звук. Кованьков снова лег и незаметно забылся в странном полусне. Наверно, еще действовало снотворное. Болела голова, к горлу подступала тошнота…

Очнувшись сейчас, Кованьков чувствовал себя лучше.

— Бандиты! — произнес он громко. — Хотите, чтобы я стал предателем? Не выйдет!

Когда солдат принес еду, Кованьков решил было объявить голодовку, но теперь передумал. Наоборот, надо быть в полной форме. Он встал, подсел к столу, съел немного мяса, выпил кофе, сделал гимнастику и начал ходить по комнате.

Ходил и думал, думал, думал… Неужели Рената участвовала в его похищении? Снова и снова вспоминал он подробности их последней встречи. Да, подозрительного было немало. И все же Кованькову не хотелось в это верить.

5

Разработанный Рычаговым план действий обсуждали уже третий час. В синем от табачного дыма кабинете полковника Семина за длинным столом сидело человек десять. Впрочем, то, что происходило здесь, меньше всего было похоже на обсуждение. Скорее это был коллективный экзамен Рычагову. Он изложил свой план, и теперь со всех сторон сыпались вопросы. На одни вопросы Рычагов отвечал мгновенно, уверенно. После других долго думал. Все терпеливо ждали. Были и такие вопросы, на которые Рычагов ответить не мог. Тогда он, сердито уставясь в свои бумажки, говорил:

— Об этом я не подумал…

Завершая обсуждение, полковник Семин сказал:

— План хороший, смелый и умный. То, что в нем неясно, нужно доработать. Кого вы, Рычагов,

просите в свою оперативную группу?

— Субботина и Посельскую, — не задумываясь, ответил Рычагов.

— Ну что же… Утвердим, товарищи, такой состав?

Кто-то сказал:

— Учти, Рычагов, что Посельскую надо сдерживать.

— Хорошо. — Рычагов улыбнулся. Он прекрасно знал, чем вызвано это предостережение.

— Меня очень тревожит, — сказал Семин, — последнее сообщение западного радио. Будто Кованьков, боясь расправы над ним с нашей стороны, просит не устраивать пресс-конференции и не допускать к нему журналистов. Не увезли ли они его из Германии? А может, тут скрыто и нечто худшее…

— Ожидать можно всего, — согласился Рычагов, — но, так или иначе, мы должны найти Кованькова…

Через час оперативная группа уже приступила к работе.

6

Сразу после совещания в кабинет полковника

Семина пришли четверо немцев. Все они были в летах и удивительно походили друг на друга. Все — рослые, неторопливые в движениях, с суровыми, резко прочерченными лицами, с узловатыми, натруженными руками.

Полковник поздоровался с каждым за руку и пригласил всех присесть к столу.

Семин всмотрелся в угрюмые лица немцев и рассмеялся:

— Что это вы все такие мрачные?

Все четверо скупо улыбнулись. Сидевший ближе к Семину седой как лунь немец сказал глуховатым голосом:

— Волнуемся, товарищ полковник. Боимся не справиться с этим заданием партии.

— Справитесь, друзья! Наверняка справитесь. Да и никто, кроме вас, не сможет обеспечить безопасность будущей демократической республики. В отличие от западных держав, мы не собираемся долго оставаться здесь в роли оккупантов и навязывать вам свою волю. Вы уже обсуждаете свою конституцию свободной жизни без капиталистов и помещиков. Скоро она станет законом. Ох и не понравится же это тем, кто орудует на западе Германии!

Седой пригладил ладонью сукно на столе и

сказал:

— Им поперек горла и то, что у нас уже есть… — Он помолчал. — Да, поистине святое дело — безопасность всей нашей новой жизни. Но опыта у нас нет. А у них, — он кивнул через плечо, — и опыт и вышколенные при Гитлере кадры…

— Опыт — дело наживное. Помнится мне, ваш боевой вожак Тельман сказал, что самый лучший опыт обретается в борьбе… — Семин задумчиво улыбнулся. — Насчет опыта могу вам кое-что рассказать. В двадцатом году меня, двадцатилетнего рабочего парня из железнодорожного депо, ввели в кабинет Феликса Дзержинского. Сказали ему: «Вот еще один мобилизованный партией товарищ». Дзержинский поздоровался со мной и говорит: «Садитесь. Сейчас мы поговорим с вами о вашей новой работе». И потом он раз пять начинал этот разговор. Только начнет, или кто-нибудь войдет, или зазвонит телефон. А я все сижу и жду разговора. Вдруг вбегает сотрудник и сообщает, что сейчас по такому-то адресу собрались эсеры-террористы, а послать туда некого. «Как это — некого? — удивился Дзержинский и показывает на меня: — Вот вам прекрасный, смелый и расторопный товарищ. Дайте ему оружие и поезжайте вместе с ним». И мы поехали

и накрыли, как цыплят, пятерых террористов. А дня через три я уже ходил на операции старшим в группе. Потом Дзержинский каждый раз, как увидит меня, смеется: «Ах, товарищ Семин, виноват я перед вами — до сих пор мы не поговорили о вашей новой работе»…

Немцы смеялись, поглядывая друг на друга и на Семина. Седой сказал:

— Мне довелось двадцать пять лет назад быть возле Тельмана. Это было сразу после разгрома гамбургского восстания. Сидим однажды. На душе тяжело. Вдруг Тельман как засмеется! Один он мог так смеяться. И говорит: «Вся эта черная свора не понимает, какой великий урок она нам преподала. Теперь-то в свой час мы будем действовать наверняка, развернутым фронтом, по всей Германии! Будем ломать им хребты и приговаривать: «Спасибо, господа, за академию двадцать третьего года!» — Немец тяжело вздохнул: — Вот если бы Тельман был сейчас с нами…

— Партия с вами, а это значит — и Тельман с вами! — жестко произнес полковник Семин. — И мне хочется напомнить вам еще одно его высказывание: революционер — профессия массовая, а иначе нет и революции. К этому можно добавить: защитник революции — профессия массовая, а

иначе защита ненадежна. Вам партия поручила обеспечить безопасность строительства социализма. И я уверен, с этим действительно святым делом вы справитесь с честью.

— Наше волнение, товарищ полковник, не от трусости, а от понимания ответственности… — Седой сказал это, сурово смотря Семину в глаза. — Мы вот, — он показал на своих товарищей, — еще вчера были рядовыми функционерами партии у себя на заводе. Мы знаем, как обрабатывать металл и как говорить с теми, кто его обрабатывает. Образование мы получали еще при кайзере. Все образование — грамота да таблица умножения.

Семин улыбнулся:

— А у меня данные о вашем образовании почему-то совсем другие. Например, каждый из вас пробыл от десяти до пятнадцати лет в тюрьмах и концлагерях. Это что, неверно? (Немцы засмеялись.) — Семин покачал головой: — Нехорошо, нехорошо, товарищи, скрывать академическое образование!

— Люди, которых мы уже набрали, — улыбаясь, сказал седой, — смотрят на нас, ждут, что мы им скажем, с чего начинать. А мы смотрим друг на друга: с чего начинать?

— Ну, поскольку наша русская пословица тоже утверждает, что «лиха беда — начало», мы вам на первых порах поможем. Мы вот сейчас развертываем одну сложную операцию, которая в конечном счете направлена на защиту вашей жизни. И ваша помощь нам очень пригодится. Пришлите ко мне сегодня вечером человек пять энергичных сотрудников. Мы включим их в нашу операцию. Это для них будет и началом и учебой. Затем мы сделаем так: каждый из вас…

Разговор продолжался.

7

Библиотека помещалась в каменном домике, стоявшем в глубине большого двора. На первом этаже выдавались книги, а весь второй этаж занимал читальный зал.

Наташа Посельская деловой походкой пересекла двор и вошла в библиотеку. В коридоре девушка в синей форменной блузе Союза молодежи, забравшись на стул, прикалывала к стене объявление. Оно оповещало читателей, что с первого по пятое число библиотека будет закрыта по случаю инвентаризации книжного фонда. Кнопки были плохие, гнулись; вдобавок девушке

было неудобно действовать одной рукой.

— Можно вам помочь?

Наташа положила на пол свой маленький портфельчик и подхватила сползавшее со стены объявление. Вдвоем справились с ним быстро. Девушка соскочила со стула.

— Спасибо за помощь.

— Не стоит. Но теперь помогите вы мне: мне нужно увидеть вашу сотрудницу Ренату Целлер.

— О, вам не повезло! Она уже третий день не выходит на работу. Мы думаем, что она заболела.

— А вы не знаете ее домашний адрес?

— Пройдите к директрисе, третья дверь направо.

Посельская постучала в дверь и услышала басовитое «пожалуйста».

Директриса, пожилая женщина со смешными усиками кисточкой возле уголков рта, внимательно смотрела на вошедшую.

— Прошу извинить меня, — Наташа виновато улыбнулась, — тем более что я беспокою вас совсем не по служебному делу. Вы не можете мне дать новый домашний адрес Ренаты Целлер? Я ее школьная подруга, а сейчас приехала из Лейпцига. Она писала мне, чтобы я пришла сюда, а оказывается, она заболела.

Директриса молча вынула из стола клеенчатую тетрадь и отыскала в ней нужную страницу:

— Запишите. Улица Мюритц, дом три, квартира семь.

— Большое спасибо! — Наташа спрятала адрес в портфель.

— Передайте, пожалуйста, Ренате Целлер, что мы обеспокоены ее отсутствием, — сказала директриса. — Это так некстати. Мы — накануне инвентаризации. Попросите ее сообщить мне, сможет ли она выйти на работу к первому числу.

— Обязательно все передам. Если она больна, я сама вам позвоню.

Наташа записала номер телефона директрисы и, еще раз поблагодарив ее, ушла.

Улица Мюритц начиналась возле парка. Наташа, запоминая все, что попадалось ей на пути, медленно прошла мимо дома номер три и направилась в парк. Присев на скамейку, откуда был виден дом, она задумалась… Да, заходить туда, пожалуй, нельзя. Сама Рената Целлер, судя по всему, скрылась, но в квартире могут остаться ее соучастники. И даже умело мотивированное появление Наташи у настороженных людей может вызвать подозрение. Первичные данные об этой квартире лучше получить с помощью

активистов из уличного комитета.

Наташа из автомата позвонила к себе в отдел, вернулась в парк на ту же скамейку и продолжала наблюдать за улицей Мюритц и домом номер три. Конечно, досадно, что возникла эта затяжка. Проще было бы сейчас зайти в квартиру, где жила Рената Целлер, и тут же выяснить все, что нужно. Но Наташа помнила, как полковник Семин, отчитывая ее за один опрометчивый шаг, сказал: «В нашем деле почти как правило: проще — не значит лучше».

По-разному приходят люди в разведку. Наташа пришла так.

По окончании Института иностранных языков она получила назначение в Германию, в советские войска. Здесь ее направили переводчицей в разведывательное управление. В отделе, к которому ее прикомандировали, вскоре заметили, что переводчица обладает живым и острым умом. Она быстро освоилась с новой работой и, в отличие от других переводчиков, выполняла свои обязанности, не оставаясь пассивной к сути дела. Как-то само собой вышло, что работавшие с ее помощью сотрудники стали с ней советоваться, а потом и давать ей несложные поручения, которые она быстро и хорошо выполняла. Через

год Наташа стала оперативным работником и уже не представляла себе, что у нее могла быть какая-нибудь другая профессия.

Во время того же неприятного разговора полковник Семин сказал ей: «Холодный чиновник в нашем деле нетерпим. Каждый должен быть страстно влюблен в свое дело, должен любить его больше всего на свете, больше собственной жизни. Но при этом ум у нас должен оставаться предельно холодным. Первое качество у вас, насколько мне известно, есть, а второго — нет. Будем надеяться, что это придет с опытом. А если не придет, — полковник сделал движение рукой, будто смахнул со стола пыль, — уйдете от нас вы...» Наташа, наверно, на всю жизнь запомнила и эти слова и это небрежное движение руки полковника.

8

Торговля на черном рынке Западного Берлина была в разгаре. Пестрая толпа заполняла небольшую площадь, со всех сторон окруженную руинами. Сквозняки, метавшиеся среди развалин, вздымали холодную белую пыль, над рынком висело бледно-серое марево. Толпа выглядела

странно. Можно было подумать, что взрослые люди затеяли какую-то игру, по правилам которой никто не имел права больше минуты стоять на одном месте. Толпа не растекалась, но внутри нее происходило безостановочное движение. Во всех направлениях сновали спекулянты, вполголоса называя свой товар:

— Имею кофе. На восточные марки.

— Продаю сигареты. Беру восточные марки.

— Покупаю восточные марки.

— Швейцарские часы. Предпочтение деньгам восточным.

Эта внезапно вспыхнувшая массовая любовь спекулянтов к восточной марке никого не удивляла. Все уже знали, как выгодно сбывать эти марки в американские меняльные конторы. Правда, не все спекулянты знали, что они являются участниками широко задуманной диверсии против восточногерманской валюты.

Полицейский стоял на вершине каменной груды и спокойно взирал оттуда на рынок. Он был похож на памятник самому себе. Впрочем, время от времени памятник покидал пьедестал, подходил к толпе и забирал первого попавшегося спекулянта. Он отводил его за развалины, и там из кармана спекулянта в карман полицейского

переходила некоторая часть барыша. Спекулянт возвращался на рынок, и единственным результатом вмешательства стража порядка было повышение пострадавшим спекулянтом цены на свой товар.

На рынке можно было купить все — от плитки жевательной резинки до американского военного пистолета новейшего образца. Американцы активно пользовались рынком и в целях личной наживы. Они даже не очень пытались скрывать свои спекулятивные операции. Они просто не понимали, почему нужно таиться, ведь они следовали основному закону своей страны, по которому частная инициатива и бизнес — это мать и отец жизненного успеха. А в данном случае само начальство приказывает насыщать черные рынки особо дефицитными товарами и продавать их на восточную валюту. Этот бизнес весьма и весьма выгоден…

Владимир Субботин среди людей, заполнивших рынок, производил впечатление преуспевающего коммерсанта. Хорошо сшитое черное осеннее пальто, такая же шляпа, кожаные перчатки, во рту — дорогая английская трубка «Бриош», в руке — массивная трость с ручкой из слоновой кости. Он стоял на одном месте, словно давая всем по-

нять, что он свой товар искать не собирается, он придет к нему сам. И действительно, возле Субботина то и дело останавливались спекулянты.

— Имею отрез английского сукна.

— Предлагаю французское белье.

Субботин не удостаивал спекулянтов даже взглядом, только чуть заметно отрицательно поводил головой. Он терпеливо ждал то, что ему было нужно…

Владимир Субботин пришел в разведку несколько необычным путем. В начале сорок второго года он добровольцем ушел на фронт. Тогда ему не было и семнадцати лет, но все думали, что ему больше. Он был рослый и крепкий паренек. Через три дня после прибытия на фронт зимним метельным утром он участвовал в своем первом бою. Он ничего еще не понимал, просто с тяжелой винтовкой в руках бежал вместе со всеми по рыхлому снегу, бежал, ничего не видя, не слыша… и вдруг все пропало. Очнулся в немецком госпитале.

Как только рана чуть зажила, Субботина перевели в лагерь для военнопленных. Это был лагерь этапный — подолгу здесь не задерживались. Не дожидаясь отправки, Субботин ночью задушил часового и, прихватив его автомат, бежал.

Неделю он плутал по лесам и болотам белорусского Полесья, пока не попал в расположение партизанского отряда. Когда командир отряда узнал, что Субботин прилично владеет немецким языком, было решено поручить ему очень рискованное специальное задание.

Субботин явился в гитлеровскую комендатуру города Орши под видом дезертира, разуверившегося в советской власти и желающего служить немцам и их новому порядку. Вскоре он стал переводчиком при комендатуре. Эта доверчивость гитлеровцев стоила им дорого: партизаны были осведомлены обо всем, что делается в стане врага, и соответственно этому строили свои боевые операции.

Между тем Субботин вел себя так хитро и умно, что доверие к нему со стороны немецкого начальства ни разу не поколебалось. Больше того, в конце сорок третьего года ему дали весьма ответственное поручение. Субботин был послан в Польшу и Германию по лагерям, где содержались белорусы. Он должен был помогать гитлеровским вербовщикам создавать из пленных воинские подразделения для борьбы против Советской Армии. И тут Субботин в глазах гитлеровцев проявил себя с наилучшей стороны. В каждом лагере,

в результате его работы, среди пленных всегда находился десяток-другой «добровольцев». Но все эти «добровольцы», очутившись на фронте, немедленно переходили к своим. Так Субботин спас и вернул Советской Армии сотни солдат…

И только в середине сорок четвертого года гитлеровцы почуяли неладное. Субботин обнаружил, что за ним следят. Видимо, гитлеровцы хотели сначала установить его связи, а потом уже схватить его. Это и спасло Субботину жизнь. Он бежал…

Три недели Субботин по ночам пробирался на восток, пока на территории Польши его не спрятал учитель. Прожив почти три месяца в подвале учительского дома, Субботин установил связь с местными патриотами и ушел в польский партизанский отряд, где и воевал до прихода советских войск.

С этого времени Субботин и связан с разведывательной работой.

…В проезде между развалинами остановился «виллис». С машины соскочил американский офицер. Он оставил шоферу свою фуражку, поднял воротник плаща (на этом его маскировка под штатского окончилась) и направился к рынку.

Вот только когда Субботин покинул свое место

и встал так, что американец непременно должен был пройти мимо него. Как только офицер поравнялся с ним, Субботин тихо произнес по-немецки:

— Интересуюсь оптовыми сделками.

Американец вздрогнул, как боевой конь при звуке трубы, и остановился рядом с Субботиным.

— Что именно? — спросил он на плохом немецком языке.

— Отойдемте в сторону, — по-английски произнес Субботин и медленно пошел к развалинам.

Американец послушно шел за ним. Они присели на обломок кирпичной стены и начали деловой разговор.

— Я интересуюсь только оптовой сделкой.

— Что, что именно? — нетерпеливо спросил американец.

— Дешевые часы, чулки и многое другое, но обязательно крупной партией.

— Часы могу предложить сейчас, полдюжины…

— Это не мой масштаб. Сотня — вот это да! И именно дешевые, но цену за них вы получите приличную.

— Не понимаю.

— Все очень просто. Я веду дела в Восточном

Берлине. Имею дело с советскими офицерами. Платят огромные деньги за дрянь.

— Восточными марками?

— С вами я могу рассчитаться западными.

— Желательно восточными.

— Можно и так…

Разговор завершился тем, что Субботин все-таки купил те часы, которые имел американец. Мало того, он заплатил такую цену, какая американцу и не снилась в ночь перед тем, как он отправился делать свой бизнес.



9

Клуб прессы в Западном Берлине помещался на верхних этажах довольно высокого дома. Надземная железная дорога проходила вровень с окнами клубного бара, В разноязыкий гомон, подкрашенный вкрадчивыми звуками пианино, то и дело врывался грохот проносившихся по эстакаде поездов. У журналистов была такая игра: если сидящие за столом не хотели слушать какого-нибудь своего коллегу — когда он рассказывал старые новости или плел неинтересное, — они хором кричали: «Где поезд?»

И почти всегда тут же, заглушая все, грохотал пролетающий поезд. А о болтающем чепуху говорили: «Типичная надземка».

Павел Рычагов присел за столик, за которым сидели два молодых журналиста.

— Если не ошибаюсь, французы? — спросил Рычагов на хорошем французском языке.

— Они, — холодно ответил один из французов.

— Помогите своей младшей сестренке — Бельгии, — словно не замечая его недовольства, сказал Рычагов. — Я только что из Брюсселя. Приехал

на три дня. Нужна хоть маленькая, но сенсация. Моя газета горит.

— За этим дело не станет. Берлин — город сенсаций.

— Коллеги дорогие, одну маленькую, в кредит! — Рычагов по-нищенски протянул руку.

Французы есть французы. Они любят веселых, открытых людей. Рычагов им сразу понравился, и вот за столом уже идет непринужденный разговор.

— Нет, сестричка, у нас ты сенсации не получишь. И запомни: Берлин — город надоевших сенсаций. Сами вот сидим и обсуждаем, чем бы удивить старушку Францию.

— Хоть что-нибудь… Горит газета.

— Тоже, сестричка, не новость. Мы от своих шефов получаем по две истерических телеграммы в день. Требуют ежедневно двести строк на первую полосу об ужасах жизни в Восточном Берлине. Наимоднейшая тема! А народ, читая это, плюется.

— Может, вы передаете неинтересно? — спросил Рычагов.

Французы переглянулись и расхохотались.

— Сестричка, — погрозил один из них пальцем, — ты или наивна, или хитришь…

— Не понимаю… — Рычагов пожал плечами. — Ведь там, на Востоке, действительно жестокая диктатура русских.

Журналисты снова переглянулись, но уже не рассмеялись. Один из них спросил:

— Ты, сестричка, случайно, не ведешь в своей газете свадебную хронику?.. Но-но, только не надо сердиться! Ты же не знаешь, что такое политика. А она, сестричка, путаное и, в общем, нечистое дело. Ты говоришь — там диктатура русских. А тут что, по-твоему? Райские кущи, населенные поющими ангелами?

— Во всяком случае, — угрюмо сказал Рычагов, — здесь я вижу жизнь, к какой привык дома. А там — порядки, привезенные из красной Москвы.

— А ты, сестричка, спроси на досуге у самих немцев: какие порядки им больше нравятся?.. Не понимаешь? А знаешь про наш верный корреспондентский барометр? Чем настойчивей твой, шеф требует от тебя поносить какую-нибудь страну, тем, значит, в той стране жизнь лучше, чем в той, где печатается твоя газета. Ну, а про русских… — Француз махнул рукой. — Тут пиши только плохо — никогда не ошибешься. Особенно сейчас, когда наш милый западный мир делает здесь в Германии глупость за глупостью.

— А не попал ли я за стол коммунистов? — с улыбкой, но не без тревоги спросил Рычагов.

— Не бойся, сестричка. Коммунисты сюда не ходят.

— Но о чем же мне все-таки написать в газету? — помолчав, спросил Рычагов.

Оба француза как по команде пожали плечами.

— Я слышал по радио, что от красных бежал какой-то офицер. Из него нельзя сделать сто пятьдесят строк плюс фото?



Оба журналиста снова как по команде махнули руками. Один из них вздохнул:

— Не выйдет. Тут мистеры что-то темнят. Даже наши американские коллеги ничего о нем не могут получить. Делают умное лицо, говорят — это перебежчик особого рода. Чепуха! Вообще эти перебежчики — мясо с душком. Бегут-то как на подбор удивительно неинтересные типы. Иногда кажется, будто красные сами отбирают всякую шваль и гонят ее сюда. Напишите это — вот вам и будет сенсация.

Французы хохотали. Вместе с ними смеялся и Рычагов. Потом он спросил:

— А может быть, как раз потому, что они его прячут, тут и кроется сенсация?

— Оставь, сестричка, надежду. Одно из двух: или этот перебежчик полный идиот и его нельзя тащить на пресс-конференцию, или он, наверное, знает чуть больше других и сейчас янки доят его в четыре соска. А уж потом, выдоенный, он начнет поносить советские порядки и будет уверять, что русские генералы едят на завтрак немецких детей. Если хочешь, я могу сейчас же продиктовать тебе все, что он скажет. Моя газета красных не обожает, но даже она перестала печатать этот мусор… Вероятно, сестричка только что приехала?

— Сегодня утром, — ответил Рычагов.

— Значит, сестричка еще не успела обнищать. А ее братцы не возражают, если она поставит на стол бутылочку вина. Смотришь, и взбредет в голову идея, и мы все вместе будем охотиться за сенсацией. А?

— Сестричка идет на все… Обер! Две бутылки вина, — распорядился Рычагов.

10

Наташе Посельской передали полученные от уличного комитета сведения о квартире, в которой жила Рената Целлер. Да, жила. Но третий день ее дома нет. Уехала во Франкфурт-на-Одере, где у нее тяжело заболела сестра.

Наташа попросила проверить, действительно ли Рената Целлер находится во Франкфурте, и вскоре получила ответ:

> «Да, находится, живет в квартире сестры и почти все время проводит возле нее в больнице».

Посельская растерялась: она была больше чем уверена, что Ренаты там не окажется. Но, с другой

стороны, ведь не было ничего уличающего ее как участницу похищения Кованькова, и ей как будто вообще нечего было скрываться. Подозрительно только то, что она уехала во Франкфурт наутро после происшествия… А может быть, именно в этом и есть хитрость? Раз Рената Целлер уверена, что улик против нее нет, зачем ей скрываться или бежать на Запад? Достаточно, на всякий случай, уехать из Берлина…

Немецкие товарищи, помогавшие оперативной группе Рычагова, узнали, что в Берлине Рената Целлер жила в семье своей дальней родственницы Августы Мильх, работавшей научным сотрудником в Музее народного искусства.

Августа Мильх — член Коммунистической партии, вдова. Ее муж, по национальности еврей, погиб в концентрационном лагере Бухенвальд.

Августа Мильх жила вместе со своей старшей сестрой, которая вела домашнее хозяйство. Получены были также сведения о том, что Августа Мильх почему-то была недовольна поведением живущей у нее Ренаты Целлер. Привратник сообщил, что квартирантка Августы Мильх почти всегда возвращалась домой за полночь. Эти данные находились в полном противоречии со всеми отзывами, собранными о Ренате Целлер, и

с тем, что говорил о ней своему другу Кованьков. Какова же она на самом деле? Серьезная, симпатичная девушка, как сказал о ней Кованьков, или такая, что даже родственники недовольны ее поведением?

…В этот дневной час в музее не было ни одного посетителя. Кассирша куда-то вышла, и Посельской пришлось ее ждать. Над ней сжалилась контролерша. Она пригласила девушку сперва осмотреть музей, а потом купить билет. Наташа спросила у нее об Августе Мильх. Да, Мильх работает в музее, в реставрационной студии. Это на втором этаже.

Посельская добросовестно обошла все залы, а потом поднялась на второй этаж и вошла в реставрационную студию.

В большой светлой комнате работало человек пять.

— Можно мне видеть товарища Мильх?

— Я — Мильх.

Навстречу Посельской из глубины комнаты вышла женщина в белом халате. Ей было лет пятьдесят. Из-под белой докторской шапочки выбивались седые волосы.

— Слушаю вас.

— Я сейчас осмотрела музей. Я немного увле-

каюсь глиной, и у меня возникло несколько вопросов.

— Пожалуйста, проходите.

Августа Мильх провела Наташу к своему столу.

— А почему вы обращаетесь именно ко мне?

— В этом повинна Рената Целлер. Узнав, что я коллекционирую глину, она, во-первых, подбила меня посетить ваш музей, а во-вторых, сказала мне, что вы поэт глины.

Августа Мильх выслушала это с хмурым, непроницаемым лицом.

— Сама Рената, — вздохнув, сказала она, — не нашла времени зайти сюда. Хорошо, что хоть вас подбила. Какие же у вас ко мне вопросы?

Посельская заметила, что с момента упоминания имени Ренаты Августа Мильх стала менее приветливой.

— Установлено ли точно, когда человек впервые воспользовался глиняной посудой?

— Точно нет, — сухо ответила Августа Мильх. — Поход археологов в глубь веков еще продолжается. Пока в тех пластах истории, которые археологами разработаны, глина всюду сопровождает человека.

— Посуда?

— Не только. Оружие, скульптура, игрушки.

— Существует ли классификация искусства древних мастеров глины?

— Весьма грубая, а иногда и спорная. Между прочим, наиболее ценная коллекция древней глины находилась в Западной Германии, но, увы, недавно ее вывезли... — Августа Мильх усмехнулась. — Очевидно, любители глины есть и в западных странах, а воздушный мост, как всякий мост, должен действовать в обоих направлениях. — Вдруг Августа Мильх неожиданно спросила: — Вы подруга Ренаты?

Посельская засмеялась:

— Мы когда-то вместе учились в школе. А потом виделись всего два раза.

— Вы спортсменка?

— Почему спортсменка? — удивилась Наташа.

— Я подумала, что вы познакомились с Ренатой на почве спорта.

— А разве Рената спортсменка? Она мне об этом не говорила.

Августа Мильх усмехнулась:

— Мне она говорила, что хочет стать чемпионкой по плаванию. Но я думаю, что спорт был для нее всего лишь поводом, чтобы пропадать по вечерам.

— Вот как! — засмеялась Наташа. — Интерес-

но, где же она тренируется? Обязательно схожу посмотреть.

— Как будто в бассейне профсоюза строителей. Но сейчас ее в Берлине нет.

— А где она?

— У сестры во Франкфурте.

— Надолго?

— Не знаю. Ее сестра тяжело заболела.

— Будем надеяться, что все кончится благополучно. — Посельская встала со стула. — Извините меня, товарищ Мильх, что я оторвала вас от работы.

— Ничего. Вы зайдите к нам через неделю — мы выставим чудесные вещицы семнадцатого века.

— Спасибо, обязательно зайду. До свиданья. Передайте привет Ренате.

Августа Мильх, ничего не ответив, вернулась к прерванной работе.

11

На совещании у полковника Семина обсуждали первые сведения, добытые оперативной группой Рычагова.

Посельская, Субботин и сам Рычагов рассказали о том, что ими сделано, и теперь ждали вопросов

и советов полковника. А он вот уже несколько минут сидел неподвижно, и глаза его были закрыты тяжелыми веками.

— Рано оценивать то, что вы сделали, и рано говорить о чем-нибудь уверенно… — наконец заговорил полковник. — Пока вы всего лишь нащупываете пути к цели. Совершенно очевидно, что не все пути окажутся правильными. Мне думается, что товарищ Посельская находится сейчас ближе других к существу интересующего нас факта. Но это еще ничего не значит — завтра, послезавтра ближе могут оказаться другие… — Полковник взглянул на Посельскую. — Проявите максимум осмотрительности. Сходить в бассейн надо, согласен. Весьма возможно, ваша версия верна, и действительно спорт был второй жизнью Ренаты Целлер. Там и могло родиться ее соучастие в преступлении. Весьма возможно, что где-то поблизости могут оказаться и другие участники похищения Кованькова. Этот бассейн — неплохое прикрытие для бандитов в восточной зоне. Но что будет, если какая-нибудь ваша ошибка даст им понять, что по их следам идет поиск? Они немедленно скроются, дадут сигнал тревоги на Запад, и тогда осложнится работа всей группы. Вы понимаете это, товарищ Посельская?

— Да, понимаю, — тихо ответила Наташа.

— В музее вы как будто ошибки не сделали, но риск все же был допущен.

— Какой же риск? — удивилась Наташа.

— А что, если Августа Мильх тоже соучастница?

— Но все, что мы знаем о ней, против этого! — горячо возразила Посельская.

— И все же: а вдруг?

— Вдруг — это не логика! — запальчиво сказала девушка.

Полковник засмеялся:

— Видите, вы даже здесь горячитесь. Спокойней, товарищ Посельская, осторожней, тоньше, умней…

— Совет принимаю, — тихо произнесла Наташа.

— Только это от вас и требуется. — Полковник заглянул в свои записи и посмотрел на Рычагова. — Теперь о делах ваших, товарищ Рычагов. Значит, эти французские журналисты знают майора Хауссона?

— Безусловно. И все, что они говорили о нем, сходится с нашими данными. Между прочим, они сказали, что журналисты дали Хауссону ироническое прозвище «Отец русских перебежчиков».

— Неплохо, — усмехнулся Семин.

— На пресс-конференциях перебежчиков он неизменно присутствует. Но делает вид, что только присутствует…

— Так… А где находится контора Хауссона, они знают?

— Они говорили про какую-то зону «Игрек». Там размещено все, что американцы хотят спрятать.

— Это мы знаем и без французов. Имеются данные, что у Хауссона есть еще одна контора, где-то в центре Западного Берлина. Нужно побольше узнать о самом майоре. Где он живет? Куда ездит? С кем дружит?

— Попробуем… — тихо обронил Рычагов.

— Вы думаете остаться бельгийским журналистом?

— Да, еще дня три.

— Точно установлено, что подлинного журналиста из этой бельгийской газеты нет?

— Абсолютно точно. Он отозван полгода назад. И действительно, эта газета испытывает материальные затруднения. Ей уже не до корреспондентов в Берлине. И потом, ничего плохого для газеты я не сделаю. Более того, я еще ни разу не произнес ее названия. И постараюсь не произносить впредь.

— Хорошо. — Полковник Семин помолчал. — Неплохо бы познакомиться с каким-нибудь американским корреспондентом, причем с таким, который погрязнее.

— Я уже думал об этом, — сказал Рычагов. — Французы назвали мне фотокорреспондента Отто Стиссена, обещали познакомить с ним. Его прозвище среди газетной братии Дырявая Копилка. Это за то, что он всеми способами пытается сделать бизнес, но все пропивает.

Полковник засмеялся:

— Вот злоязыкое племя!.. Да, познакомьтесь-ка с этой Дырявой Копилкой. — Полковник посмотрел на Субботина: — Ну, коммерсант, теперь о ваших делах. Пока что вы ввели нас в расход и грозитесь ввести в расход еще больший.

— Этого следовало ожидать, — мрачно произнес Субботин.

— Весь вопрос в том, кто он, ваш американец, по чину и званию? Стоит ли он таких затрат?

— Я уже сказал: судя по всему, он из среднего звена. Может быть, майор…

— Но где он служит? Администрация? Пропаганда? Просто воинская часть? В последнем случае он может забросать нас часами, но оказаться бесполезным в главном. — Полковник

помолчал и спросил: — Так вы говорите, ваше предложение провести комбинацию с советскими деньгами его не удивило?

— Нисколько. Сперва я ему предложил западные марки. Он отказался. Его устраивают только восточные. И, когда обо всем было договорено, я спросил: может, он хочет получить за часы советские деньги? Он ответил, что ему они не нужны, но он знает одного полковника, который очень интересуется советскими деньгами. Обещал связать с ним послезавтра.

— Вы встретитесь там же?

— Да.

— Сразу уводите его с рынка. Это место опасное. Жулье — народ наблюдательный. Встречайтесь с ним в каком-нибудь кафе, которое посещают солидные спекулянты. И все время помните, что полковник, охочий до советской валюты, для нас очень интересен. Тут вы можете столкнуться с нашим непосредственным противником. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю. Но как же мне все-таки поступить, если тот мой знакомый добудет большую партию товаров?

— Посмотрим… подумаем… Все будет зависеть от того, насколько эта ваша спекуляция будет

приближать нас к главному. Все время надо помнить о нашей цели и о том, что время не ждет. Пора уже смыкать фронт. К примеру, если Рычагову удастся сблизиться с Дырявой Копилкой, там может пригодиться и Субботин. Рычагов может познакомить Копилку с коммерсантом, который умеет делать большие и выгодные дела.

— Здо́рово! — воскликнул Рычагов. — А я-то сижу и думаю: в какой бизнес мне лезть с этим пьяницей?

12

В помещении плавательного бассейна было тепло и душно. Хлорированной водой пахло даже в вестибюле.

Посельская внимательно изучала объявления и расписание, которыми были облеплены стены вестибюля. Вокруг не умолкал веселый гомон молодежи. Из бара доносилась танцевальная музыка. И вот наконец Наташа нашла то, что искала: расписание тренировочных занятий, в которых упоминалась Рената Целлер. Она входила в группу, которой руководила Альма Гуц. И как раз сегодня вечером Рената Целлер должна была заниматься.

Возле Посельской остановились две девушки, которые тоже интересовались расписанием тренировок.

— А! — воскликнула одна из них. — Мы с тобой опять попали к Альме. Ужасно!

Другая пожала плечами и сказала:

— Черт с ней! Главное — плавать.

— Извините, можно мне у вас кое-что спросить? — Наташа почти умоляюще смотрела на девушек.

— Пожалуйста.

— Посоветуйте мне, к какому тренеру записаться.

— О! Тут же идиотская система — постоянного тренера получить нельзя. Они все работают в нескольких бассейнах и постоянно подменяют друг друга.

— Вы меня простите, — Посельская скромно потупила взгляд, — но я слышала, что вы недовольны этой… как ее… — она заглянула в расписание, — Альмой Гуц?

— Тут мы скажем тебе просто… — Одна из девушек доверчиво взяла Посельскую под руку. — Этой Альме лучше всего пристало бы работать тренером по танцам в Западном Берлине. Экземплярчик!

— Возле нее всегда целая стая таких же, как она, — добавила другая девушка. — Между прочим, ты будешь иметь у нее колоссальный успех.

— Это почему же? — удивилась Наташа.

— Бог не обидел тебя красотой.

Девушки засмеялись и убежали.

Посельская подошла к столику, над которым висело объявление:

«Здесь производится запись в тренировочные группы».

За столиком, уткнувшись в книгу, сидела огненно-рыжая дама с ярко накрашенными бровями невероятной длины — почти до ушей. Окинув Наташу мгновенным взглядом, она отодвинула книгу и вынула из стола толстый журнал.

— Хотите записаться?

— Да. Можно?

— Вы член профсоюза строителей?

— Я студентка инженерно-строительного института…

Посельская действительно уже несколько дней как была по всем правилам зачислена в институт.

— Можете записаться.

— Я хотела бы попасть в группу Альмы Гуц.

Рыжая дама окинула Посельскую оценивающим взглядом.

— Все понятно.

— Что вам понятно? — раздраженно спросила Наташа.

— Еще не мочили ног в бассейне, а уже все знаете… Вы записаны. Идите в раздевалку и затем в бассейн номер два. Вот этот талончик отдадите Альме. Счастливого плавания! — Рыжая дама мелко затряслась в беззвучном смехе.

Посельская недоуменно пожала плечами и пошла в раздевалку.

Если бы Наташа Посельская действительно надумала заняться водным спортом, она ни за что не позволила бы себе появиться в таком купальном костюме, в каком она сейчас вышла из раздевалки. Не один час она ходила по комиссионным магазинам, прежде чем нашла себе это порождение людской безвкусицы. В другое время она испытала бы неловкость и стеснение в таком костюме. Но сейчас надо быть смелой и даже развязной.

Она проталкивалась через толпу спортсменов, привлекая своим ярким костюмом всеобщее внимание.

— Кого ищешь, птичка? — крикнул ей рослый,

красивый парень.

— Не тебя! — ответила Посельская.

Вокруг одобрительно засмеялись.

Возле стартовой тумбочки Альма Гуц объясняла что-то окружившим ее девушкам. Посельская сразу догадалась, что это именно она. Это была излишне располневшая, чтобы быть спортсменкой, женщина лет тридцати. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не тонкие губы, придававшие лицу злое выражение.

Получив указания тренера, девушки попрыгали в бассейн. Альма, присев на стартовую тумбочку, смотрела, как они плавали.

— Скажите, пожалуйста, вы Альма Гуц? — Посельская стояла за ее спиной.

— Да, именно так и есть, — не оглянувшись, ответила женщина.

— Я зачислена в вашу группу.

Альма Гуц повернулась к Посельской и обвела ее медленным взглядом, начиная с ног. По мере того как она поднимала глаза, в них все явственней обозначались интерес и любопытство.

— О! Откуда ты, прелестный ребенок? — низким голосом проворковала Альма и протянула Наташе руку.

— Меня зовут Анна. Анна Лорх, студентка ин-

женерно-строительного института, — почти с книксеном представилась Посельская.

— Садись! — Альма Гуц показала на стартовую тумбочку рядом. — Какой у тебя чудесный костюмчик!.. Сколько?

— Что — сколько? — удивилась Наташа.

— Сколько стоит эта прелесть?

— А! Я не знаю, это покупал мой папа. Кажется, в американском секторе.

— О! Я вижу, тебе повезло и на папу! — Альма пощупала рукой костюм. — Достоверно: Мэйд ин Ю-Эс-Эй. Прелестно!.. Ну, а что мы умеем делать в воде?

— Ничего.

— Не умеем даже плавать?

— Просто плавать могу. И долго.

Наташа могла бы добавить, как она, будучи десятиклассницей, на пари переплыла у себя в Горьком Волгу. Но об этом она, конечно, умолчала.

— Покажи руками, каким стилем ты любишь плавать.

Посельская показала.

— О! Это так называемый русский стиль. Начнем тогда с того, что этот стиль нужно начисто забыть.

— Почему он русский? — обиделась Посельская. — Меня так учил плавать мой отец. А он морской офицер рейха.

— Вот как? — Альма Гуц буквально впилась своими острыми глазками в лицо Наташи. — Хорошо, что ты обиделась. Но, увы, это факт. Так плавают русские солдаты, я сама видела. Но черт с ними, с русскими, верно?

Посельская согласно кивнула головой.

— Раз ты можешь плавать долго, я буду тренировать тебя на большие дистанции. Хочешь?

— Согласна.

— Ну, за дело! Занимай первую дорожку и плыви. Поплавай, пока не устанешь, а я засеку время и посмотрю, как ты выглядишь в воде. — Альма хлопнула Наташу ладонью по спине: — Вперед, Анна Лорх!

Посельская прыгнула в воду и, чтобы не показывать свой русский стиль, поплыла на боку, выбрасывая над водой только одну руку. Она не считала, сколько раз пересекла бассейн, но увидела, что многие наблюдают за ней. Это подстегивало. Но вот Альма Гуц сделала ей знак, чтобы она вылезала из бассейна.

— Прелестно, Ани! — сказала она, оглядывая литую фигуру Наташи. — Клянусь аллахом, через

год ты увидишь свой портрет в газетах! А может, и раньше. Или я отрекусь от специальности тренера. Иди одевайся и пройди в бар. Нам надо поговорить.

В баре они сидели за маленьким столиком возле оркестра. Альму здесь знали все.

— Если можно, потише! — крикнула она музыкантам.

Руководивший оркестром трубач подошел к краю эстрады и протянул ей руку:

— Ваша просьба для нас — приказ!

Альма Гуц заказала кофе и пирожные.

— Я бы не прочь, — сказала она Наташе, — разбавить кофе коньяком, но днем здесь крепкое не подают: охраняют здоровье рабочего класса! — Она засмеялась. — А ты в каких отношениях с крепкими напитками?

— Я ведь хочу стать спортсменкой...

— А если тренер скажет, что в маленькой дозе можно?

— Раз можно — значит, можно, — улыбнулась Наташа.

— Учти: я ненавижу спортсменов-аскетов. Моя теория: спортсмен должен жить нормальной, полнокровной жизнью. Что толку, если один аскет, забыв, что такое жизнь, выжмет мировой

рекорд!

— Это, пожалуй, верно, — немного озадаченно произнесла Наташа.

— Ну, я вижу, мы найдем общий язык. Теперь вот что. Я работаю сразу в трех бассейнах. — Альма подмигнула и сделала жест пальцами, показывающий, что ей нужны деньги. — Тренирую целые стада безнадежных телок. Увы, такова участь всех хороших тренеров. Ну, что поделаешь, когда жизнь так дорога! Но, если вдруг в наши руки попадает экземплярчик с перспективой вроде тебя, мы делаем ставку на него. Мне тоже важно, чтобы однажды в газете рядом с фамилией рекордсмена стояло: «Тренер Альма Гуц». Слава — чепуха! Речь идет о марке фирмы. Это сказывается на оплате работы. Я говорю тебе все откровенно. Знаю — ты меня поймешь правильно.

— Я понимаю, — тихо промолвила Наташа.

— Так вот: я делаю ставку на тебя, а это значит, что тебе придется стать моей тенью и тренироваться сразу в трех бассейнах. Официальное расписание будет висеть здесь, а приходить ты будешь туда, куда скажу я. Согласна?

— Конечно! — радостно воскликнула Наташа.

— В других бассейнах придется подбрасывать

немного денег для того, чтобы не замечали появления чужой. Тебе это по силам?

— А много надо? — спросила Наташа.

Альма назвала сумму — не большую, но и не малую.

— Ну, столько, конечно, могу… — неуверенно сказала Наташа.

— Давать будешь мне, а я рассую кому надо. А сегодня вечером нам с тобой придется потанцевать с двумя тренерами из других бассейнов. Думаю, что это нам ничего не будет стоить — они все-таки джентльмены. Но таков обычай. Это у нас называется «вечер перед стартом». Ты можешь?

— С удовольствием.

— Тогда в десять вечера приезжай в ресторан «Палас». Знаешь?

— Конечно, знаю.

18

Встретясь с Владимиром Субботиным второй раз, американец вел себя совсем иначе. Даже о сделке с часами говорил так, будто их встречи два дня назад не было.

Вот уже битый час Субботин толковал с ним в

кафе возле Олимпийского стадиона. Американец туманно говорил о каких-то возникших перед ним трудностях, а об операции с советской валютой и не заикался. Владимир насторожился: ему показалось, что его собеседник просто тянет время. Для чего он это делает?..

— Ну, вот что, — решительно сказал Субботин: — вам ваша армия платит жалованье, а для меня деньги — время. Я хочу знать: сделка состоялась или нет?

— Мне нужны гарантии, — как-то неуверенно, точно повторяя чужие слова, сказал американец.

— Какие еще вам, к черту, гарантии? — искусно разозлился Субботин. — Я рискую головой, а не вы! Я должен требовать гарантии, а не вы!

— Согласитесь, господин Герцман (такое имя присвоил себе на этот раз Субботин), что сотня или две сотни часов — это уже очень большие деньги. Вы не должны обижаться. Мы с вами деловые люди, и я не могу вручить вам столь крупную ценность без гарантий с вашей стороны.

— Боже мой! — возмутился Субботин. — Я же беру эти часы ровно на три дня, за которые они будут реализованы. Всего три дня! Если бы коммерсанты в своих делах не доверяли друг другу, половина сделок не могла бы состояться!

Субботин сделал вид, что собирается уйти. И в это время заметил, что его собеседник глазами подает знаки кому-то, находящемуся за спиной Владимира. Что означал этот знак?

Подошел кельнер. Американец полез в карман за деньгами, но Субботин взял его за руку:

— Плачу я. Ведь я виноват, что вы зря потратили время. Мы же деловые люди, — насмешливо сказал он и отдал деньги кельнеру. — Между прочим, я не требовал гарантии, когда брал у вас те полдюжины часов, а зря! Можете убедиться… — Субботин вынул из кармана и отдал американцу часы, которые он сегодня утром нарочно стукнул, чтобы они остановились.

Американец осмотрел часы, завел их, приложил к уху.

— Невероятно! — произнес он. — Товар был получен из надежных рук.

— Ничего, бывает… — засмеялся Субботин и встал. — Отдайте эти часы в те надежные руки. А в следующий раз требуйте гарантию.

— Но вы потерпели убыток?

— Нисколько. Я просто остальные пять продал дороже. Коммерция есть коммерция… До свиданья. Очень сожалею.

— Одну минуту! — поспешно произнес амери-

канец и теперь сделал кому-то уже откровенный знак подойти.

К столу приблизился и, не здороваясь, опустился на стул мужчина лет сорока пяти, в дорогом, свободно сидящем костюме.

— Познакомьтесь, господин Герцман. Этот человек интересуется русской валютой.

— Господин полковник! — Субботин подобострастно смотрел на подсевшего к столу мужчину, а тот бросал гневные взгляды на американца. Субботин понял: он не ошибся — это и есть тот полковник, который интересуется советскими деньгами.

— Моя фамилия Купер, — раздраженно сказал мужчина. — Купер, и все. Понятно?

— Понятно, мистер Купер, — улыбнулся Субботин.

— И не мистер, а господин.

— Понятно, господин Купер.

— Откуда вы достаете советскую валюту?

— Я веду коммерческие дела среди советских офицеров.

Купер усмехнулся:

— Странно… Жалованье им платят марками. Откуда у них валюта?

— Ну, это уж не моя забота. Я сам веду дела в

марках. Это теперь самое выгодное. Но они почти каждый раз предлагают мне советскую валюту. И вашего коллегу я спросил об этом всего лишь на всякий случай: а вдруг нужна и эта валюта?

Помолчав, Купер спросил:

— Как вы установили деловой контакт с русскими офицерами?

— Очень просто. У них есть клуб, а в клубе работает мой человек.

— Кто он там? — быстро спросил Купер.

Субботин засмеялся:

— О, это уже секрет фирмы!

За столом воцарилось молчание. Купер в упор рассматривал Субботина, а тот тоже в упор смотрел на полковника. Первым отвел взгляд Купер…

— Все это пахнет авантюрой! — злобно сказал он. — Ищите-ка себе других дураков!

Он встал и, не оглядываясь, ушел из кафе. Другой американец ушел вслед за ним.

Субботин озадаченно смотрел им вслед. Щука сорвалась… Но Субботин не знал, что эта безрезультатная его встреча с Купером однажды пригодится ему. И еще как пригодится!

14

Отто Стиссен, он же Дырявая Копилка, оказался совсем не таким простачком, каким его обрисовали французские журналисты. Рычагов почувствовал это в первую же минуту, когда французы, выполняя обещание, представили его Рычагову.

Это произошло в том же клубе прессы, даже за тем же столом. Французы подозвали вошедшего в кафе Отто Стиссена:

— Знакомьтесь, Стиссен. Это наш бельгийский коллега Пауль Рене. А это — самый объективный мастер фотообъектива Отто Стиссен.

— Король фоторепортажа.

— Самый остроумный посетитель этого бара.

— Любимец женщин.

— Стоп! — подняв руку, крикнул Стиссен. — Сразу две типичные надземки! Для одного человека этого много. И, наконец, где поезд?

И тотчас по эстакаде с душераздирающим грохотом пронесся поезд.

Все засмеялись. Рычагов церемонно сказал:

— Я очень рад.

— А я еще не знаю, радоваться или плакать,

— сказал Стиссен, крепко пожимая руку Рычагову. — Я не люблю объявлять сумму, не зная слагаемых. Хо-хо-хо!

Стиссен рассмеялся, как умеют смеяться в обществе только американцы, — в полный голос, никого не стесняясь. Затем он сел и, не обращая никакого внимания на присутствующих французов, принялся бесцеремонно рассматривать Рычагова.

— Что вы так смотрите на меня? — засмеялся Рычагов. — Я ведь не продаюсь.

— Хо-хо-хо! Неплохо сказано! Смотрю из чистого любопытства. Человек как человек, а приехал из страны, в существование которой я, честное слово, не верю. Хо-хо-хо! Я дважды пролетал над вашей Бельгией и каждый раз просил летчиков показать мне, где эта таинственная держава. И каждый раз летчики говорили: «Рассмотреть Бельгию с воздуха невозможно — она проскакивает под крылом, как площадка для бейсбола». Хо-хо-хо! Неплохо сказано, а, французы?

— Да, мы — маленькая страна, мы — маленький народ, — грустно произнес Рычагов.

— А ты не вешай нос! — вдруг перешел на «ты» Стиссен. — Вон Британия такой же шиллинг, как твоя Бельгия, а посмотри, как они нос задирают!

Учись, бельгиец! Хо-хо-хо!

— Стиссен, бельгийцу нужна хоть маленькая сенсация, — сказал один из французов. — Может быть, имеете что-нибудь лишнее?

— Бельгиец ставит коньяк, — добавил другой журналист.

— Что же, может быть разговор, — сказал Отто Стиссен, и тотчас глаза его влажно заблестели, выдавая главную страстишку Дырявой Копилки.

Французы выпили по рюмке коньяка, попрощались и, сославшись на неотложные дела, ушли.

— Ну, так что же тебя интересует? — спросил Стиссен.

— Все. Моя газета горит. Шеф сказал: «Поезжай в Берлин, пришли хоть что-нибудь остренькое».

— Это не так просто делается. — Стиссен опрокинул подряд две рюмки коньяка. — А ты сработай, как наши. Сочини что-нибудь сам. Ну, там… Ганс Шнейдер, перебежавший от коммунистов в западный мир демократии, рассказал вашему корреспонденту, и… пошло, пошло! Валяй что хочешь… (Опрокинута еще одна рюмка коньяка.) Хо-хо-хо! Здорово можно накрутить! Или — про красный террор. Как это называется?.. Да! Колыма! Да, именно Колыма! Словечко-то какое! Хо-хо-хо! Чудом бежавший из Колымы немецкий

военнопленный икс, игрек, зет рассказал вашему корреспонденту… хо-хо! Такого можно наверстеть, что читательницы старше сорока лет будут валяться в обмороке. Хо-хо-хо! (Опрокинута еще одна рюмка.) А в общем, это ерунда. Уже надоело. Сенсация должна быть как острый нож, с разбегу вбитый читателю под ребро. Хо-хо-хо!

Рычагов не без удивления наблюдал, как на его глазах менялся Стиссен. Весь он как-то сразу осунулся и оплыл. Только глазки, бойкие, маленькие, вдруг зажглись, оживились, стали жадными, ищущими. Стиссену было лет сорок пять, но он уже изрядно облысел. Когда-то его лицо, наверно, было красивым, а теперь, став дряблым, все в бесчисленных склеротических жилках, увенчанное крупным багровым носом, оно было неприятным, отталкивающим.

— Бельгия, закажи еще бутылочку! Я, может быть, все-таки выгребу для тебя что-нибудь из своих карманов.

Отто Стиссен выпил еще полбутылки коньяку, и Рычагов с интересом наблюдал за дальнейшими изменениями в своем собеседнике.

Речь Стиссена вдруг стала быстрее, в ней появилась бессвязность, но в то же время он, оказывается, прекрасно помнил все, о чем гово-

рилось за столом.

— Бельгия, ты мне нравишься! Оказывается, на вашей бейсбольной площадке произрастают хорошие парни.

— Спасибо, — улыбнулся Рычагов.

— Тебя зовут Пауль?.. Прекрасно! Так вот, запомни: сенсация — это прежде всего то, что не каждый день случается. Мы вот вчера не знали друг друга, а сегодня — друзья, и это самое интересное. Жизнь! Но, увы, это не щекочет нервы, в этом нет сенсации. Дай мне по морде и уйди, захватив мою зеркалку, — это уже кое-что…

— Мне бы хотелось без драки, — улыбнулся Рычагов. — Может, вы…

— Говори «ты». Мы, американцы, не любим… Мы простые парни… Что же для тебя придумать? Фотокамера у тебя есть?

— Нет. И не умею.

— Жаль. Но, может, твоя газета обойдется и без фото?

— Вполне.

— Тогда так: завтра утром будь на любой станции городской дороги. Увидишь маленький спектакль.

— Что именно?

— Наши люди руками немецкой полиции будут

трясти газетные киоски.

— Зачем?

— Чтобы не торговали восточными газетами.

— Почему? Разве не должен каждый читать то, что он хочет читать?

Стиссен расхохотался, и его смех слился с грохотом поезда.

— Слушай, парень, ты же типичная надземка! Да на кой черт нашим, чтобы западные немцы знали, как живут восточные? Пирог разрезан, и каждый лопает свое.

Рычагов покачал головой:

— Нет, с киосками — это не товар. Мне нужно такое… с изюминкой… Может, есть что-нибудь новенькое у Хауссона? — осторожно спросил Рычагов. — Французские коллеги говорили мне…

Стиссен поднял ладонь и наклонился к Рычагову:

— Ерунда! То, что Хауссон говорит вслух, никому не надо. Сенсация — то, о чем он молчит. Понял, парень?

— Я думал, хоть что-нибудь… Французы рассказывали мне про последнего русского офицера-перебежчика…

Стиссен махнул рукой:

— С этим русским туман и полная ерунда. Кто-

то дал о нем информацию по радио, а Хауссон взбесился, дал отбой и ружья в козла… — Стиссен вынул из кармана фотографию и бросил ее Рычагову. — Вот он, наш таинственный Хауссон. Таскаю с собой на случай сенсации. У него есть еще прозвище: «Отец русских перебежчиков»…

Такой фотографии Хауссона Рычагов в архивах не видел. На фотографии во весь рост был снят высокий, спортивного вида мужчина, держащий на поводке разлапистого бульдога.

— Я снял Хауссона возле его квартиры. Чудную можно дать подпись: «Мокрица и Мориц». Мокрицей мы зовем Хауссона за его вечно потные руки. А Мориц — имя бульдога. Два холостяка на прогулке.

— А нельзя все же получить у него интервью? — робко спросил Рычагов.

Стиссен помолчал и вдруг захохотал:

— Хо-хо-хо! Ты же совершенно не знаешь Мокрицу. У нас здесь есть Гарри Дамп, король репортажа из газеты «Балтимор сан». Он говорит: «Легче взять интервью у мыши, которую уже съел кот, чем у Хауссона». Хо-хо-хо! Неплохо сказано?

— Он вовсе не принимает журналистов?

— Почему? Обязательно примет! Но не скажет ни слова, годного для твоей газеты! Хо-хо-хо!

— Стиссен вдруг оборвал смех и уставил на Рычагова веселые глаза. — Слушай, парень, идея! Только ты соглашайся. Идем сейчас к Мокрице — он теперь как раз обедает дома. Это близко. Я гарантирую, что он нас примет. Ты будешь его атаковать, а я вас сниму и фото дам в свой журнал с подписью: «Бесполезный штурм крепости Хауссон бельгийским журналистом». Это будет выглядеть смешно и понравится американцам: какой-то бельгиец пытается обойти железного майора! Ну, сработаем?

Рычагов молниеносно обдумывал так внезапно возникшее предложение, о котором мог только мечтать. Было одно «но» — фотография, которая останется у Стиссена. «Рискну, — решил он. — Можно будет потом попробовать эту фотографию из Дырявой Копилки вынуть».

— Согласен! — весело сказал Рычагов. — Поехали!

15

На вечернее свидание в ресторан «Палас» Посельская умышленно пришла раньше назначенного времени. Пусть Альма Гуц думает, что она так жаждала этой встречи, что не могла

утерпеть до условленного времени. Кроме того, Наташа увидит, как они будут собираться, и лишит их возможности разговаривать без нее.

Посельская села в кресло в глубине холла, откуда был виден и вход с улицы и часть ресторанного зала. Раскрытый иллюстрированный журнал помогал ей вести наблюдение незаметно.

С улицы вошел высокий парень в модном пальто ярко-желтого цвета. Сорвав с головы берет, он стряхнул с него мокрый снег и направился к гардеробу. Потом долго прихорашивался перед зеркалом. Наташа с трудом подавила улыбку, смотря, как он почти женскими движениями поправлял прическу, галстук, приглаживал брови, одергивал пиджак. Кончив прихорашиваться, парень заглянул в ресторанный зал, посмотрел на часы и прошел в глубь холла. Приблизившись к Наташе, он пристально посмотрел на нее:

— О! Здравствуй, птичка!

Это был тот парень, который заговаривал с ней еще в бассейне.

Наташа, не закрывая журнала, смотрела на него отчужденными глазами.

— Боже! К чему такие строгости? Ты же новая птичка из гнездышка Альмы Гуц. Верно?

— Я вас не знаю.

— С этого и надо было начинать. — Парень подошел к креслу. — Арнольд Шокман, рекордсмен, тренер, танцор, человек вне политики. А ты, если не шалит моя память, Анна Лорх… Ну, видишь, я все знаю! Будем знакомы.

Парень придвинул кресло и сел возле Наташи.

— Альма со своим Зигмундом опоздают на двенадцать минут. Это просто потрясающе! Всегда они опаздывают и всегда на двенадцать минут.

Посельская рассмеялась вместе с Арнольдом. Действительно, опаздывая ровно на двенадцать минут, в холл вошли Альма Гуц и незнакомый Наташе рослый мужчина.



— Посмотрите за моей машиной, — излишне громко сказал мужчина швейцару.

— Кому нужна твоя старая ветряная мельница! — крикнул ему Арнольд.

Мужчина помахал Арнольду рукой и пошел вслед за Альмой к гардеробу.

— Они уже познакомились. Ну, что я говорила? — смеялась Альма Гуц, здороваясь с Наташей и Арнольдом. — Знакомься, Анна, — сказала она,

подталкивая к Наташе своего спутника. — Это король тренеров, поэт баттерфляя Зигмунд Лисовский.

Поэт баттерфляя больше был похож на боксера. Плечистый, крупный мужчина, на плоском лице — небольшой приплюснутый нос. Массивный угловатый подбородок наискось рассечен синеватым шрамом. От этого казалось, что лицо его немного скошено на сторону.

Компания заняла столик в уютной, глубокой нише. Распоряжался Арнольд. Он долго вполголоса разговаривал с изогнувшимся дугой официантом. В это время Зигмунд Лисовский, разговаривая с Альмой, исподволь присматривался к Наташе.

— Ну, как себя чувствует новенькая? — неожиданно обратился он к ней.

— Прекрасно. Я очень люблю этот ресторан.

— О! Значит, вы здесь бывали?

— Естественно. За то время, что я здесь, я полюбить его еще не могла.

— Молодец, Анна! — Альма захлопала в ладоши. — Учи его светскому разговору. Зигмунд славится умением задавать глупые вопросы. Счет: один ноль в пользу Анны. Матч продолжается.

— Что тут произошло? — включился в разговор

Арнольд. — Наверно, Зигмунд уже успел задать какой-нибудь вопрос?

— Да, и получил от Анны по носу! — смеялась Альма. — Но ты, Ани, все же учти: если Зигмунд возьмется делать тебе баттерфляй, это — счастье. Так что не бей его очень больно.

Заиграл оркестр. Пошли танцевать: Альма с Зигмундом, Наташа с Арнольдом.

— Чудесно устроена жизнь! — говорил в ухо Наташе ее кавалер. — Еще сегодня утром я не знал, как буду убивать вечер. Все опостылело, как осень! И вдруг из бассейна выплываешь ты, прелестная Афродита, и уже хочется, чтобы вечер был бесконечным!

Болтая, Арнольд упорно приближал свое лицо к Наташиному.

— Предупреждаю вас, — сказала она насмешливо: — я не терплю вольностей в первый вечер знакомства.

— О! — Арнольд отстранился. — А какой же вечер ты предпочитаешь?

— Тот, когда мне этого захочется самой.

— Птичка, я вижу, у тебя острые коготки!

— И еще: «ты» будет тогда, когда я этого захочу.

После танца разговор как-то не клеился. Наташа этому была рада. Она могла обдумать, как ей

действовать дальше. Выпили за Анну Лорх, за то, чтобы ее портрет появился в газетах.

— Альма сказала мне, что вы дьявольски выносливы, — обратился к Наташе Зигмунд. — Для баттерфляя это первое дело. Первое! — Он пристукнул по столу своим громадным чугунным кулаком.

— Не бойся, Анна, он добрый, — засмеялась Альма Гуц, заметив, что Наташа с испугом смотрит на кулак Зигмунда.

— Мы с тобой поступим так, — продолжал Лисовский, исподлобья смотря на Посельскую: — сперва тебя погоняет Альма, отшлифует технику плавания, а потом займусь тобой я.

Альма Гуц захлопала в ладоши:

— Анна, кричи «ура»! За последний год он первый раз сам предлагает свои услуги.

За это нельзя было не выпить.

— Ну, а как же будет со мной? — с притворной обидой спросил Арнольд. — Я требую справедливости. Анну надо делить на троих.

— Умолкни! — грубо бросил ему Зигмунд.

Арнольд поднял руки:

— Капитулирую, капитулирую, и никаких претензий! Но как бы не появились претензии у Альмы?

— Умолкни! — уже с угрозой повторил Зигмунд.

Некоторое время все молчали, деловито поглощая еду. Снова заиграл оркестр. Альма пригласила Арнольда, и они ушли танцевать. Посельская ждала, что ее пригласит Зигмунд, но он этого не сделал. Как только Альма с Арнольдом отошли от стола, Зигмунд вытер салфеткой рот и наклонился к Посельской:

— Твой отец — человек Деница? Это правда?

— Я врать не умею. Да, мой отец морской офицер рейха.

— Как его фамилия?

— Надо думать, Лорх, раз он мой отец. Счет становится два — ноль! — Наташа засмеялась, а у самой в это время сжалось сердце от нетерпеливого и настороженного ожидания. Впрочем, проверки она не боялась — отец уже давно был «приготовлен» и жил вместе с Наташей по абсолютно достоверному адресу.

— Ну да, Лорх… конечно… — усмехнулся Зигмунд. — Учишься?

— Да. В инженерно-строительном.

— Будешь строить дома для русских колонизаторов?

— Почему? Для немцев. Только для немцев.

— По-немецки ты говоришь не очень чисто, как и я. Но я по рождению поляк.

— Это вам показалось… — С этой минуты Посельская с утроенный вниманием начала следить за своей немецкой речью.

— Что делает отец сейчас?

— Служит. На суше, конечно.

— Где?

— Как раз у русских колонизаторов. — Сделав этот смелый ход, Наташа ждала, что он даст. Ждать пришлось недолго.

— Вот как! Кем же!

— Честное слово, не знаю.

— Почему вы оказались в советском Берлине?

— Трудно перекатить на запад наш дом, построенный еще дедом. Отец говорит: «Запад сам придет к нам».

— Вот как! Русские у вас бывают?

— Редко. Отец эти визиты не любит.

— Но все-таки бывают?.. Кто?

— Инженеры какие-то… Один даже в меня влюблен.

— Очень хорошо! — Зигмунд, отстраняясь, смотрел на Наташу.

— Что — хорошо?

— Все хорошо, — неопределенно ответил Зиг-

мунд.

К столу вернулись Альма с Арнольдом, и разговор оборвался.

— А, кажется, Арнольд прав. Претензии у меня появятся! — с притворным гневом сказала Альма. — О чем это вы тут так интимно беседовали? Я все видела.

— Зигмунд задал мне миллион вопросов.

— И все глупые? — воскликнул Арнольд. — Значит, какой же теперь счет? Миллион — ноль?

— У нас был серьезный разговор, — задумчиво сказала Наташа. — Очень серьезный.

— Зигмунд — и серьезный разговор? Не верю! — кричала Альма.

«Кривляйтесь, господа, кривляйтесь! — думала в это время Посельская. — Вы прекрасно знаете, о чем должен был говорить со мной Зигмунд. Вы же специально для этого ушли танцевать…»

Больше в течение всего ужина Зигмунд не сказал Наташе ни слова. Она тоже не заговаривала с ним, понимая, что ей нужно быть предельно осторожной и терпеливой.

Ровно в час ночи Посельская встала:

— Друзья, извините меня, но мне пора.

Все начали уговаривать ее остаться.

— Я этого не допущу! — кричал Арнольд.

— Почему вы решили, будто вы единственный мужчина, с которым я знакома? — Наташа, подняв брови, насмешливо смотрела на Арнольда.

— Анна, вы портите нам весь вечер! — сердито сказала Альма.

Наташа, наклоняясь к ней, тихо сказала:

— Я ничего не могу сделать. У меня есть друг, и он ревнив, как все. Он сказал, что заедет за мной в час ночи. Можете быть спокойны: в течение недели я дам ему отставку — он уже порядком мне надоел и своими вздохами и своей ревностью.

— Позовите его сюда, — предложила Альма.

— Тогда будет драка… — Наташа засмеялась и серьезно добавила: — Этого делать не надо… понимаете, не надо… — И на ухо Альме шепотом: — Он — русский.

Посельская быстро распрощалась со всеми и ушла.

Через минуту из-за стола поднялся Зигмунд. Он догнал ее около гардероба. Подавая пальто, тихо сказал:

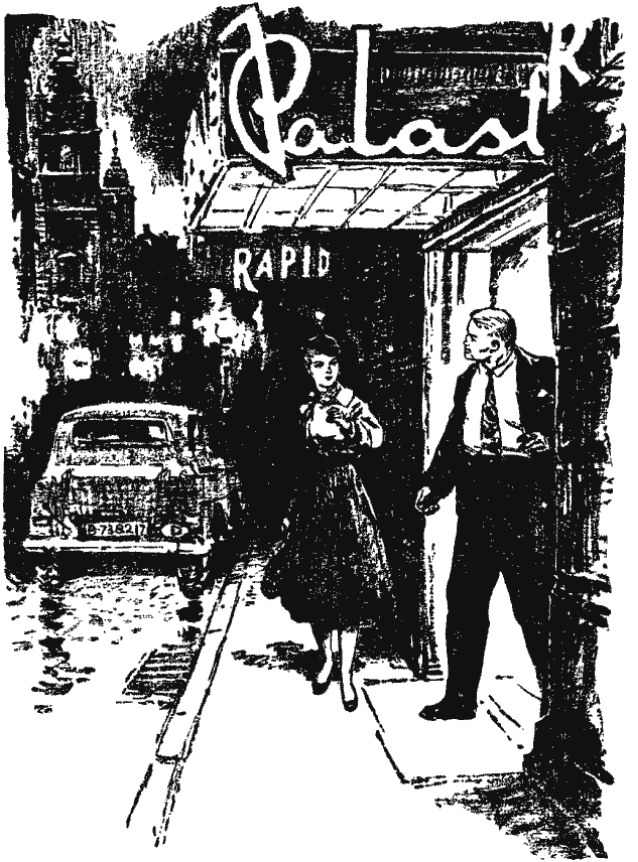
— О нашем разговоре никому ни слова.

— Разговора не было, — в тон ему отозвалась Наташа.

Зигмунд вместе с ней вышел на улицу. Автомашина мнимого друга Посельской стояла

шагах в десяти от подъезда. Наташа остановила Зигмунда:

— Я дойду до машины одна, иначе мой поклонник устроит мне скандал. До свиданья.


Palast
RAPID

Наташа подбежала к машине, быстро села в нее, и тотчас машина скрылась в темноте. Сидевший за рулем молодой человек в шляпе, по-американски сбитой на затылок, спросил:

— Как ты думаешь, он номер машины видел?

— Наверняка. Он был ярко освещен.

— Прекрасно. Все-таки я малость струсил, ожидая, что все они выйдут вместе с тобой.

— Ничего страшного не случилось бы. Ты бы сыграл роль молчащего от ревности поклонника — и все.

— А с другой стороны, неплохо было бы всех их развести по домам и узнать адреса.

— У одного из них есть своя машина, — сказала Наташа.

— А! Это, наверно, тот старичок «Вандерер», что стоял у подъезда.

— Наверно.

— Я его на всякий случай сфотографировал… Посмотри, они за нами не едут?

Наташа оглянулась:

— Нет.

— Тогда домой!

Машина круто свернула в переулок.

Машину вел Владимир Субботин, которого после неудачи на коммерческом поприще пол-

ковник Семин подключил к Наташе Посельской. С сегодняшнего дня он уже был русским инженером, обладателем холостяцкой квартиры, автомашины и поклонником Анны Лорх.

Наташа засмеялась:

— Воображаю, какой эффект вызвало у них мое сообщение, что у ресторана меня ждет русский! Впрочем, тот, кто провожал меня, был уже подготовлен. Я ему сказала раньше…

16

Рычагов забеспокоился, что Дырявая Копилка, опьянев, сорвет интервью с майором Хауссоном. Адрес, названный американцем шоферу такси, Рычагов не расслышал и теперь пытался запомнить улицы, по которым они проезжали. Это было нелегко. Такси мчалось очень быстро, а город уже окутывали ранние осенние сумерки. Путь оказался совсем не таким коротким, как говорил Стиссен: ехали двадцать семь минут. Дом, у которого остановилась машина, был обычным жилым домом, тесно зажатым с обеих сторон такими же домами. Отто Стиссен, который в дороге успел вздремнуть, встрепенулся, удивленно оглянулся по сторонам, потом, видимо вспомнив,

почему он здесь, молча вылез из такси и пошел к подъезду.

Рычагов, расплачиваясь, спросил шофера:

— Как называется эта улица?

— Ромбергштрассе.

— Метро далеко отсюда?

— Рядом.

— Бельгия, где ты? — крикнул Стиссен. — Скорей!

Когда они поднимались в лифте, Стиссен сказал:

— Действуй смелее. Хауссон не любит сделанных из тряпок.

Дверь им открыла пожилая немка в кружевной наколочке на пышных волосах. Стиссен бесцеремонно отстранил ее, и они вошли в переднюю. Из-под столика послышалось грозное рычание и высунулась безобразная морда бульдога.

— Мориц, тубо! — весело крикнул Стиссен.

Собака замолчала.

Тотчас быстро открылась одна из дверей, и Рычагов увидел Хауссона. Он был в стеганом халате, в руке держал открытую книгу.

— А, Дырявая Копилка! Тебе что понадобилось? — Говоря это, Хауссон пристально смотрел на Рычагова. — Не спутал ли ты адрес? Ведь здесь

живу я, а не мисс виски.

— Я ничего не спутал, Хауссон, — спокойно и трезво ответил Стиссен. — Поскольку после обеда спать вредно, я привез бельгийского коллегу, который хочет задать тебе парочку вопросов. Познакомьтесь: это журналист Пауль Рене.

Рычагов, видя, что Хауссон не собирается протягивать руки, поклонился, удивляясь меж тем памяти Стиссена, который не забыл его бельгийского имени.

Хауссон обратился к Рычагову:

— Я не знаю, сколько Стиссен взял с вас за эту протекцию, но он должен был предупредить вас, что, в общем, это неблагоразумная трата времени.

Это было похоже на предложение убираться восвояси. Рычагов робко и просительно сказал:

— Мистер Хауссон, я прошу вас подарить мне пятнадцать минут.

— Проходите! — Хауссон посторонился, пропуская мимо себя Стиссена и Рычагова.

Кабинет Хауссона, куда они вошли, оказался очень просторным, но вся его обстановка состояла из одного стола, перед которым беспорядочно стояли пять жестких кресел. Полированная поверхность стола сияла, освещенная настольной

лампой дневного света. Из пепельницы под абажур струилась голубая ленточка дыма. Больше на столе ничего не было. Все стены были оклеены однотонными светлыми обоями. От камина распространялось тепло — там багрово тлела горка каменного угля.

Хауссон сел за стол, сцепил тонкие пальцы рук и посмотрел на Рычагова:

— Спрашивайте.

Рычагов улыбнулся:

— Я предупрежден мистером Стиссеном, что о самом интересном вы молчите. Было бы удивительно, если бы у вас была слава иная.

— Тогда просто не было бы меня, — небрежно обронил Хауссон.

— И поэтому вы авансом простите мне мои глупые вопросы. Но я буду стараться спрашивать вас о том, о чем можно сказать.

— Спрашивайте.

— Чем вызвано ваше прозвище «Отец русских перебежчиков»?

На сухом желтоватом лице Хауссона мелькнула тень улыбки. Показав на Стиссена, возившегося в это время со своим фотоаппаратом, он сказал:

— Из всех кличек, щедро изготовляемых журналистами, только Стиссену досталась точная,

а потому и всем понятная — Дырявая Копилка… Верно, Стиссен?

Тот кивнул головой и стал целиться объективом на Хауссона и Рычагова.

— Зачем ты снимаешь?

— Я напечатаю этот снимок с подписью: «Бесполезный штурм Бельгией американской крепости Хауссон». Неплохо?

Хауссон благосклонно улыбнулся, и Рычагов понял, что майор лести не отвергает.

— Вы мне не ответили мистер Хауссон, — сказал Рычагов.

— Разве? — притворно удивился Хауссон. — Ах, да! Прозвище глупое. Если я отец русских перебежчиков, должна быть и мать. Но кто она?

Да… Штурмовать крепость Хауссон нелегко, Рычагов это уже видел. Майор был скользкий, как мокрый камень.

— Бывают ли случаи побега американцев туда, на восток?

— Бывают, — мгновенно ответил Хауссон.

— Много таких случаев?

— Не считал.

— А почему бегут американцы?

— Это лучше всего узнать у них самих.

Отто Стиссен, тихо посмеиваясь, продолжал

щелкать фотоаппаратом.

— Кто прибежал с востока последний? — спросил Рычагов, впившись взглядом в Хауссона.

— Тот, после которого больше пока никого не было.

Конечно, Рычагову хотелось назвать фамилию Кованькова и посмотреть хотя бы, как прореагирует на это Хауссон, но такое уточнение могло показаться майору подозрительным.

— Русские уверяют, что их людей еще и похищают. У них есть хоть какое-нибудь основание для этого?

— У них? — переспросил Хауссон.

— Да.

— Так почему же вы спрашиваете об этом у меня? Я лично в подобных голливудских сюжетах не участвую.

— Вы лично нет, но, может быть, это делают ваши люди?

Хауссон удивленно посмотрел на Рычагова и громко крикнул:

— Фрау Эльза!

В комнату вошла та пожилая женщина, которая открывала дверь.

— Фрау Эльза, вы когда-нибудь участвовали в похищении русских?

У женщины глаза стали круглыми.

— Что вы говорите, мистер? Никогда.

— Спасибо. Извините. Можете идти.

Женщина вышла. Хауссон сказал:

— А больше у меня никаких людей нет.

— Хо-хо-хо! — Стиссен, держась за живот, ходил по кругу. — Нет, Бельгия, куда тебе с твоей бейсбольной площадкой! Хо-хо-хо!

Майор Хауссон сидел с бесстрастным лицом, на котором ни один мускул не дрогнул.

— Да, мистер Хауссон, у меня только один способ порадовать своих читателей: это точно изложить нашу беседу, не думая о том, что я буду выглядеть полным идиотом.

— Это уж ваше дело, — отрывисто произнес Хауссон и посмотрел на часы. — Мой послеобеденный отдых окончен. Извините. — Он встал.

…Рычагов со Стиссеном вернулись в бар.

— Ну, бейсбол, укусил себя за ухо? Хо-хо-хо!

Рычагова удивляло, что Стиссен был совершенно трезв.

— Ой, парень, и вид же у тебя был! Котенок беседует с бульдогом. Хо-хо-хо!

Рычагов махнул рукой:

— Выпьем с горя.

— Вот это разговор мужской! Я уж думал, ты не

догадаешься.

Стиссен опьянел очень быстро, но теперь с ним произошла совершенно иная метаморфоза: он стал мрачным и злым.

— Знаешь, что такое Америка? — вдруг заговорил он. — Все делают бизнес?.. Чепуха! Все только думают, что делают бизнес.

— Все же мы знаем, — возразил Рычагов, — что у вас частной инициативе дан полный простор.

— Идиот! Насмотрелся нашего кино! Мой дед, пионер заселения, умер нищим. Отец лбом бился о стену — тоже делал бизнес. Умер, не выплатив кучу кредитов. Из дома нас вышвырнули, мебель отобрали. Тьфу! Теперь вот я кувыркаюсь. Но я человек благородный — я не пложу детей, поколение нищих на мне заканчивается. Хватит!.. Чего ты улыбаешься? Вернешься на свою бейсбольную площадку — твой шеф даст тебе коленом знаешь куда!

— Не исключено, — грустно улыбнулся Рычагов.

— А я на тебе все-таки заработаю.

— Сколько?

— Если у моего шефа печень будет в порядке, долларов пятьдесят.

— Даю сто.

— За что?

— За пленку с моим портретом. Сами понимаете, если это фото будет у вас напечатано, мой шеф уже наверняка воспользуется своим коленом.

— Серьезно, бейсбол, сто?

— Серьезно. Только марками.

— Один черт. Давай.

Стиссен начал быстро, профессиональным движением перематывать пленку.

— Засветить?

— Не надо. За сто долларов дайте без засвечивания, сам дома проявлю на память.

— Тогда еще пять долларов за кассету.

— Ладно.

Рычагов получил пленку, передал деньги Стиссену и расплатился по счету. Вскоре они расстались.

— Ты все же деловой парень, — говорил Стиссен прощаясь. — Если тебе еще понадобится моя помощь, я здесь каждый день в обеденное время. Приходи, сделаем еще какой-нибудь бизнес. — Он махнул рукой и грузно зашагал в ночную темень, расплавленную цветным кипением неоновых реклам.

17

Полковник Семин любил говорить: «Для нас терпение — часть умения». Но все сотрудники давно знали: если он вспомнил это присловье — значит, дело идет плохо.

Пока Субботин, Рычагов и Посельская докладывали о проделанной ими работе, полковник Семин, которому врачи запретили курить, то и дело брал из коробки папиросу, разминал ее пальцами до тех пор, пока из нее не начинал сыпаться табак, который он потом аккуратно с ладони пересыпал в пепельницу, а пустую гильзу кидал в мусорную корзину. Через минуту он брал из коробки новую папиросу… Когда коробка опустела, он ее бросил в корзину и вынул из стола новую. Так он «выкурил» две коробки «Казбека», и ни разу тяжелые его веки не приподнялись, чтобы посмотреть на сидящих перед ним сотрудников.

Последней рассказывала Посельская. Она очень волновалась, потому что, выслушав сообщения своих товарищей по оперативной группе, считала, что она находится ближе всех к существу дела, особенно после сегодняшней утренней встречи с Арнольдом Шокманом.

— Я еще во время тренировки, — рассказывала она, — заметила, что он меня ждет и явно нервничает. Когда я вылезла из бассейна, Альма Гуц сделала мне несколько торопливых замечаний и, оглянувшись по сторонам, сказала, что сегодня вечером мне нужно встретиться с Зигмундом Лисовским. Она назвала час и место встречи. Я сказала, что в это время буду занята. Она заметно растерялась, а потом очень строго и многозначительно сказала: «Анна, ты должна с ним встретиться. Это свидание не любовное, но для тебя может значить очень много. Понимаешь?» Я сделала вид, что обдумываю, как мне быть, а потом сказала, что постараюсь. В вестибюле я увидела Арнольда. Он явно ждал меня. На улице он спросил, куда я иду. Я сказала — в институт. Он взялся меня проводить. Целый квартал мы шли молча, потом он спрашивает, не можем ли мы встретиться вечером… Я отвечаю, что не могу. Он как-то странно засмеялся и говорит: «Понимаю… Встреча с королем баттерфляя Лисовским!» — «Хотя бы», — ответила я. Он помолчал и вдруг говорит: «Анна, вы мне чертовски нравитесь, и потому я скажу вам: осторожней с Лисовским. Кроме баттерфляя, он может вам дать старт на такие дела, где можно в два счета сломать шею».

Я попросила его говорить яснее и поддразнила замечанием, что не люблю мужчин, которые из ревности поносят своих даже мнимых соперников. Он долго молчал, а у подъезда института, когда я стала с ним прощаться, сказал: «Анна, я сообщил вам то, что считал нужным сообщить, и больше не скажу ни слова». У меня все… — Окончив сообщение, Посельская не сводила глаз с полковника. Но тщетной была ее надежда угадать, что он думает о ее делах…

В комнате несколько минут царило молчание. Слышно было только, что Семин разминал очередную папиросу.

— Начнем с материала Рычагова, — нарушил наконец молчание Семин. — Хорошо, что он встретился с Хауссоном. Ценно то, что установлены маршруты движения майора по городу, поскольку мы имеем основания думать, что Хауссон занимается лейтенантом Кованьковым. Выяснилось, например, что Хауссон ежедневно ездит не только в зону «Игрек», но и еще по одному адресу, которого мы раньше не знали. Это очень важно. Продумайте, Рычагов, как поглубже «разведать» этот адрес. Со Стиссеном больше встречаться не нужно, и в клуб прессы не ходите. Стиссен сделал для нас все, что мог, и пусть

дальше занимается своим бизнесом без нашего участия…

Полковник стряхнул в пепельницу выкрошенный табак и взял новую папиросу.

— Главное сейчас — как можно быстрее нащупать путь, ведущий нас к цели, и отказаться от всего, что от цели уводит. В этом смысле поучительна неудача коммерческих предприятий Субботина. Теоретически мы могли, конечно, рассчитывать на то, что среди американских офицеров, занимающихся спекуляцией, может оказаться и экземпляр для нас полезный. Но не так-то просто такого найти. Первый рыночный знакомый Субботина был явно маленькой сошкой, и, наверно, мелкую торговлю с ним мы наладили бы, но без пользы для нашего дела. А вот Купер — это птица совсем другого полета. Советскими деньгами там интересуются уже не коммерсанты. Вы, Субботин, сработали хорошо. Купер, видимо, поверил, что вы спекулянт и не больше, но он все же решил почему-то, что вы фигура ненадежная. И дело тут было в гарантии не столько материальной, сколько политической.

— Может быть, мне нужно было подпустить политики? — спросил Субботин.

— Подпустить? — Веки полковника дрогнули,

и он недовольно посмотрел на Субботина. — Считать их дураками — самая трагическая для нас ошибка.

— Гениев среди них я тоже не видел, — буркнул Субботин.

— Но и вы ведь не гений! — зло сказал полковник. — Конечно, они ошибки делали и делают, — помолчав, продолжал полковник, — но замечу: чем дальше, тем меньше. Опыт ошибок учит и их. Нельзя об этом забывать. Еще год назад Купер пошел бы на сделку очертя голову, а теперь — извините. Попробовал бы, например, Рычагов предложить Хауссону сделку с часами — в следующую секунду он вылетел бы на лестницу. Мы имеем дело с противником неглупым, опытным и отлично понимающим недостатки своих кадров. Вот почему легкое для нас всегда должно быть подозрительным. А послушать Посельскую, так можно подумать, что она завтра принесет нам ключ от дома, в котором спрятан Кованьков. Не торопитесь, товарищ Посельская! Еще раз — не торопитесь! Может оказаться, что вы случайно наткнулись на людей, которые объективно могут нас интересовать, но которые не имеют никакого отношения к похищению Кованькова. И может статься, что вы с каждым днем будете все дальше

уходить от цели, стоящей перед оперативной группой. Ведь кроме того, что Рената Целлер тренировалась в группе Альмы Гуц, у нас нет никаких других нитей. Факт соучастия в похищении самой Ренаты все еще висит, в воздухе. Значит, главное для вас, товарищи Посельская и Субботин, — приближаться к цели. Один из вас должен немедленно выехать во Франкфурт-на-Одере. Свяжитесь там с немецкими товарищами. Нужно организовать наблюдение за Ренатой Целлер и выяснить достоверность версии о причинах ее отъезда из Берлина.

18

Во Франкфурт Субботин поехал не один. В вагоне напротив него сидел заметно нервничавший капитан Радчук. Его попросили съездить как единственного сослуживца Кованькова, знающего Ренату Целлер. Во Франкфурте он должен был, если в этом появится необходимость, помочь Субботину познакомиться с Ренатой.

Неуютным осенним утром под гулкие своды франкфуртского вокзала с поезда сошло не больше десяти пассажиров. Вместе с ними, стараясь не привлекать к себе внимания, вышли и Радчук

с Субботиным.

Больницу, в которой лежала сестра Ренаты, они нашли быстро. Субботин пошел в местное управление госбезопасности, а Радчук ждал его в маленьком кафе напротив больницы. Кроме Радчука, в кафе посетителей не было. Две девушки-официантки в углу за прилавком щебетали о чем-то своем. Они настороженно посматривали на хмурого молодого человека, сидевшего над нетронутой чашкой кофе.

Радчук через окно рассеянно наблюдал утреннюю жизнь города. И небо и улица были заштрихованы серой сеткой мелкого дождя. Когда проходил трамвай, чуткий колокольчик на двери кафе отзывался легким дребезжащим звоном.

«Неужели Рената Целлер враг?» — думал Радчук. Верить в это не хотелось. Между тем все, что рассказал ему Субботин, было более чем подозрительно.

Колокольчик звякнул решительно и громко. В кафе вошла девушка в дождевике. Она откинула на спину капюшон… Радчук замер. Это была Рената Целлер. Навстречу ей из-за прилавка выбежала официантка.

— Здравствуйте! А мы думали, что вы сегодня уже не придете. Решили, что ваша сестра выздо-

ровела, — веселой скороговоркой прощебетала официантка. — Вы же всегда заходите ровно-ровно в девять… Как здоровье сестры? Вы возьмете, как обычно?

— Да-да, — нетерпеливо ответила Рената. — Термос кофе и три свежие булочки. Сестра очень полюбила ваши булочки.

— Можете подождать пять минут?.. Будет готово свежее кофе. Присядьте.

Рената положила сумку на прилавок и села за столик.

Радчук совершенно не знал, как ему поступить. Субботин, как назло, словно сквозь землю провалился.

Рената посмотрелась в зеркальце, попудрила нос, потом взглянула на свои ручные часики и перевела взгляд на висевшие у входа большие электрические часы. (Радчук видел все это уголком глаза.) Затем она обвела кафе отсутствующим взглядом. Глаза у нее вдруг расширились, и она сделала непроизвольное движение, будто хотела убежать. Она увидела и узнала Радчука. Суетливо застегнув пуговицы дождевика, девушка встала и медленно подошла к Радчуку:

— Здравствуйте. Я не ошиблась?

— Нет, вы не ошиблись, — неприязненно отве-

тил Радчук. Он не умел скрывать свои чувства.

— Здравствуйте, капитан.

Радчук молчал и, продолжая сидеть, в упор, зло смотрел на Ренату.

Лицо ее медленно заливала меловая бледность; неловко, боком она опустилась на стул.

— Я знаю, что вы думаете, — тихо сказала она и после долгой паузы добавила: — Но вы не знаете… ничего не знаете.

Радчук молчал.

В это время прозвонил звоночек, и в кафе вошел Субботин. Он быстро подошел к столу.

— Это Рената Целлер, — громко сказал Радчук.

На лице Субботина не дрогнул ни один мускул.

— Твоя знакомая? — весело спросил он и протянул руку Ренате. — Сережа. Разрешите присесть?

Субботин сел и уставился на Ренату. Она сидела все в той же позе и смотрела вниз.

— У вас что, ссора? — быстро спросил Субботин.

Радчук и Рената молчали. Девушки-официантки с любопытством наблюдали за тем, что происходило у столика.

— Товарищи, я не виновата, — тихо произнесла Рената. — Почти не виновата.

Веселость мгновенно слетела с лица Субботина.

Он понял, что игра не нужна.

— Я все расскажу вам, все…

Рената впервые посмотрела на Субботина. Их взгляды встретились.

— Вы идете к сестре? — деловито спросил Субботин.

— Да.

— Идите. А когда освободитесь, зайдите в местное управление госбезопасности и расскажите там все, что вы знаете по интересующему нас вопросу. Зайдете?

— Зайду, — твердо ответила Рената.

Она встала, расплатилась с официанткой и ушла.

Субботин и Радчук через окно смотрели, как она медленно перешла улицу и скрылась в больничных воротах.

— Она зайдет, — точно про себя сказал Субботин. — Должна зайти. Ну и номер получился! Влетит мне от Семина, ох, как влетит!

19

Вот что рассказала Рената Целлер.

— Когда окончилась война, мне было шестнадцать лет, а старшей моей сестре, Алисе, которая

сейчас лежит здесь в Городской больнице, было двадцать три года. Всю войну мы прожили в Берлине. Наша мама и младший брат погибли во время бомбежек в сорок четвертом году. Отец был нацистом и занимал ответственный пост в рейхсканцелярии Гитлера. Последний раз я его видела в начале марта сорок пятого года. Немного позже к нам зашел его сослуживец, который сообщил, что отец погиб как герой, и вручил нам его ордена и большую сумму денег. Конец войны мы встретили вдвоем с сестрой. Ее муж, военный летчик, пропал без вести на Восточном фронте…

Рената замолчала, обвела всех находящихся в комнате затуманенным взглядом, выпила глоток воды и продолжала рассказ:

— Сестра была для меня всем: и матерью и другом. Естественно, я ее любила и верила ей во всем, хотя совершенно не знала, что у нее на душе. Она вообще очень скрытный человек. Я часто видела ее неподвижно сидящей в глубокой задумчивости. Она могла сидеть так часами. Я подходила к ней, обнимала ее, заглядывала ей в глаза: мне хотелось, чтобы она улыбнулась. Но это удавалось редко. Чаще она грубо отстраняла меня, говоря: «Не мешай мне, Рената, твое дело поскорей расти». До прошлого года она жила в

Берлине. Работала продавщицей газет на аэродроме Шонефельд, а потом переехала сюда, во Франкфурт. Здесь тогда еще была жива мать ее мужа, у которой она и поселилась.

Почему она переехала? После гибели матери и брата мы жили у наших дальних родственников. Сестра с ними очень не ладила. Там вся семья трудовая, демократически настроенная, имеющая все основания ненавидеть нацистское прошлое Германии. А сестра, наоборот, вся в этом прошлом. Сидеть в газетном киоске после того, как она была женой блистательного офицера авиации, сына богатых и знатных родителей, было для нее форменной мукой. Ее тоже надо понимать. Вообще я почти всегда была на стороне сестры. Окончив школу, я поступила на курсы библиотекарей. Затем стала работать в библиотеке. Сестра уехала. Родственники пытались меня перевоспитать, и это их заслуга, что я сейчас сижу здесь и все честно рассказываю. Но, если вы спросите обо мне у них, они скажут вам только плохое. Это потому, что все их разговоры и советы я встречала в штыки, грубила и назло им делала что хотела. Возьму уйду из дома и не возвращаюсь до поздней ночи. Они хотели, чтобы я поступила в вечерний институт, а я нарочно по

вечерам стала заниматься водным спортом.

Месяца четыре назад я познакомилась с Кованьковым. Познакомились мы случайно — просто оказались рядом в кино. Это знакомство сыграло в моей жизни огромную роль. Интересно, что Кованьков говорил мне то же самое, что говорили родные, но он говорил это без крика, без угроз, а просто, весело, по-дружески. В его слова я верила больше, и мне очень хотелось, чтобы он во мне не ошибся.

Теперь я перехожу к самому страшному событию в моей жизни. Однажды утром я вышла из дому, и у дверей меня остановил хорошо одетый мужчина лет пятидесяти. «Вы, — спрашивает, — Рената Целлер? Вот вам письмо от сестры. Я хочу с вами поговорить». Я сказала, что опаздываю на работу. Тогда он говорит: «Прочтите письмо в библиотеке, а я буду ждать вас вечером. Придете — хорошо. Не придете — ваше дело». Сказал, где он будет меня ждать, и ушел.

Письмо сестры было очень кратким. Она писала, что человек, который его передаст, большой друг нашей семьи и что он должен сказать мне какую-то очень важную правду. Только правду. Эти два слова были подчеркнуты. Свое письмо она просила уничтожить…

Все это меня заинтриговало, и после работы я встретилась с этим человеком. Сердце говорило: не ходи, но я все-таки пошла. Первое же, что он сказал, поразило меня до глубины души, у меня буквально потемнело в глазах. Он сказал, что наш отец жив, что он находится неподалеку, в Западной Германии. Тут же он передал мне подарок от отца. Это был конверт с деньгами. Затем он сказал, что отец живет одной мечтой — повидать своих девочек, что ему хочется приехать в восточную зону, хотя это трудно и опасно. Потом он попросил меня написать отцу несколько строчек, дал бумагу и ручку. Я долго думала, а потом написала, что счастлива от полученного известия, что я люблю его и очень хочу видеть. Человек сказал: «Поблагодарите его за подарок, — и прибавил: — Ваша благодарность будет и доказательством, что деньги вам переданы». Я написала: «Спасибо, папочка, за деньги, они мне, конечно, пригодятся». После этого мы расстались…

С этой минуты вся моя жизнь точно перевернулась. Я все время думала об отце, мечтала, что мы будем жить вместе: я, сестра и он. Эти мысли не давали мне покоя ни днем, ни ночью. А вскоре ко мне пришел еще один человек от отца. Он принес мне его фотографию и снова деньги. Теперь я на-

писала отцу уже длинное письмо. Вскоре третий человек принес мне ответ от отца. Я узнала его почерк. Таким же почерком были написаны все его давние письма к маме. Эти письма я хранила и знала наизусть. Отец писал, что мы в самом скором времени увидимся…

И вот однажды возле библиотеки меня встречает тот мужчина, который приходил первый раз, и рассказывает мне следующее: отец окончательно решил порвать с Западом и поселиться в восточной зоне. Но он боится, что здесь его упрячут в тюрьму, поэтому он собирается предварительно доказать здешним властям свою лояльность… Он думает сделать это с помощью советского офицера, с которым я дружу. Да-да, отец об этой дружбе знал… Откуда? Это мне неизвестно.

В письме отца говорилось, что пока он может довериться только этому офицеру. Он надеялся, что во имя дружбы со мной офицер окажет ему помощь или прямо скажет, что помощь невозможна. Словом, отец просил сделать все, чтобы он мог встретиться с русским офицером в моем присутствии. Я во все это поверила.

Они меня торопили, но все время так получалось, что показывалась занята, а чаще — Кованьков… Нет-нет! О том, что готовится такая встреча,

Кованьков не знал. Не знал он этого и в тот вечер, когда я позвала его погулять по городу, хотя, когда я звонила ему, рядом со мной находился очередной посланец от отца.

Кованьков согласился погулять. Посланец сказал: «Приходите к Варшавскому мосту, там вы сядете в машину, которая отвезет вас на свидание с отцом». Меня и удивило и обрадовало, что в машине, которая к нам подъехала, когда мы с Кованьковым стояли у моста, из двух пассажиров один оказался моим знакомым по тренировкам в бассейне. Это был Арнольд Шокман. Я вспомнила, что в последние дни Арнольд и особенно мой тренер Альма Гуц все время делали мне какие-то таинственные намеки, будто им предстоит участвовать в устройстве моего счастья… Нет, второго находившегося в машине мужчину я не знала. Я заметила только, что по-немецки он говорит не чисто…

Мы поехали вдоль набережной. Когда мы удалились от моста метров на пятьсот, я вдруг увидела, что Кованьков падает на пол машины. Тотчас незнакомый мужчина накрыл его попоной и приказал шоферу остановиться. «Вылезайте!» — крикнул он мне и Арнольду. Мы вылезли из машины. Незнакомец тоже вылез, отвел нас в

сторонку и, обращаясь ко мне, сказал: «Русский офицер готовил арест твоего отца. Мы вовремя это разнюхали. Мы — и твой отец в особенности — рекомендуем тебе молчать. У нас достаточно твоих писем с благодарностями за деньги, которые ты получала. Лучше всего сегодня же уезжай во Франкфурт к сестре. Она, кстати, очень тяжело больна». Потом он сказал Арнольду несколько слов, которых я не расслышала, вернулся в машину, которая помчалась обратно к Варшавскому мосту. Вот и все, что я знаю…

Да, конечно, я с Арнольдом говорила — вернее, он говорил со мной. Я вообще была так потрясена, что слова произнести не могла. Арнольд остановил такси и отвез меня домой. Пока мы ехали, он без конца твердил мне на ухо, что наше спасение только в одном: молчать, что бы ни случилось. Мы, мол, ничего не знаем, и все. Я должна сказать, что Арнольд тоже был испуган и очень взволнован…

Да, я уехала во Франкфурт в ту же ночь на первом попавшемся поезде…

Сестра лежит в больнице, и главный врач говорит, что ее дела очень плохи… Нет, кроме главного врача, я ни с кем не говорила. Он всегда бывает, когда я прихожу в больницу, сам прово-

дит меня к сестре и потом провожает до ворот… Нет, сестра выглядит вполне прилично.

20

Зигмунд Лисовский назначил Посельской свидание в букинистической лавчонке, разместившейся в подъезде разбитого во время войны дома. Посельская даже не сразу нашла ее. Вывеска на узенькой двери была размером в тетрадочный лист.

В лавке пахло мышами и столярным клеем. Всю ее левую, скошенную лестничным пролетом стену занимали стеллажи с книгами. В задней стене находилась низенькая дверь, завешенная суконной гардиной. Оттуда вынырнул, точно специально подобранный по размеру двери, кругленький коротышка в грязном синем комбинезоне.

— Что вам угодно, мадам? — Коротышка выпуклыми, слезящимися глазами с раболепным выражением уставился на девушку.

— Покажите мне какие-нибудь французские романы.

— Сию минуточку! — Коротышка вспрыгнул на стремянку, выхватил с полки несколько потре-

панных книг и рассыпал их на прилавке.

— Французов, извините, у нас маловато. Последствия чисто исторического порядка. — Склонив шарообразную голову, букинист смотрел, как Посельская перелистывала книги.



Наташа недоумевала. Она пришла сюда с десятиминутным опозданием, а Зигмунда Лисовского нет.

— Пожалуй, возьму вот эту… — нерешительно сказала Посельская. — Сколько стоит?

— Мадам, а может, не стоит зря тратить деньги?

Встретив удивленный взгляд Наташи, букинист тихо произнес:

— Господин Лисовский ждет вас там, — и показал на заднюю дверь.

За дверью была маленькая комнатушка, в которой стояли кровать, стол и один стул. На кровати сидел Зигмунд Лисовский. Когда Наташа входила в комнату, он посмотрел на часы.

— Любишь опаздывать? — спросил он без тени улыбки.

— Пришлось пропустить два поезда метро — люди едут с работы.

— Садись. — Лисовский кивнул на стул. — Свидание у нас не любовное, не будем тратить время. Я хочу поговорить о твоем отце.

— Это еще зачем? — спросила Посельская, думая в это время, как вести себя в связи с таким неожиданным желанием Лисовского.

— Видишь ли…

Наташа заметила, что король тренеров немного смутился и не знает сам, как начать разговор. Он тряхнул головой и точно сбросил смущение.

— Я не умею финтить, будем говорить прямо. Я из тех, кому не нравится, что Германия разодрана на куски, и которые не собираются с этим мириться. Германии не нужны ни русские, ни англичане, ни тем более французы. А русских мне просто трудно видеть на улицах Берлина!

Наташа заметила, что американцев он не назвал.

— Мы те, кто не капитулировал вместе с Кейтелем и готов пойти на все ради Германии. Твой отец офицер морских сил рейха? Так?

— Был, — уточнила Наташа.

— Что значит «был»? Немецкий офицер всегда офицер, пока он жив, — быстро произнес Лисовский. В глазах у него вспыхнул и тотчас погас злобный огонь.

— Мой отец увлечен своей гражданской профессией.

— Ерунда! Откуда ты знаешь, что у него в душе?

Некоторое время они оба молчали.

— Ну, и что же вы от меня хотите? — спросила Наташа.

Лисовский посмотрел на Посельскую раздраженно и вместе с тем настороженно.

— Прежде всего не забывай, что ты немка, — усмехнулся он.

— Я это всегда помню.

— Тогда отец твой помнит это вдвойне. Он кровь проливал за Германию. Наверно, с ним мне говорить было бы легче.

— Смотря о чем! — Посельская с вызовом смотрела на Лисовского.

— Все о том же — о Германии. Он же ведь не стал красным?

— Он был и остался немцем…

— Красные тоже кричат, что они немцы.

— Знаете, что я вам скажу… — Посельская смело смотрела в холодные глаза Лисовского. — Я категорически не желаю заниматься политикой. Это все знают в моем институте, это знает мой отец, мои друзья и должны знать вы. Я делаю то, что мне нравится. Учусь. Мне нравится спорт — я занимаюсь спортом. Мне нравится парень — я провожу с ним время.

— Русский? — усмехнулся Лисовский.

— Сегодня — русский, завтра — египтянин. Важно, чтобы нравился. И больше я ничего не хочу знать. Грош цена вам, занимающимся по-

литикой, если вы не можете обойтись без того, чтобы не тянуть в политику таких, как я!

— Но твой-то отец мужчина? — после долгой паузы устало произнес Лисовский.

В его глазах Наташа прочла разочарование. Возможно, что он уже злился на себя, что организовал это бесполезное свидание. И тогда Посельская решила подбодрить его немного.

— Я поговорю с отцом, — сказала она.

— О чем? — насторожился Лисовский.

— Вообще. Я с ним как-то ни разу не говорила о политике. Мне даже самой вдруг стало интересно, что он думает обо всех этих вещах.

— О каких?

— Ну, Германия, Германия и еще раз Германия.

— А кто, между прочим, тот русский, который сегодня тебе нравится? — вдруг спросил Лисовский.

— Мужчина. Молодой, интересный, острый.

— Чем занимается?

Наташа засмеялась:

— Мне не приходило в голову задать ему этот вопрос и заодно уже поинтересоваться и его зарплатой. До замужества еще не дошло. Сам он говорил, что он военный инженер, что-то тут у нас консультирует…

— Что именно?

— Да не знаю я! — искренне возмутилась Посельская. Помолчала и робко спросила: — Наверно, вы больше уже не будете заниматься со мной баттерфляем? Мне очень жаль.

— Да? — Лисовский почти улыбнулся. — Нет, почему же, мы позанимаемся. Ведь ты обещала поговорить с отцом… — Он тяжело поднялся с постели. — Ты уйдешь отсюда одна. Извини, что не провожаю.

— Этим занимается мой русский, — засмеялась Наташа.

— Он что, опять ждет тебя? — не сумев скрыть испуг, спросил Лисовский.

— О нет! Не хватало, чтобы он провожал меня на свидание с другим мужчиной!

Наташа вышла на улицу, довольная собой. Кажется, она не сделала ничего такого, за что полковник Семин пробирал бы ее на очередном совещании.

21

Рычагов установил, что Хауссон каждое утро ездил на улицу Хенель. Оставив машину на площади Майбах, он пересекал бульвар, по улице

Хенель доходил до пятиэтажного дома очень старой постройки и скрывался за обшарпанной массивной дверью.

На улице, по обеим сторонам двери, висело множество табличек, по которым можно было узнать, кто живет в этом доме. Зубной врач, протезист, адвокат, учитель музыки и много еще всяких других полезных людей. Не было только таблички, пояснявшей, что в этом доме на втором этаже находится один из филиалов ведомства майора Хауссона.

«Он человек скромный — не хочет афишировать свою фирму», — угрюмо усмехнулся полковник Семин, когда Рычагов показал ему фотографию подъезда этого дома на улице Хенель.

...Войдя в парадную дверь, майор Хауссон поднялся на первый пролет лестницы, отпер своим ключом дверь и вошел в переднюю, ярко освещенную лампой дневного света. В самом конце коридора, возле маленького столика, вытянув ноги, сидели два солдата. У одного на шее висел автомат, у другого на поясе — кобура с пистолетом. На майора Хауссона солдаты не обратили никакого внимания; можно было подумать, что они спят.

Хауссон прошел в одну из комнат, где молодой

человек, присев на угол стола, диктовал что-то стенографистке. Не прерывая диктовки, он помахал майору рукой и показал на стол, посреди которого лежала папка ярко-желтого цвета. Майор Хауссон сел на стол и, открыв папку, начал читать бумаги. Молодой человек подошел к Хауссону и раздраженно сказал:

— Я был у него уже два раза — все по-прежнему!

— Терпение, Жерард, — не отрываясь от бумаг, сказал Хауссон. — А это вы читали?

Майор протянул молодому человеку узенькую полоску шифровки.

— Конечно, читал. Всего этого следовало ожидать.

Майор Хауссон ударил кулаком по столу:

— Зачем они держали его в Мюнхене? Мы же им говорили, что этот русский попросту мелкий вор и бежал к нам от неминуемой тюрьмы. Предупреждали идиотов, что его нужно как можно скорее отправить подальше. Была же очередная отправка перемещенных в Австралию. Там бы он спокойно околел от тропической лихорадки. А они держали его в Мюнхене, пока газетчики не узнали, что он за птица. Теперь скандал на всю Европу.

Молодой человек усмехнулся:

— Хоть теперь его нужно обезвредить. Автомобильная катастрофа, или сердечный припадок, или еще что-нибудь…

— Да-да, конечно… — рассеянно пробормотал Хауссон. — Сегодня же, Жерард, сами поезжайте в Мюнхен и сделайте все, что нужно… А этот продолжает молчать?

— Как попугай, твердит одно и то же — требует немедленного освобождения.

— Ну что же, пойду поработаю с ним я.

Хауссон вышел из комнаты и направился в конец коридора, где сидели солдаты. Те лениво подтянули ноги и медленно встали. Один из них повернул ключ в обитой железом двери. Хауссон вошел в комнату, в которой несколько дней назад очнулся лейтенант Кованьков…

В это время Рычагов, очередной раз пропутешествовав за Хауссоном от его квартиры до дома номер три по улице Хенель, занялся тщательным исследованием дома. Он уже давно обнаружил, что во двор с улицы Хенель въезда нет. Во всех соседних домах ворота во двор были.

Рычагов вошел во двор соседнего дома с правой стороны. Этот двор был обрезан глухим брандмауэром дома номер три — абсолютно глухая стена,

только под самой крышей круглое вентиляционное окошко. По всей вероятности, оно служило для освещения чердака. Внимательно ощупав взглядом стену, Рычагов с трудом заметил, что раньше в ней на уровне второго этажа было окно. Теперь оно заделано старым кирпичом, который по цвету сливался со стеной.

Рычагов прошел во двор дома, стоящего слева. И сюда дом номер три выставлял такую же глухую стену. Разница была только в том, что здесь окно на втором этаже не было замуровано и, судя по всему, за ним была жилая квартира. На подоконнике стояли цветы.

Дом номер три был сильно вытянут в глубину, его брандмауэры были гораздо длиннее фронтона. Соседние дворы не были проходными. Но где же тогда двор дома номер три? Рычагов вышел на улицу Хенель, затем перекрестком прошел на параллельную улицу Беникен. Он предположил, что дом номер три вторым фасадом выходит на параллельную улицу и что там и может оказаться въезд в его двор. Но еще издали он увидел, что интересующий его дом на параллельную улицу не выходит. Здесь на улицу пустыми глазницами окон смотрел разбитый четырехэтажный дом. Разрушена была и половина следующего здания.

Все двери и нижние окна разрушенных домов были замурованы кирпичной кладкой, и пробраться внутрь развалин было невозможно.

Рычагов медленно шел вдоль мертвых зданий. Последнее выходило на площадь Майбах. Здесь, в трех шагах от угла, Рычагов остановился и задумался. Ведь не может же быть, чтобы у дома номер три не было подъезда со двора… Во всяком случае, майору Хауссону такой подъезд был нужен.

Чтобы вернуться на улицу Хенель, Рычагов завернул за угол и замер на месте. В глубине боковой стены разбитого дома он увидел плотные высокие ворота, окованные железными полосами. Он и раньше видел эти ворота, но ему не приходило в голову, что они, так далеко отстоящие от дома номер три, могли вести именно туда. Ворота были заперты изнутри, и в них не было ни одной щели.

Рычагов прошел на бульвар, сел на скамеечку, откуда хорошо были видны ворота, и стал ждать. Часа через два с улицы Беникен на быстром ходу вылетела машина — автобус без окон. Машина круто развернулась и уперлась фарами в ворота. Тотчас ворота распахнулись, пропустили машину и так же быстро закрылись. Но в эти две-три

секунды Рычагов увидел все, что ему было нужно: среди развалин тянулся узкий проезд к дому номер три.

Уже больше часа майор Хауссон обрабатывал Кованькова, но, как и в предыдущие дни, безрезультатно. Майор обладал железным характером. С его лица не сходила доброжелательная улыбка, и он без устали атаковал лейтенанта. Внутренне Хауссон бесился, что ему не удается сломить этого мальчишку, у которого по всем внешним признакам должен быть неустойчивый, мягкий характер.

— Я призываю вас, Кованьков, посмотреть трезвыми глазами офицера на все, что произошло с вами. Два наших мира стоят друг против друга… — Майор Хауссон стукнул кулаком о кулак. — И вы и мы, в общем, мало верим в рай на земле. И мы и вы не хотели бы оказаться застигнутыми врасплох, и поэтому и у вас и у нас действуют институты, задачи которых узнать: а что же втайне думает другая сторона? И, даже когда наши дипломаты расточают друг другу улыбки и комплименты, эти институты продолжают свою, по возможности невидимую, деятельность. И то, что сейчас происходит с вами, — абсолютно рядовой эпизод этой вечной беззвучной войны.

Месяц назад от нас к вам бежал капитан американской армии Реджер. Он знал не очень много, но все же вам он, наверно, пригодился. Теперь вам придется оказаться полезным нам.

— Я уже сказал: вы от меня ничего не дождетесь. Я требую немедленного освобождения!

Кованьков отлично понимал: Хауссон хочет, чтобы у него притупилось ощущение чрезвычайности происходящего. Не выйдет! Война так война! Стиснув зубы, Кованьков с гневной насмешкой смотрел на Хауссона, а тот продолжал доброжелательно улыбаться.

— Ну-ну, лейтенант, ни к чему столь сильные эмоции! Здесь, как вы видите, нет советских кинокамер, а для меня и моих коллег ваш бессмысленный героизм попросту смешон. Давайте-ка начинать работать. Вы служите в отделе, осуществляющем связь с немецкой администрацией северного района. Но мы прекрасно знаем, что ваша осведомленность так же узка, как полоски на ваших погонах. Родину продавать вам не придется — такая сделка вам и не по силам. Мы зададим вам весьма элементарные вопросы. Где печатаются восточные марки? В Берлине? В Лейпциге?.. Или, может быть, в Москве?

Кованьков молчал, смотря мимо Хауссона.

— Хорошо. Еще вопрос. Сколько продовольствия ежедневно поступает в Берлин из Советского Союза? Хотя бы примерно…

— Я отвечать не буду. Зря тратите время, — спокойно произнес Кованьков.

— Ну что ж, прекрасно, — беспечно произнес Хауссон. — Объявляется перерыв до завтра. Подумайте заодно вот о чем: если вы не будете отвечать, мы выдадим восточным властям вашу подругу Ренату Целлер, как соучастницу вашего похищения. Хотя, могу вас заверить, она к этому абсолютно не причастна. До свидания, лейтенант, до завтра!

Выходя из комнаты, Хауссон зацепился за протянутые ноги часового, и солдату пришлось принять на себя весь заряд майорской злобы.

Хауссон вернулся в кабинет и сел за стол. Бессильное бешенство клокотало в нем, мешало дышать; он сжимал мокрые от пота руки в кулаки. Не с первым русским имеет дело Хауссон, и он уже понимает, что от этого парня добром ничего не добьешься. По всему видно, что лейтенанта пора свезти в зону «Игрек» и подвергнуть «горячей обработке». По крайней мере, все быстро решится: или этот русский заговорит, или превратится в труп, от которого не может быть

никаких неприятностей… Но Хауссон сделать этого не мог. Вчера вечером он был у генерала: разговор был неприятным. Генерал спросил:

— Как дела с русским?

— Пока молчит, — ответил Хауссон.

— Можно выяснить, на какой срок рассчитано ваше «пока»? (Хауссон промолчал.) — Генерал начал подергивать плечом, что ничего хорошего не сулило. — Это плохая работа, майор. Вы недопустимо долго готовили операцию, она стоила нам немало денег, а теперь, когда дело сделано, вы повторяете свое «пока молчит»!

— Вы же не знаете, генерал, что раньше… — начал было защищаться Хауссон, но его перебил генерал.

— Что — раньше? — закричал он. — Перебежчик? Да мой адъютант лучше информирован в восточных делах, чем все ваши перебежчики, вместе взятые! Может, и этот будет полгода молчать, а потом сообщит нам сенсационные данные о ценах на хлеб в восточной зоне?

— Но вы же знаете, генерал, что этот офицер из штаба и из отдела, который нас очень интересует. И именно потому, что он попал к нам не добровольно, нужно время, чтобы он пришел в себя и начал давать показания.

— Ерунда! — Генерал дернул плечом и швырнул карандаш на стол. — В свое время я спрашивал вас: почему остановлен выбор именно на этом офицере? Вы сказали: во-первых, потому что он молод; во-вторых, нарушая инструкцию, завел знакомство с немкой. Вы говорили это? Прекрасно! Значит, я еще не страдаю склерозом и память у меня работает. А на поверку выходит, что вы схватили русского, для которого умереть за красные идеалы — удовольствие! Тогда я поздравляю вас, майор, — вы изготовите для русских очередного героя…

— Постараюсь не сделать этого, — угрюмо произнес Хауссон.

— Может, вы, майор, неясно представляете себе здешнюю обстановку? Мы делаем в Западной Германии то, что нужно Америке. А русские все больше развязывают руки немцам и требуют объединения страны. Это требование встречает поддержку всего народа. А если немцы начнут заниматься этим объединением, они сорвут и наши планы. Это же ясно, как дважды два — четыре! Нам нужно, срочно нужно взрывать русские позиции в Германии. Этот лейтенант только тогда будет стоить затраченных на него усилий, если он, штабной советский офицер, спокойно и

ясно скажет немцам то, что нужно нам. А иначе… — Генерал дернул плечом, помолчал и добавил: — В общем, долго ждать я не намерен…

На том разговор с генералом и кончился. Нет-нет, не мог Хауссон торопиться отправлять Кованькова в последнюю «горячую обработку». Русский должен заговорить здесь. Должен!

22

Очередное совещание оперативной группы у полковника Семина проходило бурно. Столкнулись два направления операции: одно, более активное, с уже реальными результатами, другое — внешне пока пассивное. Его представлял Рычагов.

И Субботин и особенно Посельская считали теперь, что они напали на верный след. Они требовали, чтобы и сам Рычагов меньше занимался бесплодным наблюдением за Хауссоном и помогал им. Ведь очень многое открылось после признания Ренаты Целлер.

— Так или иначе мы вернемся к Хауссону! — горячо и взволнованно говорила Посельская, обращаясь к Рычагову и косясь на полковника Семина. — Но вернемся, зная абсолютно все,

что связано непосредственно с похищением лейтенанта. Это же облегчит и нашу атаку непосредственно на Хауссона… Товарищ полковник, разве я неправа?

Семин приподнял веки и ничего не ответил, неторопливо записал что-то в своем огромном блокноте.

Рычагов не отозвался на слова Посельской. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на люстру.

— Послушаем Рычагова, — тихо произнес полковник.

Рычагов встал, пригладил ладонью свои белые волосы и сказал:

— Известен ход моей работы. Известно то, что сделали Посельская и Субботин. По-моему, сейчас по-прежнему еще опасно торопиться с радикальными выводами. Необходимо еще и еще раз проанализировать ход операции. — Рычагов говорил спокойно, убежденно, переводя взгляд с одного участника совещания на другого. Вот его взгляд остановился на Посельской. — Я думаю так. По-прежнему всю свою работу мы должны оценивать только с одной точки зрения — приближаемся ли мы к цели? А наша цель — лейтенант Кованьков. В этом смысле вряд ли

Посельская, даже изучив у Лисовского баттерфляй, доплывет до лейтенанта Кованькова.

— Демагогия! — тихо, но внятно произнесла Наташа.

Вот только когда полковник Семин поднял тяжелые веки и укоризненно посмотрел на Посельскую.

— Продолжайте, Рычагов.

Рычагов признавал, что Субботин и Посельская обнаружили очень интересных людей. Несомненно, эти люди объединены в нелегальную враждебную организацию, и разоблачение ее — большое и важное дело. Но, признав все это, Рычагов снова спросил:

— Скажите мне: разоблачив эту организацию, окажемся мы хоть на шаг ближе к лейтенанту Кованькову?.. Нет. Мы только более точно установим обстоятельства похищения и сможем наказать его участников. А Кованькову-то легче от этого не станет! Неужели такую простую вещь вы не можете понять?

Посельская и Субботин молчали. Полковник Семин, выждав немного, спросил, что же предлагает Рычагов.

— Мы должны проникнуть в хозяйство майора Хауссона, — твердо произнес Рычагов. — Мой

план на этот счет таков…

Все, что затем говорил Рычагов, было настолько захватывающим, что даже Посельская и Субботин, забыв о своих обидах, слушали его с огромным интересом.

Полковник Семин всем своим грузным телом навалился на стол, его оживившиеся глаза все время были устремлены на Рычагова, лицо точно помолодело.

Рычагов все это видел и отлично понимал, что его план нравится и полковнику и всем сотрудникам группы.

Да, это был план интересный, смелый, во многом рискованный. В нем было столько больших и малых сложностей, столько опасных подводных камней, что не следует удивляться тому длительному молчанию, которое установилось после выступления Рычагова.

Посыпались вопросы. Им, казалось, не будет конца. Рычагов отвечал быстро, уверенно. Было видно, что свой план он подготовил тщательно. Особенно много вопросов задавал полковник. После одного Рычагов не выдержал и, смотря в стол, устало сказал:

— Если вы, товарищ полковник, против моего плана, то так прямо и скажите.

Последовало неожиданное. Семин грузно поднялся с кресла, посмотрел на часы и сердито сказал:

— Совещание закончено. Завтра в девять ноль-ноль всем быть здесь. До свидания.

Недоуменно переглядываясь, Рычагов, Посельская и Субботин вышли в приемную. Они еще не успели и словом перемолвиться, как из кабинета вышел полковник.

— Я к генералу, — на ходу сказал он секретарю.

...Генерал Соколов был значительно моложе полковника Семина. Он это всегда помнил, как помнил и то, что за спиной полковника стоит многолетний опыт разведчика, отличное знание Германии и то, что полковник теперь болен, что ему пора на покой или, по крайней мере, взяться за серьезное лечение.

Увидев входящего в кабинет Семина, генерал встал и пошел ему навстречу:

— Как чувствуете себя?

— Отлично, — рассеянно ответил Семин и без паузы сказал: — Хочу доложить вам очень интересный план, возникший в оперативной группе Рычагова.

Генерал мгновенно уловил смысл плана и сразу же про себя одобрил его. Слушая полковника, он

всматривался в его оживленное лицо и думал: «Как же должен он любить свое нелегкое дело, если может вдруг словно стряхнуть с себя годы и стать таким, каким он, наверно, был лет десять назад, когда сумел пробраться в святая святых самого Гитлера и работать там почти до самой войны...»

Полковник Семин закончил доклад и настороженно посмотрел на генерала. Его взгляд спрашивал: «Ну что скажете, генерал? Есть еще порох в пороховницах?»

— План одобряю! — весело сказал генерал. — Хороших ребят вы, полковник, вырастили! Интересно, что в плане ваше?

— Только уточнение отдельных мест.

— Молодец Рычагов! — Генерал задумался, потом быстро спросил: — Какие новости из Франкфурта?

— Завтра наши немецкие коллеги проведут разоблачение мнимой больной. Сама Рената Целлер по-прежнему находится там.

— А как ведут себя спортсмены?

— Пока все без изменений. Зигмунд Лисовский все более настойчиво требует у Посельской устроить ему свидание с ее отцом.

— Продумайте это. Может, дать ему это свида-

ние? А может, пора Посельской оттуда уходить?.. Как наши немецкие товарищи?

— До трогательности старательные. И работают очень аккуратно.

— Помогайте им крепче, Владимир Иванович. Ведь пройдет год-другой, и мы с вами уедем отсюда домой… — Генерал засмеялся. — «Еще есть у нас дома дела!» Так, кажется, в песне поется?.. Вот… А тогда немецким товарищам посоветоваться будет не с кем.

— Понимаю, понимаю… — задумчиво произнес Семин. — Они это тоже понимают.

— Вот и хорошо… Ну что ж, Владимир Иванович, план группы Рычагова мне нравится. Смело, хотя и рискованно. Замечательно, Владимир Иванович, что свой трудный и опасный план Рычагов придумал не для кого-нибудь, а для себя.

— Вся опергруппа загорелась, — улыбнулся Семин.

— Вот она, наша главная сила: во имя спасения товарища себя не пожалеть! Ну, а если мы и Кованькова вырвем и выполним вторую часть плана, этой операцией мы сможем гордиться…

Семин повертел головой:

— Не будем забегать вперед.

Генерал довольно потер руки и сказал:

— Да, рискованный, черт возьми, делаем ход! Предупредите всех: действовать спокойно, обдуманно. Малейшая ошибка или неразумная поспешность может провалить все дело.

23

У Посельской в ее отношениях со спортсменами возникло неожиданное осложнение. Арнольд Шокман, судя по всему, всерьез влюбился в нее. Именно сейчас, когда Наташа начала готовить свое исчезновение из спортивной среды, он, точно предчувствуя это, буквально не отходил от нее: подстерегал на улице, возле бассейна, навязывался проводить и уже не раз заводил непонятный разговор, состоявший главным образом из туманных намеков.

В этот вечер Наташа шла на тренировку. Сильный порывистый ветер крутил по улице смерчи из дождя и мокрого снега. Фонари были окутаны беснующейся метелью, сумрачный туннель улицы еле угадывался.

Собираясь в бассейн, Наташа с отвращением думала, что ей предстоит раздеваться и лезть в воду, а сейчас ей уже хотелось поскорей оказаться в гулком и теплом зале.

На следующем перекрестке нужно повернуть за угол, и там уже будет улица, на которой находится здание спортивного клуба. Наташа ускорила шаг.

За углом ее поджидал Арнольд Шокман. Он возник так внезапно, что Наташа отшатнулась.

— Извините, Ани… это я, — пробормотал он, беря Наташу под руку. — Не ходите туда, там никого нет. Тренировку отменили. Там только Зигмунд со своей Альмой… ждут вас.

— Лисовский хотел со мной заниматься! — сердито сказала Наташа, с любопытством вглядываясь в Арнольда и видя, что он очень взволнован.

— Если не хотите, Ани, покалечить себе жизнь, не ходите! — вдруг решительно произнес Арнольд.

— Боже, как это таинственно, как страшно! — Наташа рассмеялась. — Последнее время, Арнольд, вы буквально засыпали меня таинственными предупреждениями. Не пора ли заговорить прямо и ясно?

— Да, Ани, нам надо поговорить. Идемте куда хотите, только не к ним…

Они шли против ветра, разговаривать было невозможно. Когда они поравнялись с кафе, Наташа сама предложила зайти туда. Совершенно

неожиданно Арнольд идти в кафе отказался и тут же бросился через улицу, чтобы перехватить проезжавшее такси.

Посельская насторожилась. А вдруг вся эта спортивная братия раскусила обман и теперь они хотят сделать с ней то же, что сделали с Кованьковым?

Садясь в такси, Наташа опустила руку в карман пальто и отвела на пистолете предохранитель.

— Фридрихштрассе, двадцать семь, — приказал Арнольд шоферу.

— Куда мы едем? — небрежно спросила Посельская.

— Там есть маленькое, уютное кафе. — Арнольд взял Наташу за руку и тихо сказал: — Не бойтесь, я вам плохого не сделаю… не могу сделать.

Кафе оказалось действительно очень уютным. И, видимо, публика его любила, раз в такую погоду здесь не оказалось ни одного свободного столика. Но Арнольда здесь знали. Тотчас вынесли и накрыли запасной столик.

— Что пожелает ваша дама? — спросил официант.

— Черный кофе, — строго сказала Наташа.

— Мне тоже, — немного смущаясь, произнес Арнольд.

— Вам только кофе? — Официант сделал испуганное лицо и нагло подмигнул Наташе.


CAFE

— Два раза черный кофе, — сердито распорядился Арнольд.

— Слушаюсь. — Официант исчез.

Наташа засмеялась:

— Не стесняйтесь меня, Арнольд, заказывайте то, что всегда.

— А я и кофе не хочу… вообще ничего не хочу. Мне нужно сказать вам… очень важное.

Официант подал кофе, и, как только он отошел от стола, Арнольд наклонился к Наташе и заговорил быстро, поначалу сбивчиво и все время опасливо косясь по сторонам:

— Ани, вы можете думать обо мне все, что угодно. Я скажу вам так… Я лучше, чем обо мне думают ваш Зигмунд и его прекрасная ведьма Альма. Честное слово, лучше… Им только раз удалось втянуть меня в свое грязное дело. Хватит! — Арнольд пристукнул ребром ладони по столу, в глазах его зажглась решимость. — Ани, вы можете, конечно, смеяться… но я люблю вас! Да-да, улыбайтесь!.. Я знал многих девушек… но вы — это совсем другое.

— Вы неплохо, Арнольд, придумали, — тихо засмеялась Наташа: — запугать меня Лисовским и затащить сюда для объяснения в любви.

— Говорите и думайте что хотите! — Арнольд

упрямо тряхнул головой. — Но я вам сегодня скажу все. Запомните: Зигмунд Лисовский и Альма Гуц — опасные люди. Спорт для них не больше, как ширма для черных дел. Они, попросту сказать, бандиты…

Наташа положила руку на руку Арнольда и, смотря ему в глаза, тихо сказала:

— Послушайте, Арнольд, вы, наверно, думаете, что Зигмунд…

— Нет, — решительно произнес Арнольд. — Я все знаю. У Зигмунда есть Альма, а у вас какой-то русский. Конечно, я был бы рад, если бы этого русского не было, но, раз он есть, я могу надеяться только на судьбу… на то, что вы уже сегодня поймете, на что я готов ради вас.

— Ну хорошо! — Наташа усмехнулась. — Итак, Зигмунд и Альма — бандиты. Дальше что?

— Да, они бандиты. Больше того, они возглавляют целую шайку бандитов.

— По-моему, вам это надо сообщить не мне, а тому, кто интересуется бандитами.

— Нет, никогда! Я доносчиком не был и не буду. Я вам говорю это только затем, чтобы вы, лично вы, знали, с кем имеете дело. Тем более, я знаю: вам и вашему отцу и даже вашему русскому грозит большая опасность.

— Да ну! — насмешливо воскликнула Наташа.

— Да, именно так. Я это точно знаю… — Арнольд замолчал и, откинувшись на спинку стула, обвел кафе медленным взглядом.

Наташа испугалась, что она повела себя неправильно, что Арнольд больше ничего не скажет. Она сделала ему знак глазами, чтобы он приблизился к ней.

— Скажите мне, Арнольд, правду: зачем вы все это говорите о ваших же друзьях?

— Друзьях?! Какие они мне друзья! — Он махнул рукой. — Вы же не знаете, кто такой я и кто такие они! — Глаза Арнольда затуманились, и он долго молчал. — Мой отец погиб во Франции, мать умерла после окончания войны. Я остался один в этом страшном Берлине… квартира сгорела… мне двадцать лет. Разве удивительно, что моей ареной стал черный рынок! Продавал сигареты, выпрошенные у янки. Не было сигарет — воровал. Было, Ани, и это. Потом меня взяли рассыльным в профсоюз. Затем стал сторожем на стадионе. Я очень люблю спорт, и мне хотелось стать чемпионом. Но только хотеть мало, тем более что я пристрастился к вину, к развлечениям. Но меня заметила Альма Гуц, сказала: «Ты будешь чемпионом». Вместе с Зигмундом они стали меня

тренировать, и год назад я поставил берлинский рекорд. Мою фотографию напечатали в газете. Это были самые счастливые дни в моей жизни!.. А недавно Зигмунд и Альма сказали, что мой рекорд сделали они. Зигмунд купил двух судей — и все. Сволочи!

— И вы думаете, этого достаточно, чтобы считать их бандитами? — серьезно спросила Наташа.

— Нет, Ани, история моего рекорда — чепуха. Было кое-что и другое.

— Что именно?

Арнольд молчал. В его глазах Наташа видела смятение и понимала, что вот сейчас его признание подошло к самому главному, что он может и не сказать…

— Расскажите мне, Арнольд, все. Может быть, я смогу вам помочь? — тихо сказала Наташа.

— Нет, я еще хочу жить… — Арнольд криво усмехнулся.

— Вы похожи на Альму. Она тоже всегда безжалостно чернит людей и не желает при этом объяснить, за что она их ненавидит.

Лицо Арнольда мгновенно побагровело, и Наташа поняла, что сделала правильный ход.

— А что бы вы сказали, узнав, что Альма и Зиг-

мунд работают на Запад? — Арнольд впился в Наташу злым решительным взглядом. — Да, на Запад! Они спекулируют валютой. Распространяют провокационные листовки. Шпионят. Они способны на любые бандитские дела… лишь бы хорошо заплатили.

— Например? — быстро спросила Наташа.

— Например, участвовать в похищении русского.

— Какого русского?

— Скажем, вашего друга. А если хотите, и вашего отца заодно. Даже скорей — вашего отца. Он Зигмунда очень интересует.

— Вы говорите, Арнольд, слишком серьезные вещи, чтобы я могла поверить вам на слово.

— Вы хотите бежать в полицию?

— Нет, хочу бежать от Альмы и Зигмунда.

— Они могут догнать.

— А вот тогда можно и в полицию.

— Берегитесь, Ани, у них очень длинные руки! Если вы действительно решите бежать от них, сделайте это осторожно, не вызвав у них ни малейшего подозрения. А то у них есть один букинист, который в два счета отправит вас на тот свет.

— Гельмутштрассе, четыре? — быстро спросила

Наташа.

Арнольд отшатнулся. В его глазах кричал страх:

— Вы знаете?

— Однажды Зигмунд назначил мне встречу у этого букиниста, — небрежно пояснила Наташа. — Такой маленький человечек и совсем не страшный — скорее смешной.

— Профессиональный убийца — вот кто этот букинист! — Арнольд, помолчав, продолжал: — Недавно был украден один русский офицер. Это дело организовал букинист.

— Откуда вы знаете?

— Если хотите знать все, — Арнольд хлебнул воздух, точно перед прыжком в воду, — они и меня сделали участником этого грязного дела. Да-да, Ани! Только, поверьте, я ничего не знал. Ничего до тех пор, пока все это не произошло на моих глазах. Они привлекли меня, чтобы сбить с толку одну немецкую девушку, с которой я был знаком.

— Ну и что же? — небрежно спросила Наташа.

— Вам этого мало? — разозлился Арнольд. — Я вам… ради вас… потому что люблю вас… я рассказываю все… А вы… — Арнольд вдруг уставился на Наташу округлившимися глазами. — Кажется,

я большой идиот, — торопливо проговорил он. — Вы, очевидно, с ними? Да? Ну что же…

— Не говорите глупостей, Арнольд! Большое вам спасибо за все. Я сбегу от этих бандитов, даю вам слово!

— Но я вас умоляю об одном… — На лбу Арнольда выступила испарина. — Не предпринимайте ничего, не посоветовавшись со мной. Помните, я ваш самый верный друг, я для вас сделал то, чего не сделал бы ни для кого на свете. Неужели вы этого не видите?

— Я вижу.

Арнольд порывисто схватил Наташину руку и поцеловал ее.

Наташа встала:

— А теперь мне надо домой. Отец, наверно, уже беспокоится.

24

Рената не знала, что произошло с ее сестрой на самом деле. Ей сказали только, что в состоянии сестры наступило резкое ухудшение и поэтому допуск к ней в палату временно запрещен.

Рената каждое утро приходила в больницу и слышала одно и то же:

«Никаких изменений нет, вашей сестре по-прежнему очень плохо».

А на самом деле произошло вот что.

Немецким товарищам из местного управления госбезопасности не стоило большого труда установить, что сестра Ренаты Целлер совершенно здорова. Разоблачение мнимой больной было произведено хитро и прежде всего так, чтобы связанные с ней люди никак не заподозрили, что кто-то догадывается об истинной причине странного заболевания Алисы Целлер.

Просто в местный отдел здравоохранения поступило малограмотное письмо от медсестры, в котором она обращала внимание на бесхозяйственное использование больничных помещений. Среди других фактов она приводила и такой, что в отдельной палате содержится, видимо, хорошая знакомая главного врача, хотя по своему состоянию эта больная отлично могла бы находиться в общей палате.

Для расследования заявления отдел здравоохранения создал специальную комиссию. Однажды утром комиссия внезапно появилась в больнице и начала осмотр палат и опрос больных. Комиссия приступила к работе около десяти часов утра, а к половине двенадцатого исчез главный врач.

Он сумел уйти из больницы, не замеченный работниками немецкой госбезопасности.

В течение получаса консилиум врачей установил симуляцию больной Алисы Целлер, и она прямо из больницы была перевезена в местное управление госбезопасности. Поняв, что ее игра окончена, но, видимо надеясь еще на что-то, Алиса Целлер отказывалась отвечать на вопросы. Уже три дня продолжались бесплодные попытки добиться у нее признания, но она упрямо молчала. Работники госбезопасности понимали, что, кроме всего прочего, она, очевидно, хочет выиграть время, для того чтобы ее сообщники успели или ей помочь, или хотя бы скрыться. Поэтому квартира Алисы Целлер находилась под неусыпным наблюдением.

А Рената, ничего этого не зная, каждое утро приходила в больницу и затем возвращалась домой, на квартиру сестры.

Погода в это утро была отвратительная. Низко над самыми крышами летели, клубясь, грязные рваные тучи. На несколько секунд вдруг проглядывало солнце, а потом снова надолго город окутывали угрюмые сумерки и сыпал, сыпал мелкий мокрый снег.

Подняв воротник пальто, Рената шла из боль-

ницы домой. «Что же это с сестрой?» — тревожно думала она. В последнее время Рената все чаще вспоминала странный вопрос следователя, за которым явно стояло сомнение в том, что Алиса действительно больна. В самом деле, странно. Болезнь у сестры тяжелая, а выглядит она хорошо. И почему, наконец, главный врач оказывал ей и Ренате такое предпочтительное внимание, такую заботливость? Однажды, когда Рената навещала сестру и разговаривала с ней с глазу на глаз, Алиса высказала предположение, что главный врач неравнодушен к ней, но Рената почему-то в это не поверила. Просто не поверила — и все.

Размышления Ренаты о сестре тотчас связывались с тревожными воспоминаниями о пережитом ею за последнее время, о самом главном и самом страшном, что случилось в тот вечер в Берлине возле Варшавского моста. А все началось с того, что к ней явился человек с запиской от Алисы. Значит, она тоже знала, что их отец жив. Но тогда почему, когда Рената однажды уже здесь, в больнице, спросила у нее об этом, Алиса вдруг занервничала и, сославшись на сердцебиение, уклонилась от прямого ответа. Наконец, почему она потом ни разу не вспомнила об этом?..

Рената подошла к перекрестку, где она обычно

переходила улицу, чтобы зайти в бакалейную лавку. Она уже так привыкла к этому однообразному маршруту, что чисто механически шагнула с тротуара на асфальт. Все, что произошло в следующее мгновение, было непонятно, как дурной сон.

Рената слышит слева нарастающий гул мотора. Она оглядывается. Прямо на нее с огромной скоростью мчится низенькая машина черного цвета, а другая, большая темно-зеленая, догоняет эту черную… Чья-то сильная рука хватает Ренату за плечо и швыряет ее назад, к стене дома. Она падает… Обе машины пролетают у самой кромки тротуара. Большая зеленая начинает обгонять черную и прижимает ее к краю улицы… Черная машина правыми колесами задевает кромку тротуара и врезается в чугунную тумбу. Машину забрасывает на тротуар, и она опрокидывается на бок. Зеленая машина с душераздирающим визгом тормозов останавливается, проскочив чуть дальше…

Из дверцы опрокинувшегося автомобиля, как из люка, выкарабкался высокий, плечистый мужчина в короткой черной куртке. Он встал на ноги, пошатнулся и вдруг с неожиданной проворностью прыгнул на тротуар и скрылся в воротах…

Выскочившие из зеленой машины люди — их было четверо — с пистолетами в руках подбежали к лежащей на боку машине. Один из них погнался за человеком, скрывшимся в воротах…



Все это произошло в течение нескольких секунд. Рената Целлер даже не успела еще подняться. Возле нее стоял молодой человек, который, как и она, наблюдал все происходящее. Но вот он наклонился к Ренате:

— Вас не задело?

— Нет.

— Значит, вовремя я вас схватил. Давайте руку, вставайте.

25

Покупатель оказался на редкость нудным и въедливым. Букинист никак не мог понять, что, в конце концов, нужно было этому господину с постным, как у священника, лицом.

— Покажите мне что-нибудь из области истории.

— Пожалуйста, вот вам история, целая куча истории.

Добрых полчаса покупатель роется в этой куче, мусолит каждую книжку, а потом выясняется, что ему нужна всего-навсего история музыки.

— Прекрасно! Вот вам книги по истории музыки.

Оказывается, ему нужны еще исторические

романы, в которых описана жизнь великих музыкантов — скажем, Бетховена или Моцарта. А лучше всего Вагнера.

— Этого, извините, нет. — Толстяк начинал терять терпение.

Он стоял, облокотившись на стеллажи, сцепив пухлые руки на кругленьком животике, и с ненавистью смотрел на покупателя, близоруко нюхавшего книги. Но, когда покупатель отнимал от лица книгу, на круглом розовом лице букиниста мгновенно появлялась любезная улыбка.

— А вы не можете принять заказ на такие книги? — скрипучим голосом спросил покупатель.

Букинист нервно повел плечом:

— Принять заказ нетрудно, а выполнить его невозможно. После этой страшной войны весь прославленный немецкий букинизм отдан во власть случая. Вы только подумайте: для того чтобы я мог выполнить ваш заказ, нужно, чтобы у какого-то немца «икс» сгорело все, кроме романа о Вагнере, и еще надо, чтобы этому немцу самому нужна была не данная книга, а те десять марок, которые я ему за эту книгу дам. Видите, какая цепь случайностей!

— А вдруг этот немец все-таки притащит вам нужную мне книгу? — невозмутимо спросил

покупатель.

— Дай бог, дай бог, — сквозь зубы проговорил букинист.

— И на этот случай запишите, пожалуйста, мой адрес и, если мне повезет, пошлите мне открытку.

— С удовольствием! — Букинист понял, что покупатель наконец уйдет, шариком подкатился к конторке и достал оттуда грязную потрепанную тетрадь.

— Слушаю вас.

Покупатель сказал адрес и снова начал рыться в книгах. Словно нарочно он выбрал самую тоненькую и протянул ее букинисту:

— Заверните, пожалуйста. Не зря же я вас беспокоил. — Первый раз на лице покупателя мелькнуло что-то похожее на улыбку. — Сколько это стоит?

— Пять марок, — прорычал букинист.

— Пожалуйста. Спасибо. Я все-таки буду ждать вашу открытку, я очень верю в волшебство случая. — Покупатель педантично замотал шею шарфом, застегнул пальто на все пуговицы, поднял воротник и вышел из лавки.

Букинист остервенело стукнул кулаком по прилавку и нырнул за гардину.

В комнате, где в свое время Зигмунд Лисовский принимал Посельскую, теперь сидел худощавый молодой человек лет тридцати. Одет он был в поношенную кожанку, а на столе перед ним лежала фуражка-тельманка. Букинист швырнул на стол полученные от покупателя пять марок:

— Вот цена моей выдержки! Еще минута, и я бы его застрелил.

Молодой человек взял смятые деньги и аккуратно разгладил их ладонью.

— Не узнаю вас, Курт. Неужели ваши нервы так подешевели? И мы, выходит, переплачиваем вам? — Молодой человек говорил по-немецки довольно хорошо, но с той старательностью, которая выдавала в нем иностранца.

— Нервы не из железа, мистер Райт, — проворчал, садясь, букинист.

— А не может быть, что этот покупатель заходил специально проверить, из чего сделаны ваши нервы?

— Ерунда! Я уже знаю этих сумасшедших. Гитлер истреблял евреев, а надо было душить и всю интеллигенцию. Они-то нас и спихнули в пропасть. — Толстяк всплеснул руками. — И этим идиотам хоть бы что: вынь и подай роман о Вагнере!

Молодой человек пододвинул деньги букинисту:

— Хорошо сказано! Получите.

Букинист смахнул деньги на пол.

Глаза у молодого человека злобно блеснули.

— Господин Крамер, покупатель явно переплатил за ваши нервы. Я вас просто не узнаю.

— А я вас не понимаю! — вспылил букинист. — Что вы изображаете из себя сверхчеловека? «Нервы, нервы»... Вы же просто не знаете, что случилось во Франкфурте. Зигмунд Лисовский буквально выпрыгнул из петли, и, наконец, просто счастье, что Карл разбился насмерть. Он слишком любил себя и продал бы нас, как баранов, поштучно.

— Вы уверены, что он действительно мертв?

— Так сообщено в газетной хронике.

— А если это сообщение напечатано нарочно, чтобы сберечь остатки ваших нервов?

— Да? — Букинист испуганно посмотрел на собеседника.

В это время где-то под кроватью послышался звук, похожий на приглушенный звонок. Хозяин и его гость вздрогнули, посмотрели друг на друга.

— Кто это? — тихо спросил молодой человек.

— Не знаю… Все были предупреждены: входить через лавку открыто. — Букинист задумался и вдруг облегченно произнес: — Это может быть только Зигмунд. Он один не знает условия сегодняшней явки.

Под кроватью с ровными паузами послышались четыре глухих удара. Букинист и молодой человек отодвинули кровать, отогнули угол покрывавшего пол линолеума и открыли искусно закамуфлированный люк. Из черноты подземного хода показалась голова Зигмунда Лисовского. Молча он выбрался из люка, подсел к столу и мрачным взглядом уставился на букиниста.

— Твой Карл, — заговорил он наконец сиплым шепотом, — трус и дрянь!

— Ладно, ладно… — Букинист махнул рукой. — Он мертв, и ему уже нельзя стать другим…

— Как все это произошло? — сухо спросил молодой человек.

— Во-первых, была собачья погода… — начал рассказывать Лисовский.

Но молодой человек нетерпеливо поднял руку:

— Без лирики, если можно.

— До этого дня мы дважды могли покончить с ней, но Карлу, видите ли, казалось, что на улице было много прохожих.

— А почему вы сами не сели за руль? — быстро спросил молодой человек.

— Я привык делать то, что мне приказано! — злобно огрызнулся Лисовский.

— Понимаю. Это уже мое упущение. — Молодой человек, прищурясь, смотрел на Зигмунда. — Я забыл, что у немцев дисциплина — вторая религия. Но так ли уж всегда вы следуете этой религии?

— Всегда.

— А мое задание в отношении отца Анны Лорх?

— Излишней настойчивостью можно было бы спугнуть… — Лисовский пожал плечами.

— Ладно, допустим. Так что же все-таки случилось?

Лисовский продолжал рассказывать:

— Вторая ошибка была в том, что мы послушались вас и на нашей машине поставили франкфуртский номер. Там не так уж много машин, чтобы полиция не заметила появления новой. Вдобавок мы несколько дней или стояли, или вертелись у того места, где ходила Рената Целлер. Наконец, в этот день, буквально в решающий момент, зашалило зажигание, мы отстали, а затем на дикой скорости стали наверстывать упущенное и обратили на себя внимание поли-

ции. Так или иначе, когда мы были в десятках метров от Целлер, мы обнаружили погоню. Карл стал нервничать и еще прибавил скорость. В результате мы приблизились к Целлер, когда она сделала от тротуара первый шаг, а в метре от нее была куча снега. Карл стал эту кучу объезжать, и в результате мы пролетели мимо Целлер и стукнулись боками с машиной полиции. От удара нас вынесло на тротуар, и мы врезались в тумбу.

— Карл действительно убит?

— Да. Он ударился грудью о руль. Был такой звук, будто сломали сухую доску. Изо рта у него сразу хлынула кровь. От этого обычно умирают, — тяжело усмехнулся Зигмунд.

Молодой человек насмешливо посмотрел на него:

— Можно сказать только одно: для суда над вами вы сохранили великолепного свидетеля обвинения. Я имею в виду Ренату Целлер. Она вас в два счета запрячет в тюрьму лет на двадцать.

Зигмунд молчал.

Вскоре через лавку в комнату за гардиной пришли еще два человека, после чего букинист запер входную дверь и вывесил на ней табличку «Обед».

26

Уже несколько дней немецкие товарищи вели пристальное и, надо сказать, по-немецки тщательно организованное наблюдение за лавкой букиниста. Делать это было нелегко. Дом, в котором она находилась, со всех сторон был окружен руинами. Дверь лавки выходила на мертвую улицу. Если на ней появлялся человек и если он не заходил в лавку, он сразу мог вызвать подозрение букиниста.

Один из постов наблюдения находился метрах в двухстах от лавки; там для маскировки поста была имитирована разборка руин и вывозка кирпича. При помощи мощной оптической аппаратуры оттуда хорошо просматривался вход в лавку. Фотографировался каждый ее посетитель. Этот пост назывался «Каменщик». Второй пост наблюдения располагался в глубине разрушенного квартала, позади лавки букиниста, на вершине громадного каменного кургана. Он назывался «Пирамида». На этой горе битого кирпича однажды ночью был отрыт и оборудован блиндаж с круговым наблюдением. Здесь непрерывно дежурили два человека. Оба поста

наблюдения по радиотелефону были связаны с двумя оперативными пунктами, находившимися в значительном отдалении. Там дежурили автомашины.

Пост «Каменщик».

Дежурный, прильнув к оптическому прибору, поднял руку:

— Внимание! Открывается дверь лавки.

Другой сотрудник положил руку на пусковой рычаг киноаппарата, но его остановил товарищ:

— Не надо, это вышел Иоганн Ремке.

Иоганн Ремке, он же докучливый покупатель, мечтающий достать роман о Вагнере, медленно направился в сторону оперативного пункта номер два…

Оперативный пункт № 2.

— Ну, как дела, Ремке?

— Ничего. Нервы у него не в порядке, он готов был съесть меня живьем.

— Гостя его не видел?

— Нет. Он, конечно, в комнате за гардиной. Купил вот книжечку с символическим названием «Начало конца».

— Опасные вольности, Ремке! Он же мог почуять в этом недоброе.

— Он даже не посмотрел, что я беру.

Пост «Пирамида».

— Смотри, человек! Куда это он идет по развалинам? Идет уверенно, точно по улице.

— Верно. А озирается, как загнанный волк.

— Смотри, смотри!

Человек этот был Зигмунд Лисовский. Он остановился возле цоколя разбитого дома и долго смотрел по сторонам. Убедившись, что никто его не видит, согнулся и нырнул в дыру полуподвального окна.

— Вызываю оперативный пункт номер один. Говорит «Пирамида». Только что…

Оперативный пункт № 1.

— Сообщение принято, продолжайте наблюдение. Посылаем на место сотрудников с собаками.

Пост «Каменщик».

— Вниманию оперативных пунктов! С восточной стороны показались двое. Идут в сторону букинистической лавки. Начинаем киносъемку. Один из двоих — тот самый, что был здесь третьего дня. Другой, судя по всему, появляется тут впервые.

Оперативный пункт 1.

— Внимание! Слушайте все, все! Говорит пункт номер один. Ровно через пятнадцать минут после того, как эти двое войдут в лавку, начнем опера-

цию. Предупреждаю: оружие применять только в исключительном случае. Не выключайте радио, слушайте меня непрерывно…

— Мне поручено передать вам, что начальник «Милитариинтеллидженс департамент» мистер Форстер считает вашу работу очень плохой… — С этого начал худощавый мужчина в потрепанной кожанке, когда собрались все, кто был вызван к букинисту. — По-видимому, вы повторяете главную ошибку своего незадачливого фюрера: самоуверенность за счет ума. Эта история во Франкфурте просто позорная: два опытных человека не сумели справиться с девчонкой! А один еще и погибает впустую. Теперь красные нападут на ваш след. Какие были документы у погибшего?

— Не подлинные, — мрачно ответил Лисовский.

— Это я понимаю. Но какие? Не сделанные ли у нас?

— Нет. У меня и у Карла были документы его производства… — Зигмунд кивнул на букиниста.

— Хоть это предусмотрели, и то хорошо, — облегченно вздохнул худощавый. — Те, кто гнались за вами, не могли догадаться, что вы хотели сбить эту Целлер?

— Не думаю. Наш человек, наблюдавший всю эту историю, сказал, что она упала со страху. Ей помог встать какой-то прохожий, и она пошла домой…

— В ее старшей сестре вы уверены?

— Абсолютно, — ответил букинист. — Главный врач больницы дал ей яд. Как только она увидит, что мы для нее ничего сделать не можем, она умолкнет навеки.

— Давно надо было это сделать. Что касается главного врача, то он уже у нас. Вот сорван с хорошей стратегической точки еще один человек. Франкфурт стал для нас белым пятном. И все из-за того, что вы никак не можете отказаться от провинциальной театральщины, которую так обожало ваше гестапо! Зачем нужно было младшую Целлер посылать во Франкфурт, инсценировать болезнь старшей? Не могли вы, что ли, покончить с младшей здесь?

— Здесь это было трудней, — сказал букинист.

— Но оказалось, что трудней там? Везде, господа, трудно, если мало умения, вот в чем дело. А в результате мы сорвали с важных для нас точек и главного врача и Алису Целлер. Самое досадное, что этот провал происходит как раз тогда, когда ваши действия должны быть наиболее активны-

ми и эффективными.

— Главное мы сделали, мистер Райт: русский офицер у вас! — резко сказал букинист.

Человек в кожанке ничего не сказал, даже бровью не повел.

— С этим морским офицером, отцом спортсменки, вы связались наконец? — обратился он к Лисовскому.

— Да. Состоялся первый разговор.

— Ну и что?

— Не понравился он мне. Молчит. А когда говорит — изворачивается, как уж.

— Когда вы с ним встретитесь еще?

— Договорились в воскресенье. Он придет сюда в два часа дня.

— Хорошо.

— Теперь всем вам предстоит начать совершенно новое и не очень сложное дело. — Худощавый тщательно затушил сигарету и продолжал: — Война выбросила в жизнь множество подростков, у которых нет родителей. Эти подростки нас очень интересуют. Нужно набрать их как можно больше. Ребята болтаются возле театров и ресторанов, им хочется красивой жизни, а денег нет. Говорите им: «Идите в Западный Берлин, улица Беллермана, девятнадцать, четвертый этаж,

квартира пятнадцать». Пусть спросят там Вольфганга Клоза, и он даст каждому легкий и хороший заработок. Таких подростков нам нужны сотни. Они смогут натворить кучу неприятностей красным. А подойдет срок — они с оружием в руках выйдут на улицы Восточного Берлина и…

Раздался стук в дверь лавки.

Худощавый замолчал и требовательно посмотрел на букиниста:

— Кто это может быть?

— Не знаю… — растерянно произнес толстяк. Настойчивый стук повторился.

— Возможно, какой-нибудь идиот-книголюб.

Букинист встал и направился в лавку.

— Стойте! — крикнул худощавый. — Быстро откройте подземный ход! Мало ли что…

Кровать опрокинута, поднят линолеум и открыт люк.

— Теперь идите. — Худощавый занял место у самого отверстия. — В случае опасности громко произнесите слово «да». Идите!

Снова стук в дверь, сильный, нетерпеливый.

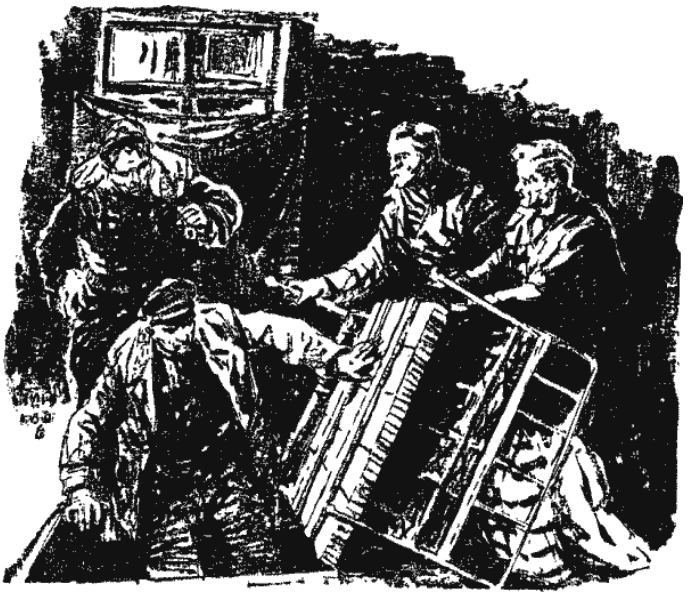
— Идите же, черт бы вас взял! — крикнул худощавый.

Букинист вынул из стола пистолет, отвел предохранитель, положил пистолет в карман пиджака

и вышел.

Опасность возникла одновременно с двух сторон. Из лавки прозвучало громкое «да». С грохотом открылась входная дверь, и сейчас же в лавке возникла возня, послышались удары и глухой стук упавшего тела.

Худощавый бросился в люк, но замер на первой ступеньке лестницы: в темноте подвала метались блики яркого света и доносился быстро приближающийся лай собак.



— Выбросить оружие! — тихо приказал худощавый и первый швырнул в форточку свой пистолет. — Закрыть люк!

Когда люк был закрыт и уложен линолеум, в

комнату ворвались сотрудники немецкой госбезопасности:

— Руки вверх!

Четверо послушно подняли руки.

— В чем дело? — спросил худощавый, стараясь в это время ногой подвинуть кровать на место. — Мы всего-навсего комиссионеры букиниста. Что вам от нас нужно? Или в Берлине уже нельзя торговать старыми книгами?

— Отойдите от кровати! — последовал приказ. — Встаньте в тот угол!.. Вот так.

Из-под пола уже ясно слышались голоса и остервенелый собачий лай.

— Выходите, господа комиссионеры! Через лавку! Быстро!

27

Майор Хауссон еле сдерживал себя. В который раз он пытался сломить волю лейтенанта Кованькова, но все его усилия оказывались тщетными. Многолетний опыт давал Хауссону основание считать молодость человека его слабостью. Сколько раз он добивался успеха, строя расчет прежде всего на неопытности или на неустойчивости, свойственных еще не закаленному

жизнью человеку!

Этот русский был молод, возмутительно молод, а Хауссон не мог с ним справиться. Он уже не требовал у Кованькова никаких сведений.

— Неужели вы, мистер Кованьков, не понимаете, какую упускаете возможность? Трехминутное заявление у микрофона — и все. А дальше — если вы захотите, карьера, которой позавидуют многие люди. А хотите — обеспеченная жизнь в любой стране. Может, вы боитесь расправы со стороны своих? Такое опасение просто глупо. Днем вы сделаете заявление, а вечером уже можете быть в Америке или где захотите. Вам ничьи угрозы не будут страшны. А сказать-то вам у микрофона нужно сущую чепуху: что Советы только с целью пропаганды сообщают о поставке в Восточную Германию русского хлеба и продовольствия, что на самом деле происходит процесс обратный.

— Напрасно стараетесь. Я советский офицер, мы брехней не занимаемся. Весь Берлин ест советский хлеб.

— Вы уедете в Америку или в любую другую страну вместе с Ренатой Целлер. Она ждет вашего решения.

— Не дождется и она.

Хауссон смотрел в голубые, чистые глаза Кованькова и раздраженно думал: что же может сломить наконец упорство этого по-девичьи розовощекого парня? Где было майору понять, что перед ним сидел не просто парень, а комсомолец, который к тому же всего месяц назад в политотделе армии получил карточку кандидата в члены партии коммунистов! Если бы Хауссон понимал, что это означает, он перестал бы соблазнять лейтенанта сказочной карьерой.

Просто удивительно, что люди из мира Хауссона до сих пор не усвоили простой истины, подтвержденной уже многими примерами: в безвыходном положении коммунист самой блестящей для себя карьерой считает возможность умереть за честь и торжество своих идей. Да, многое еще не понимают господа хауссоны, и оттого делают они так много ошибок, дискредитирующих их перед всем миром.

— Наши разговоры не могут длиться бесконечно. Мы можем заставить вас сказать то, что нам надо. — Хауссон впился жестоким взглядом в Кованькова. Но он не увидел в голубых глазах лейтенанта ни страха, ни смятения.

— Давно готов и к этому. — Кованьков смотрел на майора с насмешкой.

Хауссон встал:
— Подумайте до завтра…

…В кабинете на своем столе Хауссон обнаружил шифровку:

> «Арестована группа букиниста, в том числе наш связной Грант. Из группы, по предварительным сведениям, на свободе остался один Арнольд Шокман».

Работа разведки всегда сопряжена с риском. Провалы неизбежны. Нужно только добиваться, чтобы успехов было больше, а неудач меньше. Хауссон, как никто, знал это и поэтому, как ни был он раздражен упорством русского лейтенанта, прочитал шифровку спокойно и запер ее в сейф. Судьба потерянных людей его нисколько не волновала. Да и что он мог предпринять для их спасения? Ровным счетом ничего. Он уже давно привык таких людей именовать сброшенной картой. Единственно, о чем он с огорчением подумал, — это о ликвидации букинистической лавки. Очень уж хорошим прикрытием была она для этой группы!

Хауссон вызвал стенографистку и продиктовал донесение начальству о провале группы букини-

ста. Оно еще не было зашифровано, как в углу за столом майора зазвонил телефон прямой связи с берлинской комендатурой.

Хауссон поднял трубку:

— Слушаю… Когда?.. Я сейчас приеду.

Положив трубку, Хауссон приказал стенографистке пока не отдавать донесения в шифровальный отдел.

— Будет важное дополнение, — сказал он, торопливо одеваясь.

Сам того, конечно, не понимая, Хауссон отправился в расставленную ему ловушку…

В хорошем хозяйстве ничего зря не пропадает. В конце концов, и то, что сделал Рычагов, и то, чего добились Посельская с Субботиным, совершенно разными путями, постепенно привело к главному. Если поездка Субботина во Франкфурт дала, кроме всего прочего, ценные признания Ренаты Целлер, то знакомство Посельской с тренерами по плаванию и спортсменом Шокманом помогло установить исполнителей похищения. Ценнейший материал дал разгром бандитской шайки в лавке букиниста. Ведь тут, кроме всего, в руки следствия попал связной американской разведки Райт, который на первом же допросе достаточно ясно показал, куда тянутся нити от

шайки букиниста. Работа Рычагова в Западном Берлине оказалась весьма важной для разведки личности Хауссона и его засекреченного хозяйства на улице Хенель.

И когда все это оказалось собранным воедино, тогда и родился оперативный план действия. Все в нем пригодилось. Каждая деталь была тщательно взвешена, выверена и получила свое отражение в плане. Такой план в окончательном виде чем-то похож на сложнейший кроссворд, в котором различные действия людей, пересекаясь, идя параллельно или друг за другом, образуют совершенно точно обусловленный ход событий. И вот как раз сейчас начиналось действие — первое из того раздела плана, который носил название: «Переключение внимания Хауссона на ложные объекты».

28

В комендатуре, как всегда, царила шумная толчея. В сумрачном коридоре к окошкам, где выдавались разные справки, тянулись очереди штатских немцев. Немецкая речь смешивалась с английской. Офицеры и сотрудники комендатуры то и дело с папками в руках пробегали

по коридору. Каждый считал своим долгом потребовать тишины. Гул голосов стихал, чтобы возобновиться в ту же секунду, как только офицер скрывался за дверью.

Хауссон, не поднимая глаз, быстро прошел в конец коридора и на лифте поднялся на четвертый этаж. При выходе из лифта его встретил коренастый офицер с непропорционально маленькой головкой, с мелкими и острыми чертами лица. Пока они шли по коридору, офицер, шагая бочком, не сводил глаз с Хауссона и говорил:

— Она явилась час назад. Красивая, неглупая. С нами говорить отказалась. Потребовала представителя из вашего ведомства. Мы попробовали говорить с ней строго. Она снова потребовала вызвать вашего представителя и прибавила: «Сообщите, что я пришла по делу букиниста».

— Так и сказала: «по делу букиниста»? — на ходу быстро спросил Хауссон.

— Да, точно так.

— Как она называла наше ведомство?

— Политическая полиция… Прошу сюда! — Офицер распахнул перед Хауссоном дверь.

Девушка, сидевшая на диване, при появлении Хауссона встала.

Майор окинул ее небрежным взглядом и, не

снимая пальто, сел за стол.

— Прошу вас сюда, — сухо сказал он и показал девушке на стул. — Что там у вас? Только короче. Мне некогда.

— Вы из политической полиции? — недоверчиво спросила девушка.

— Если хотите, да… Но говорите короче! Мне некогда…

Такое поведение Хауссона несколько смутило Посельскую. Предполагалось, что ее приход вызовет здесь большой интерес и ей будет предоставлена возможность подробно изложить всю тщательно разработанную версию своего побега в западную зону. Теперь же нужно было срочно выбрать самое для них заманчивое.

— Мое имя Анна Лорх. Мой отец, бывший офицер морского флота, Вильгельм Лорх, вчера вечером арестован в связи с провалом группы людей, имевших связь с букинистом на Гельмутштрассе.

— А откуда вы знаете и об этих людях и о каком-то букинисте? — насмешливо спросил Хауссон.

— Я же сама была связана и с этими людьми и с букинистом! — будто удивляясь недогадливости Хауссона, ответила Посельская.

— Любопытно, что это за люди и, наконец, по-

чему все это должно нас интересовать?

— Эти люди: Зигмунд Лисовский, Альма Гуц, сам букинист, Арнольд Шокман и другие. Я была хорошо с ними знакома.

— Мне эти люди неизвестны! — раздраженно произнес Хауссон и посмотрел на часы: — Что вы хотите от меня?

— Прошу политического убежища, — устало проговорила Посельская. Она была в страшном смятении. Неужели в разработке операции допущен такой промах и группа букиниста не связана с ведомством Хауссона?

— Что может быть проще! — рассмеялся майор вставая. — Считайте, что вы это убежище уже получили. — Хауссон кивнул на стоявшего у стены офицера. — Они это оформят в пять минут. Больше у вас ко мне ничего нет? — Не дожидаясь ответа Посельской, Хауссон ушел.

Наташа, сопровождаемая офицером, спустилась на первый этаж в комендатуру. Там ей дали регистрационную карточку, и она села к столу заполнить ее.

— Сдадите карточку вот сюда. — Офицер показал на чиновника, сидевшего за высокой стойкой. — Тут же вы получите необходимые документы. Прошу извинить, у меня тоже дела. — Острая

физиономия офицера чуть смягчилась вежливой улыбкой: —Желаю успеха.

Офицер снова поднялся на четвертый этаж, где в одной из комнат его нетерпеливо ожидал Хауссон:

— Ну, что она?

— Заполняет регистрационную карточку. Извините меня, что я побеспокоил вас, но мне показалось, что она представляет некоторый интерес. Я подумал…

— Не некоторый, а значительный, — прервал офицера Хауссон.

— Но вы же…

— Так надо. За ней нужно дня три наблюдать. На случай провокации. Дайте ей немного денег, поселите в отеле, где легче вести за ней наблюдение, предложите ей какую-нибудь работу. Все это делайте так, чтобы у нее и мысли не возникло, что ей делают какое-то исключение. Просто такой у нас порядок — и все. А главное — наблюдение. Мы должны знать каждый шаг этой девицы… Сегодня у нас среда? В субботу утром привезете ее ко мне на улицу Хенель.

— Все будет сделано, майор.

Наташе Посельской любезно посоветовали снять номер в отеле «Дрезден». Чиновник ко-

мендатуры был настолько заботлив, что сам позвонил в отель и договорился о номере, а затем и отвез ее туда.

29

Это была старая третьеразрядная гостиница. Посельская получила маленькую узкую комнату с единственным окном, выходившим в тесный, захламленный двор. Прежде всего она самым тщательным образом исследовала комнату, но ничего подозрительного не нашла. Наташа опустилась в кресло и задумалась…

Неужели вся так тщательно продуманная операция летит прахом? Примириться с этим было невозможно. Но тут Наташа вспомнила старый совет полковника Семина — не торопиться. Хорошо, не будем торопиться. Не будем. И все же попробуем сделать первую проверку.

Посельская положила чемодан в шкаф, оделась и вышла из отеля, предупредив портье, что вернется не раньше чем через час. Она шла по оживленной торговой улице, подолгу останавливаясь у витрин и рекламных щитов. Это позволило ей безошибочно установить, что за ней идет наблюдатель. Сперва он шел шагах в

пятнадцати позади; когда она останавливалась, останавливался и он. Потом он решил изменить тактику. Он обогнал Посельскую и теперь шел впереди нее, иногда останавливался у той же витрины, что и она. Посельская прекрасно изучила его лицо и была обеспокоена только одним: не дать ему понять, что она заметила наблюдение. На душе у нее просветлело. Раз за ней пущен шпик, значит, она им не так уж безразлична, как это пытался изобразить майор Хауссон.

В отеле Посельскую ожидала новая радость. Она без особого труда установила, что, пока она гуляла, ее чемодан был открыт и просмотрен. Очень хорошо. Теперь Наташа была почти уверена, что Хауссон искусно разыграл равнодушие и сделал это потому, что хочет предварительно произвести проверку. Ну что ж, проверяйте, майор!

Вечером Наташа Посельская спустилась в ресторан отеля. Тесный, с низким потолком, он был набит людьми. В зале плавал табачный дым, визжала музыка. Ни одного свободного столика не было. Наташа встала в дверях, выглядывая свободное местечко за чьим-нибудь столом. Откуда-то из дыма перед ней возник лощеный молодой человек с желтым лицом. В этом третьесортном ресторане нелепо выглядел его смокинг

с цветком на лацкане.

— Вам нужно место под ночным солнцем? — спросил он на хорошем русском языке.

Посельская уставилась на него с недоумением.

— Я не понимаю, что вы говорите? — произнесла она по-немецки.

— Ах, вы немка? — удивился щеголь, переходя на довольно скверный немецкий язык. — А нашей компании почему-то показалось, что вы русская. Но это не имеет никакого значения. Если вам нужно место, идемте. — Он бесцеремонно взял Посельскую под руку и повел к столику в темном углу за оркестровой эстрадой.

В компании щеголя оказались две девушки и парень. Все они говорили по-немецки не чисто. Щеголь, знакомя с ними Наташу, сказал, что все они русские и работают в Западном Берлине.

Около часа за столом шел ничего не значащий разговор. Щеголь помогал Посельской заказать ужин. Никто у нее ничего не спрашивал. Потом девушка и парень, сославшись на то, что они живут очень далеко, ушли. А еще через несколько минут Посельская уже была убеждена, что щеголь — агент майора Хауссона. Однако действовал он весьма грубо. Как видно, ему было поручено выяснить, не знает ли перебежчица

русский язык. Разговаривая, он то и дело вставлял русские слова, а то и целые фразы. Словно забывшись, он вдруг задавал по-русски вопрос и, смотря в глаза Посельской, ждал ответа. А не дождавшись, хлопал себя по лбу:

— Черт возьми, все забываю, что вы не знаете русский язык!

Эта игра для Наташи была не такой уж легкой: опасно было переиграть. Ей приходилось напряженно следить за каждой фразой собеседника. Если вставленное русское слово не делало фразу непонятной, она на такую фразу реагировала. Но если вставленное слово несло в себе главный смысл фразы, она недоуменно поднимала брови:

— Как вы сказали? Я не поняла.

Некоторые русские слова она «понимала» — это соответствовало одному из обстоятельств версии ее бегства на Запад: там, на Востоке, ее близким другом был русский… Посельская поужинала и ушла к себе в номер. Щеголь проводил ее до лестницы.

— Очень рад был с вами познакомиться, — сказал он прощаясь. — Спасибо за приятную беседу. Между прочим, я живу напротив отеля и ужинаю здесь каждый вечер.

На другой день Посельская, как советовали ей

в комендатуре, сходила в бюро найма рабочей силы и встала там на учет. Регистратор записал ее адрес и сказал:

— Работу вы получите довольно скоро. Во всяком случае, в течение недели.

Вечером третьего дня, когда Наташа уже собиралась ложиться спать, в номер без стука вошел офицер, с которым она имела дело в комендатуре.

— Оденьтесь, пожалуйста, — не здороваясь, сказал он. — Нужно поехать в одно место. С вами хотят поговорить.

Офицер сам вел машину и всю дорогу молчал. Ехали очень быстро, и проследить путь Посельской не удалось. На несколько секунд машина остановилась, чуть не упершись фарами в глухие высокие ворота, которые тут же распахнулись. Затем несколько сот метров ехали каким-то узким туннелем и наконец остановились перед скупо освещенным подъездом в глубине двора. Посельская вспомнила описанный Рычаговым дом Хауссона на улице Хенель. Судя по всему, ее привезли именно сюда…

Теперь майор был изысканно вежлив и внимателен. Он усадил Посельскую в кресло, предложил кофе, сигареты. Заметив ее удивление, он рас-

смеялся:

— Прошу прощенья, госпожа Лорх, но так было нужно. Согласитесь, что сразу в таких делах верить на слово непростительно. Как минимум мы должны были убедиться, что Анна Лорх — это действительно Анна Лорх. А теперь мы можем разговаривать откровенно. У меня к вам несколько вопросов: кого из группы букиниста вы хорошо знали?

— Зигмунда Лисовского, Альму Гуц, Арнольда Шокмана.

— Простите, но Арнольд Шокман как будто не арестован?

— Во всяком случае, в течение двух дней после провала группы букиниста он был еще на свободе.

— Вы не допускаете… — Хауссон замялся, — не допускаете, что предательство было с его стороны?

Посельская задумалась.

— Не думаю, не думаю. Он, на мой взгляд, наименее серьезный человек в группе.

Хауссон закурил, подумал и быстро спросил:

— Вы работали с Лисовским?

— Дело в том, что работы еще не было. Лисовский интересовался моим отцом. А я, по правде

сказать, не была особенно уверена в отце. Когда я поняла, чего хочет Лисовский, я с отцом поговорила. Он согласился встретиться с Зигмундом. Эта встреча состоялась за несколько дней до провала группы.

— Как вы узнали о провале?

— Мне сказал Арнольд Шокман.

— Как он сам отнесся к провалу?

— Очень напуган. А когда был арестован мой отец, он потребовал, чтобы я немедленно уходила на Запад.

— Извините за нескромность, но, видимо, у вас с Шокманом были какие-то отношения…

— Он за мной ухаживал.

— А вы?

— Я любила другого человека. Советского офицера.

— Вот как! — Хауссон пристально всмотрелся в Посельскую. — А Шокман знал об этом?

— Все знали. Я не скрывала. А от этого посыпались беды и на моего друга русского офицера.

— А именно?

— Утром того дня, когда я ушла на Запад, ко мне в институт прибежал сослуживец моего друга, тоже советский офицер. Он сказал, что у моего друга крупные неприятности на службе. Аресто-

ваны какие-то люди, с которыми он будто бы был связан. Офицер больше ничего рассказать мне не мог и только передал вот эту записку…

Наташа вынула из-за обшлага кофточки аккуратно-сложенную бумажку и протянула ее Хауссону. На листке из блокнота торопливо по-немецки было написано следующее:

> «Дорогая Ани, у меня очень серьезные неприятности. Настолько серьезные, что я умоляю тебя, во имя нашего счастья, сегодня же уйти на Запад. Обо мне узнавай там же, в комендатуре. Если эта записка дошла до тебя, того, кто ее принес, поблагодари за то, что он верный друг — мой и твой. Скоро увидимся. Целую крепко. Твой Михаил».

— О-о! Это очень интересно! — прочитав записку, сказал Хауссон. — Видимо, нужно понимать так, что он тоже перейдет на Запад?

— Я тоже так поняла.

— Хорошо. Какое звание у вашего друга?

— Капитан. Капитан Скворцов.

— Где он служит?

— Этого я не знаю. Мне известно только, что он работает в штабе.

Посельская прекрасно видела, что Хауссон все хуже владеет собой и уже почти не старается скрывать, насколько интересно и важно для него все, что он слышит.

— Как вы думаете, когда он может прийти? — нетерпеливо спросил майор.

— Принесший записку офицер сказал, что в субботу у них будет какое-то партийное собрание, на котором решится судьба моего друга.

Хауссон беспокойно отодвинул и снова придвинул к себе стоявшую на столе пепельницу, вынул сигарету, подержал ее и, не закуривая, бросил в пепельницу.

— Разрешите последний и опять нескромный вопрос. У вас с этим офицером отношения… достаточно серьезные?

Посельская покраснела:

— Да.

— Простите, — поспешно произнес Хауссон, — но мы должны знать и это.

30

Субботин явился в комендатуру за полночь. Разговаривая с дежурным офицером, он заметно нервничал, но это не помешало ему увидеть, что

его здесь ждали. Не успел он заполнить регистрационную карточку, как в комендатуру прибыл майор Хауссон.

Он зашел в комнату дежурного офицера, спросил, не звонили ли ему по телефону, и, бросив мимолетный взгляд на Субботина, вышел.

Да, это был Хауссон. Субботин сразу его узнал.

Вскоре Субботина провели в другую комнату. Здесь Хауссон встретил его у двери.

— Вы поступили правильно, капитан Скворцов. — Майор обнял Субботина за плечи и повел его к креслам. — Садитесь. Я рад первым приветствовать вас под сенью законов, утверждающих истинную свободу человека.

— С кем имею честь разговаривать? — настороженно, спросил Субботин.

Хауссон засмеялся:

— Не нужно так официально, капитан! Скажем так: я тот человек, которому Анна Лорх нашла возможным доверить некоторые ваши тайны — не все, конечно.

— Где она? — быстро спросил Субботин.

Хауссон посмотрел на часы и подмигнул:

— Сейчас она, наверно, крепко спит в своей гостинице, где будете жить и вы. Но мы мужчины и к тому же люди военные. Нам придется

еще пободрствовать. Готовы ли вы ответить на несколько вопросов?

— Пожалуйста, — устало произнес Субботин.

— Чем для вас окончилось партийное собрание?

— Меня исключили из партии. Впереди — отправка на родину.

— Какие обвинения вам были предъявлены?.. Только, пожалуйста, поточнее.

— Несколько обвинений: дружба с немкой Анной Лорх, будто бы связанной с какими-то арестованными заговорщиками. Это — главное. Потом спекуляция в западной зоне.

— В действительности это тоже было? — быстро спросил Хауссон.

— В какой-то степени да. — Субботин усмехнулся. — У меня, например, намечалось солидное дело с вашим полковником, по фамилии Купер.

— Купер? — переспросил майор.

— Да…

Хауссон записал фамилию.

— Ну, и наконец, как всегда у нас в таких случаях бывает, повытащили на свет божий все, что было и не было. И какое-то пьянство с дракой, и грубое обращение с подчиненными, и недобросовестная работа. Но все это ерунда.

— Что значит «ерунда»? Это были обвинения необоснованные?

Субботин пожал плечами:

— В такой ситуации превращение мухи в слона — наипростейшее дело.

Хауссон подумал и сказал:

— Пока у меня все. Сейчас вас отвезут в отель, где вы будете жить. Отдыхайте. А завтра вернемся к делам.

На другой день утром Субботин в ресторане отеля встретился с Посельской. Они знали, что за ними наблюдают, и держались так, как могли вести себя влюбленные, нашедшие друг друга после тревожного испытания их любви. За завтраком Субботин не сводил глаз с Посельской.

— Что у тебя? — поглаживая руку Наташи, тихо спросил он.

— Сперва Хауссон разыграл полное равнодушие к моему появлению, а потом все пошло по нашему плану.

— Со мной он уже говорил. Задал несколько вопросов. Думаю, что сейчас он пытается проверить то, что ему по силам проверить.

Субботин не ошибался. Хауссон в это время действительно занимался именно этим. Прежде всего — полковник Купер. Нетрудно догадаться,

как обрадовался Хауссон, установив, что среди американских военнослужащих, занимающихся в Берлине экономической разведкой и валютной войной, действительно имеется капитан Джойс, носящий условную кличку «полковник Купер». Одновременно к Хауссону, уже помимо его усилий, поступило письмо из советской комендатуры Берлина о побеге офицера Скворцова. В нем требовали вернуть перебежчика, так как он совершил служебные преступления и подлежит суду. Впрочем, этому документу Хауссон верил меньше всего — он понимал, что письмо комендатуры может быть специально изготовлено для прикрытия и утверждения агента советской разведки. Больше того, получи Хауссон только одно это подтверждение, он был бы почти уверен, что Скворцов подослан. Большую надежду Хауссон возлагал на проверку с помощью «полковника Купера».

Очная ставка Скворцова и Купера была обставлена с большой хитростью, исключавшей всякую случайность во взаимном опознании ими друг друга.

Субботина привели в комнату, в которой были три двери: одна — в коридор, а две — в соседние комнаты. Его посадили на диван. Хауссон сидел за

столом. Извинившись, что ему нужно закончить какие-то срочные дела, майор что-то писал. Из соседних комнат через ту, где находился Субботин, то и дело проходили люди.

И вот в дверях появился «полковник Купер». Он медленно прошел через комнату и в упор посмотрел на Субботина. Через минуту на столе у Хауссона зазвонил телефон. Он послушал, сказал: «Хорошо, зайдите». «Полковник Купер» вернулся, прошел мимо Субботина к столу Хауссона. Они перебросились несколькими фразами, после чего майор пригласил к столу Субботина.

— Скажите, капитан, вы лично не знакомы с этим человеком? — спросил Хауссон, показывая на «Купера».

Субботин улыбнулся.

— Я не знаю, помнит ли полковник Купер, но я отлично помню встречу с ним.

— Где она произошла? — спросил Хауссон.

— В кафе возле Олимпийского стадиона. Вы помните это? — обратился Субботин к Куперу.

— Помню.

— Вы были чересчур осторожны, — засмеялся Субботин. — А вот мне за сделку с вами, хотя она и не состоялась, крепко попало.

— Но вы же были штатский? И были немцем?

— сказал Купер.

— Я был бы полным идиотом, если бы занимался спекуляцией в форме русского офицера.

Оба американца засмеялись.

— Вы свободны, — сказал Хауссон «Куперу», и тот ушел. — Ну, капитан, продолжим наш разговор и постараемся вести его как можно более откровенно. У меня к вам такой вопрос: знаете ли вы некоего лейтенанта Кованькова?

— Слышал что-то… — равнодушно ответил Субботин. — Он из другого отдела штаба. Я ведь работал в отделе, ведавшем инженерными войсками, а тот лейтенант, если не ошибаюсь, — в отделе по связи с немецкой администрацией.

— Да, вы не ошибаетесь… — рассеянно произнес Хауссон. — Скажите, капитан, вы, случайно, не осведомлены в таком вопросе: везут ли в Восточную Германию из России хлеб и продовольствие?

— Это известно всем. Везут — и много.

— А не может быть, что это пропаганда?

— Нет. Об этом кстати в газетах вообще не пишут.

— Ах, так? Значит, немцы могут этого и не знать?

— Да. Но хлеб, масло, сахар есть. А это точнее и

вкуснее газетных сообщений.

— Ну, а если населению сказать, что хлеб и масло стоят Германии вывоза всех ее национальных ценностей?

— Это, конечно, сказать можно, — усмехнулся Субботин, — только это надо очень ловко сказать.

Хауссон задумался, пытливо смотря на Субботина. В этого офицера он верил все больше. Жаль только, что он — не Кованьков, который наверняка знает много, но молчит. И вдруг возникла мысль: а не поручить ли этому офицеру обработку Кованькова? Ведь русский к русскому найдет дорогу скорее.

— Так вот насчет того Кованькова, о котором я вас спрашивал… Он занял у нас глупую позицию упорного молчания. Не могли бы вы подействовать на него? Он нас интересует как человек, вероятно более вас информированный в том, что для нас важно. Его упорство глупо.

— Он бежал сюда сам? — быстро спросил Субботин. Хауссон улыбнулся:

— Бежал с нашей помощью.

— А точнее? Это же для меня очень важно знать, прежде чем с ним разговаривать.

— Да, мы его взяли.

— Это хуже. — Субботин задумался, потом заговорил, точно размышляя вслух: — Тут ведь совсем иная, чем у меня, психология, другое состояние. Для меня вопрос перехода на Запад был, так сказать, подготовлен всем ходом последних событий моей жизни, а для него это полная внезапность. А ведь в нашей среде немало фанатиков советской идеи, этого нельзя забывать. Но все же попробую…

Можно понять, как трудно было Субботину изображать полное спокойствие — ведь ему в руки шло то, ради чего проводилась вся эта рискованная часть плана.

31

Субботин потребовал, чтобы разговор происходил без свидетелей. Хауссон не возражал, но сказал:

— Будет только один невидимый свидетель — микрофон.

— Это можно, — подумав, согласился Субботин. — Когда состоится разговор?

— Сначала я хотел бы просить вас самого сделать краткое заявление для печати и радио.

Субботин усмехнулся:

— Вы что же, думаете, что у меня есть еще путь назад? Не беспокойтесь, нет. — Субботин помолчал. — Заявление, конечно, я сделаю.

— Сегодня вечером можете?

— Надо же подготовиться.

— Я просил бы вас просто зачитать текст, который подготовим мы. Вопросов к вам не будет.

— Можно ознакомиться с текстом?

— Конечно, вот он… — Хауссон протянул лист бумаги с довольно коротким машинописным текстом.

Субботин стал читать. О нем самом было всего несколько строчек в начале и в конце.

> «Я бежал из Советской Армии по сугубо личным мотивам, которые излагать нет надобности: они касаются только меня».

Далее в заявлении шло неожиданное. Субботину предлагалось перед лицом немецкой общественности засвидетельствовать, что в Восточном Берлине проводятся массовые аресты немецких патриотов — сторонников объединения Германии. Особому гонению подвергается старая немецкая интеллигенция. Заканчивалось заявление так:

«Моей невестой является немецкая девушка-студентка. Только среди ее близких знакомых репрессиям подверглись сразу несколько человек. Так что нет ничего удивительного, что в Западном Берлине я оказался вместе со своей невестой».

При продумывании операции, конечно, учитывалось, что его могут заставить сделать публичное заявление. Условились, что Субботин будет податлив, но все же он обязан думать и о том вреде, который может принести его выступление, и стараться свести его к минимуму.

Субботин задумался над текстом. Ничего нового в нем не было: о мнимых репрессиях в восточной зоне западная пропаганда визжала каждый день. Так что наверняка далеко не все журналисты об этом заявлении напишут. Плохо только, что текст был так ловко составлен, что мог прозвучать весьма достоверно.

— Что вас смущает? — осторожно спросил Хауссон.

— Я совершенно не информирован по затронутому здесь вопросу. Вдруг кто-нибудь спросит меня о конкретных фактах?

— Никаких вопросов к вам, повторяю, не будет.

— Ну что ж, тогда все в порядке, — облегченно произнес Субботин. — Только лучше, по-моему, если я буду выступать не по бумажке.

Хауссон насторожился:

— Но скажете именно это?

— Можете не беспокоиться…

Эта пресс-конференция состоялась через час в помещении комендатуры Западного Берлина.

Журналистов было меньше десяти человек. Проводивший конференцию якобы немецкий чиновник на не очень чистом немецком языке извинился перед журналистами, что он не смог вовремя информировать о конференции весь корпус журналистов. Он попросил присутствующих поделиться материалом со своими коллегами. После этого в зал вошел Субботин. Первая, кого он увидел, была Наташа. У нее было бледное лицо, она тревожно смотрела на Субботина. Он улыбнулся ей и прошел к столу. Хауссон сидел в самом конце зала.

Два журналиста, видимо представлявшие радио, говорили что-то в свои микрофоны, а теперь протянули микрофоны к Субботину, с любопытством разглядывая его. Субботин спокойно,

неторопливо подбирая слова, пересказал текст заявления. Когда он сказал о невесте, сидевший за столом чиновник сделал галантный жест в сторону Посельской. Журналисты оживленно зашумели, вспыхнули мигалки фоторепортеров.

Субботин кончил говорить. Сидевший за столом чиновник быстро встал и объявил пресс-конференцию закрытой.

— Вопросы! — заорали журналисты.

Субботин сделал такой жест, будто он готов ответить, но чиновник застучал карандашом по столу:

— Тише, господа, тише! Нельзя быть такими эгоистами. Русский офицер будет отвечать на вопросы, когда мы соберем весь ваш корпус. Это произойдет в ближайшие два-три дня. До свидания, господа, спасибо!

Субботин подошел к Посельской и тихо сказал ей:

— Мне поручают обработку Кованькова. Сообщи.

К ним подбежали фоторепортеры. Замигали вспышки блицламп. Субботин и Посельская улыбались в нацеленные на них объективы.

— Хватит, хватит! — Майор Хауссон оттеснил фоторепортеров. — Все прекрасно, капитан, спа-

сибо! Но, увы, должен разлучить вас с Анной Лорх. Работа есть работа, нас с вами ждут, нужно ехать сейчас же.

— Ехать так ехать! До свидания, Ани! — Субботин поцеловал Посельской руку и обратился к Хауссону: — Мы с ней сегодня увидимся?

— Вряд ли, — холодно ответил Хауссон.

82

И вот Субботин и Кованьков вдвоем в маленькой комнатке без окон. Их разделяет голый стол. Кроме двух стульев, на которых они сидят, в комнате другой мебели нет. Где скрыт микрофон, не видно.

Первый разговор с Кованьковым был для Субботина необычайно трудным. Трудным и в то же время необыкновенно радостным, потому что каждая минута этого разговора вызывала в душе Субботина гордость за все то, что составляло для него понятие «советский человек».

Кованьков с презрительной усмешкой смотрел на Субботина, у которого этот взгляд вызывал двойственное чувство — и неловкость и удовлетворение тем, как держится пленный.

— Ну, лейтенант, давайте знакомиться. Капи-

тан Скворцов.

— Не имею желания знакомиться с предателем родины! — быстро проговорил Кованьков.

— Глупо, лейтенант. Нелепое донкихотство.

— Лучше быть нелепым Дон-Кихотом, чем гнусным предателем!

— Это все фразы, лейтенант. А действительность выглядит так: для вас, как и для меня, возврата туда, где мы служили, нет. Даже если бы такая возможность представилась, воспользоваться ею было бы безумием. Неужели вы не понимаете, что после всего случившегося в армии вам места не будет?

— Меня похитили бандиты, и моя армия это знает! — убежденно воскликнул Кованьков.

— Хорош советский офицер, которого можно украсть, как зазевавшуюся курицу! Да, лейтенант, то, что с вами произошло и происходит, — это не подвиг. Это ваш позор, позор офицера!

Кованьков, помолчав, брезгливо спросил:

— Неужели вы тоже были советским офицером?

— Да, и неплохим. Но обстоятельства сложились так, что я оказался здесь и нисколько об этом не жалею. Кажется, Бисмарк сказал, что солдатская профессия интернациональна.

— Со ссылкой на Бисмарка или без нее, — твердо сказал Кованьков, — вы для меня — изменник родины. Если бы было оружие, я, не раздумывая, застрелил бы вас, как собаку!

— Значит, хорошо, что у вас нет оружия, — усмехнулся Субботин. — Я еще хочу пожить.

— Рано или поздно вас к стенке поставят.

— Тогда уж лучше поздно. Перед тем как закончить эту нашу задушевную беседу, — Субботин улыбнулся, — я хочу сказать, лейтенант, что с вами может случиться. Вас увезут из Германии, а может, и вообще из Европы. И тогда за вашу судьбу уже никто поручиться не сможет. Наконец, можно обойтись и без услуг транспорта. Для них, — Субботин кивнул через плечо, — самым лучшим вариантом будет ваше полное и надежное исчезновение. Вы просто исчезнете навсегда, будто вас и не было на свете. Они умеют это делать ловко, поверьте мне.

— Лучше смерть, чем предательство! Передайте это тем, кому вы продались в холуи. Так и передайте: лейтенант Кованьков готов умереть в любую минуту, но присяге не изменит! И убирайтесь! Я не желаю дышать с вами одним воздухом! Убирайтесь! — Кованьков вскочил, лицо его побагровело.

— Прекрасно, лейтенант… — Субботин встал, чуть наклонился через стол к Кованькову и шепнул: — Так держать! — Весело подмигнув ему, Субботин быстро вышел из комнаты.

Слова, сказанные Субботиным шепотом, и его подмигивание не сразу дошли до сознания Кованькова. Но позже, вспоминая последнюю минуту разговора, он все чаще возвращался к невероятной мысли — вернее, не столько к мысли, сколько к ощущению, что капитан — симпатизирующий ему человек. Но поверить в это было невозможно…

Субботин застал Хауссона сидящим в глубокой задумчивости перед радиодинамиком. Он, очевидно, слушал по радио разговор, только что происходивший там, в маленькой комнатке.

— Вы говорили хорошо… — не оборачиваясь к Субботину, сказал Хауссон. — И пригрозили ему правильно. Действительно, есть предел нашему терпению. Еще два-три дня, и мы… перестанем тратить на него время.

Субботин улыбнулся:

— Все-таки нужно еще немного терпения. Я убежден: после сегодняшнего разговора он заново обдумает все, и завтра я сделаю новую попытку. А сейчас мне хотелось бы поехать к Анне Лорх.

Хауссон встал:

— Нет, капитан. Разрешите не объяснять — почему, но несколько дней вам придется безвыездно жить в этом доме. Сейчас вам покажут вашу комнату.

Хауссон нажал кнопку звонка, и тотчас вошел солдат.

— Покажите господину его комнату и объясните, как пользоваться сигнализацией на случай, если ему понадобится выйти из комнаты... Спокойной ночи, капитан!

Субботин, не ответив, с обиженным лицом вышел из кабинета вслед за солдатом.

33

На первое время связь Посельской со своими была устроена, казалось, довольно просто. Связной каждый день должен был пройти в определенном месте Западного Берлина, имея обусловленную примету. В одном случае — в руках он должен держать свернутую в трубку синюю бумагу, перевязанную красной тесемкой; в другом — на пуговице его пальто должен висеть сверточек в форме груши, и так далее. В назначенном месте — каждый раз в новом — связной

появлялся первого числа в час дня, второго — в два, третьего — в три и так — до пяти. Затем счет времени повторялся. Наташа должна идти навстречу связному, а тот — незаметно сделать с нее микроснимок. «Разгадывался» этот снимок при помощи сложнейшего шифра: учитывалась и одежда Наташи, и положение ее рук, сумочки, шарфа, шляпки, и выражение лица, и краска губной помады, и еще многое, многое другое…

Посельская высчитала время сегодняшней встречи и начала к ней готовиться. Больше часа ушло на то, чтобы ее внешний вид стал соответствовать краткому шифрованному сообщению: Субботину поручена обработка Кованькова.

В половине второго она вышла из отеля и сразу же заметила, что по ее пятам следует молодой человек в сером пальто. «Ну что ж, иди, — сказала про себя Наташа. — Авось попадешь на снимок, и твоя физиономия займет свое место в нашей картотеке».

Ровно в два часа Наташа вышла на угол площади перед зданием Национального музея. Она медленно шла по тротуару, всматриваясь в прохожих. И вот из-за угла показался человек с синей, свернутой в трубку бумагой. На вид беспечный, любопытный ко всему, он шел мед-

ленной, расслабленной походкой. Наташа пошла ему навстречу. Шагов за десять они встретились взглядами. И вот уже разминулись. Наблюдатель, ничего не заметив, продолжал идти за Посельской.

Первая связь прошла хорошо…

. . . . . .

В шесть часов утра Субботина разбудил дежурный солдат. Майор Хауссон был уже в кабинете.

— Как выспались, капитан?

В его вопросе Субботин уловил нотки раздражения и насторожился.

— Не хватило часов двух, — беспечно ответил он.

— Нужно кончать канитель с Кованьковым. Установлено, что он всю ночь не спал. Очевидно, действительно обдумывал ваш разговор. Человек всегда уязвим после бессонной ночи. Или, как говорит ваша пословица, — утро всегда умнее вечера. Сегодня надо дать ему понять, что мы не постесняемся в выборе средств, чтобы достойно вознаградить его упорство… Да, сообщите ему, между прочим, что советское командование по поводу его исчезновения не сделало никаких заявлений. Пусть знает, что он не представляет

никакой ценности. Вызовите у него страх за свою судьбу. Ведь он остался один, один против нас всех. Страх за судьбу — это главное. Потом он разговорится.

— Он может спросить, чего от него хотят.

— Совсем немного. Мы устроим широкую пресс-конференцию, и он как офицер штаба, осуществлявший связь с немецкой администрацией, сделает сообщение о том, что завоз Советами продовольствия в Берлин — пропагандистская ложь, цель которой прикрыть вывоз в Россию промышленного оборудования и ценного сырья Германии. Такова программа-минимум. А если он сдастся окончательно, его заявление можно будет значительно расширить. Но сейчас говорите с ним только о минимуме!..

...Сразу было видно, что Кованьков провел бессонную ночь. Его лицо было серым, помятым. Когда Субботин вошел, лейтенант равнодушно посмотрел на него погасшими глазами. Субботин не на шутку встревожился: неужели Кованьков и впрямь сломился?

— Как чувствуем себя? — весело спросил Субботин.

— Отлично! — Кованьков подобрался, подтянулся, и в глазах у него вспыхнул уже знакомый

Субботину огонек упрямства.

Они снова сидели друг против друга. Субботин начал хитрую и сложную игру. Он говорил Кованькову именно то, что требовал Хауссон, а в это время глазами утверждал другое: «Держись и знай: я твой друг». То невероятное, о чем всю ночь думал Кованьков, снова подтверждалось, но он продолжал держаться настороженно. Не прерывая разговора, Субботин вынул из кармана бумажку и написал на ней:

> «В конце сегодняшнего разговора скажи: «Дайте мне три-четыре дня, чтобы все обдумать».

Субботин показал записку Кованькову, тот прочел ее. Субботин тщательно спрятал записку.

Разговор продолжался. Субботин грозил Кованькову расправой, уничтожением. Тот молчал.

Субботин встал:

— Ну, лейтенант, за вами последнее слово. От него зависит ваша жизнь.

Кованьков посмотрел на Субботина и увидел в его глазах все то же подтверждение невероятного. И он решил довериться этому невероятному. В конце концов, пока он ничего не терял.

— Прошу дать мне три-четыре дня, чтобы все продумать.

— Вот это дело, лейтенант! — весело воскликнул Субботин. — Я сейчас же доложу о вашей просьбе начальству. До свидания.

Теперь Хауссон встретил Субботина гораздо приветливее.

— Ну что же, капитан, на трубе страха вы сыграли хорошо. Что ни говори, страх — великая сила. Какое у вас впечатление? Он сломлен?

— Думаю, да.

— Прекрасно. Мы устроим лейтенанту пышную пресс-конференцию. И, когда после его заявления ударим во все колокола, в это поверят даже глухие.

Субботин помолчал и спросил:

— А не помогла бы нам та немецкая девушка, у которой с Кованьковым была дружба?

— Нет. Он ей уже не верит. Кроме того, сама она для нас опасна. В свое время девушка поверила нам, что ее отец жив и находится здесь. На этом мы ее провели и использовали для похищения Кованькова. А отца ее, разумеется, в живых нет. Потом, она наверняка находится под наблюдением советской разведки. А главное, эта история с отцом… Немцы с их сентиментальностью — опас-

ный материал для подобных экспериментов.

— Жаль, — тихо произнес Субботин, думая в это время о том, что Рената Целлер, значит, рассказала правду.

34

Субботин ежедневно продолжал душеспасительные беседы с Кованьковым, во время которых, незаметно для Хауссона, они разработали смелый план действий.

Кованьков поломался еще неделю, а затем разыграл полное разочарование в своем упорстве и согласился сделать все, что предлагал майор Хауссон.

Да, он зачитает на пресс-конференции заявление, которое ему приготовят. Да, он ответит на вопросы, инспирированные тем же Хауссоном, и ответит именно так, как хочет майор.

Пресс-конференция была назначена на пятницу. В четверг майор Хауссон провел репетицию, собрав для этого всех своих сотрудников. На репетиции Кованьков держался прекрасно. Субботин с восторгом смотрел, как искусно играл он роль советского офицера, который разочаровался в коммунизме, но никак не в своей родине. Именно

эту формулу раскаяния, а никакую иную, Кованьков потребовал занести в заявление. И это его неумолимое требование усиливало впечатление достоверности поведения лейтенанта.

После репетиции Хауссон устроил ужин для Кованькова и Субботина. И первый сказал такой тост:

— В отличие от некоторых своих коллег, я придерживаюсь мнения, что русские — деловые и умные люди. За них! — сказал он, показав бокалом на Кованькова и Субботина.

Для пресс-конференции был снят большой зал Делового клуба. Его заполнило около двухсот корреспондентов, представлявших печать и радио всего мира. Добрый десяток кинооператоров, вскинув к плечу камеры, ждали появления героя пресс-конференции. Радиорепортеры бубнили в свои микрофоны. Видно было, что Хауссон постарался разжечь любопытство газетчиков.

На сцене появились Кованьков и Субботин. В зале установилась мертвая тишина, только трещали кинокамеры да затворы фотоаппаратов. Главный режиссер пресс-конференции майор Хауссон, как всегда, уселся в самом последнем ряду. Нельзя и подумать, что сегодня — его праздник.

Корреспонденты быстро записывали в свои

блокноты:

«Русский лейтенант взволнован…»

«Бледное симпатичное лицо…»

«Весь его облик, особенно широко открытые серые глаза, вызывает доверие…»

«В руках у лейтенанта нет никакого текста — это тоже вызывает доверие…»

«Мы не знаем, кто с ним за столом второй, но он тоже очень волнуется…»

В тишине зазвучал ясный и твердый голос Кованькова. Он говорил на немецком языке:

— Господа, я обращаюсь к вашей совести, к совести общественного мнения всего мира. Если есть еще на свете справедливость и честность, вы должны поверить тому, что я сейчас расскажу, и стать на защиту справедливости…

Между прочим, это вступление к приготовленному Хауссоном заявлению было включено также по требованию Кованькова. Субботин сначала против этого притворно возражал, а потом согласился: пожалуй, действительно такое вступление повысит напряжение в зале. В конце концов уступил и Хауссон. Эти фразы Кованьков произносил и на репетиции. Но почему-то сейчас

начало речи лейтенанта необъяснимо встревожило Хауссона.

— Господа, — продолжал Кованьков, — я должен был здесь пересказать заявление, которое подготовили для меня сотрудники американской разведки во главе с майором Хауссоном и еще вот этим предателем Советской страны, неким Скворцовым… — Кованьков показал на Субботина.

Тот, изобразив на лице ужас и полную растерянность, отшатнулся от лейтенанта, вскочил и начал глазами искать кого-то в зале — Хауссона, конечно.

А Кованьков в это время продолжал:

— Я был предательски выкраден той же американской разведкой из Восточного Берлина. Угрозой расправы, вплоть до уничтожения, они хотели заставить меня сделать здесь заявление по шпаргалке. Я этого не сделаю. Я вообще о политике здесь говорить не буду…

В зале возник гул. Корреспондентские ручки резво прыгали по бумаге. Сенсация! Наконец-то настоящая сенсация!

Хауссон вскочил. Чуть не потеряв контроль над собой, он хотел крикнуть: «Пресс-конференцию закрываю», но вовремя удержался. Все равно было уже поздно, никакая сила не могла теперь

остановить этот скандал. Недаром же печать именуют шестой державой. Держава есть держава, тут шутки плохи.

— Я не буду говорить о политике, — продолжал лейтенант Кованьков, — так как я знаю, что мои убеждения для вас чужды. Тем не менее я надеюсь на вашу помощь. Вот все, что я хотел сказать. Да, еще несколько слов…

В это время Субботин бросился на Кованькова, оттолкнул его от микрофона и крикнул:

— Объявляется перерыв!



Зал ответил хохотом и свистом.

Кованьков показал на Субботина и, перекрывая шум, крикнул:

— Наверно, для этого грязного типа уже устраивали или еще устроят пресс-конференцию. Знайте: это профессиональный уголовник, спекулянт, предатель!..

35

Майор Хауссон, видавший всякие виды, умевший хладнокровно держаться в очень опасных ситуациях, теперь растерялся и струсил. У него достаточно было врагов и завистников в собственном ведомстве, и он знал, что скандала ему не простят. Он шел по коридору к генеральскому кабинету и, сам того не замечая, замедлял шаги. Перед дверью он остановился, произнес про себя свое заветное: «Это еще не смерть», и взялся за ручку двери…

Генерал брезгливо посмотрел на остановившегося перед его столом Хауссона и отшвырнул карандаш:

— Поздравляю вас, майор! Отличная работа! На месте русских я бы дал вам орден! Что же касается Америки, она вам аплодирует! Браво,

майор! На вас прекрасно заработают газетные издатели. Можете гордиться: ваша популярность в Америке затмила сейчас славу всех кинозвезд. Браво, майор!

Хауссон стоял не шевелясь и смотрел мимо генерала. Он понимал, что вся эта язвительная тирада — всего лишь вступление, и ждал главного — того, что определит всю его дальнейшую судьбу.

— Что вы молчите? — крикнул генерал. — Или вы разучились не только работать, но и говорить?

— Что я могу сказать… — Хауссон пожал плечами. — Этот русский лейтенант сумел всех нас провести за нос.

— Что значит «всех нас»?

— В первую очередь меня, — твердо произнес Хауссон.

— Так… А еще кого?

— Ну и еще раз — меня. Но вы, как никто другой, знаете, что ошибки в нашей работе случаются… — Хауссон сказал это не без намека: он напоминал генералу о его скандальном провале в Касабланке во время войны.

— Ошибки ошибкам рознь, майор! — Лицо генерала побагровело. — Одни после ошибок

становятся генералами, а другие превращаются в ничто! Вы поняли меня?

— Прекрасно.

— Так, если вы кое-что еще понимаете, как вы не можете понять, что свой подарок вы сделали нам в такой трудный момент, когда подобные дела не могут быть прощены!

— Должен ли я, генерал, это ваше замечание понимать как обвинение меня в том, что я создал и эти трудности?

Это был выстрел с дальним прицелом. Недавно на президентских выборах победили демократы. Трумэн остался президентом. Однако во время избирательной кампании политические конкуренты — республиканцы — доставили демократам большие неприятности.

Особенно резко они нападали на все, что делалось в Германии. Отводя удар от себя, лидеры демократов придумали хитрый маневр: во всем-де виноваты устаревшие люди войны, люди Рузвельта. И было обещано, что люди эти будут заменены другими. Генерал, распекавший Хауссона, был типичным «человеком войны», и он должен был понимать, что Хауссон знает о нем больше, чем кто-либо другой. Хауссон рассчитывал именно на это. И он попал в цель…

Генерал на вопрос майора не ответил. Еще вчера он продумал все: он устраивает беспощадную расправу над Хауссоном, объявляет его чуть ли не главным виновником всех просчетов, допущенных в германском вопросе из-за неправильной ориентации разведки, а себя выставляет в роли того начальника, который первый начинает устранение из Германии устаревших людей.

Хауссон, конечно, все это предугадывал, потому-то он и сделал выстрел с дальним прицелом. Молчание генерала сообщило ему о точном попадании в цель. Теперь нужно действовать решительно, без оглядки.

— Никогда не следует, генерал, — говорит он спокойно и почти сочувственно, — переоценивать значение политической предвыборной игры. Недавно я получил письмо от Большого Джона. О результатах выборов он с юмором пишет, что, если не считать потерянных денег, которые пришлось дать на проведение предвыборной кампании, все осталось по-старому. Кстати, он по-прежнему очень интересуется Руром. Он вам об этом не писал?.. Нет? Я ему как раз советовал связаться именно с вами.

Генерал молчал. Хауссон мог считать бой выигранным… Все дальнейшее было уже не больше,

как взаимные маневры противников по выводу своих сил из боя.

— Не ожидаете ли вы, майор, — усмехнулся генерал, — что эта скандальная история будет поставлена вам в заслугу?

— Ни в коем случае, — быстро произнес Хауссон. — В меру моей личной вины я готов понести наказание. Но, кстати, зачем вы так поспешили с сообщением в печать об этом русском?

— Нужно было, — глухо произнес генерал.

«Повышал свои акции», — внутренне усмехнулся Хауссон.

В кабинете долго царило молчание. Потом генерал сухо сказал:

— В Берлине вам оставаться нельзя. Думаю, что вам придется принять нашу новую школу в Мюнхене. Я сегодня поговорю с центром. Необходимо, майор, чтобы прошло время и забылась эта ужасная история.

— Ну что ж, я согласен. — почти весело сказал Хауссон. — Тем более что в нынешней бурной жизни все забывается довольно быстро.

— Не обольщайтесь, майор. Мы получили с Востока целую серию контрударов. Для всех нас создалось положение весьма напряженное.

Хауссон улыбнулся:

— Людей устаревших, вроде нас с вами, сменят новые, и дело поправится… Как вы предлагаете поступить со вторым русским и его немкой?

— Я смотрел его досье… — Генерал пожал плечами. — Этот как будто подвести не может. В каком состоянии он сейчас?

— Удручен. Подавлен. Того лейтенанта брался застрелить собственноручно.

— Вот-вот! Боюсь, что он только на такие дела и годен.

— Не думаю, генерал. Это человек очень неглупый. А главное, у него теперь никаких путей назад нет.

— Сегодня русские повторили требование о его выдаче.

— Что им ответили?

— Снова — ничего. Но я дал интервью западноберлинской газете. Заявил, что этот русский офицер сам избрал Запад и напрасно советское командование, продолжая не понимать принципов западной демократии, добивается, чтобы мы распорядились судьбой человека и не давали бы ему жить так, как он хочет. В общем, мы на их требования просто не будем отвечать — и все.

— А не пригодится он нам в школе? — спросил Хауссон. — Ведь он знает Россию, ее порядки,

обычаи…

Генерал покачал головой:

— Не знаю, майор, не знаю… Вот, если центр решит доверить вам школу, тогда вы сами этот вопрос и решите… Да, а немку, с которой спутался этот русский, убрать. Выгоните ее к чертовой матери!

— Это может повлиять на капитана Скворцова… — осторожно возразил Хауссон.

— Мы не брачная контора, майор! — ожесточенно произнес генерал. — Она не нужна. Выгнать — и все!

36

Субботина увезли из Берлина через час после скандальной пресс-конференции. Увезли в машине. Пока ехали, наступили сумерки, так что он совершенно не представлял себе, куда его везут. Машина остановилась перед глухими воротами. В обе стороны от них тянулся, пропадая в темноте, такой же глухой и высокий забор, по верху которого на кронштейнах тянулась колючая проволока. Сопровождавшие Субботина два рослых парня в штатском за всю дорогу не произнесли ни слова. Теперь они довольно долго объяснялись с

вышедшим из калитки офицером.

Наконец ворота открылись. Машина промчалась по дороге, обрамленной густой полосой кустарника, и остановилась под аркой дома, похожего на старинный помещичий особняк. Тут же в стене была дверь с чугунным гербом в виде белки, сидящей на косматой сосновой ветке. Как только Субботин вышел из машины, дверь открылась.

— Сюда, пожалуйста, — сказал один из парней.



Видно, на этом миссия штатских заканчивалась, их больше не было видно. В полутемном коридоре Субботина встретил человек в офицерской форме, но без знаков различия.

— Прошу за мной, — отрывисто, тоном приказа произнес он и пошел впереди по длинному и мрачному коридору с низким, сводчатым потолком. — Здесь ваша комната. Входите…

Нетрудно представить себе, какой тревожной была эта ночь для Субботина.

Комната, в которой он находился, походила на тюремную камеру: длинная, узкая, с голыми стенами, окно-бойница изнутри закрыто массивной ставней. Тусклая лампочка под высоким потолком. Стол, стул, солдатская кровать — и больше ничего! Что все это означало? А главное: поверили они или не поверили в версию, которая была разыграна на пресс-конференции? Все решало именно это. И только это.

Субботин в который раз вспоминал все, что произошло, и придирчиво анализировал, не был ли где допущен им хоть маленький промах. Но нет, все прошло удивительно чисто и точно по расчету. «Молодец Кованьков!» — подумал Субботин. И тут же тревожная мысль: «Что с Наташей Посельской?» После пресс-конференции он ее

больше не видел…

Утром, когда Субботин был еще в постели, в его комнату без стука зашел солдат.

— Вас просят вниз, — сказал он.

Субботин решил провести первую разведку.

— Это обязательно? — спросил он слабым голосом. — Я плохо себя чувствую…

Солдат ушел. Не прошло и десяти минут, как явился врач. Положив на стол кожаную сумку с красным крестом, он присел на кровать и взял руку Субботина. Врач был очень молодой, но держался уверенно, если не сказать — нахально. Проверив пульс, он нагнулся к Субботину, всматриваясь в его глаза.

— Что с вами? — спросил он наконец.

— Непонятная слабость, — тихо ответил Субботин.

— Почему — непонятная? Естественная разрядка после нервного напряжения.

— Наверно, — согласился Субботин. — Мне вставать обязательно?

Врач пожал плечами:

— Внизу подан завтрак. И я советовал бы вам не развинчиваться, встать и действовать. В таких случаях это самое верное лекарство.

Субботин улыбнулся:

— Тогда, не теряя времени, прибегнем к этому лекарству…

Солдат, поджидавший Субботина в коридоре, провел его не в столовую, а в кабинет, где его с явным нетерпением ждал пожилой американский полковник. Увидев входящего в кабинет Субботина, он сердито посмотрел на часы.

— Здравствуйте, капитан. Садитесь! — отрывисто произнес он. — Я хочу сказать несколько слов, чтобы вам впредь было все ясно. Я и мои люди к вашим делам не имеем никакого отношения. Вы… ну, что ли, мой гость. Но, увы, здесь — учреждение военное. Прогулок по парку разрешить не можем. Вам придется все время находиться в своей комнате. Поскольку я предупрежден, что цель вашего пребывания здесь — скрыться от общественного любопытства, думаю, что такой режим жизни устроит и вас. Можете идти завтракать… — Полковник сказал это без пауз, на одном дыхании, и снова сердито посмотрел на часы.

— Я хотел бы иметь возможность читать газеты, — требовательно произнес Субботин.

— Хорошо. К завтраку вам будут подавать газету.

В дверях появился солдат.

— Проведите господина в столовую… (Субботин

встал.) Да, чуть не забыл. Я имею распоряжение переодеть вас в штатский костюм. Приятного аппетита.

Кельнер в странной полувоенной форме подал Субботину завтрак и стал возле стены. Как только было выпито кофе, в дверях появился солдат:

— Прошу…

Субботин вернулся в свою комнату…

Так он прожил шесть дней. Теперь по утрам он читал газету и был в курсе событий. Прочитал он и насчет себя. Генерал в интервью утверждал, что ему ничего не известно о судьбе русского офицера Скворцова. Офицер сам сделал выбор и пришел в западный мир. Где и как он живет теперь? Генерал не может, естественно, знать, как живут миллионы людей, которые населяют Западную Германию… Субботин несколько раз прочитал это место из интервью. Нет-нет, все было в порядке: они ему верят и, судя по всему, собираются использовать. «Ну что же, именно это нам и надо…»

План, разработанный Рычаговым, состоял из двух частей. Первая включала в себя все, что было связано с вызволением лейтенанта Кованькова. Но в ходе этой операции уже начиналась и вторая часть плана, по которой Субботин должен

был закрепиться на Западе и затем действовать в зависимости от обстановки.

На седьмой день во время обеда в столовую быстро вошел полковник, с которым Субботин разговаривал после приезда сюда.

— Прошу прощения, но вам нужно поторопиться. За вами приехали…

И снова Субботин ничего не увидел. По тому же коридору его вывели под арку дома, где уже стояла машина. Рядом с шофером сидел знакомый Субботину офицер из отдела Хауссона.

— Здравствуйте, мистер Жерард! — обрадовался Субботин.

Не отвечая на приветствие, офицер открыл заднюю дверцу. Машина сорвалась с места и помчалась по аллее. Промелькнули раскрытые ворота, за которыми к горизонту устремилось прямое, как стрела, шоссе. Субботин тронул за плечо офицера и тихо и гневно сказал:

— Мистер Жерард, неужели вы не уничтожили этого щенка лейтенанта?

Офицер пожал плечами:

— Скандал получил чересчур широкую огласку. И вообще я не хочу говорить об этом.

Субботин видел, что офицер в дурном настроении. Но кое-что уже известно: Кованьков жив!

Прекрасно! Зададим вопрос другой:

— Куда мы едем, мистер Жерард?

— В Мюнхен.

— Зачем?

— Я думаю, вы там будете жить и работать.

— Надеюсь, с мистером Хауссоном?

Офицер снова пожал плечами и не ответил.

— Еще один вопрос, мистер Жерард: где Анна Лорх?

— Понятия не имею. Я занимаюсь только тем, что имеет отношение к делу…

Субботин понял, что с Наташей дело плохо. От тревоги за нее похолодело сердце.

Часть вторая

37

Как только окончилась война, сразу стало ясно, что западные державы создают искусственные препятствия возвращению на родину советских людей, угнанных фашистами в Германию. Кто был в дни окончания войны в Германии, никогда не забудет, как по ее дорогам с запада на восток и с востока на запад двигались бесконечные колонны изможденных людей. Вводя в Европе свой бандитский «новый порядок», гитлеровцы

согнали в Германию рабов из многих стран мира. Французских шахтеров они заставляли работать на шахтах Силезии. Украинские крестьяне батрачили на землях помещиков в Баварии. Вся Германия была покрыта сетью лагерей для рабов. Для тех, кто не покорялся новоявленным рабовладельцам, были созданы концентрационные лагеря смерти.

В первые дни мира на дорогах Германии мы видели немало людей в полосатых арестантских робах, с выжженными на руках лагерными номерами. Эти люди были похожи на вставших из гроба мертвецов. Они возвращались в родные места, одним своим видом свидетельствуя миру о пережитых ими муках.

В советской зоне сотни наших офицеров, недосыпая, валясь с ног от нечеловеческой усталости, помогали жертвам «нового порядка» поскорей вернуться к родному крову. На дорогах стояли солдатские кухни. В населенных пунктах днем и ночью работали специальные центры по снабжению освобожденных узников фашизма одеждой и продовольствием, обеспечивали их ночлегом и транспортом.

Совсем иначе было в Западной Германии. В первые же послевоенные дни советское коман-

дование располагало информацией о том, что в западных зонах тысячи и тысячи советских людей не выпускают из гитлеровских лагерей. Сначала был выдуман предлог такой: в лагерях-де свирепствовали различные инфекционные болезни, и поэтому теперь необходим карантин. Затем в западной пропаганде и в официальных документах появился термин «добровольная репатриация». Видите ли, оказывается, многие советские люди не выказывают желания возвратиться на родину. Эту заведомую ложь дружно разоблачали все, кто сумел вырваться из лагерей.

Распространяется гнусная клевета, будто все освобожденные из лагерей на родине объявляются изменниками и их судят. Одновременно рассыпаются щедрые и столь же лживые посулы о беспечной жизни в западном мире.

Так после войны развернулась форменная борьба за освобождение советских людей.

То, что Советская страна желала возвращения попавших на чужбину своих людей, — естественно. Но почему западные державы решили помешать этому? Как раз той осенью, когда развертывались события нашего рассказа, американский главнокомандующий в Германии

генерал Клей на одной из своих бесчисленных пресс-конференций заявил, что западные оккупационные власти не собираются запрещать деятельность антисоветских организаций среди русских перемещенных. На просьбу французского корреспондента более подробно осветить этот вопрос генерал раздраженно ответил, что он не обязан вмешиваться в частные дела русских…

Все та же старая песня!.. Нечто похожее сказал для печати о Субботине и другой американский генерал. Он тоже, видите ли, не обязан знать, что делает перешедший на Запад русский офицер.

38

Иностранные разведки, развертывая работу против Советского Союза, всегда сталкивались и сталкиваются с проблемой языка. Невозможно научить американца или англичанина так говорить по-русски, чтобы русские приняли его за соотечественника. Или научить его говорить по-украински так, чтобы украинцы приняли его за земляка. Во всяком случае, это требует многих лет учения и практики.

Американская разведка торопилась и решила сделать ставку на кадры, вербуемые из русских

перемещенных лиц. По лагерям ездили высокопоставленные чины разведки, сопровождаемые целым штатом вербовщиков. Несколько позже перешедший к нам из Западной Германии офицер американской разведки рассказал, с каким упорством по лагерям перемещенных лиц выискивали людей с замаранной во время войны совестью или таких, кто по отсталости сознания мог соблазниться на денежные посулы и обещания райской жизни. Их увозили в школы, размещенные в разных укромных местах Западной Германии, и торопливо готовили из них шпионов и диверсантов.

Майор Хауссон стал начальником одной из таких школ. Конечно, для него это было понижение. С тем большим усердием он приступил к работе, надеясь своим служебным рвением заслужить прощение грехов и как можно скорее вернуться к более заметным делам.

Школа помещалась в старинном замке, в пятидесяти километрах от Мюнхена. Со всех сторон замок окружал парк из столетних деревьев, в здании постоянно царил сумрак. Майор Хауссон занимал комнату в башне.

Курсанты размещались на первом этаже. Это были самые разные люди в возрасте от двадцати

до тридцати лет. В школе работали два отделения: немецкое и русское. Все девять курсантов немецкого отделения являлись уроженцами Восточной Германии, по тем или иным причинам после войны оказавшимися в западной зоне. На русском отделении обучалось около двадцати человек. Все они были из так называемых «перемещенных лиц».

Поклявшись себе быть более осмотрительным, Хауссон решил как следует проверить состав курсантов. Сперва он вызвал к себе немцев. К нему явились девять парней, одетых по последней американской моде. Все они держались нахально и самоуверенно.

Хауссон стал выяснять, кто они такие. Как на подбор, все курсанты были людьми случайными и не вызывающими особого доверия. Один работал официантом в Мюнхене, стал соучастником ограбления французского коммерсанта, чудом избежал суда, скрывался, потом попал в школу. Другой по профессии шофер. Сбил машиной человека, сидел в тюрьме. Оттуда был взят в школу. Третий работал наборщиком в типографии, участвовал в печатании нелегального порнографического журнала. По приговору суда должен был два года сидеть в тюрьме. Попал в школу…

И так далее, в том же духе. Хауссон вообще к немцам относился презрительно, называл их «нацией исполнителей». «Ну что ж, — думал он, вглядываясь в лица сидевших перед ним курсантов, — эти тоже что-нибудь смогут исполнить. Весь вопрос в том, чтобы приказ был построже, а оплата повыше…»

Затем майор Хауссон познакомился с курсантами русского отделения. Эти произвели на него более благоприятное впечатление. Их биографии были весьма схожи. И что почти поразило его: биографии у них были куда значительнее, чем у немцев. И в каждой было то, что обнадеживало: озлобленность человека с покалеченной судьбой…

Майору Хауссону показалось, что этих парней можно увлечь перспективой тайной авантюрной деятельности. Особенно ему понравился Герасим Барков, тридцатилетний мужчина удивительных внешних контрастов. Геркулес, а руки маленькие, женские, холеные. Девичье чистое, нежное лицо, а на нем — темно-серые, немигающие глаза с матовым свинцовым блеском, глаза убийцы. Во время войны работал в гестапо в Донбассе. Потом сам бежал в Германию.

— Почему вы стали работать в гестапо? — спро-

сил Хауссон.

Барков задумчиво усмехнулся:

— Интересная была работа. Весь поселок меня, как чумы, боялся. Идешь, бывало, люди, как мыши, прячутся.

— А что вы думаете о России теперь?

— Только бы она обо мне не думала, — рассмеялся Барков. — Там на меня зуб имеют острый.

— Ну, а если по ходу дела вам предложат съездить туда, не побоитесь?

Барков пожал плечами:

— А чего бояться? Не придется же мне ехать в тот шахтерский поселок? Думаю еще усы отпустить. — Он махнул рукой. — И вообще, кто меня близко тогда видел, тех в живых нет.

— А родные у вас там остались?

— Фактически я безродный. Мать умерла. Отец у меня беглый со дня моего рождения. Его с алиментами никак найти не могли.

Все это Барков говорил спокойно и с той неподдельной простотой и убежденностью, в которые нельзя было не верить.

Хауссону оставалось только пожалеть, что он не располагал такими кадрами в Берлине.

Познакомившись с курсантами, Хауссон стал вызывать к себе преподавателей. Все они оказа-

лись хорошо знающими свое дело, но абсолютно не представляющими особенности той страны (речь идет о России), куда должны были попасть их питомцы. В этом они целиком полагались на самих курсантов, забывая, что те не были на родине уже весьма длительный срок.

Преподаватель, обучавший курсантов шифровальному делу, человек с внешностью старомодного художника, сказал Хауссону:

— Я готовил людей для Франции. Я знал: что бы там ни произошло, Франция есть Франция. Я сам бывал там, и все, что необходимо о ней знать, знаю. Но Россия… — Он прочесал пятерней свои длинные, сваливающиеся на уши волосы и добавил: — Сплошной сфинкс! Хуже, чем Китай. Впрочем, — добавил он, — относительно Восточной Германии мы тоже в большом неведении.

Хауссон понимал, что шифровальщик прав. Именно в этом может оказаться главный порок в работе порученной ему школы. А раз уж он вынужден отбывать здесь наказание за берлинский промах, он должен сделать школу образцовой.

Но разве сам Хауссон знает Россию настолько, чтобы быть уверенным в том, что он сможет хорошо поставить изучение плацдарма, на котором предстоит действовать его питомцам? И Хауссон

решил прежде всего сам изучить всё что можно о сегодняшнем Советском Союзе. Он запросил всю имевшуюся в разведовательном центре литературу об этой стране. Ее оказалось не так уж много. Справочники были сильно устаревшими. Его удивило и даже рассмешило, что ему прислали сокращенные издания романов Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». Наиболее полезным было досье вырезок из газет.

Целый день Хауссон штудировал вырезки. Досье было не маленькое — восемь пухлых томов. Вдобавок Хауссон владел русским языком не настолько, чтобы читать без словаря.

К вечеру Хауссон, страшно уставший, с разболевшейся головой, лег в постель, решив на сон грядущий почитать Достоевского. Лучше бы он этого не делал. По газетным вырезкам психология русского человека представлялась ему довольно простой и, во всяком случае, понятной. Он даже стал иронически думать о загадочности русской натуры, о которой так любили говорить среди его коллег. Нет, нет, советские люди представлялись ему довольно примитивными: у них все интересы сосредоточены только вокруг работы, связанной с выполнением каких-то бесконечных планов и обязательств. А Достоевский, даже сокращенный,

показывал ему русского человека, действительно непостижимого в своей сложности и неожиданности поступков. Как же это может быть? Не могли же коммунисты так переделать не только государственный строй, но и самого русского человека? Ну хотя бы вот этот, понравившийся ему курсант Барков — к чему он ближе? К Достоевскому или к тому, чем веяло от бесчисленных газетных вырезок? Пожалуй, к Достоевскому… Но это ощущение возвращало Хауссона к мысли о загадочности русской натуры.

Словом, нет ничего удивительного, что однажды Хауссон пришел к мысли, что ему нужно иметь при школе надежного консультанта по Советскому Союзу, жившего там совсем недавно. И он подумал о Скворцове. Хауссон решил, что его можно и нужно использовать в школе. Надо только некоторое время еще понаблюдать за ним: не изменил ли он свои взгляды, потрясенный тем, что произошло на пресс-конференции?

39

Журналисты, галдя, толкаясь, покинули зал. Субботина и Кованькова увели через дверь на сцене. И наконец наступила минута, когда

Посельская осталась в зале одна. Что делать? Наташа прошла на сцену, но дверь там оказалась запертой. Наступившая после дикого гвалта тишина пугала. Наташа быстро вышла из зала. В фойе — ни души…

В гостинице портье, передавая Наташе ключ, сказал:

— За вами долг, фрейлейн.

— Разве мой номер не оплачен? — удивилась Наташа.

— Увы! — Портье развел руками и непонятно улыбнулся.

— Хорошо. Я сейчас схожу в меняльную контору, получу марки «Б» и заплачу́…

Наташа вышла из гостиницы и чуть не столкнулась с уже знакомым ей молодым человеком, все эти дни ходившим за ней. Он посторонился и, приподняв шляпу, пробормотал извинение. Но за Наташей не пошел.

Поменяв марки, Наташа вернулась в гостиницу. На пороге ее ослепила вспышка фоторепортерской лампы. Все, кто был в вестибюле, провожали ее любопытными взглядами. Наташа все поняла: очевидно, пока она ходила, радио уже раструбило о пресс-конференции. Портье, принимая от нее деньги, сказал, улыбаясь:

— Можно было не торопиться…

Молодой человек, который столкнулся у входа с Наташей, сидел в кресле в глубине вестибюля и посматривал на нее с непонятной усмешкой. К стойке портье подошел и стал рядом с Наташей пожилой и какой-то помятый мужчина.

— Прошу прощения. Несколько вопросов для газеты.

— Я устала… — Наташа хотела уйти, но корреспондент загородил ей дорогу.

— Всего два вопроса. На предыдущей пресс-конференции вы были представлены как невеста русского офицера. Где сейчас ваш жених?

— Не знаю.

— Прекрасно. И еще один вопрос: рассчитываете ли вы стать женой того офицера и когда это произойдет?

— Это наше личное дело… — Наташа бесцеремонно оттолкнула журналиста и быстро взбежала по лестнице.

В номере пожилая немка производила уборку. Она выключила пылесос и с откровенным презрением посмотрела на Наташу.

— Вы действительно немка? — вдруг со злостью спросила она.

— Да, немка, — устало ответила Наташа, вешая

на распялку пальто.

— Как вам только не стыдно заниматься такими делами!

— Какими именно?

— Грязными — вот какими! — Уборщица сердито выдернула штепсель пылесоса. — Что плохого вам сделали русские?.. Убрали банду Гитлера? Да? — Женщина смотрела на Посельскую брезгливо и гневно.

Наташа в это время лихорадочно обдумывала, как себя вести в этой неожиданной ситуации.

— Я бы посоветовала вам, — жестко сказала она, — не совать нос, куда не следует. Убирайтесь отсюда!

Гремя пылесосом, уборщица вышла из номера. Наташа вздохнула: «Все же я поступила правильно. Мало ли что… Это могло быть и провокацией… Но что все-таки с Субботиным? Получил он возможность дать о себе знать? Как теперь поступать мне самой?.. Ясно пока одно: необходимо какое-то время выждать». Этого требовал и оперативный план.

Прошло еще три дня. От Субботина никаких известий. Не проявляли к ней никакого интереса и люди Хауссона. Уже трижды на встречах со связным Наташа условленным кодом передавала

одно и то же: «Ничего нового. Положение Субботина неизвестно…»

На четвертый день утром Посельская пошла в комендатуру, рассчитывая найти там офицера, который ее принял после перехода зональной границы. Не поможет ли он ей связаться с Хауссоном?

Наташе повезло. Когда она подошла к комендатуре, у подъезда одновременно остановилась машина, из которой вышел именно тот офицер. Наташа бросилась к нему:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — замедленно ответил офицер, с недоумением смотря на Посельскую.

— Вы помните меня?

— Прошу прощения — нет. — Офицер козырнул и взялся за ручку двери.

— Я — Лорх. Анна Лорх. Невеста…

Офицер пожал плечами и быстро скрылся за дверью.

Наташа зашла в комендатуру и обратилась к чиновнику, который когда-то направлял ее в гостиницу. Этот ее помнил.

— Вы еще не устроились на работу? — спросил он. — Одну минуточку.

Чиновник ушел. Минут через пять он вернулся,

но это был уже совсем другой человек. Не глядя на Наташу, он сказал:

— Комендатура устройством на работу не занимается. Для этого существует бюро найма. До свидания…

Все было ясно: от нее попросту отделывались, она им больше не была нужна.

Наташа вернулась в гостиницу. Только вошла в номер, зазвонил телефон. Портье сообщал, что ее хочет видеть корреспондент. Можно ли ему подняться к ней в номер?

— Можно… — Наташа положила трубку: «Посмотрим, что это за корреспондент».

Стук в дверь. Не успела Наташа отозваться, дверь открылась, и в номер вошел Рычагов.

— Здравствуйте, фрейлейн! Не откажите в любезности ответить на несколько вопросов.

— Пожалуйста. Садитесь…

Рычагов вынул блокнот и начал задавать вопросы. Наташа отвечала. Он записывал. Потом он встал, поблагодарил за интервью и ушел. На столе осталась записка:

«Сегодня же поезжайте в Мюнхен. Явитесь Гамбургер-штрассе, 5, квартира 4. Там живет ваша двоюродная сестра Ама-

лия Штерн. Она поможет вам устроиться на работу. Все идет хорошо. Записку немедленно уничтожьте».

40

Субботин сразу же обнаружил, что за ним ведется тщательная слежка. Началось с того, что в Мюнхене его поселили не в гостинице, а в заранее приготовленной квартире, в которой была даже экономка. Он прекрасно видел, что здесь регистрируется каждый его шаг. «Ну что ж, следите, господа!» Субботин избрал довольно беспечный образ жизни: вставал поздно, гулял по городу, посещал музеи, почти все вечера проводил или в кино, или в театре. Куда бы он ни пошел, за ним как тень тащился наблюдатель…

Прошло две недели. И вот утром его будит экономка. Этого никогда раньше не бывало. Женщина сказала, что приходил посыльный и принес письмо, которое просил вручить немедленно.

«Уважаемый господин Скворцов, прошу вас сегодня в двенадцать часов дня зайти по адресу Гартенштрассе, 31, квартира 7, по вопросу предоставления вам

работы».

Подпись неразборчивая.

Ровно в двенадцать Субботин стоял перед дверью седьмой квартиры. Его здесь ждали: только он протянул руку к звонку, как дверь открылась и он увидел майора Хауссона.

— Проходите, господин Скворцов…

Они вошли в большую, со вкусом обставленную квартиру. Через анфиладу комнат Хауссон провел его в маленький кабинет, единственное окно которого выходило в сад — голый, осенний, грустный. В кабинете было сыро, пахло плесенью. Вообще вся квартира, хотя и хорошо обставленная, производила впечатление нежилой.

Хауссон сел в кресло, Субботин — на диван.

— Как живете, господин Скворцов?

— Скучно… Где Анна Лорх?

Хауссон усмехнулся:

— Не знаю. Я не агент брачной конторы. И я удивлен, что вам скучно. По-моему, вы живете здесь как американский турист.

— Оттого и скучно! — сердито произнес Субботин. — Я без работы жить не могу. Особенно после всего, что произошло в Берлине.

Хауссон поморщился:

— Но лучше уж быть без работы, чем такая работа, какую вы провели там…

— Это верно… — Субботин вздохнул. — Но он так же, как меня, обманул и вас.

— Черт возьми, он же русский! — вспылил Хауссон. — Вы-то должны были раньше меня заметить, куда он смотрит.

Субботин пожал плечами:

— Великий хитрец истории Талейран заявил однажды Наполеону: «Ваше величество, я никогда не смогу обмануть ваше доверие, кроме того случая, когда я захочу это сделать».

— Вы бы еще с Наполеоном сравнили этого мерзавца! — раздраженно обронил Хауссон.

— Я много думал о случившемся. — Субботин помолчал и продолжал: — Все дело в том, что разгадать хорошо задуманную хитрость, может быть, труднее, чем сложнейшую загадку ума. А между тем, хитрость свойственна даже простейшим животным и даже эту хитрость охотник разгадывает не сразу. Мы, господин Хауссон, поторопились. Если уже говорить сейчас начистоту, у меня была тревога с самого первого момента, когда этот щенок вдруг пошел нам навстречу.

— Что же вы, черт возьми, хранили эту тревогу про себя?

Субботин грустно улыбнулся:

— Еще большую тревогу я испытывал за собственную судьбу. Я видел, что вы нервничаете, понимал, что вас торопит высшее начальство, и в это время вдруг я, только свалившийся к вам, что называется, с неба, начну говорить вам об опасности спешки и тому подобное. Я же прекрасно понимал, какое это произведет впечатление. Словом, не вовремя я попал к вам, не вовремя.

— Конечно, нас торопили, — помолчав, проворчал Хауссон.

— А когда подобная работа, — подхватил Субботин, — идет с советским человеком, нужно быть предельно осторожным и предельно бдительным. Никакой самый богатый опыт такой работы с людьми других стран здесь неприменим. Может быть, только оказавшись на Западе и получив возможность издали оглянуться на то, что меня раньше окружало, я с особой глубиной понял, как там искусно обрабатывают сознание каждого человека, кем бы он ни был. Но это особая тема. Извините, просто всё это у меня наболело…

Хауссон помолчал и сказал:

— Вы снова будете работать со мной. Приготовьте ваши вещи, завтра к девяти часам утра за вами придет машина. Вас отвезут к месту новой

работы.

— Можно узнать, что за работа и где? — деловито спросил Субботин.

— Все узнаете завтра. — Хауссон встал, давая понять, что разговор окончен.

Субботин тоже встал и, преданно смотря в глаза Хауссону, торжественно сказал:

— Я благодарю вас, майор, за то, что вы не потеряли ко мне доверия! Честное слово офицера — я оправдаю!..

Несколько часов Субботин бродил по городу, обдумывая встречу с Хауссоном. Он отлично понимал, что все сказанное майором принимать за чистую монету рискованно. Может быть, его просто хотят изолировать. А может, и вывезти из Германии. Но было одно обстоятельство успокаивающее: почему-то сегодня не было за спиной наблюдателя. Его не было, когда Субботин утром вышел из дома, не было и сейчас. А может, он такой умелый, что Субботин не может его обнаружить?.. Вот это надо проверить.

Субботин направился к бульвару — он еще и раньше подумал, что это удобное место для выявления наблюдателя. Особенно теперь — глубокой холодной осенью, когда кругом ни души. Субботин пересекал бульвар по диагонали. На-

блюдатель должен был или пойти за ним и явно себя обнаружить, или обежать всю площадь в расчете встретить Субботина у выхода… Нет, через бульвар за ним никто не пошел. Не было видно никого и на площади.

У самого выхода Субботин повернул назад, а в центре бульвара, где был фонтан, сел на скамейку. Наблюдения за ним не было. Очевидно, они убедились, что его мюнхенская жизнь безупречна. Но что с Наташей Посельской? Субботин подставил лицо сыпавшейся с серого неба колючей изморози и задумался… Скорей всего, ее просто выкинули из игры. В самом деле, зачем она им? При разработке плана такой вариант отношения к Посельской учитывался. И было условлено, что Наташа останется в Западной Германии, чтобы открыто и легально устроиться здесь жить на общих правах для немцев, бежавших с Востока, и быть как бы в резерве. Так что, если Хауссон действительно только выбросил Посельскую из игры, особенно беспокоиться за ее судьбу не стоит. Ведь Рычагов в Берлине, он не дремлет… Но что за работу придумал Хауссон для него? Куда его завтра увезут?

Здесь, в Мюнхене, был один заветный телефонный номер. Но к звонку по этому телефону

Субботин может прибегнуть только в самом крайнем случае. Наступил ли такой случай теперь? Нет, нет и нет. Позвонив, он сможет сказать только одно: его увозят неизвестно куда и неизвестно зачем. В таком сообщении, почти ничего, кроме тревоги за свою судьбу, не будет… В общем, это далеко не тот крайний случай, чтобы воспользоваться заветным телефоном. Значит, надо пока подчиниться обстоятельствам и при этом нерушимо верить, что товарищи тоже действуют и всегда о нем помнят. Это относится, в частности, и к тому человеку, которому принадлежит заветный телефон и о котором Субботин знал только, что его пароль «Братья Райт»…

Да, Субботин не ошибался. Тот человек уже знал, что Субботин находится в Мюнхене, знал, где он живет, знал даже, как он проводит время. И всю неделю его люди пытались установить с Субботиным контакт, но это нельзя было сделать, потому что тот все время находился под наблюдением…

…Субботин уже собрался встать и идти домой, но в это время увидел женщину, которая медленно шла через бульвар. Решил подождать, пока она пройдет. А может, это и есть наблюдатель, которому надоело ждать, и он решил посмотреть,

чем занимается его объект?..

Женщина приближалась, в упор смотря на Субботина. Он смотрел на нее, недоуменно подняв брови.

Женщина проходит мимо, и Субботин слышит, как она, не останавливаясь, внятно произносит:

— Братья Райт. Немедленно купите газету в киоске возле отеля «Глория».

Субботин смотрел вслед удалявшейся женщине, и сердце его радостно колотилось…

Газетный киоск стоял чуть в стороне от входа в отель. Субботин подошел к нему, выбрав момент, когда не было покупателей. В киоске сидела Наташа Посельская. С игривым лицом она протянула ему газету, получила деньги и тихо сказала:

— Шифр номер три. Здесь буду ежедневно я или Амалия Штерн. Мы — двоюродные сестры. Живу у нее: Гамбургерштрассе, пять, квартира четыре.

— Сегодня встречался с Хауссоном. Завтра утром меня увозят. Куда и зачем — не знаю, — сказал Субботин, вороша журналы на прилавке.

— Желаю успеха… До свидания. — Наташа улыбнулась.


DEU

Придя домой, Субботин открыл третью страницу газеты и в третьей колонке, в третьем абзаце, применив шифр, прочитал:

> «С Кованьковым все в порядке. Поздравляю. Хауссон назначен начальником диверсионной школы в пятидесяти километрах от Мюнхена. Очевидно, и вас не случайно доставили в Мюнхен. Возможна взаимосвязь этих фактов. Оперативная связь через Посельскую и через каналы, о которых она вам сообщит. В самом крайнем случае — известный вам телефон».

Субботин улыбнулся: молодчина Рычагов!

41

На исходе еще одна длинная осенняя ночь. Рычагов встал из-за стола и раздвинул шторы. За окном — серая мгла. Еле видны дома напротив. Из открытой форточки потянуло холодком. Рычагов зябко поежился и вернулся к столу.

Начиная с того дня, когда Субботин пошел на Запад, Рычагов ночевал в кабинете, да и спал-то он не более трех-четырех часов. Иногда и мог бы

поспать дольше, но не спалось. Чуть брезжил рассвет, вскакивал с раскладушки и хватался за телефон:

— Узел связи?.. Рычагов. Доброе утро. Что-нибудь есть?.. Так… так… Срочно — ко мне.

И начинался новый день, исполненный громадного нервного напряжения.

…Наивно думать, что такая операция — дело одного Субботина. Нет-нет, планы подобных операций, как правило, выполняются довольно большим количеством людей. В центре операции действует главный исполнитель, но вокруг него постоянно находятся его незримые помощники, без которых он не смог бы работать.

Сейчас Рычагов нетерпеливо ждал донесений с узла связи. Он склонился над столом, на котором разостлана карта, больше всего схожая с метеорологической. В центре карты — Мюнхен. Здесь — Субботин. А от Мюнхена, углубляясь на восток, прочерчены концентрические полукруги, пересеченные изломанными радиальными линиями. Дорого бы дали за эту карту Хауссон и его начальники, ибо карта эта раскрывает всю схему обеспечения операции.

Но ведь Рычагов не знал заранее, что Субботин окажется в Мюнхене… Да, в те дни, сразу

после перехода Субботина в Западный Берлин, у Рычагова была самая напряженная пора. С волнением и тревогой он следил за ходом операции по освобождению лейтенанта Кованькова и одновременно тщательно разрабатывал схему обеспечения второй части операции. Причем он должен был, по мере возможности, быть готовым к любым неожиданностям, которые могут произойти с Субботиным. Ведь мог же тот, например, оказаться не в Мюнхене, а, скажем, в Гамбурге. Значит, в схеме был и Гамбург. Но надо отдать должное Рычагову: тщательнейшим образом изучив обстановку, он в перечне возможных вариантов под номером первым занес Мюнхен.

Масса всяких деталей, которые пришлось продумать, заранее подсказали Рычагову правильное решение. И, когда ход событий это решение подтвердил, оставалось только правильно распределить людей и построить цепочки связи. В подборе участников операции крепко помогали немецкие товарищи, знавшие в Мюнхене немало надежных людей. Рычагов понимал, какое решающее значение имеет связь с главным исполнителем. Поэтому каждая разработанная им цепочка, кроме того, что сама была надежной, еще хитро перестраховывала или дублировала

другую. Полковник Семин особенно придирчиво рассматривал именно эту сторону плана.

«Сам Субботин, — говорил полковник, — достаточно надежный. А малейшая ошибка в построении связи может свести его усилия на нет...»

Возвращаясь к себе от полковника, Рычагов начинал все продумывать заново.

На скандальной пресс-конференции Рычагов присутствовал. Он пришел туда вместе с Дырявой Копилкой. Стиссен идти не хотел. Но Рычагову он был очень нужен: появиться на пресс-конференции в одиночку было в известной степени рискованно.

Но разразившийся скандал прекрасно вознаградил Стиссена за его уступку Рычагову. Он буквально метался по залу со своим фотоаппаратом.

— Спасибо тебе, бельгийская подружка! — говорил он потом Рычагову. — Сделаны три великолепные пленки. И, сверх того, парочка снимков, за которые мне неплохо заплатит лично Мокрица. Хо-хо! Я снял Хауссона в момент взрыва бомбы. Видик у него был как у монашки, у которой на улице юбку сорвали. Хо-хо!..

Рычагов сумел заинтересовать Стиссена и даль-

нейшей судьбой русских офицеров и не без его помощи получил данные, подтверждавшие, что капитана Скворцова увозят в сторону Мюнхена…

Да, первая часть плана была реализована с блеском. Истосковавшиеся по сенсациям журналисты скандальное происшествие на пресс-конференции разнесли по всему свету. Сыграл тут свою роль и извечный волчий характер дружбы западных держав: англичане, например, описывали этот скандал с особым злорадством.

Советское командование немедленно заявило энергичный протест и потребовало освобождения похищенного лейтенанта Кованькова. И уже на другой день он был освобожден. В отношении же Скворцова в протесте было сказано, что такой капитан известен, что он действительно бежал на Запад, боясь понести наказание за совершенные им преступления. Советское командование требовало выдачи капитана Скворцова, как подлежащего суду. Американское военное командование на это не пошло. Они в Скворцова поверили. А Рычагову только это и было нужно…

В те дни Рычагов больше беспокоился о Посельской: он опасался, что ее попросту «устранят», как нежелательного свидетеля. И тогда Рычагов сам, в последний раз сыграв роль журналиста,

встретился с Наташей и направил ее в Мюнхен к надежному человеку…

В кабинет Рычагова вошел высокий, сутулый человек. Он устало улыбнулся Рычагову:

— Не спится?

— От кого донесение? — быстро спросил Рычагов.

— От Посельской.

Рычагов чуть не вырвал у него из рук бумажку.

Наташа сообщала о своей первой встрече с Субботиным, о том, что завтра его увозят, но куда и зачем — неизвестно.

— Как это — неизвестно? — рассмеялся Рычагов. — Хауссон потащил его за собой в школу! Порядок! Полный порядок!

42

Ровно в девять часов утра за Субботиным пришла машина. Шофер, парень атлетического сложения, назвался Жаном. Говорил он по-немецки очень плохо.

В пути шофер молчал. Сидевший рядом с ним Субботин спросил, долго ли ехать. Шофер сделал вид, что вопроса не слышал.

За городом машина развила огромную скорость

— около ста пятидесяти километров. Субботин определил, что они едут на юго-запад от Мюнхена. Посматривая на спидометр и часы, он высчитывал остающееся позади расстояние. Отметил в памяти несколько характерных примет местности, по которой пролегало шоссе. Когда проехали около пятидесяти километров, шофер сбавил скорость и через несколько минут свернул влево, на совершенно неезженую грейдерную дорогу. Открылся вид на просторную равнину, в конце которой был не то лес, не то большой парк. Над деревьями возвышалась готическая башня. Дорога вела туда.

У подъезда замка Субботина встретил щупленький подвижной человечек в штатском, говоривший на хорошем немецком языке. Он назвался комендантом объекта. Приказав шоферу отнести вещи, комендант провел Субботина на второй этаж и показал его комнату. Скаля желтые мелкие зубы, сказал:

— Чувствуйте себя здесь как дома.

— Я хочу видеть майора Хауссона, — строго сказал Субботин.

— Увы! — Лицо коменданта сразу стало постным. — Я ничего этого не знаю, мое дело — комнаты, питание, транспорт... Да! Если вам

понадобится выйти из комнаты, нажмите вот эту кнопку. Вас проведут куда надо. — Он подмигнул Субботину и взялся за ручку двери: — Всего хорошего, отдыхайте с дороги, — и мгновенно исчез.

Шли часы, но ни Хауссон, ни кто другой к Субботину не приходил. Замок казался вымершим. Глухая тишина. Изредка где-то хлопнет дверь — и опять тишина. Часа в три появилась пожилая женщина в сопровождении молодой девушки. Они молча, с непроницаемыми лицами, внесли поднос с обедом и вышли. Спустя час так же молча унесли посуду. Спрашивать что-нибудь у них было бессмысленно.

Субботин решил поспать, но заснуть не смог. Наступили быстрые осенние сумерки. Субботин встал и начал ходить по комнате из угла в угол. Он не умел долго радоваться успешно завершенному делу. «Сделанного никто не отнимет», — любил он говорить. И всегда всем своим существом был устремлен в завтрашний день. Что же его ждет завтра?..

Без стука в комнату вошел Хауссон.

— Здравствуйте, господин Скворцов! Прошу извинить, но я был очень занят. Как чувствуете себя на новом месте? Нравится ли вам ваша комната? Летом здесь будет прекрасно. Вы уже отдохнули

после дороги? — Хауссон не ожидал ответов на свои вопросы. — Прошу вас к столу.

Он сел первый и, пока Субботин усаживался, пристально наблюдал за ним.

— Тут размещена специальная важная школа. Мы готовим людей для работы в советской зоне Германии и непосредственно в России. Здесь вы будете жить и работать. Вы назначаетесь вести дисциплину, которую мы условно назовем «Детализация обстановки». Для курсантов вы — преподаватель, которого зовут Иван Иванович. Больше они ничего о вас знать не должны. Ясно?

Субботин кивнул головой.

…Уже второй час Хауссон излагал Субботину свои мысли о том, как он должен вести преподавание дисциплины «Детализация обстановки». Это были совсем не глупые мысли. Хауссон тщательно проанализировал обстоятельства провалов в России и пришел к выводу, что главной их причиной является недостаточная профессиональная подготовка агентов и пренебрежение к фактору непрерывного изменения обстановки в стране, куда их отправляли.

— Россия — место особой сложности… — Хауссон говорил задумчиво, точно для себя, смотря при этом на свои положенные на стол руки. —

Послать туда прекрасно подготовленного агента из американцев можно только под какой-либо официальной маркой дипломатического или коммерческого характера. Без этого он провалится в первый же день. Говорить по-русски, как русский, американец, по-моему, не научится и после десяти лет обучения. Значит, пока мы можем рассчитывать только на перемещенных лиц. Но ведь они живут своими довоенными представлениями о России. А там, как нигде, обстановка меняется очень быстро. Ошибиться можно в пустяке. Я как-то беседовал с одним перемещенным, он все время упоминал слово «ударник». Спрашиваю, что это значит. Он говорит: «Лучший рабочий». Я наугад запросил справку. Получаю ответ: «Термин «ударник» в России больше не существует». А ведь в спешке можно было приготовить документ, что такой-то является ударником на заводе. Вот вам и провал…

Субботин слушал Хауссона внимательно и, когда тот изредка поднимал на него взгляд, согласно кивал головой. «Да, Хауссон ухватился за правильное звено», — думал Субботин и уже понимал, как будет ему трудно увильнуть от выполнения требований Хауссона; пытаться

вводить курсантов в заблуждение будет весьма опасно: сказанное им на уроках Хауссон всегда сможет взять на проверку.

Согласны ли вы с этой моей преамбулой по поводу вашей работы? — спросил наконец Хауссон и облегченно откинулся на спинку стула, смотря в глаза Субботину.

— Абсолютно! — воскликнул Субботин.

— Хотите что-нибудь дополнить?

Субботин беспомощно развел руками и засмеялся:

— Не в силах.

— Есть, конечно, еще один фактор — психология... — Хауссон помолчал. На строгом его лице дрогнула улыбка. — В Вашингтоне кое-кто эту психологию объявил наукой. Я же придерживаюсь формулы: разведчик и психология — нонсенс. Разведчик — человек без нервов и без психологии. Как вы думаете?

— Как вам сказать... — Субботин замялся. — Настоящий разведчик — да. Но разведчик-то будет действовать среди людей обыкновенных. И вот их психологию учитывать надо.

В это время Субботин подумал о том, что в Вашингтоне, видимо, работают люди поумней Хауссона, который не понимает, что психология

перемещенного, заброшенного в качестве разведчика на родину, — серьезнейший, а иной раз и решающий фактор…

На составление плана уроков Хауссон дал неделю. Работать пришлось с утра до вечера: Субботин решил представить Хауссону не только план, но и подробные конспекты лекций.

План и конспекты были одобрены. После этого Хауссон познакомил Субботина с остальными преподавателями школы. Для них Субботин тоже был человеком без фамилии, все тем же Иваном Ивановичем. Наконец Хауссон представил Субботина курсантам русского отделения. В этот день начались занятия.

43

Эта зима казалась Субботину невероятно длинной. Главное, абсолютно не было известно, когда же наступит срок заброски агентов…

В плане операции учитывались самые разные ситуации, в которые мог попасть Субботин. Предусматривалось и то, что с ним теперь случилось. Более того, по плану, Субботин сам должен был напроситься работать по подготовке русской агентуры. Так или иначе, теперь план требовал

от него добросовестно, не вызывая ни малейшего подозрения, работать, а когда начнется заброска агентов, предупредить об этом своих.

Но было одно весьма серьезное обстоятельство, которое очень тревожило Субботина. Его жизнь и деятельность были строго ограничены стенами школы. Проникновение сюда связных от Рычагова исключалось. А вдруг заброску будет осуществлять не школа, а совсем другая организация? Тогда все пойдет прахом.

Как он мог предусмотреть и устранить эту опасность? Он решил: только при помощи еще более усердной работы в школе. Нужно накрепко связать себя с делом подготовки агентуры, чтобы начальство неизбежно пришло к выводу, что он должен оставаться со своими курсантами вплоть до момента заброски.

В школе Субботин имел возможность читать газеты. По всему было видно, что создание восточногерманского демократического государства взбесило оккупантов Западной Германии.

Особую их тревогу вызывало настроение немцев, которые видели, что на востоке страны общенародным голосованием создано подлинно демократическое правительство. А искусственно созданное ими западное, боннское правительство

не пользовалось у населения никакой популярностью. Вот почему все шире развертывается грязная война против демократической жизни в Восточной Германии. Диверсии на заводах. Засылка провокаторов, сеющих панические слухи. Террористические акты против демократических деятелей. Усиление валютной войны. Клеветнические измышления о советских планах порабощения Восточной Германии.

Узнавая обо всем этом, Субботин нервничал еще больше. Ему иногда казалось, что он позорно бездействует сейчас, а в перспективе может вообще оказаться лишенным возможности выполнить задание. Но пока он продолжал придерживаться намеченной ранее тактики: изо всех сил старался завоевать расположение начальства.

В конце ноября Хауссон первый раз похвалил Субботина за его работу и предложил ему — в порядке, так сказать, поощрения — съездить на три дня в Мюнхен, как он выразился: «развлечься с помощью цивилизации».

В душе ликуя, Субботин равнодушно сказал, что ему не очень-то хочется отрываться от работы, которую он полюбил.

— Вы мужчина, — улыбнулся Хауссон, — и в Мюнхене найдете достаточно дублерш своей

Анны Лорх…

Субботин безразлично махнул рукой:

— Ну их всех к черту!..

В Мюнхене Субботин жил, конечно, в отеле «Глория» и каждое утро покупал в киоске газеты и журналы. За эти дни он обменялся с Рычаговым целой серией шифрованных сообщений. Получил он и краткую шифровку от полковника Семина:

«Ваши действия одобрены. Операция развертывается нормально».

Вернувшись из Мюнхена, Субботин работал с еще большим старанием, даже с вдохновением. Он словно забыл, кто он на самом деле. Курсанты его уважали, уроки его любили. Занятия он проводил интересно, весело, искусно внушая курсантам опасную для них уверенность в том, что им предстоит не такое уж безумно трудное дело. Имея хорошую подготовку и совершенное оснащение, они прекрасно выполнят задания и вернутся со славой к обеспеченной жизни.

Хауссон был весьма доволен Субботиным. С первого января его сделали старшим инструктором школы. Как-то Субботин заговорил с Хауссоном о продолжительности срока обучения. Неожиданно майор рассердился:

— Надеюсь, вы не хотите спешить и повторить берлинский эксперимент? Это в Вашингтоне, сидя на теплом местечке, можно думать, что такое дело совершается быстро. Но мы-то с вами знаем…

— Я задал вопрос, — обиженно перебил его Субботин, — как раз потому, что в последнее время мне стало казаться, что именно вы всех преподавателей склоняете к спешке, а я считаю это неправильным.

— «Считаете, считаете»!.. — Хауссон злился все больше. — Работа должна вестись под простым девизом: «Все, что можно сделать сегодня, сделай сегодня». Нам пока не присвоено наименование академии. Все академии размещены в Вашингтоне, а не здесь…

Субботин все понял: очевидно, Хауссон испытывает нажим со стороны своего высшего начальства, которое его торопит. Он сопротивляется, но одновременно хочет, чтобы курсанты и педагоги работали с предельной нагрузкой. На случай ревизии это отведет от него обвинение в медлительности.

Хотя Хауссон так и не назвал точного срока выпуска курсантов, можно было понять, что он рассчитывает обучать их не меньше года. Неуже-

ли то главное, ради чего он здесь, придется ждать целый год? Оставалась только одна надежда, что высшее начальство все же одержит верх над Хауссоном.

А пока Субботин старался поближе сойтись со своими курсантами, чтобы лучше знать, какую опасность представляет каждый из них как будущий вражеский лазутчик. Он проводил время то с одним, то с другим курсантом, называл эти беседы индивидуальным инструктажем.

Самый опасный, конечно, Герасим Барков — геркулес с девичьим лицом и глазами убийцы. Он был страшен своей спокойной готовностью на все. Во время беседы с Субботиным Барков рассказал о своей работе в гестапо в одном из шахтерских городов Донбасса.

— Лихая была работа! — сказал он, мрачно сверкнув своими свинцовыми глазами. — Мне довелось двух коммунистов спихивать в шахтный ствол. Так они... — Он замолчал, потом усмехнулся и добавил: — Следы всегда надо зарывать поглубже...

Каких невероятных усилий стоило Субботину быть в эту минуту не больше как внимательным слушателем!.. Самым страшным в Баркове была его полная, убежденная беспринципность. Слу-

жил фашистам, теперь служит американцам. Завтра он может начать служить кому угодно, только бы платили и не мешали ему жить в свое удовольствие.

Константин Ганецкий — бывший харьковский репортер. Он рассказал Субботину всю свою биографию. Прежде всего Субботин заметил, что он о детстве и юности говорил так, как обычно рассказывают о счастливой поре своей жизни. Рассказывая, он задумчиво улыбался своим воспоминаниям.

— Хотел стать писателем, — грустно заключил он и надолго замолчал. А потом, словно спохватившись, что он в разговоре со старшим инструктором совершает тактическую ошибку, стал холодно рассказывать о том, как началась война, а он не успел эвакуироваться, как немцы увезли его в Германию и как он здесь работал переводчиком в концентрационном лагере. И что было с ним дальше, вплоть до поступления в эту школу.

— Да, вы пошли на интересное дело... — исподлобья следя за Ганецким, сказал Субботин. — Захватывающе интересное дело! Вот и напишите книгу о своей жизни, завершающейся таким интересным эпизодом.

— Почему завершающейся? — насторожился Ганец-кий. — Разве я старик? — Он натянуто улыбался, но глаза его с тревогой смотрели на Субботина.

— Я вижу, вы не очень понятливы, мистер, — засмеялся Субботин. — Сейчас ваша книга нужна только в Советском Союзе, в поучение, так сказать, потомству. Но я надеюсь, что вы не рассчитываете там обратиться в издательство со своей рукописью. А здесь такую книгу вам разрешат издать только тогда, когда вы уже уйдете на пенсию. Пора бы знать, что действующие разведчики книг о себе не пишут.

— О-о, это я понимаю, — облегченно произнес Ганецкий.

Пожалуй, один Ганецкий произвел на Субботина впечатление человека, который, попав в Советский Союз, скорей всего активно действовать там в качестве шпиона не сможет. Остальные курсанты были опасны в разной степени, но все же опасны. Их души уже были покалечены всей атмосферой жизни во вражеском мире.

44

В начале мая стало окончательно ясно, что в

отношении продолжительности обучения верх одержал не Хауссон, а его далекое начальство. Оттуда в школу прибыл мистер Гарц. Кто он был по положению и званию, знал один Хауссон, но Субботин сразу заметил, что, хотя Гарц относится к Хауссону внешне почтительно, на самом деле он совершенно с ним не считается и постепенно руководство школой забирает в свои руки. Вскоре стало известно, что выпуск школы состоится не позже конца июля.

Гарц присутствовал на занятиях, вызывал потом к себе преподавателей и требовал сокращения программы. Однажды вечером дошла очередь и до Субботина. Все эти дни он жил в страшной тревоге: ведь именно теперь и решалось, сможет ли он выполнить свой план до конца. Все преподаватели рассказывали, что Гарц разговаривал с ними грубо, не желал выслушивать никаких возражений. Тем большей неожиданностью для Субботина было то, что Гарц встретил его весьма приветливо. Они сели возле низкого круглого стола.

— Я умышленно вас пригласил последним, — сказал Гарц. — С вами у меня разговор особый. Ваши уроки произвели на меня благоприятное впечатление. Скажу еще прямее: то, чему учи-

те вы, я считаю самым главным. Видимо, вы отлично знаете, для чего готовите этих людей, Хауссон тоже хвалил вас. Скажу откровенно, это меня насторожило. Видите ли, Хауссон очень хороший работник, но, во-первых, он несколько устарел, во-вторых, после скандального провала в Берлине он стал проявлять такую сверхосторожность, какая в нашем деле уже недопустима, ибо для нас отказаться от известного риска — значит, перестать действовать. Словом, Хауссону пора на отдых.

— Согласен, — быстро вставил Субботин, не уточняя, с чем он согласен.

— Ну, а раз вы согласны, мне легче вести с вами весь дальнейший разговор. Понимаете, в чем дело, мистер Скворцов… Я надеюсь, что вам чужда тупая национальная обида. Я сейчас буду говорить о русских. Мы располагаем большим резервом перемещенных из России, достаточно большим, чтобы не обкладывать ватой каждого посылаемого туда в качестве агента. Мы ведем свою войну, и, как во всякой войне, у нас могут быть потери. Другими словами, мы должны опираться на фактор количества, а следовательно, и на ускоренную подготовку агентов.

— Понимаю, — с готовностью произнес Суб-

ботин.

— Очень хорошо. Я почему-то был уверен, что мы поймем друг друга. Но все это не значит, что мы не должны научить нашу агентуру всем средствам предосторожности. В этом отношении мне понравилось ваше последнее занятие, ваше, в частности, предупреждение, что нельзя слепо верить в непогрешимость документов, которые мы для них готовим. Абсолютно правильно. Я подумал: надо подсказать им мысль о необходимости по прибытии в Россию самим добывать там более надежные документы. Если можно — украсть, а то и убить человека, чьи документы могут представлять интерес. Верно?

— Конечно… — Субботин помолчал и смущенно добавил: — Вот вы похвалили меня, а я-то до этой мысли не додумался. Но уже на завтрашнем занятии я вашу мысль тщательно разработаю. — Субботин тут же заметил, что Гарцу его лесть понравилась.

Переварив ее, Гарц сказал:

— Теперь еще одно очень важное обстоятельство. Раньше мы агентуру отправляли, не очень уж маскируя того, что занимаемся этим именно мы. Но после каждого провала Москва поднимает страшный шум. Теперь разработана совершенно

новая система. Вы знаете, что здесь у русских перемещенных имеется множество всяких организаций. Так вот: подготовленную агентуру мы формально как бы передадим одной из этих организаций. Это должно устроить всех. Русские организации бешено рвутся к этому пирогу. Так пусть они сядут за стол. Но за это мы все московские громы и молнии переведем на них. Понятно?

Нетрудно догадаться, с каким напряженным вниманием слушал все это Субботин. Его мозг пронизывала одна и та же тревожная мысль: сможет ли он быть в курсе отправки агентов? И вдруг — о счастье! — Гарц говорит:

— Сюда скоро приедут руководители русской эмигрантской организации. Они-то и посвятят курсантов в тонкости нашей новой системы. После их приезда мы устраним отсюда всех лиц американского подданства. Последние недели школа будет, так сказать, чисто русской. Мы свое дело сделали и удалимся, как это сделал в свое время мистер Мавр. — Гарц посмеялся своей шутке и продолжал: — Но без своего глаза мы школу оставить не можем. И вы, мистер Скворцов, до самого конца останетесь здесь нашим глазом.

Субботин не выдержал и от охватившей его

радости улыбнулся.

— Чему вы радуетесь? — удивленно спросил Гарц.

— Очень ловко вы все придумали, — ответил Субботин. — Давно надо было…

— А Хауссон этому долго сопротивлялся.

— Просто не верится… — Субботин пожал плечами.

— Факт… — Гарц вздохнул. — Нет ничего опасней консерватизма возраста, когда человек останавливается, а думает, что он еще продолжает идти.

45

В начале июня в школу приехали три деятеля из русской эмигрантской организации: господа Барышев, Павлов и Соколовский. Барышев среди них был главным. Остальные обращались к нему: «Господин председатель», хотя был он самым молодым — на вид лет сорока пяти. Пока в школе оставались Гарц и Хауссон, все они были тише воды, ниже травы. Первый раз господин Барышев решил показать зубы во время обсуждения у Гарца процедуры передачи им школы. Когда зашла речь о юридическом положении Субботина,

Барышев сказал:

— Мы господина Скворцова не знаем, но, если он беспрекословно будет подчиняться моим распоряжениям, все будет в ажуре и…

— Стоп! — бесцеремонно прервал его Гарц, стукнув ладонью по столу. — Слушайте, мистер Барышев, что скажем вам мы. Слушайте и получше запоминайте. Мистер Скворцов найден для вас нами, а не наоборот. Мистер Скворцов остается в школе единственным нашим доверенным лицом. Единственным! Понятно?

Барышев послушно кивнул головой.

— Кем юридически будете считать его вы, нам не интересно, и это не имеет никакого значения. Но, например, связь с нами — только через мистера Скворцова. Любое мало-мальски важное решение вы принимаете, только посоветовавшись со Скворцовым. Все. Вопросы ко мне есть?

— Нет-нет, все абсолютно ясно, — погасшим голосом ответил Барышев.

Тем не менее, когда Гарц и Хауссон уехали в Мюнхен, Субботину нелегко было ладить с этими русскими господами. Барышев хотя и выполнял приказание Гарца, но держался с Субботиным заносчиво.

Однажды Субботин поспорил с ним по како-

му-то совсем не существенному поводу. Барышев уступил, но сказал:

— Я вынужден согласиться с вашей точкой зрения, но сделать мне это трудненько. Я ведь всегда помню, что вас могло бы не быть сейчас с нами, если бы вы не натворили делишек в Советской Армии. А мы ведь здесь уже не первый год, мы-то люди не случайные…

Субботину каждый понедельник приходилось ездить в Мюнхен докладывать Гарцу о делах в школе. Каждый раз Гарц спрашивал, как ведет себя Барышев.

— Нормально, — уклончиво отвечал Субботин. Он решил не жаловаться на Барышева: боялся, что это может осложнить положение. В конце концов, ради дела можно перенести неприятности и большие, чем отношения с этим грязным типом.

В конце июня Гарц вызвал Субботина в Мюнхен в середине недели. Во время разговора по телефону Субботин попробовал сослаться на дела, но Гарц раздраженно перебил его:

— Я лучше знаю, что важнее! Выезжайте немедленно!

Субботин выехал дачным поездом. В вагоне было пусто. На следующей станции в вагон

вошел пожилой седоусый немец в аккуратно залатанном пиджаке. На ногах у него были грубые солдатские ботинки. Он прошел через весь вагон и сел напротив Субботина.

— Не возражаете? — спросил он, уже усевшись.

Субботин рассмеялся:

— Весь вагон — ваш…

Пристально смотря на Субботина и поглаживая усы, старик мрачно сказал:

— Недавно весь мир был наш, а потом… — Он замолчал и подмигнул Субботину.

— А что же случилось потом? — улыбаясь, спросил Субботин.

— Вы служили в армии?

— Да.

— Офицер?

— Да. Обер-Лейтенант. А что?

— И вы еще спрашиваете у меня, что случилось потом! Это вы мне должны сказать, а не я вам.

— Ну, что же тут непонятного? Мы потерпели поражение.

— Что вы говорите! — Старик, прищурясь, смотрел на Субботина. — А я думал, мы победили.

Субботин пожал плечами и с обиженным лицом стал смотреть в окно, за которым пролетал аккуратненький пейзаж.

— Вы, случайно, не из нового начальства? — со злостью в голосе спросил старик.

— Нет-нет. Я всего-навсего инженер.

— Вы говорите по-немецки, как американец.

— Ничего не поделаешь — знак времени. Ведь приходится с ними работать.

— Послушайте… — Старик доверительно наклонился к Субботину. — Скажите мне, почему здесь у нас, в западной зоне, так ведут себя по отношению к русским, будто победили не они, а мы? Что, по-вашему, русские дураки и будут с этим мириться?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Ах, не понимаете? — Старик проворно выхватил из кармана газету. Развернул ее. — Вот… Не хотите ли почитать?

— Нет. Я стараюсь газет не читать.

— Ага! А почему? Нет, вы обязаны читать, если вы действительно воевали! Вы же правду ногами узнали, пока до Германии добежали? Тут… — старик ткнул пальцем в газету, — тут про восточную зону пишут так, будто русские — папуасы. А у меня родной брат от русских землю там получил. Тут пишут, что русские только и знают, что расстреливают немцев. А брат пишет, что его дочка пошла учиться в институт в Берлине! Но

даже не в этом дело. Брат пишет, что все было бы хорошо, да с Запада к ним все время засылают провокаторов, которые поджигают крестьянские дома, убивают активистов, лишают людей покоя. Кто это делает? Вы можете мне пояснить — кто?

Субботин пожал плечами:

— Не знаю…

— Ах, не знаете? Ну хорошо. Тогда, может, вы, герр обер-лейтенант, объясните мне другое? Я имел ферму и клочок земли. Это принадлежало моему деду, отцу и принадлежало мне. А месяц назад пришли американцы. Они выгнали меня из дома во флигель. Они привезли рабочих и стали на моей земле строить аэродром. Вот этими руками я засеял свою землю. Всё уничтожили. Сунули мне пачку оккупационных марок и приказали: сиди тихо, а то будет плохо. И вот я третий раз еду в Мюнхен. Езжу искать правду. А меня гонят в шею. Русские гонят? Нет! Гонят немцы. Новые наши правители и начальники. У кого же тогда просить защиты? Может быть, у русских? А? Ведь такого безобразия в нашей жизни никогда не было! Никогда! Почему русские не посылают сюда своих поджигателей? Я бы им сам показал, что жечь. Пожалуйста, — ангар, построенный на моем лугу. — Старик махнул рукой. — Да мало

ли что еще…

— Наверное, русские такими делами не занимаются, — задумчиво сказал Субботин.

— Ну да, они заняты другими делами. Брат пишет: «Продавай ферму и переезжай ко мне. Получишь землю, и будем вместе работать». Но, оказывается, что я уже не могу продать свою ферму!

Поезд подходил к Мюнхену. Субботин попрощался со стариком и направился к выходу. От этого случайного дорожного разговора ему стало легче: нет-нет, мистеры, никакие поджигатели не помогут вам создать дымовую завесу для прикрытия ваших грязных делишек в Германии! Простые люди прекрасно всё видят и понимают…

Гарц ждал Субботина. Не ответив на его приветствие, он раздраженно спросил:

— Почему так долго?

— Я ехал поездом.

— А что с автомашиной?

— Господин Барышев уехал на ней еще вчера.

— Куда? — Гарц злился все больше.

— Он мне о своих делах не докладывает.

— Должен докладывать! — Гарц стукнул кулаком по столу. — Мне, кстати сказать, непонятно, господин Скворцов, почему вы не ставите меня в

известность о том, что происходит в школе.

— Все, что касается дела, вы знаете.

— А я имею сведения, что Барышев вам все время мешает.

— Я просто не обращаю на это внимания. Главное для меня — дело.

Гарц сделал запись в блокноте.

— Хорошо. Я приведу в чувство этого господина.

— Когда начнем заброску агентов? — спросил Субботин.

— Что вас волнует? — насторожился Гарц.

— Меня волнует, что курсанты до сих пор не имеют практического представления о парашютных прыжках. Хотя бы за три-четыре дня до заброски их надо перевезти на аэродром и несколько раз сбросить с парашютом.

— Но их этому в школе учат?

— Мистер Гарц, не знаю, как вы, а я два раза прыгал с парашютом. Когда нужно было в первый раз шагнуть в бездну, все, чему меня учили, вылетело из головы. Как прыгнул, сам не знаю.

Гарц задумался:

— Хорошо. Подумаем. А теперь — дело особое. Кто из ваших курсантов производит наиболее выгодное впечатление?

— Герасим Барков, — мгновенно ответил Субботин.

Гарц записал фамилию и сказал:

— Он пойдет в Россию особым путем — будет Колумбом этого пути. Человек он храбрый?

— Готов на все.

— Физически сильный?

— Атлет.

— Прекрасно. Специально им теперь и займитесь. Школу дней на десять придется оставить. Завтра привезите сюда вашего храбреца: будете готовить его к путешествию.

46

На другой день Субботин привез в Мюнхен Герасима Баркова.

Они прошли к Гарцу, и тот буквально вцепился в курсанта: вопрос следовал за вопросом. Барков выдержал этот натиск спокойно, отвечал коротко, точно и даже немного лениво. Субботин заметил, что Гарц не выдерживает ледяного взгляда курсанта.

Наконец Гарц прекратил расспросы и, помолчав, сказал:

— Предстоящая вам операция организационно

и технически продумана идеально. Но риск есть риск. Можно и погибнуть. Готовы ли вы к этому?

Барков усмехнулся:

— Я уж давно готов… да что-то все не погибаю.

Гарцу ответ явно понравился, он посмотрел на курсанта с любопытством и уважением.

— Хорошо. Идите к себе. Ваш номер — рядом с моим.



Не успели они разложить вещи в своем двухкомнатном номере, как к ним явился Гарц в сопровождении высокого, небрежно одетого мужчины. Гарц показал своему спутнику на Баркова:

— Подходит?

Тот оглядел курсанта с ног до головы. К этому осмотру Барков отнесся совершенно спокойно: стоял в свободной позе, уставившись на незнакомца своими свинцовыми, немигающими глазами.

— Да, вполне, — произнес незнакомец.

Гарц подтолкнул Баркова к незнакомцу:

— Вот и прекрасно! Знакомьтесь, мистер Барков. Это — изобретатель. Так вы его будете звать: «мистер изобретатель». Он построил удивительную машину, а вы первый эту машину используете в деле… — Затем Гарц представил изобретателю Субботина: — Это старший инструктор школы Иван Иванович. Он проследит за всем подготовительным периодом.

Никак на это не прореагировав, изобретатель продолжал рассматривать Баркова:

— Вы умеете плавать?

— Умею.

— Хорошо?

— Прилично.

— Ну что ж, тогда не будем терять времени.

Гарц ушел. Субботин, Барков и изобретатель прошли во вторую комнату, и здесь сразу же начались подготовительные занятия.

Изобретатель рассказал, что им создан аппарат, позволяющий одному человеку проплыть под водой довольно большое расстояние. Человек помещается внутри небольшой торпеды, которая выпускается с погруженной подводной лодки. Торпеда снабжена собственным электрическим двигателем, управляема и оборудована необходимыми приборами, для того чтобы выдерживать заданное направление. Аппарат уже испытан, показал прекрасные качества, он обеспечивает полную безопасность для человека, который им пользуется.

Барков слушал все это абсолютно равнодушно. В конце концов это стало раздражать изобретателя, и он спросил:

— Вас интересует это хоть в какой-нибудь степени?

Барков усмехнулся:

— Что значит интересует или не интересует? Мне прикажут, и я выполню приказ.

— Но должна быть хоть маленькая доля лич-

ного интереса к делу! — удивленно проговорил изобретатель и, помолчав, продолжил свои объяснения.

Из всего, что он говорил, для Субботина важно было только одно: изобретатель несколько раз подчеркнул, что на подготовку операции дано всего пять дней и что заниматься придется очень напряженно.

Занимались ежедневно с девяти часов утра до двух часов дня. Затем — обед, и с пяти часов занятия продолжались до самого позднего вечера.

Герасим Барков оказался учеником способным. Он хорошо освоил технику управления торпедой и уже на третьем занятии быстро отвечал на все вопросы изобретателя.

Гарц в эти дни не появлялся.

На четвертый день вместе с изобретателем пришли два офицера морской службы. Они разглядывали Баркова так, будто покупали его. После осмотра все отправились в номер Гарца.

Это совещание было, конечно, самым важным. Здесь Субботин узнал весь смысл задуманной операции. Герасима Баркова собирались выбросить с подводной лодки в зоне побережья Латвии, близ порта Н. Он должен был подплыть к берегу и затопить торпеду. Задание у него было одно:

совершить диверсию в порту. После выполнения задания Барков должен был через Литву пробираться в Восточную Германию и явиться по условленному адресу. Оттуда он будет доставлен в Западную Германию.

Высадка диверсанта должна была произойти между десятым и пятнадцатым числом. Уточнение срока зависело от погоды. Дело в том, что во время шторма торпеду выпускать было нельзя. Субботин решил, что ему достаточно предупредить своих о районе заброски, и там будет установлено тщательное наблюдение за морем; что подводная лодка не проскочит, и охота пойдет уже не за торпедой, а за самой лодкой. Значит, его обязанность — немедленно передать сообщение о рейде подводной лодки.

После совещания Субботин пошел погулять по городу. Возвращаясь в отель, он выждал момент, когда у газетного киоска не толпились покупатели, и подошел к нему.

В киоске была Амалия Штерн. Подавая Субботину газеты и журналы, принимая от него деньги, она с безразличным лицом прослушала несколько сказанных им фраз и чуть заметно кивнула головой. В ответ она тихо произнесла: «Анна Лорх уже дома».

В своем номере Субботин застал Гарца, изобретателя и морских офицеров. Барков торопливо укладывал вещи.

— Где вы болтались? — раздраженно спросил Гарц.

— Просто пошел прогуляться. Купил газеты. Ведь занятия кончились!

Гарц отвернулся и продолжал разговаривать с изобретателем. Офицеры нетерпеливо стояли у двери, посматривая на Баркова. Вскоре офицеры и Барков уехали.

Гарц все еще злился. Субботин настороженно присматривался к нему, пытаясь угадать, в чем дело. Вскоре все прояснилось. Гарц получил шифровку от высокого начальства, в которой сообщалось о провале двух агентов гамбургской школы, посланных на Украину. В шифровке высказывалось убеждение, что провалы являются следствием плохой подготовки агентуры, и лично на Гарца возлагалась ответственность за работу мюнхенской школы.

— Я и без этого отвечаю за школу! — раздраженно говорил Гарц. — Но я не могу отправляться в рейд вместо курсантов!..

Гарц был достаточно умен, он понимал: дело не только в том, что школа плохо готовит агентов.

Он вообще всех перемещенных считал публикой малонадежной. Получив шифровку, он думал об этом с особой остротой; сейчас даже Субботин вызывал у него недоверие.

— Должен быть какой-то порядок! — сердито выговаривал Гарц. — Гулять вам, конечно, не запрещается, но я обязан знать, где находится мой сотрудник в любой час суток. Впредь прошу вас учесть это.

47

Во второй половине июля Субботин получил приказ подготовить шестерых курсантов к перевозке на аэродром. В эту группу он включил самых слабых по всем своим данным курсантов.

Когда за курсантами уже пришел автобус, «господин председатель» Барышев провел с ними прощальную отеческую беседу. Еле сдерживая улыбку, Субботин слушал его напыщенные разглагольствования о России, которую следует освободить от ига коммунистов.

— То, что днем и ночью мучает меня как святая мечта, — ходя по кабинету, говорил Барышев, — скоро сделаете вы. Завидую вам! Вы ступите на русскую землю. Вы появитесь там, как первые

вестники грядущего избавления России от коммунистического кошмара. Как бы я хотел быть на вашем месте! Но ничего, то, что вы будете делать там, мы делаем здесь. У нас с вами одна борьба и одна великая цель!

Курсанты слушали речь Барышева рассеянно. Субботин заметил, что на лице у несостоявшегося писателя Константина Ганецкого то и дело возникало выражение растерянности, если не испуга.

— Пусть же перед вами дрожат от страха господа комиссары! — выкрикнул Барышев. — С вашей помощью мы узнаем, где находятся их аэродромы, важные заводы. И придет час, когда по этим объектам будет нанесен такой удар, что от них останется одно мокрое место! А вы вернетесь на Запад, где вас будут ожидать именные текущие счета в солидном банке. Солидные будут и суммы! Герои сделали свое дело и могут жить, не отказывая себе ни в чем…

Закончив речь, Барышев нажал кнопку звонка, и в кабинет вошла женщина с подносом, уставленным рюмками с коньяком.

— За ваши славные дела! За нашу общую победу! — крикнул Барышев и наметанным броском осушил рюмку.



Когда все выпили, Барышев по очереди расцеловался с каждым курсантом, приговаривая:

— С богом, милый… С богом, милый…

Именно в этот момент в кабинет вошел Гарц. Он остановился у двери, обвел всех бешеным взглядом.

— Что здесь происходит? — спросил он сиплым от злости голосом.

— Отмечаем… выпуск первой группы курсантов, — неуверенно ответил Барышев. — Может, и

вы, мистер Гарц, скажете им свое напутственное слово?

Гарц остановил взгляд на Субботине:

— Почему курсанты до сих пор не выехали?

Субботин встал:

— Господин председатель хотел поговорить с курсантами. Я думал…

— Мне не интересно, что вы думали! Банкеты устраивать рано! — Гарц оглянулся на Барышева. — Нет другого повода для пьянства?

«Господин председатель» молчал, переминаясь с ноги на ногу.

— Немедленно — на аэродром! — приказал Гарц.

— Мне ехать? — робко спросил Барышев.

— Там банкета не будет. Будьте любезны, оставьте меня со старшим инструктором.

Кабинет быстро опустел. Гарц нацелился в Субботина злобно прищуренным взглядом:

— Это форменное безобразие, господин Скворцов! Подозрительное безобразие, если хотите знать! Скандал за скандалом, а вы по этому поводу устраиваете банкеты?

— По-моему, люди, которых я готовлю, еще не дали вам основания для разговора со мной в таком тоне, — строго и с достоинством проговорил

Субботин.

— Да? Вы в этом уверены? Может, вы хотите знать, что случилось с вашим готовым на все храбрецом Барковым?

Субботин молчал: зачем ему знать подробности? Важно, что с Барковым случилось то, что должно было случиться.

— Молчите? — выкрикнул Гарц. И вдруг, точно воздух из него выпустили, он опустился в кресло и надолго замолчал.

— Вы проверяли радиоподготовку людей? — устало спросил он.

— Да.

— Хорошо проверяли?

— Несколько дней занимался только этим. Все работают с рацией уверенно.

— Такой идиотизм! Такой идиотизм! — Гарц всплеснул руками. — Я твердил этим самоуверенным господам: Баркову нужна собственная рация! Нельзя — габариты не позволяют! Сунули человека вслепую, а теперь подняли визг и крик!

— А что, собственно, случилось? — осторожно спросил Субботин.

— Что? И ваш храбрец и подводная лодка канули в неизвестность! Вот что! Может, вам этого мало?

Субботин пожал плечами:

— Мало ли что могло случиться… Вы же сами учили меня спокойно относиться к потерям.

— Потеря потере рознь! Ваш Барков — ерунда! А вы понимаете, что такое потеря подводной лодки?

Субботин кивнул головой.

— Но может оказаться, что Барков на месте? И действует?

— А как это узнать? — крикнул Гарц. — Как? Сидеть и ждать, пока сами русские сообщат об успехах вашего храбреца?

Субботин промолчал. Гарц встал:

— Сейчас же перебирайтесь на аэродром. Лично проследите за парашютной тренировкой. Я тоже приеду туда.

Гарц быстро вышел из кабинета. Через минуту его автомобиль промчался по аллее парка.

48

Этот аэродром официально считался законсервированным, а действовал круглые сутки. Здесь не было сформированных воинских соединений, но в ангарах и на поле всегда находилось десятка два военных самолетов.

В баре штабного здания с утра до вечера галдели летчики. Они были и в военной и в штатской одежде. На втором этаже находилась командная группа, возглавляемая полковником, которого все летчики панибратски звали «толстый Бит». Это был флегматичный грузный человек и явно не авиационный офицер. Всеми летными делами руководил молоденький майор Лавенс.

Самолеты улетали отсюда в Берлин, в Афины, в Белград, в Стокгольм — словом, во все концы света. Днем и ночью здесь стоял рев турбин и моторов.

Субботина вместе с курсантами поселили в стандартном домике, стоявшем на краю аэродрома. Только он осмотрелся, явился разбитной американский сержант, доложивший Субботину, что он шофер машины, прикрепленной к его группе.

— Полковник Бит просит вас немедленно явиться, — сказал сержант. — А меня зовут Поль. Если хотите, зовите меня маршал Поль. Я ужасно люблю высокие звания…

— Ну что ж, вези меня, маршал Поль! — рассмеялся Субботин.

В кабинете полковника находился Гарц. Когда Субботин вошел, Гарц сказал:

— Это руководитель группы.

Полковник Бит кивком показал Субботину на стул и, провожая его сонным взглядом, сказал:

— Мне все ясно. Каждому вашему человеку мы дадим по два тренировочных прыжка. Один — днем, один — ночью. Не больше. У меня здесь не школа парашютистов. Кормить ваших людей будем.

— Их нельзя кормить в общей столовой, — вставил Гарц.

Полковник раздраженно повел плечом:

— Да знаю я! Они будут получать еду в термосах прямо дома. Срок главных полетов прошу согласовать со штабом «Зет». Мы возим не только по вашим адресам и перегружены чертовски.

Полковник повернул свое оплывшее лицо к Субботину:

— Практически летными операциями занимается майор Лавенс и его люди. С ними и держите связь.

На другой день курсанты совершили по первому тренировочному прыжку с парашютами. Их поднимали в воздух по два человека. Субботин летал вместе с ними и наблюдал за прыжками. Все курсанты порядком трусили. Субботин видел это и радовался. Пожалуй, меньше других выка-

зал трусость Константин Ганецкий. Он прыгал в первой паре. Когда они покинули самолет, инструктор по прыжкам прокричал Субботину:

— Лапша, а не парни! Второй чуть получше!

Это относилось к Ганецкому.

Во время ночной тренировки дело дошло до того, что один курсант не захотел прыгать. Упершись руками в края открытой в темень двери, он не трогался с места. Инструктор что-то кричал ему в ухо, но тот только мотал головой. Тогда инструктор согнутым локтем ударил курсанта в спину. Его тело обмякло, прогнулось. Точным движением инструктор сбил его руки с двери и пинком в спину сбросил с самолета. Просто непонятно, как после этого курсант сообразил открыть парашют. Но инструктор был уверен, что откроет.

— Такой трус непременно откроет — можете не сомневаться! — сказал он Субботину, брезгливо вытирая платком руки.

Одного спрыгнувшего курсанта пришлось довольно долго искать в окрестностях. Несмотря на то что аэродром подавал специальные световые сигналы, курсант, снижаясь, потерял ориентировку и пошел в сторону Мюнхена. Только выбравшись на шоссе, он сообразил, где находит-

ся, и на попутной машине приехал на аэродром.

Субботин в это время на машине продолжал поиски курсанта. Почему-то обычно оживленный и болтливый шофер угрюмо молчал.

— Что так мрачен сегодня маршал Поль? — весело спросил Субботин.

Поль ответил не сразу. Попетляв по проселочным дорогам, они снова выехали на шоссе и остановились. Поль выключил фары, и их окутала теплая летняя ночь во всей своей тихой красе. Поль вздохнул:

— Смотрю я, шеф, на вашу работу и ничего не понимаю.

— Что ж тут непонятного, маршал? Люди прыгают с парашютом и теряют ориентировку. Их надо искать. Вот и вся премудрость.

— Благодарю вас, шеф, за объяснение, — церемонно произнес Поль. — Но мне непонятно совсем другое. Я на этом аэродроме скоро год. Кого только не возил на своем «Виллисе»! Болгар, греков, албанцев, поляков, венгров — и не упомнишь. Насколько я понимаю, всех их мы зашвыриваем домой. И все они, как и ваши парни, почему-то прыгать домой боятся. Эх, если бы русские затеяли швырять домой американцев, да я бы первый с песней полетел к своей славной

девочке, по имени Сесиль!

Субботин молчал — нужно быть предельно осторожным. Особенно сейчас.

— Ну что ж, видимо, маршал Поль далеко не все знает, потому и не понимает. Расскажи лучше про свою девчонку. Кто она? Ждет ли тебя?

— В письмах они все ждут, — тихо засмеялся Поль.

— Она работает?

— Когда уезжал, работала на швейной фабрике. Но последнее время в наших газетах что-то очень часто пишут о том, как необычайно высок уровень нашей жизни — наверняка пахнет безработицей.

— А кем ты был дома?

— Кем я мог быть? Шофером! Гонял по Бостону фургон торговой фирмы «Эйлис». — Он опять вздохнул: — Жить можно было.

— Служить еще долго? — участливо спросил Субботин.

— Долго… Когда в дивизии был, служилось легче. Товарищи… Понятное, ясное дело. А тут… — Он махнул рукой. — Если бы не «Подснежник», удавиться можно. Может, поедем, шеф?

— Поехали, маршал.

«Подснежник»… Так назывался придорожный

ресторанчик вблизи аэродрома. Посматривая сбоку на шофера, Субботин думал, случайно ли упомянул Поль о «Подснежнике». Дело в том, что со вчерашнего дня этот ресторанчик стал для Субботина местом явки для связи со своими. Все же, скорей всего, Поль болтал по простоте душевной. Но все равно нужно быть начеку…

Курсантов Субботин застал всех дома. Они не расходились после ужина. Настроение у всех было неважное. Заметив это, Субботин сделал вид, что вечерние прыжки прошли нормально, и, ничего о них не говоря, стал смешно рассказывать, как он сам прыгал в первый раз. Так как он действительно прыгал, его рассказ был полон деталей, только что пережитых курсантами. На их лицах затеплились улыбки…

Курсанты разошлись по комнатам и легли спать. Субботин зашел к дежурному по штабу и посмотрел сводку погоды на завтра. Из аэродромного бара доносился гомон голосов, музыка. Субботин через штабную проходную вышел с аэродрома и направился в «Подснежник».

Маршал Поль был там и уже успел выпить. Самое смешное (а может, тревожное?), что он сидел за одним столиком со связным Субботина. Это был пожилой, плохо побритый человек с

оплывшим лицом пьяницы. Хозяин дремал, прислонившись к буфету. Кроме них, в ресторанчике никого не было. Посетители из местных жителей уже разошлись по домам. На столе стояла начатая бутылка виски. Наверно, ее принес с собой Поль.

— Шеф! Сюда! Сюда! — закричал Поль.

Хозяин ресторана встрепенулся. Субботин сделал жест, чтобы он не беспокоился.

— Садитесь, шеф. Знакомьтесь. Зовите его Фрицем… Хотя он говорит, что он Ганс… — Поль пьяно рассмеялся. — Хотите, шеф, послушать идиота? — Поль показал на своего собутыльника. — Он только что убеждал меня, что их Гитлер — гений, которого не поняли. От этого, он говорит, и пьяницей стал. С горя, так сказать… Господин Фриц, а ты, может, ненормальный?

Ганс обиженно отвернулся.

— Не надо смеяться над ним, — по-английски тихо сказал Субботин. — Лучше налей мне немного.

Поль встал, неуверенной походкой сходил к стойке за стаканом и вернулся. Пока он ходил, за столом прозвучали две фразы шепотом.

— Он не пытался что-нибудь узнать? — спросил Субботин.

— Успокойтесь. Тоскующий щенок, не больше…

У вас что-нибудь есть?

Субботин отрицательно покачал головой.

Поль налил Субботину виски, чокнулся с его стаканом и выпил. Субботин сделал глоток и поставил стакан.

— Нельзя, — улыбнулся он шоферу. — Ты хочешь, чтобы твое начальство выгнало меня?

Последовало неожиданное. Поль ударил кулаком по столу и крикнул:

— Хочу! Да, хочу, чтоб вас выгнали! Вы, шеф, — хороший человек. Поля не обманешь, у меня на людей нос шоферский. Так слушайте, шеф… Вы хороший человек, а занимаетесь дерьмом.

— Что ты болтаешь? — обиделся Субботин. — Выпей сельтерской — промой мозги.

Но Поля остановить было уже нельзя. Он схватил Ганса за руку:

— Ты послушай, Фриц, я скажу тебе, чем он занимается…

— Молчать! — тихо, но властно приказал Субботин. — Забыл, что ты на военной службе? Забыл, что для болтунов есть военный суд?

Поль смотрел на Субботина глазами, полными ненависти, но тут же ненависть в его глазах погасла, руки безвольно упали, точно он хотел встать по стойке «смирно». И вдруг он заплакал,

молча, с окаменевшим лицом, по которому стекали слезы.



Ганс наклонился к нему через стол:

— Слушай, друг, как тебе не стыдно? Ты же мужчина.

— Мне надоело… — по-детски всхлипнул Поль. — В аэродромный бар мне войти нельзя — там для офицеров. Здесь я тоже не человек… — Он резко повернулся к Субботину. — Идите, шеф! Сообщите все начальству! Пусть меня судят! — В глазах его снова появилась ненависть. — Но будет суд и вам за ваши дерьмовые дела! Будет!

Поль встал и, не оглядываясь, пошел к двери.

— Интересно? — тихо спросил Субботин.

— Весьма, — отозвался Ганс.

— Спокойной ночи. Я догоню его. Как бы он там не нарвался на скандал…

На шоссе Субботин нагнал Поля и взял его под руку. Тот не сопротивлялся. Не разговаривая, они дошли до аэродрома. Субботин подтолкнул Поля вперед, и он благополучно миновал задумавшегося часового.

49

Вылет курсантов был назначен в ночь под воскресенье. Субботин узнал об этом только в пятницу вечером и очень встревожился. Пока

он знал только то, что агенты будут сброшены парами, одновременно с трех самолетов. Но он до сих пор не смог узнать места выброски. По некоторым данным он мог только догадываться, что районом действий всех шести агентов должна быть Белоруссия.

Субботин отправился к майору Лавенсу, но тот точного адреса выброски, по-видимому, тоже не знал.

— Да и зачем вам это? — насмешливо спросил он. — Насколько я понимаю, вы же сами не летите.

— Но мои-то люди должны знать?

— Когда будет нужно, им скажут, — ответил майор и, улыбаясь, добавил: — По мнению инструктора по парашютам, ваши парни храбрые, как львы. Им, наверно, наплевать, куда прыгать, хоть в ад.

— Храбрость, майор Лавенс, не учебный предмет. Она или есть в крови, или ее нет! — зло сказал Субботин.

— О-о, наука о храбрости не моя специальность, я — пасс! — Майор, смеясь, поднял руки.

В это время вошел приземистый офицер со знаками различия капитана. Увидев майора с поднятыми руками, он спросил:

— Разучиваете, майор, любимый жест немецких генералов?

— Мне предложена научная дискуссия о храбрости, но я — аллес капут.

Капитан удивленно посмотрел на Субботина, который сидел с непроницаемым лицом.

— Это руководитель группы русских храбрецов, — пояснил Лавенс.

— А-а! — Капитан засмеялся. — О ваших героях по аэродрому легенды ходят. Вы их кальсоны проверяли — в порядке?

— До этого не дошло! — Субботин тоже засмеялся. Он решил поддержать смешливое настроение американцев. Вдруг это что-нибудь даст? И он не ошибся.

— А помните, майор, того рыжего поляка? — Капитан еле сдерживал смех. — Этот поляк, — продолжал он, обращаясь уже к Субботину, — во время ночного прыжка успел сделать все, что делают дети, сидя на горшке. На земле его ищут и не могут найти. Кричат, зовут — пропал поляк! Целый час искали, пока нашли. Сидит наш поляк голый у речки и белье стирает… — Капитан зашелся от смеха.

Вовсю смеялись и Лавенс с Субботиным.

Теперь Субботин решил сам посмешить аме-

риканцев.

— Это что! — сказал он. — А вот я слышал про случай похлеще. Забросили одного на Украину. Он приземлился… возможно, тоже бельишко постирал и явился в назначенный город. Живет там день, другой. От страха чуть не умирает. И решил: самое лучшее — сдаться. И вот на улице останавливает он прохожего и говорит ему: «Слушайте, я шпион, сведите меня куда надо». Прохожий от него бегом. Он к другому: «Слушайте, я шпион…» Короче говоря, его забрали и посадили в сумасшедший дом.

Американцы хохотали до слез.

— Как же вы узнали об этой героической истории? — спросил Лавенс.

— Говорят, русские в своих газетах фельетон об этом напечатали.

— Да, что ни говори, тяжелая у вас работа! — смеясь, сказал Лавенс.

— Дорогой майор, я все-таки иду в бар. — Капитан встал. — Не составите ли вы мне компанию на часок?

— Увы! — Майор показал на телефон. — Должно звонить начальство.

Субботин вышел вместе с капитаном. У входа в бар они остановились.

— Может, зайдете? — спросил капитан.

— С удовольствием…

Они сели рядом у стойки и заказали коньяк.

Спустя час Субботин уже знал, кому на аэродроме раньше всех известен точный адрес выброски. Капитан рассказал, что летчики узнают этот адрес очень просто — в метеобюро. Синоптики получают адреса раньше всех.

Уже глубокой ночью Субботин зашел в метеобюро. Дежурный спал, положив голову на сцепленные руки. Субботин разбудил его и строго спросил:

— Как с погодой на моем завтрашнем ночном маршруте?

— Это на Кипр, что ли? — зевая, спросил дежурный.

— Какой там Кипр? В Советский Союз!

— Советский Союз… Советский Союз… — бормотал дежурный, отыскивая какую-то бумагу. — Вот. На ноль часов завтрашняя перспектива выглядит так: район Барановичи — облачность, дождь… в общем, то, что надо. Район Бреста тоже, а вот в районе Витебска хуже: там будет ясно. Но нам сказано: полеты не отменяются. Более свежие данные будут завтра на пятнадцать ноль-ноль.

— Спасибо, дежурный. Спокойной ночи.

50

В субботу утром на аэродром приехал Гарц. В это время курсанты под руководством парашютного инструктора занимались подгонкой снаряжения. Занятие происходило на лужайке возле домика, где жили курсанты. Субботин сам проверял точность подгонки и в это время незаметно делал микроснимки каждого курсанта. Заметив мчавшуюся к домику машину Гарца, Субботин приказал курсантам построиться в шеренгу. Сделан еще один снимок — групповой.

Получилось нечто вроде парадного смотра. К вылезшему из машины Гарцу подошел Субботин:

— Проводится последнее занятие. Подгонка снаряжения.

Гарц подошел к шеренге:

— Здравствуйте, господа…

— Здравствуйте, мистер! — вразнобой ответили курсанты.

Субботин сделал еще один снимок: Гарц перед строем курсантов. Этот снимок очень пригодится, когда Гарц и другие начнут уверять мир, будто посылка диверсантов в Советский Союз — чисто

внутреннее дело русских…

— Я приехал, чтобы проводить вас в путь, — продолжал Гарц. — Вы должны знать, что с момента старта самолетов у меня будет только одна обязанность: держать связь с вами, а после выполнения вами задания обеспечить ваше возвращение сюда. Для нас незыблем простой принцип: каждое сделанное дело заслуживает благодарности. Я не могу сказать, что вам предстоит дело легкое. Но я не могу и сказать, что оно невыполнимое. Особенно, когда я знаю, какая колоссальная техническая мощь мобилизована, чтобы помочь вам и в деле и чтобы благополучно вернуться на Запад. И все же… все мы понимаем, что лично ваша заслуга в выполнении заданий будет весьма значительна. Достойной будет и благодарность. Дело, на которое вы идете, может вам стоить жизни, если вы совершите промах, ошибку. Но оно и обеспечит вам всю вашу дальнейшую жизнь после возвращения. Я хочу, чтобы вы это знали и всегда помнили. Вот на днях возвращается ваш товарищ по школе мистер Барков, блестяще выполнивший очень трудное задание. В отношении его я получил очень простой приказ: предложить Баркову обеспеченную жизнь в любой стране по его выбору. Будут в свое время

получены такие же приказы и о вас… Последнее. Всегда помните: вы не просто солдаты, вы солдаты политики. Великой освободительной политики, от грядущей победы которой зависит судьба и вашей великой родины. Желаю вам успеха…

Гарц спросил, нет ли к нему вопросов. Отозвался один Константин Ганецкий.

— Можно ли, — спросил он, — в случае крайней необходимости просить защиты у вашего посольства в России?

— Ни в коем случае! — мгновенно и со злостью ответил Гарц.

Курсанты продолжали заниматься подгонкой снаряжения, а Гарц, позвав Субботина, направился в домик. Субботин шел за ним, думая о двух вещах: неужели Гарц сказал о возвращении Баркова правду? Почему в его речи было так мало политики?

В комнате Субботина Гарц сел к столу и задумался. Лицо у него было рассерженное. Субботин стоял возле двери.

— Как вам понравился вопрос вашего курсанта? — спросил наконец Гарц.

— Вопрос глупый, — пожал плечами Субботин.

— Идиотский! — выкрикнул Гарц. — И он

свидетельствует об отсутствии политического понимания своего дела.

— Вы правы… Я, между прочим, недоумеваю, почему вы почти ничего не сказали им о политической сущности операции.

Гарц метнул на Субботина бешеный взгляд:

— «Почему, почему»! Тупоголовые деятели в генеральских мундирах есть всюду! И у нас они есть! Видите ли, новое веяние объявлено! Политика-де для перемещенных — ненадежная гарантия. Главное — деньги, ожидание райской жизни!

— Между тем русские как раз очень склонны именно к политике, это уже в их советских привычках, — сказал Субботин.

— Я тоже так думаю. Ну вот, а в результате у них возникает мысль бежать в посольство. Это же от полного непонимания политической сути операции!

Так Гарц приоткрыл Субботину очень важное обстоятельство: они не верят в политическую преданность перемещенных. Ну что ж, узнать это очень приятно. Теперь о Баркове…

— Я думаю, — сказал Субботин, — что по этой же причине они равнодушно отнеслись и к сообщению о возвращении Баркова.

— А вы не проболтались им о его провале? — быстро спросил Гарц.

— Вы считаете меня дураком?

Гарц помолчал.

— Да, факт: ни на одном лице я не заметил радости по поводу возвращения товарища. У них, очевидно, эта новость может вызвать только одно чувство — зависть.

— Это тоже сильное чувство, — заметил Субботин.

— Возможно. Но не главное же? И мы сами даем основание Москве кричать, что мы засылаем к ним мелких уголовников.

— Хорошо было бы, если бы перед ними выступил сам Барков, — задумчиво сказал Субботин. — Жаль, что он не вернулся чуть раньше.

Гарц насмешливо посмотрел на него:

— Боюсь, что ждать его пришлось бы слишком долго…

— Я думал… — Субботин растерянно запнулся.

— Он думал! — усмехнулся Гарц. — А еще хотите, чтобы я считал вас умным!

Так, все ясно: сообщение Гарца о Баркове было ложью.

— Что будут делать курсанты до вечера? — спросил Гарц.

Субботин посмотрел на часы:

— Сейчас они закончат подгонку снаряжения. Больше не будет никаких занятий. В шестнадцать ноль-ноль прощальный обед. Потом — сон. Подъем — за час до старта. Инструктаж штурмана по карте и вылет.

— Обед нужно провести в непринужденной и даже веселой обстановке. Будет вино и виски. Я уже распорядился.

— Очень хорошо. Я тоже думал об этом. Вы на обеде будете?

— Скорей всего, нет. Пусть за столом будут только русские. Русская речь. Русские привычки. Я их могу стеснить.

— Пожалуй, вы правы.

До обеда Субботин не смог сходить в «Подснежник» — Гарц оставался на аэродроме. Перед самым обедом он вернулся из штаба в домик и застал Субботина сидящим в кругу курсантов на лужайке. Все хотели встать.

— Сидите, сидите! — Гарц жестом подозвал Субботина. — Что у вас происходит?

Субботин улыбнулся:

— Пытаюсь восполнить пробел насчет политики. И знаете, что я вам скажу? Они на удивление хорошо понимают суть своего дела.

Гарц кивнул головой:

— Я приеду к старту.

Субботин вернулся к курсантам, чтобы продолжить с ними весьма важный разговор.

— Да, так какой у вас вопрос, Ганецкий? — спросил он, садясь в кружок.

— Меня интересует, когда все же следует прибегать к яду?

Субботин видел устремленные на него напряженные взгляды.

— Вопрос очень важней… — Субботин помолчал. — Тут главное — не проявить в панике глупую поспешность. Ведь исправить такую ошибку нельзя… — Субботин улыбнулся. — Значит, надо стараться ее не совершить. Прибегнуть к этой мере следует только тогда… — Субботин подчеркивал каждое слово, — когда уже совершенно ясно, что другого выхода нет. Когда совершенно ясно. Понимаете?

Курсанты дружно закивали головой, и в их глазах Субботин увидел нечто похожее на радостное удовлетворение. А он только этого и добивался…

Обед получился невеселым. Даже виски не помогло. Опьяневший больше других Ганецкий вдруг предложил петь советские песни. Стали выяснять, какую песню все помнят.

— Отставить! — строго приказал Субботин. — Не хватало еще, чтобы на аэродроме услышали советские песни!

Курсанты угрюмо молчали или тихо переговаривались о чем-то своем.

— Иван Иванович, а вы давно оттуда? — вдруг спросил Ганецкий.

Субботин усмехнулся:

— Вовремя… Вот так я отвечу…

— Были там с заданием? — не отставал Ганецкий.

— Было и это.

— Как же вы вернулись… — Ганецкий покраснел. — Нет, я хотел спросить: трудно было вернуться?

— Не очень легко, но и не очень трудно.

Последовал вопрос неожиданный:

— А вам не предложили обеспеченную жизнь в любой стране мира?

— Моему текущему счету вы можете позавидовать, — улыбаясь, ответил Субботин. — Но я решил не прекращать работы, пока Россия не будет освобождена от коммунистов.

Курсанты переглянулись почти с откровенным недоверием.

Но вот все разошлись по комнатам. В домике

стало тихо. Субботин, запершись у себя, написал краткое шифрованное донесение. Завернул в него вынутую из микрофотокамеры похожую на бельевую пуговицу кассету.

В «Подснежнике» в этот час было еще не многолюдно. Но завзятый пьяница Ганс, конечно, был уже здесь; он сидел за столиком в темном углу ресторанчика. Субботин сел за свободный столик в другом углу, попросил пива и газету. Минут через пятнадцать Ганс покинул свой угол и, пошатываясь, начал обход столиков, прося угостить его пивом. От него отмахивались. Так он дошел до столика Субботина.

— Ладно, кружку пива получишь, — нарочито громко сказал Субботин.

Ганс подсел к столику. Кельнерша принесла ему кружку пива. Субботин продолжал читать газету. Ганс приставал к нему с пьяными вопросами.

Субботин сердито отодвинул газету:

— Ты просил пиво? Получил. Так хоть не мешай мне…

Субботин снова взял газету. Там, где она лежала, за солонкой, остался малюсенький бумажный сверточек.

— Извиняюсь… — покорно пробормотал Ганс.

— Посолю пиво и удалюсь.

Ганс ушел…

Субботин облегченно вздохнул. После этого он почти целый час продолжал потягивать пиво и читать газету. А потом тоже ушел.

51

Гарц приехал перед самым стартом. Он пожал руку каждому курсанту и пожелал успеха. Началась посадка в самолеты. Солнце только что зашло. Медленно надвигался летний вечер. Его тишину взорвал рев запущенных моторов. Субботин вздрогнул.

— Я вижу, вы волнуетесь? — спросил Гарц.

— Еще бы! — Субботин помолчал. — Теперь начинается экзамен мне.

— Да, вы правы: очень серьезный экзамен. Плохо, что все они оказались, мягко говоря, не очень храбрыми. На аэродроме о них говорят с издевкой.

— Нельзя учить прыжкам накануне заброски! — раздраженно сказал Субботин.

— Вы правы, правы, — задумчиво проговорил Гарц. — Нужно это делать в школе.

— Конечно… Мне теперь возвращаться в шко-

лу?

— После вылета. Мы поедем с вами в радиоцентр и пробудем там, пока не придут сообщения от агентов. А потом, я думаю, вы сами займетесь подбором новых и более крепких людей. Ну, а затем, конечно, опять в школу.

— А как с группой немецкой?

— Сегодня они тоже уезжают в Берлин и оттуда перейдут в Восточную Германию. Эти парни, кажется, покрепче.

…Самолеты взлетели один за другим с паузами в несколько минут. Ночь встретит их вблизи советской границы. Ну, а там все готово к приему непрошеных гостей. В этом Субботин был уверен. Его охватило такое радостное чувство, что он тихо рассмеялся. Гарц, к счастью, этого не заметил.

Спустя час они уже подъезжали к радиоцентру на окраине Мюнхена.

Небольшое здание, не видимое с улицы, стояло в глубине большого сада. Все окна зашторены. Солдат проводил их по темной аллее к дому и показал на дверь:

— Сюда.

За дверью их встретил другой человек. Он провел их в комнату, где вдоль стен стояла радиоаппаратура. Пятеро радистов с наушниками

чуть пошевеливали верньеры настройки. За маленьким столиком сидел офицер. При появлении Гарца и Субботина он встал.

— Пока все идет нормально, — доложил он. — Самолеты точно соблюдают график. Выброска произойдет примерно через три часа.

Гарц молча сел в кресло. Он волновался. Субботин сел у двери. Гарц сделал знак пододвинуться поближе.

— Подлетая к границе, летчики прекращают радиосвязь. Нет ничего хуже томления в неизвестности, — тихо сказал Гарц. Потом он долго молчал, не сводя глаз с радистов.

Те, словно окаменев, неподвижно сидели с карандашами, готовые в любое мгновение записать радиограммы, которые прилетят из далекой, неведомой им Белоруссии. Все три пары агентов после приземления, прежде чем запрятать свои рации, должны сообщить, что у них все в порядке.

— Все-таки ваша Россия, — сказал Гарц, — проклятая страна. Никогда не можешь быть уверен в успехе.

Субботин молчал. Нетрудно догадаться, что слышать это ему было весьма приятно и даже лестно.

— Вот, говорят, загадочная русская душа, — продолжал Гарц. — Вообще-то я ругаюсь, когда так говорят, запугивая самих себя. Но все же какая-то правда в этих словах есть. — Гарц посмотрел на Субботина и рассмеялся. — А с другой стороны, что загадочного, скажем, в вас?

Субботин пожал плечами…

Около полуночи один из радистов начал что-то быстро записывать.

Дремавший Гарц вскочил и, подбежав к радисту, смотрел через его плечо, что тот писал.

Субботин замер. Неужели его питомцы проскочили, никем не встреченные? Он не мог знать, что в операцию по поимке разведчиков входило и это: дать одной паре возможность — так сказать, для правдоподобия — осуществить немедленную связь с центром.

В принятой и немедленно расшифрованной радиограмме говорилось:

> «Приземлились точно и благополучно. Прячем снаряжение и уходим согласно плану. Номер три».

Больше до утра никаких сообщений принято не было.

Субботин нервничал, хотя отсутствие сообще-

ний от остальных агентов не могло не радовать его.

— Ничего, ничего! — утешал его Гарц. — Терпение, мистер Скворцов! Выброска — это не прогулка туристов.

Но сообщений не было и в течение следующих суток. Только в начале третьих суток пришла радиограмма от пары номер один, в которой находился несостоявшийся писатель Константин Ганецкий. Разведчики сообщали, что их выбросили неточно, что они сутки блуждали, пока добрались до леса. Теперь все в порядке — они уходят согласно плану.

— Видите, Скворцов, наше с вами терпение вознаграждено. Из трех брошенных нами зерен два уже дали всходы. Если третье не взойдет, все равно мы с вами можем быть довольны. Я лично рассчитывал максимум на одно зерно. Поздравляю вас!

— Спасибо.

Субботин был не на шутку встревожен.

Неужели подвела цепочка связи?.. Он опять-таки не знал того, что пара номер один свое донесение передала уже из здания госбезопасности и что эта пара, как позже и третья, до поры до времени будет по указаниям чекистов мисти-

фицировать американскую разведывательную службу своими боевыми радиодонесениями.

52

Утром Гарц выдал Субботину довольно крупную сумму денег и сообщил, что новая группа курсантов будет набираться в Гамбурге. А теперь ему предоставляются сутки полного отдыха. Субботин поблагодарил Гарца и сказал, что немедленно отправляется в поход по магазинам.

Выйдя из отеля, Субботин действительно побывал в нескольких магазинах. С ворохом покупок в руках он возвращался в отель. Подошел к газетному киоску. Амалия Штерн протянула ему несколько газет:

— Шифр девять…

В номере Субботин нетерпеливо раскрыл газету и отыскал нужный ему абзац:

> «Все в полном порядке. Поздравляем. Немедленно возвращайтесь домой. В одиннадцать часов вечера возле кирхи Петра будет стоять такси №БТ 30555».

Первой мыслью Субботина было недоумение:

зачем возвращаться домой, если есть возможность продолжать работу по провалу вражеской агентуры?

Однако Субботин понимал и другое: затягивать эту рискованную игру опасно. Наконец, Субботин был человек военный, и приказ для него был приказом. Начальство знает, что делает.

Субботин зашел в номер Гарца:

— Мистер Гарц, поскольку вы однажды высказали желание знать, где я в каждое время суток, ставлю вас в известность, что вечером я смотрю ревю, а потом позволю себе выпить и всячески развлечься. Всячески, мистер Гарц…

— Сегодня ваш день, — засмеялся Гарц. (Субботин видел, что он в хорошем настроении.) — Но все же удержитесь от лишнего.

Субботин рассмеялся:

— До завтра, мистер Гарц!

Гарц помахал ему рукой.

* * *

На другой день Субботин уже находился в кабинете полковника Семина. Здесь была вся оперативная группа Рычагова. Полковник с доброй улыбкой оглядел всех и встал:

— Прежде всего — спасибо, товарищи, за отлич-

ную службу!

Все участники группы тоже встали, их глаза радостно блестели.

Как в это время чувствовал себя мистер Гарц, предположить нетрудно. Наверняка он чувствовал себя очень плохо.





99 коп.